Перрюшо Анри
Поль Гоген

Пролог
ДОЧЬ ЛУЧЕЙ И ТЕНЕЙ

Стоило увидеть ее сверкающие глаза и то, как она сворачивалась клубком в своем кресле, точно змейка на солнцепеке, чтобы сразу почувствовать: предки ее пришли издалека, она - дочь лучей и теней, дитя жарких стран, дитя, заблудившееся в северных краях...

Жюль Жанен. Мадам Флора Тристан

В бурные июньские недели 1848 года у редактора газеты "Насьональ" Кловиса Гогена было так много хлопот, что он даже не мог побыть со своей молодой женой, которая в их квартире на улице Нотр Дам де Лоретт, 52[1] 7 июня родила ему сына - Эжена-Анри-Поля.

За четыре месяца до этого был свергнут король Луи-Филипп и объявлена Вторая Республика. Для редакции "Насьональ" - органа либералов - это было большой победой. Бывший главный редактор этой газеты, гасконец Арман Марра, жизнелюб и скептик, весьма довольный сменой режима ("маркиз при республике" называл его социалист Бланки), стал 9 марта мэром Парижа.

Но если Арман Марра и его друзья были вполне удовлетворены результатами февральской революции, других французов они устраивали гораздо меньше. Между либералами и социалистами, буржуазией и рабочими, на какое-то мгновение объединившимися, очень скоро возникли противоречия. 15 мая в Национальное собрание ворвались "красные", "раскольники". Их демонстрация окончилась неудачей, и это подстрекнуло правительство к решительным действиям. Сразу после провозглашения Республики, оно под давлением социалистов обещало всем гражданам работу. С этой целью были созданы национальные мастерские. 21 июня их закрыли. И тотчас в ответ пятьдесят тысяч рабочих воздвигли в Париже четыре сотня баррикад.

Облеченный диктаторскими полномочиями, генерал Кавеньяк дал бой восставшим. Бои происходили в районе Пантеона, возле Городской ратуши, на бульварах, бои шли в предместьях. Они шли повсюду. На протяжении четырех дней - с 23 по 26 июня - Париж содрогался от грохота братоубийственной стрельбы.

Что думал обо всех этих событиях Кловис Гоген? Быть может, они внушали ему такой же ужас, как его соседу по улице Нотр-Дам де Лоретт Эжену Делакруа, чья мастерская находилась как раз в соседнем доме № 54[2].

Журналист, не отличавшийся особым дарованием, Кловис Гоген, как и все его близкие, был пылким республиканцем. Ему исполнилось 34 года, семья его была родом из Гатинэ[3], с XVIII века она обосновалась в Орлеане, где расселилась в районе Сен-Марсо, за Луарой. Тут-то и родился Кловис.

Люди скромного достатка, Гогены почти все были садоводами; некоторые таких было меньше - занялись коммерцией, как, например, отец Кловиса, Гийом, который держал бакалейную лавочку в Круа-Сен-Марсо, или как младший брат Кловиса, Изидор (Зизи),

---

[1] Сейчас это дом № 56. В 1930 году на доме, где родился Поль Гоген, была установлена мемориальная доска.

[2] Сейчас № 58.

[3] По-видимому, из деревни Ле Гоген, расположенной в 15 километрах от Куртене.

который стал ювелиром. Родня Кловиса, как дальняя, так и близкая, жила скромно и, что называется, "без всяких историй". Этого нельзя было сказать о родне его жены Алины, урожденной Шазаль.

Умершая за четыре года до рождения внука, мать Алины была не кто иная, как знаменитая Флора Тристан, - та самая пропагандистка-революционерка, чью память свято чтили рабочие в 1848 году и чье испанское происхождение в какой-то мере несомненно объясняет пылкость ее натуры.

Отец Алины был все еще жив: он содержался в Главной тюрьме в Гайоне (департамент Эр), отбывая там двадцатилетний срок каторжных работ за покушение на убийство.

*

...1789 год. Аристократы бегут за границу. К эмигрантам примешивается разношерстная публика - тут и люди, сохранившие верность монархическим идеям, но также и готовые поживиться за счет простофиль авантюристы, которых всегда выносят на поверхность водовороты великих исторических потрясений.

Среди эмигрантов, избравших местом своего изгнания Испанию, оказалась молоденькая девушка по имени Тереза Лене[4]. Кто были ее родные? Где она родилась? Об этом ничего неизвестно[5]. О ней вообще неизвестно ничего, до того самого момента, когда она достигла, быть может, именно того, к чему стремилась, и, осев в Бильбао, вступила в связь с испанским драгунским полковником, племянником архиепископа гренадского, кавалером ордена святого Иакова, доном Мариане де Тристан Москосо.

Потомок старинного арагонского рода, очень богатого и давно перебравшегося в испанскую колонию - Перу, полковник был по-своему поэтом. Он умел ценить простые радости, "мог без устали любоваться облаками, парившими над его головой, трепетавшими на ветру листьями, стремительным течением ручейка и зарослями на его берегах"[6]. Быть может, он презирал условности. Но то ли по беспечности, то ли из опасения навлечь на себя гнев родных, а может быть, и короля, своего господина, он не оформил своей связи с молодой француженкой.

Между тем союз этот, хотя и незаконный, оказался прочным. Тереза Лене родила Мариано одного за другим двух детей: дочь Флора родилась в 1803 году. Еще до ее рождения молодая чета перебралась во Францию и с 1802 года обосновалась в Париже. Четыре года спустя дон Мариано купил на улице Вожирар роскошный особняк, прозванный Маленьким замком. Дом был окружен множеством подсобных строений и тенистым парком, где белели статуи. Весьма вероятно, что Тереза Лене пыталась привести к венцу отца своих детей. Однако непредвиденные события помешали ее намерениям, и после безбедного, беззаботного существования она была ввергнута в нищету.

В июне 1807 года дон Мариано скоропостижно скончался от апоплексического удара. Тереза Лене потребовала, чтобы ее признали "фактической женой покойного дона Мариано". Ей оставили во временное пользование Маленький замок, который, чтобы иметь средства к существованию, она сдала торговцу пенькой. В это время в Мадриде произошло восстание 2 Мая, Испания поднялась против Наполеона. В сентябре 1808 года был издан указ о конфискации имущества, принадлежавшего испанцам во Франции. Не избежал этой участи и Маленький замок. Тереза Лене начала трудную и долгую тяжбу, чтобы удержать за собой парижскую собственность дона Мариано. Усилия оказались тщетными. В 1817 году Терезе окончательно отказали в ее иске.

В течение этих десяти лет Терезе жилось все труднее. Нужда вынудила ее перебраться

---

4 Возможно, ее звали Мари-Пьер Лене. Как пишется точно ее фамилия, неизвестно.

5 Все мои попытки установить происхождение этой прабабки Гогена оказались тщетными.

6 Симон Боливар. "Письма Боливара" в "Волер" от 13 июля 1838 года.

в деревню - там умер ее второй ребенок, брат Флоры. Тереза решила обратиться к родственникам дона Мариано. Она написала несколько писем в Перу, выдвигая различные доводы в защиту своих прав; то уверяла, будто ее союз с доном Мариано тайно благословил священник-эмигрант, то однажды предъявила заверенный нотариусом документ, где свидетели подтверждали, что она жила "как законная жена" с покойным дворянином. Все эти попытки оказались столь же бесплодными, как и судебные хлопоты. Тереза так и не получила из Перу никакого ответа.

Тереза Лене была из тех натур, которые с трудом освобождаются от власти грез - разбитые надежды сохраняют для них все обаяние миража. Чем глубже она погрязала в нищете, тем больше приукрашивала свое прошлое, вознаграждая себя химерами и тешась тщеславной и наивной иллюзией будто она знатная дама, на которую обрушилось несчастье. Войдя в эту роль, она непрерывно ее совершенствовала. Она ни разу не заикнулась дочери о ее незаконном происхождении, зато подробно и охотно рассказывала ей о знатном роде отца, который был якобы потомком короля ацтеков Монтесумы. Тереза Лене не отличала перуанских инков от мексиканских ацтеков, для нее эти страны составляли одно волшебное Эльдорадо.

В 1818 году, бедствуя более чем когда бы то ни было, она вернулась с Флорой в Париж. Быть может, она надеялась, что здесь ей легче, чем в деревне, удастся пристроить дочь. Поселилась она неподалеку от площади Мобер, в одном из самых бедных и пользовавшихся дурной славой районов столицы.

В ту пору грязные, запутанные улочки этого квартала кишели всевозможными подонками, проститутками и нищими. Между жалкими лавчонками помещались кабачки, которые, по сути дела, были гнусными притонами, вроде знаменитого кабаре папаши Люнетта на улице Дез Англе или еще более подозрительного "Шато-Руж" на улице Галанд. Но блеск перуанского золота затмевал неприглядную мерзость окружения. Трущоба на улице Фуар, куда судьба забросила Терезу, была освещена величием семьи де Тристан Москосо.

В этой страшной обстановке и росла Флора. Росла, слушая сказки, которые ей рассказывала мать, и сама говорила теперь о семье Тристан Москосо, о Перу и Монтесуме с гордостью, тем более самонадеянной, что считала ее совершенно обоснованной. Флоре и ее матери нечем было топить, у них не было масла, чтобы зажечь лампу, они терпели всевозможные лишения, но Флора страдала не столько от самой нищеты, сколько от связанного с ней унижения. В какую ярость она впала, как топала ногами в тот день, когда мать вынуждена была открыть ей тайну ее рождения! Флора была необычайно пылкой натурой, лишения только подстегивали се фантазию. Кровь, которая текла в ее жилах - а эта кровь и в самом деле была наполовину кровью Тристан Москосо, - возбуждала в ней мечты о безоглядной любви. У нее завязались отношения с каким-то молодым человеком, но она с такой страстью проявляла свои чувства, что, напуганный ее неистовством, он поспешил ретироваться.

Обыденное - то, из чего, как правило, складывается жизнь, - внушало Флоре отвращение. Ее влекло все необычное - она считала, что оно уготовано ей по праву рождения. "Ненавижу бездарность, половинчатость. Мне подавай все. Я не могу, но хочу им завладеть. Мне бы только передохнуть, оправиться и тогда я снова воскликну: "Еще, еще!!" - и побегу дальше, задыхаясь, пока не выбьюсь из сил и не умру в своем безумстве. Но ты, благоразумие, ты нагоняешь на меня тоску своей зевотой!" Эти слова были сказаны не Флорой. Они были сказаны позже ее внуком, Полем Гогеном, молчаливым художником с профилем инки. Но Флора охотно подписалась бы под этими словами. Семнадцатилетняя девушка, властная, высокомерная, вспыльчивая, она жаждала исключительной судьбы. Одетая в лохмотья, она чувствовала себя королевой.

Ради заработка она поступила работать в мастерскую, которую основал талантливый двадцатитрехлетний гравер-литограф Андре-Франсуа Шазаль. Ее обязанностью было подкрашивать эстампы. Тоненькая, хрупкая, сплошной комок нервов, она была на редкость

хороша и притягательна. Она быстро догадалась, какие чувства питает к ней Шазаль. Флора лишь отчасти их разделяла, но ее мать всячески побуждала дочь извлечь из них выгоду.

Семья Шазалей была почтенная, уважаемая семья. Ремесло, связанное с искусством, было в ней почти традиционным. Мать Андре в эпоху Империи печатала и продавала эстампы. Старший брат Антуан тоже был гравером, и к тому же живописцем. Он собирался выставить свои полотна в очередном Салоне, иллюстрировал книги, издал "Уроки вышивания для дам, желающих посвятить себя этому занятию". Впоследствии он стал художником-анималистом. Флора в ее положении не могла и мечтать о лучшей партии - это, должно быть, и втолковывала ей мать. То ли девушка приняла корыстный расчет за порыв сердца, то ли ее увлек собственный темперамент, так или иначе она вскоре внушила себе, что влюблена.

Семья Шазалей была против этого брака. Родственники пытались отговорить литографа от женитьбы не столько из-за того, что девушка была бедна, сколько из-за ее неровного характера и склонности к безудержным фантазиям. "Никогда не выйдет из нее хорошей жены и матери", - твердили Шазалю. Но ослепленный страстью Шазаль не слушал предостережений. "Она вспыльчива только потому, что несчастлива, - отвечал он. - Когда она выйдет замуж и будет пользоваться скромным достатком, она станет ровнее".

У Шазаля были причины верить, что он сделал правильный выбор. Флора писала ему письма, в которых, обманываясь сама, уверяла его в своих благих намерениях:

"Увидишь, я буду примерной женой, - заверяла она его. - Я буду добра ко всем, я останусь философом, но при этом буду такой ласковой и приветливой, что все мужчины захотят жениться на женщинах-философках".

Но после свадьбы, которую отпраздновали в начале 1821 года, добрых намерений Флоры хватило ненадолго. Медовый месяц быстро приобрел привкус дегтя. Шазаль спас Флору от нищеты. На ее месте многие женщины испытывали бы благодарность к мужу, тем более, что ей должна была льстить чисто женская власть над ним - муж был влюблен в нее, как в первые дни. Но Флора вздыхала и втайне раздражалась.

Шазаль был человеком заурядным, не очень умным, не слишком честолюбивым, его вполне устраивали тесные рамки его незаметного существования, да он и не способен был стремиться к более широким перспективам. Он всячески старался угодить жене, но что значили в глазах Флоры жалкие знаки его внимания, когда всем своим существом она рвалась к жизни иного размаха, когда она видела в любви "дыхание бога, его животворящую мысль, созидающую великое и прекрасное"? Покорный муж очень скоро стал ненавистен ей своей заурядностью.

Родился ребенок, за ним второй. Флора мало интересовалась детьми, предоставив их попечениям своей матери. Она чувствовала, что ее засасывает трясина брака, которого она сама когда-то желала. С каждым днем она все больше презирала своего мужа. Она накапливала против него обиды, стала укорять его, что он игрок и транжирит деньги, принадлежащие семье. Обвиняла его во вспыльчивости, будто не она сама - воплощенная несдержанность - была во многом виновата в том, что между ними стали разыгрываться скандалы, становившиеся с каждым месяцем все более бурными. Флора с такой оскорбительной откровенностью выказывала мужу свое презрение, что он уже не мог его не замечать и жестоко страдал.

Оскорбленный муж забросил свою мастерскую - Флора под предлогом нездоровья отказалась помогать ему в работе. Дела пошатнулись, стали идти все хуже и хуже, Шазаль перестал зарабатывать деньги, оттягивал платежи, влезал в долги. Для Флоры это был новый повод обвинять мужа и тяготиться браком, на который - как она теперь уверяла - ее толкнула мать. Но какой другой брачный союз мог бы удовлетворить Флору? Ее стремление к независимости было так велико, что при малейшем покушении на ее свободу она становилась на дыбы. Вновь и вновь повторяя свои жалобы, она бунтовала против подчиненного положения, на которое нравы и законы эпохи обрекают женщин. Она провозглашала право женщины на эмансипацию. Вскоре она дала себе слово подать пример

другим, "стать свободной" - и вести себя, как "женщина, свободная в полном смысле этого слова". Это не были пустые слова.

В 1825 году Флора снова забеременела. Но ожидание ребенка не заставило ее отложить свой план. Ей представилась возможность совершить небольшое путешествие - она воспользовалась предлогом и исчезла из дома. Шазаль лишь много позже увидел свою дочь Алину, которую Флора родила в октябре.

После этого следы Флоры почти совсем теряются на несколько лет. Детей взяла к себе ее мать. Флора, по-видимому, бралась за различную работу. Недолгое время работала, как прежде, колористкой, служила кассиршей у кондитера, потом устроилась горничной в семейство англичан. Она изъездила Европу, побывала в Великобритании, Швейцарии, Испании и Италии. Кажется, жила даже в Индии, в Калькутте.

Во время своих скитаний, в 1829 году, остановившись ненадолго в Париже, в меблированных комнатах, она свела знакомство с капитаном корабля Шабриё. Этот моряк вернулся из Перу. Его рассказы о семье Тристан Москосо, о том, какое видное положение она занимает - младший брат дона Мариане, дон Пио, принимал участие в войне за независимость Перу и некоторое время был перуанским вице-королем, - оживили мечту Флоры об утраченных богатствах. Она тут же написала дону Пио, рассказала ему о своих "несчастьях" и просила у него "справедливости" и "покровительства". Письмо пришло в Перу как раз в тот момент, когда мать дона Пио приступила к дележу своего состояния между наследниками. Может быть, боясь вторжения незваной чужеземки, дон Пио взял на себя труд ответить "многоуважаемой племяннице". Его ловко составленное письмо пронизано лукавой иронией. Тем не менее, признавая за Флорой "спорное право" на имущество своего покойного брата, дона Мариано, он заверял молодую женщину, что готов оказать ей покровительство, предлагая ей три миллиона пиастров наличными и ежегодную ренту примерно на такую же сумму.

Но если дон Пио рассчитывал таким образом избавиться от Флоры, он заблуждался. Наоборот, он дал ей возможность явиться в Перу, чтобы потребовать наследство своего отца. Разве, по словам Терезы Лене, дон Мариано не говорил: "В один прекрасный день у моей дочери будет сорок тысяч ливров ренты"? В 1833 году после различных приключений, помешавших ей раньше осуществить свой план, Флора отправилась в Бордо и там села на корабль "Мексиканец", который направлялся в Америку и которым командовал капитан Шабриё.

Путешествие принесло Флоре двойное разочарование. Во время плавания Шабриё, влюбившийся в Флору, просил ее выйти за него замуж. Флора, также почувствовавшая сердечную склонность к моряку, но скрывшая от него правду о своем семейном положении, вынуждена была придумывать всевозможные басни и отговорки, чтобы уклониться от брака, на который не имела права. Эта история надолго оставила в ее сердце болезненное сожаление. Не больше повезло Флоре и в том, ради чего она предприняла свое путешествие. В Перу дон Пио оказал ей пышный прием, расточал любезности, но, несмотря на то, что она много месяцев подряд вела с ним борьбу, в главном не уступил: он по-прежнему соглашался только выплачивать ей небольшое содержание.

Плавание с капитаном Шабриё, жизнь в Перу и ссоры с доном Пио дали Флоре материал для ее колоритной, живописной и горькой книги с выразительным названием "Скитания парии", которую она опубликовала в 1838 году.

К тому времени прошло уже тринадцать лет с той поры, как она покинула семейный очаг. То, что жена бросила его, для Шазаля оказалось страшным ударом. Неустанно пережевывая свои обиды, он окончательно утратил интерес к работе и стал просто одержим мыслью о свалившихся на него бедах, которые в 1828 году были закреплены разделом имущества супругов, произведенным по требованию Флоры. Шазаль совершенно опустился. Он катился по наклонной плоскости. Спасаясь от кредиторов, ночевал, где придется, и влачил полуголодное существование. Вся сила его воли сосредоточилась на одном: вернуть себе детей, и для этой цели он всячески пытался увидеться с Флорой.

Под влиянием этой навязчивой идеи и нищеты у него, как видно, нарушилась психика. В 1835 году ему удалось похитить дочь Алину, которую, кстати сказать, он до этого ни разу не видел. Начались безобразные скандалы, в которых принимали участие и полиция, и национальные гвардейцы, и судейские, и случайные уличные зеваки. Наконец Алину поместили в пансионат. Но ненадолго. Шазаль силой забрал девочку оттуда и запер у себя в лачуге на Монмартре, где он скрывался. Девочке удалось убежать. Тогда он вернул ее снова, на этот раз законными средствами, с помощью комиссара полиции. Но тут произошел страшный случай: Шазаль пытался изнасиловать дочь (Алине было в ту пору 12 лет). Потрясенная девочка вернулась к матери.

По жалобе Флоры Шазаля арестовали и посадили в тюрьму Сент-Пелажи. В свою защиту он написал документ, направленный против жены, полный и справедливых укоров и просто брани. Видно, что писал этот документ человек, обезумевший от ненависти.

Поскольку факт кровосмешения доказать не удалось, Шазаля выпустили на свободу. Но жена его потребовала решения суда о раздельном жительстве. Такое решение состоялось в марте 1838 года. Ярость Шазаля, которого отнюдь не смягчил опубликованный Флорой роман "Скитания парии", где она описывала их семейные неурядицы, теперь дошла до предела. Как-то в мае бывший литограф сделал рисунок. Он изобразил могилу, на ней написал "Пария", а внизу сделал подпись: "Есть правосудие, от которого ты пытаешься уйти, но которого не избегнешь. Покойся в мире, чтобы послужить уроком тем, кто настолько безумен, что готов следовать твоим безнравственным наставлениям. Стоит ли бояться смерти, если хочешь наказать злодея? Разве не спасаешь ты тем самым его жертвы? "

Несколько недель спустя Шазаль приобрел пистолеты и пули. Он не скрывал, что намерен убить Флору, бродил вокруг дома на улице Бак, где она жила, подстерегая ее и при случайных встречах впиваясь в нее безумным взглядом. 10 сентября, когда Флора возвращалась домой, Шазаль подошел к ней и выстрелом в грудь тяжело ее ранил.

Вся столица была взбудоражена этим уголовным делом. Общественное мнение было на стороне Флоры, ее жалели, волновались за ее здоровье, которое в какой-то момент внушало опасения. Флора стала героиней дня - эта роль, несомненно, была ей по вкусу. Когда 31 января Шазаль предстал перед судом присяжных - заседания происходили 31 января и 1 февраля, - в зале собралась огромная толпа. Красота Флоры, ее изящество, длинные черные волосы, смуглая кожа испанки, весь ее хрупкий облик тронули присутствующих. Рядом с ной Шазаль, даже не пытавшийся скрыть свою ненависть, играл жалкую роль. Он хладнокровно заявил, что жалеет только об одном, что не застрелил Флору. Приговор был суровым: Шазаль был осужден на двадцать лет каторжных работ после стояния у позорного столба. Через три-четыре месяца наказание было смягчено: стояние у позорного столба отменили, а каторжные работы заменили тюрьмой.

О Шазале постарались забыть. Его гравировальные и литографские работы были приписаны его брату Антуану, благо, совпадение инициалов облегчило этот подлог[7]. Флоре было разрешено "сменить фамилию Шазаль на фамилию Тристан"[8].

За Шазалем захлопнулись двери тюрьмы, а Флора Тристан, которой исполнилось тридцать шесть лет, начала новую жизнь. Покушение, жертвой которого она стала, сделало ее знаменитой. "Скитания парии" были быстро распроданы. Флора стала писательницей. Она сотрудничала в газетах "Волер" и "Артист", опубликовала новую книгу - роман "Мефис".

---

7 Работы деда Гогена заслуживают того, чтобы сказать о них несколько слов. Г-жа Маркс-Ванденброук писала, что Андре Шазаль "подписывал своим именем не только портреты знаменитых людей и репродукции барельефов и скульптур, но и многочисленные рисунки для вышивания - из них два заслуживают интереса: весьма замечательная доска, на которой изображены два мифологических животных, отличается великолепным упрощенным рисунком, уравновешенной композицией и цветом, достойным Гогена, а "Мост Роше в Меревиле" - чудо уплощенного пространства".

8 "Друа", 1839, 2 марта.

Круг ее знакомых составляли теперь писатели, философы, художники. Утверждая "право женщины на счастье", она еще с 1838 года стала требовать восстановления развода, который был отменен в 1816 году. Но это было только начало ее деятельности, которую она стремилась расширять и расширять. Считая себя жертвой общества, Пария, естественно, сблизилась с теми, кто хотел это общество изменить, - а именно с фурьеристами. Она заинтересовалась судьбой рабочих. Как и женщины, как и она сама, они были жертвами существующего социального строя...

В 1839 году, вскоре после процесса, Флора вновь отправилась в Англию, где изучала тяжелые условия существования английских рабочих. Она сочувствовала им, негодовала. И тут произошло событие, сыгравшее огромную роль в ее жизни.

Флора посетила дом для умалишенных в Бедламе, ей предложили повидать одного больного, по национальности француза. "У него редкая мания, рассказали ей, - он воображает себя богом. Это бывший моряк, он много путешествовал, говорит чуть ли не на всех языках и, как видно, был достойный человек". "Как его фамилия?", - спросила Флора. - "Шабриё". "Шабриё!" - Флора вздрогнула. На самом деле, этот Шабриё не имел ничего общего с бывшим капитаном "Мексиканца" (их фамилии даже писались по-разному). Но это совпадение потрясло Флору.

"О сестра моя! - воскликнул безумец. - Сам бог посылает мне вас в эту юдоль страданий, не для того, чтобы спасти меня, ибо мне суждено здесь погибнуть, но чтобы спасти идею, которую я принес миру. Внемлите мне! Вы знаете, что я посланец вашего бога, мессия, возвещенный Иисусом Христом. Я явился довершить дело, им предначертанное. Упразднить все виды рабства, освободить женщину от кабалы мужчины, бедного от кабалы богатых, душу от служения греху!"

Этот взволнованный бред не слишком удивил Флору. "Так говорили: Иисус, Сен-Симон, Фурье", - писала она.

"Сестра моя, - сказал он мне, - я дам тебе символ искупления, ибо считаю тебя достойной его". Несчастный носил на груди дюжину маленьких соломенных крестиков, обрамленных черным крепом и красной ленточкой. На них были начертаны слова: "Траур и Кровь". Он снял один из них и вручил мне со словами: "Возьми этот крест, носи его на груди и ступай по свету, возвещая новую веру". Он преклонил колено, взял меня за руку и стиснул ее до боли, повторяя: "Сестра моя, осуши свои слезы, скоро царство божье придет на смену царству диавола..." Я попросила его выпустить мою руку. Он повиновался без возражений, простерся у моих ног и поцеловал подол моего платья, повторяя голосом, прерывающимся от слез и рыданий: "Женщина земной образ Святой Девы! А мужчины не признают его! Унижают, втаптывают в грязь!" Я поспешила уйти. Я тоже была вся в слезах".

Флора вняла "безумцу пророку". Его призывы настолько были созвучны задушевным устремлениям самой Флоры, ее представлению о самой себе, горделивой потребности в исключительности, что Флора услышала в них призыв свыше. Устами безумца с ней говорило само небо. Теперь она была уверена, что она избранница, отмеченная судьбой. Незаконнорожденная дочь испанского аристократа наконец-то постигла свое предназначение - она будет мессией пролетариата.

В 1840 году она опубликовала "Прогулки по Лондону", где описала нищету рабочих в столице Англии. Мания величия не мешала Флоре рассуждать логично. Размышляя о том, какими средствами рабочим легче всего добиться освобождения, она приходит к выводу, что они должны объединиться в единый "класс" посредством "тесного, крепкого, сплоченного союза" [9]. Она изложила эти положения в небольшой брошюрке "Рабочий класс", появившейся в 1843 году, а тем временем она активно боролась в рядах парижских рабочих.

---

[9] Четыре года спустя, в 1847 году, Маркс и Энгельс скажут: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Интересно также отметить, что именно английский пролетариат вдохновил одно из первых произведений Энгельса и что положение того же английского пролетариата произвело такое сильное впечатление на Ван Гога, что он, подобно Флоре, решил посвятить себя служению отверженным и стать проповедником.

Но этого ей показалось мало. Она должна была повсюду нести слово истины. В апреле 1844 года она предприняла длительную пропагандистскую поездку по Франции.

Несмотря на хрупкое здоровье, она себя не щадила. Через Оксер, Дижон, Шалон, Сент-Этьен, Макон она добралась до Лиона, Авиньона, Марселя. Болезнь подтачивала ее слабеющие силы. Но она не отступала от взятой на себя миссии.

С глазами, "горящими пламенем Востока"[10], "дочь лучей и теней", красоте которой неистовая убежденность придавала что-то вещее и необычное, появлялась среди рабочих. Она была небольшого роста, но казалась выше от мистического пламени, которое пожирало ее изнутри, и от своего пылкого красноречия. Возбуждая вражду и восхищение, лишая покоя полицию, которая следовала за ней по пятам из города в город, она по очереди обращалась с проповедями к рабочим Нимы, Монпелье, Безье и Каркасона.

Но она переоценила свои силы. Они таяли с каждым днем. Все равно! "Совершенно обессиленная физически, я чувствую себя счастливой", - писала она из Оксера. Она упивалась своей ролью и отдавалась ей до конца: ведь мученичество - это преображение. Из Тулузы она поехала в Монтобан, оттуда в Ажен - там полиция с помощью отряда солдат очистила от публики зал, где она выступала. Силы Флоры поддерживала всепожирающая страсть, но она же и убивала ее. В Бордо у Флоры произошло кровоизлияние в мозг.

Спасти ее не удалось. 14 ноября она умерла.

Когда Флора умерла, ее дочери Алине было девятнадцать лет. Беспокойные годы детства и юности могли пагубно сказаться на ней. Но, судя по всему, этого не случилось.

"Она настолько же нежна и добра, насколько мать ее была властной и вспыльчивой, - писала Жорж Санд одному из друзей. - Эта девочка похожа на ангела - ее печальный облик, траурная одежда, прекрасные глаза и скромный ласковый вид внушили мне живейшее участие".

Алина выучилась ремеслу модистки, но добрые друзья и в первую очередь Жорж Санд больше всего хотели выдать ее замуж. И ей подыскали мужа Кловиса Гогена, за которого она и вышла 15 июня 1846 года. По-видимому, именно о таком браке и мечтала эта скромная, робкая, немного даже запуганная девушка, которая после бурных лет детства и отрочества желала одного - тихой семейной пристани, спокойного, простого счастья.

От этого брака в 1847 году родилась дочь - Фернанда-Марселина-Мари, а год спустя сын Поль, появившийся на свет в Париже, ощетинившемся баррикадами, над которыми витала тень его бабки Флоры Тристан.

Благодарные французские рабочие решили провести подписку и воздвигнуть памятник этой пламенной женщине. Он был поставлен на кладбище Бордо осенью того же 1848 года.

Часть первая
ДУХ УМЕРШИХ БОДРСТВУЕТ
(1848-1885)

I
ЭЛЬДОРАДО

Всякий индивидуум - это история, - говорил Ле Дантек. - Неповторимая история, совершившаяся с единственным в своем роде яйцом. Мы являемся тем, что мы есть, во-первых, потому, что мы получили определенную зародышевую наследственность, во-вторых, потому, что пережили все обстоятельства нашей жизни.

Жан Ростан. Мысли биолога

---

10 Жюль Жанен.

С того времени, как 10 декабря принц Луи-Наполеон Бонапарт подавляющим большинством голосов был избран президентом Республики, Кловис Гоген потерял покой.

В Елисейском дворце балы сменялись празднествами. "Племянник кружит Республику в танце, ожидая минуты, чтобы она взлетела на воздух", говорили враги Бонапарта. Президентские выборы принесли поражение сотрудникам "Насьональ", которые не жалели сил, ведя кампанию в поддержку кандидатуры генерала Кавеньяка. Кловис был уверен, что государственный переворот не замедлит положить конец Республике. Будущее рисовалось ему мрачным и грозным.

Ожидая худшего, он решился на добровольное изгнание.

Надо полагать, что решился он на это после долгих колебаний и советов с женой. Алину, как и ее мужа, не очень радовал план, осуществление которого должно было перевернуть все ее существование. Ей отнюдь не улыбалось пуститься в неизвестность с двумя маленькими детьми. Наконец-то в последние годы она вкусила прелесть покоя. Она была счастлива. Ее жизнь мирно текла в квартире на улице Нотр-Дам де Лоретт возле мужа и детей, среди книг и картин, унаследованных ею от матери. А теперь ей предстояло устраиваться заново в незнакомых краях - кто знает, что ее там ждет.

Вполне естественно, что в своих тревогах Алина вспомнила о перуанских "родных". Правда, Перу - далекая страна. Но мать так часто рассказывала о ней дочери, что она стала для нее почти знакомой. Хотя после выхода в свет "Скитаний парии", семья Тристан Москосо, возмущенная писаниями Флоры, порвала с ней всякие отношения и лишила ее ренты (дон Пио даже приказал публично сжечь ее книгу на площади в Арекипа), Алина все-таки надеялась, что родные посочувствуют ее невзгодам и протянут ей руку помощи. Кловис намеревался в изгнании основать газету - поддержка семьи Тристан Москосо избавила бы его от многих трудностей.

Месяцы шли, и опасения Кловиса подтверждались. В июне 1849 года в Париже снова произошли волнения. Возникли баррикады на улицах Сен-Мартен, Жан-Жак Руссо, Транснонен. Правительство стало преследовать некоторых политических деятелей. Кловис понял, что больше ждать нельзя, и решил тем же летом покинуть Францию с семьей.

Поль - малыш Поль, как его звали родители, - еще не был крещен. В предвидении длительного путешествия (до Перу надо было плыть три или четыре месяца, смотря по обстоятельствам) Алина решила не откладывать больше крещение сына. Церемония состоялась 19 июля в церкви Нотр-Дам де Лоретт Кловис на ней не присутствовал, очевидно, его республиканские взгляды сочетались с вольтерьянством. Крестным отцом мальчика был его дед Гийом из Орлеана.

В это же время чета Гогенов обратилась к близкому другу Флоры Тристан (он был свидетелем на свадьбе Алины), бывшему ученику Энгра, художнику Жюлю Лору, удостоенному медали Салона, с просьбой написать портрет малыша Поля. На портрете Жюля Лора годовалый Поль изображен голым до пояса - одну руку он прижимает к груди. У малыша круглое, живое лицо, светлые с рыжеватым отливом волосы, он смотрит на мир простодушными голубыми глазами.

Честолюбивые планы Луи-Наполеона, повлиявшие на жизнь семьи политического журналиста, толкнули невинного ребенка навстречу его судьбе.

*

В августе 1849 года малыша Поля внезапно вырвали из привычной обстановки. Семья Гогенов погрузилась в Гавре на бриг "Альбер" - судно, совершавшее рейсы в Южную Америку и лишенное элементарных удобств.

Плавание с первых же дней проходило в тяжелых условиях. Утлое суденышко швыряло из стороны в сторону. Как-то ночью малыш Поль проснулся от внезапного толчка. В тесной каюте все ходило ходуном, ночную тьму оглашали какие-то звуки - то глухие, то пронзительные, что-то трещало. Малыш Поль с расширенными от ужаса глазами поднял крик. Подбежавшая Алина склонилась над койкой, где метался ребенок. Она стала ласково

успокаивать его. При виде знакомого лица, в котором он привык находить нежность и утешение, малыш понемногу оправился от страха и безмятежно заснул.

Вскоре материнское лицо станет для Поля единственным воплощением опоры и защиты в мире.

На борту "Альбера" Гогены страдали не только от неудобств. Им приходилось сносить грубость капитана, бесцеремонного наглеца, который обращался с ними самым оскорбительным образом. Кловис непрерывно ссорился с ним. Эти вечные стычки были совсем некстати - Кловис страдал болезнью сердца. Уж не волнения ли обострили его болезнь? Алина навсегда осталась в этой уверенности. Так или иначе, 30 октября, когда "Альбер", достигший оконечности Патагонии, стоял на якоре в Порт-Фамин, Кловис упал замертво в шлюпке, которая должна была доставить его на берег. Смерть произошла от разрыва аневризмы.

*

Похоронив мужа в Порт-Фамин, Алина в полной растерянности продолжала свое путешествие. После смерти Кловиса у нее не осталось никакой надежды начать новую жизнь в Перу. Ее положение по отношению к семье Тристан Москосо в корне менялось. Она боялась, что встретят ее очень плохо. Пока "Альбер" шел на север, вдоль американского побережья Тихого океана, она с тревогой вспоминала, как ее мать обвиняла дона Пио в эгоизме, скупости и жестокости.

Но Алина терзалась понапрасну: дон Пио принял в Перу свою внучатую племянницу необычайно сердечно. Злосчастная судьба молодой женщины, потерявшей мужа по вине негодяя капитана, вызвала сочувствие всех домочадцев. Алину окружили всеобщим вниманием, детей баловали. Алина боялась, что в Лиме к ней будут относиться как к непрошеной самозванке, а вместо этого ей было суждено зажить в неге и холе, стать членом семьи, которая с той поры, как Флора за пятнадцать лет до этого побывала в Перу, процветала все больше и теперь сделалась одной из самых могущественных в стране и по богатству и по политическому влиянию. Алина считала, что она ввергнута в пучину бедствий, а ее ждала судьба героини волшебной сказки.

Подстегиваемый яростным честолюбием, дон Пио непрерывно приумножал свои богатства. Но его властолюбивой душе мало было одних сокровищ. Держа в своих руках нити многочисленных интриг, не останавливаясь ни перед чем, готовый обмануть, предать, нарушить клятву, пуская в ход все свои чары - а он несомненно обладал особым вкрадчивым обаянием ("настоящая сирена", говорила о нем Флора), - Дон Пио, которого противники называли "самым заклятым врагом народа", пытался стать президентом Республики. Это ему не удалось. На его жизнь было совершено около десятка покушений. Но теперь он собирался отыграться.

В 1834 году он выдал старшую дочь за двадцатишестилетнего полковника дона Хосе Руфино Эченикве, который при поддержке своего тестя в 1846 году стал военно-морским министром, а в 1849 году - вице-президентом Республики. Пятнадцать месяцев спустя после приезда Алины, в марте 1851 года, Эченикве достиг высшей власти - он сменил генерала Кастилья на посту президента Республики.

Огромный роскошный дом, населенный множеством слуг, где давались великолепные приемы, где бывали самые знатные деятели перуанского государства, - такова обстановка, в которой малыш Поль прожил до шести с половиной лет. Не будь Луи-Наполеона Бонапарта, он, как всякий маленький француз скромного происхождения, вырос бы под небом сорок девятой параллели северного полушария. А вырос он в совершенно иной обстановке - как маленький перуанец, окруженный царственной роскошью, в экзотическом, жарком, многокрасочном мире двенадцатой параллели южного полушария. До шести с половиной лет говорил он не по-французски, а по-испански. И деревья, с которыми он познакомился впервые, были не дуб или тополь, а пальма, магнолия и палисандровое дерево. Животными, привлекшими его младенческие взгляды, были ламы с длинными "лебедиными шеями", стада которых наводняли рынки Лимы, южно-американские ястребы с красными лапами и

голубоватой шеей, которые опускались на крыши, построенные в виде террас. Он не знал, что такое дождь, потому что в Лиме практически дождей не бывает, зато он привык к подземным толчкам, потому что в Перу почти каждый месяц случались землетрясения. И мужчины и женщины с цветной кожей были для него не диковинкой и редкостью, а тем, что повседневно его окружало.

К Алине и ее детям были приставлены двое слуг - маленькая негритянка и китаец, это считалось делом обычным. По правде сказать, редкое место на земном шаре могло бы похвалиться таким этническим разнообразием, как перуанская столица Лима, насчитывавшая восемьдесят тысяч жителей. Люди, в жилах которых текла "голубая кровь", чистокровные африканцы и азиаты, индейцы, недавно спустившиеся с гор, жили здесь по соседству с мулатами, с cholos (помесь индейцев и белых), zambos (помесь индейцев и черных) словом, это было смешение всевозможных кровей. Цвет кожи местных жителей был всех мыслимых оттенков и так же разнообразно было их телосложение и лепка лиц.

В этой шумной и пестрой среде малыш Поль впитывал первые жизненные впечатления. Жители Лимы любили посмеяться, пошуметь, они охотно предавались радостям и удовольствиям. Лима, "город королей", жила в довольстве и счастье. Ее разноцветные дома придавали ей праздничный вид. Президентский дворец на Пласа Майор был выкрашен охрой. Собор оранжево-розового цвета, местами отливал зеленым, синим, желтым. Там и сям на коричневом и сиреневом фоне фасадов выделялись красные и зеленые балконы. Броская, кричащая пестрота, но она гармонировала с яркой переливчатостью лимской толпы. Местные женщины одевались только в шелка и атлас. Они шили из них юбки, sayas. Иногда эти юбки были настолько обтянутые, что бесстыдно подчеркивали их формы. На душу населения в Лиме на туалеты расходовалось больше денег, чем в Париже или в Лондоне. Женские туфельки шили из атласа. Даже мулатки низшего сословия носили шелка и увешивали себя драгоценностями. Роскошь была страстью всего города. Состоятельные семьи каждые четыре года меняли обстановку в доме. Устраивались торжественные приемы и балы. Стены гостиных, пак стены церквей и монастырей, были сплошь увешаны произведениями искусства - картинами, вывезенными главным образом из Испании и Италии[11].

А какие теплые в Лиме ночи! Здесь почти не бывает ниже 12 градусов. Комната, где малыш Поль жил со своей сестренкой Мари и служанкой-негритянкой, выходила во внутренний двор. Каждый раз, когда часы били час, в ночи раздавались звуки флейты - это играли serenos - дозорные, охранявшие город. Пропев "Ave Maria purissima", серенос объявляли, который час, потом восклицали: "Да здравствует Перу!" - и сообщали, какая погода: "серено" или "тремблор", то есть "ясно" или "землетрясение".

"Тремблор" - малыш Поль проснулся: перед ним на стене вздрагивал портрет дона Пио. Дон Пио покачивался, не сводя глаз с маленького Поля.

В другой раз ночью Поль заметил, как во дворе, освещенном бледным светом луны, какой-то человек спускается по лестнице с террасы на крыше. Человек медленно спустился вниз. Медленно приблизился к двери детской. Переступил порог. Подошел и остановился у детской кроватки.

Это был сумасшедший, живший при доме. Домовладельцы в Лиме несли особую повинность, так называемый "налог на помешанных" - каждый из них обязан был содержать сумасшедшего. Этих несчастных сажали на цепь на террасах-крышах. Той ночью сумасшедший, живший у дона Пио, как видно, сумел освободиться. Неподвижный, безмолвный, он долго смотрел на Поля... Тридцать пять лет спустя в Арле декабрьскими ночами Поль Гоген тоже будет просыпаться от ощущения, что кто-то стоит рядом. Он

---

11 "Число картин, вывозимых в Перу, просто невозможно вообразить", писал в "Воспоминаниях об Испанской Америке" Макс Радиге, который жил в этой стране за несколько лет до приезда туда Алины Гоген. Среди художников, чьи произведения были представлены в Перу, он называет Сурбарана, Мурильо, Риберу, Бассано, Лукаса Джордано, Менгса.

увидит, как над ним склоняется человек с встревоженным лицом, внимательно вглядывающийся в него. "Что с вами, Винсент?" - спросит он. И Ван Гог, не ответив ни слова, отойдет... Сумасшедший дона Пио вышел из детской. Медленно подошел к лестнице и в бледном свете луны поднялся на свою террасу.

Незабываемые воспоминания раннего детства в Лиме! "У меня прекрасная память, и я помню этот период, наш дом и множество событий". Малыш Поль резвился в доме дона Пио, который, несмотря на свой преклонный возраст - в 1854 году ему должно было исполниться восемьдесят пять лет, - оставался все таким же неуемным. Худенький, маленький, подвижной и выносливый, как все кордильерские горцы, он был полон жизни и задора. В домашнем обиходе, когда он не нуждался в уловках, на какие пускался в общественной жизни, когда он забывал о корыстных расчетах и честолюбивых планах, не было человека более обаятельного, более приятного в общении, чем этот знатный барин, человек выдающегося ума и утонченного воспитания. Его щедрость, роскошный образ жизни, который он вел, превращали его дом в подлинную обитель счастья для домочадцев, над которыми он властвовал.

Малыш Поль в невинности душевной также вкушал это счастье под снисходительной опекой матери. Однажды Алина обнаружила, что сын исчез. Он убежал. Выскользнув на улицу, он добрался до расположенной рядом бакалейной лавки и там никем не замеченный уселся между двумя бочонками мелиссы. Слуга китаец нашел его там - мальчик сосал сахарный тростник. В другой раз шестилетнего Поля и его ровесницу двоюродную сестру застигли за тем, что они пытались подражать любовным играм взрослых.

"Несколько оплеух, данных маленькой, упругой, как резина, ручкой", вот наказание за эти проделки. Впрочем, оплеухи тотчас сменялись нежными укорами и поцелуями. "Как грациозна, изящна и хороша была моя мать в своем перуанском костюме!". Алина очень быстро переняла перуанские моды. Как и все местные женщины, она носила особую одежду, которая вместе с saya образовывала нечто вроде манто-сака - капюшон, закрывая голову и лицо, оставлял открытым лишь один глаз. Этот материнский глаз смотрел на малыша Поля - "такой нежный и повелительный, чистый и ласковый!" Полю казалось, что его мать все знает, все может, что она наделена сверхъестественной силой. В Лиме переделали купол церкви - вернее, церковь увенчали новым куполом с деревянной резьбой, собранным из готовых частей. Алина пером нарисовала этот омоложенный купол. "Прелестный рисунок. Рисунок моей матери. Я думаю, вы меня поймете...".

В августе 1853 года президент Эченикве получил от конгресса звание дивизионного генерала. Никогда Республика Перу не процветала так, как во времена его правления. Несмотря на это, в стране зрела мощная оппозиция. Ее главным вдохновителем был предшественник Эченикве - генерал Кастилья. В начале 1854 года разразилась гражданская война. Кастилья с оружием в руках выступил против Эченикве и готовился в поход на Лиму. Счастливым дням пришел конец.

А тем временем, пока в стране готовилась революция, Алина получала настойчивые письма из Орлеана: дедушка Гийом, чувствуя приближение конца, убеждал ее вернуться. В 1853 году он разделил свое имущество между сыном Изидором и двумя детьми Кловиса. Но, очевидно, он хотел перед смертью попрощаться с внуками.

Алина колебалась - возвращаться ли ей в Европу. Правда, ход политических событий угрожал благополучию семейного клана Тристан Москосо. Но она привыкла к Лиме. Она понимала, что потеряет, покинув Перу. Знала она также, что дон Пио, полностью принявший ее в лоно семьи, собирается оставить ей большое наследство. Алина колебалась. В августе 1854 года она все же получила французский паспорт. Но не спешила с отъездом. Она все еще была в нерешительности. Однако события стремительно развивались. Верных Эченикве войск становилось все меньше. В начале января 1855 года генерал Кастилья сломил последнее сопротивление своих врагов и 5 января победителем вошел в Лиму.

Алина села на корабль, плывший во Францию.

Возможно, что из Порта Каллао она показала малышу Полю Лиму, во всем своем

величии вытянувшуюся в горах в двенадцати километрах от моря, "посреди гигантских Анд".

"Восхитительный край" Лиму, которую малыш Поль, Поль Гоген, не забудет никогда.

*

Лима - потерянный рай!

Дедушка Гийом скончался 9 апреля в своем доме в Орлеане, на набережной Тюдель, 25. Отныне здесь в одиночестве жил тридцатисемилетний холостяк дядя Зизи. Он приютил у себя невестку с детьми - Мари и малышом Полем.

Зачисленный экстерном в орлеанский пансион, малыш Поль посещал занятия, совершенно выбитый из привычной колеи. До сих пор он говорил почти только по-испански и теперь плохо понимал и учителей и товарищей, среди которых чувствовал себя чужестранцем.

Он чувствовал себя чужестранцем в этом французском городе, с его серыми стенами, под французским небом, с которого на землю лились потоки холодного дождя. Бледные лица, приглушенные краски. Даже мать Поля утратила свою жизнерадостность - она стала грустной, озабоченной.

В 1856 году, через год после приезда Алины в Орлеан, дон Пио испустил последний вздох. В своем завещании он не забыл дочери Флоры Тристан и назначил ей ренту размером около 25 тысяч франков. Но, пользуясь отсутствием Алины, клан Тристан Москосо в Лиме пустился на всевозможные ухищрения, чтобы не исполнить последней воли покойного. Алина требовала своих прав. Через некоторое время Эченикве, которого после победы генерала Кастильи осудили на изгнание, приехал во Францию и предложил Алине договориться полюбовно. Но их встреча окончилась полным разрывом - Алина гордо ответила Эченикве, что хочет получить "все или ничего".

Теперь Алине не на кого было рассчитывать, кроме как на самое себя. Правда, наследство дедушки Гийома было не таким уж маленьким. Его оценивали в добрых пятнадцать тысяч франков. Но половину его составляли земли, виноградники, дома, приносившие незначительный доход. Так или иначе, оно не могло обеспечить существования Алины и ее детей. Алина решила переехать в Париж и открыть швейную мастерскую. Но для этой цели ей надо было продать часть недвижимости Гийома Гогена.

Тревоги Алины, ее долгие серьезные разговоры с дядей Зизи отзывались на малыше Поле. Кловис Гоген недаром эмигрировал в Перу. Дядя Зизи, который во время переворота Луи-Наполеона принял участие в демонстрации в защиту Республики, организованной перед ратушей несколькими сотнями орлеанских жителей, был арестован и приговорен к высылке в Африку. Приговор впоследствии был смягчен: отбыв наказание в тюрьме, дядя Зизи смог вернуться в Орлеан, где проживал "под надзором". Кстати, Андре Шазаль тоже был освобожден в марте 1856 года после семнадцатилетнего заключения - ему сократили срок наказания на три года. Местом жительства ему был назначен Эвре[12].

В саду дома на набережной Тюдель малыш Поль закатывал скандалы, яростно топал ногами. "Что с тобой, малыш?" - спрашивал дядя Зизи. Малыш Поль, продолжая топать ногами, кричал: "Мальчик злой!" "Уже ребенком я судил себя и хотел, чтобы об этом знали другие", - писал позднее Гоген, не желавший, чтобы его считали мягкосердечным. А бывало, что мальчик молчаливо замыкался в себе и думал о чем-то своем.

В пансионе успехи его были невелики. Равнодушный к предметам, которым его обучали, он предавался мечтам. Он отнюдь не считался хорошим учеником. Правда, его нельзя было назвать и плохим. Он ставил в тупик своих преподавателей. Один из них так прямо и сказал: "Из этого ребенка выйдет либо кретин, либо гений". Занятное суждение - несомненно оно объясняется странной повадкой этого восьми-девятилетнего мальчика с

---

[12] Он умер в этом городе в 1860 году, тщетно пытаясь добиться от префектуры разрешения съездить в Париж, "чтобы собрать там остатки средств для поддержания моральных и физических сил".

серовато-зелеными мечтательными глазами.

На фоне серого уныния орлеанских дней, скудной жизни, нескончаемой тоскливой зимы, в золотистой жаркой дымке выступала Лима. Память вычленяла образы прошлого. На улице, вдоль которой тянется сточный канал, краснолапые ястребы, спустившиеся с террасы на крыше, заглатывают отбросы. Маленькая черная служанка несет коврик для коленопреклонения в церкви. Рядом с молодой, хорошенькой Алиной, старый-престарый дон Пио.

Воспоминания и мечты преображают, приукрашивают, поэтизируют утраченный мир, исчезнувшую Атлантиду. Дону Пио к моменту его смерти исполнилось будто бы сто тринадцать лет! Эченикве был якобы его сыном, рожденным от второго брака, в который дон Пио вступил на восьмидесятом году! Сказочный мир. Алина привезла во Францию перуанские фигурки из местного серебра, примитивные керамические изделия - глиняную утварь, которую талант индейцев украсил антропоморфическим орнаментом. Одушевленные таинственной жизнью, варварские образы оживают в потемках - это магические заступники.

Поль вырезает ножом рукоятки кинжалов, украшая их резьбой, - "уйма детских мечтаний, непонятных для взрослых". "Согласно легенде Инка явился прямо с солнца - я туда и возвращусь". У дяди Зизи есть гравюра - на ней изображен путник, бредущий с посохом на плече, а на нем висит его скарб. Девятилетний Поль берет палку и, бросив несколько пригоршней песка в узелок из носового платка, пускается в путь. "У меня всегда была страсть к побегам".

Мясник, повстречавший мальчика, обругал его негодником и отвел домой, на набережную Тюдель. Приключение закончилось несколькими пощечинами... "Бойтесь воображения..."[13]

В марте 1859 года, продав недвижимое имущество деда Гийома, Алина переехала в Париж и открыла здесь швейную мастерскую на улице Шоссе д'Антенн, 33.

Поля мать в Париж не взяла. Он продолжал учиться в Орлеанской семинарии, куда поступил пансионером. Сестра врача, Женни Менье, брала его на свое попечение в дни, когда пансионеров распускали по домам.

Начались суровые годы.

В замкнутом мирке интернатов легко возникают дружеские отношения, порой чересчур пылкие, - но такие отношения отнюдь не были в характере Поля Гогена. "Я привык уходить в самого себя, пристально наблюдая за игрой, какую вели мои преподаватели, сам себе творя игрушки, а также горести, со всеми карами, которые это за собой влекло". Поль сторонился людей и, остро ранимый, непокладистый, не переставал этих людей судить. "Думаю, что здесь-то я научился еще в детстве ненавидеть лицемерие, показные добродетели, доносительство (semper tres[14]), не доверять тому, что противоречило моим внутренним ощущениям, моему сердцу и разуму".

---

13 "Дон Пио умер ста тринадцати (а не девяноста семи) лет", "он был отцом (а не тестем) Эченикве" и т. д. Подобного рода "уточнения", внесенные Гогеном, часто повторяются исследователями его творчества. Но они принимают за историческую правду то, что относилось к миру воображения Гогена, которое во многом повлияло на его судьбу и было одним из существенных элементов его духовной жизни. На предшествующих страницах я восстановил подлинные факты (с помощью, в частности, перуанских ежегодников той поры и многочисленных работ на испанском языке, таких, как "Galeria de Retratos de los Gobernantos del Peru" Доминго де Биберо, опубликованная в Casa Editorial Maucci в Барселоне в 1909 году и содержащая дельную биографию Эчепикве. Опирался я также на "Скитания парии" Флоры Тристан, "Воспоминания" Макса Радиге и т. д.). Эти факты очень существенны для понимания психологии Гогена. Между прочим, интересно отметить, что перуанскому детству Гогена редко придают значение и, главное, никто не попытался изучить его глубже, хотя оно сыграло определяющую роль в его судьбе. Даже тексты произведений Гогена и Флоры Тристан, которая, кстати, указывает возраст дона Пио, не были внимательно прочитаны. Приведу лишь один пример: Гоген называет ястребов местным словом "gallinazos", а исследователи прочли его как "gallinaces", то есть "куриные".

14 Всегда втроем (латин.). - Примеч. пер.

Нелюдим. Подросток, прислушивающийся только к голосам внутри себя; молчаливый, угрюмый, смеется редко, и отсутствующий взгляд его серовато-зеленых глаз выдает неудовлетворенность.

Не он ли попросил мать взять его к себе? В 1862 году Алина отдала сына в парижский пансион на улице д'Анфер. Должно быть, он учился там слишком плохо, потому что в 1864 году ему пришлось вернуться в Орлеан - на сей раз, чтобы поступить в коллеж.

Это был последний год его учения в школе. Алина стала болеть - это сказывалось и на ее портняжной работе. Она хотела, чтобы Поль как можно скорее выбрал себе ремесло. Учение стоило дорого, она опасалась, что не сможет долго за него платить. А что если она умрет? Алину тревожило будущее сына. И не только потому, что отметки Поля не давали повода для радужных надежд, но и из-за его характера и поведения. Щуплый, казавшийся года на два моложе своих лет и странно сочетавший в себе хрупкость с напором энергии, Поль замыкался в себе и ничем не проявлял своих чувств. Он не допускал излияний даже в отношениях с матерью, которая приходила в отчаянье из-за этой внешней бесчувственности. "Чтобы выговорить "я тебя люблю", мне надо было бы обломать себе все зубы". Мальчик был хмурый, обидчивый, рассеянный, часто о чем-то мечтал. Знакомые Алины его недолюбливали. Расположенных к нему людей было так мало, что останься он без матери, он оказался бы очень одиноким.

Когда Алина спросила сына, кем бы он хотел стать, с губ Поля внезапно сорвался ответ: "Моряком". Глядя на громадные синие пространства на географическом атласе, он видел струящийся над ними свет тропиков. Само собой, Поль ни минуты не помышлял о ремесле матроса. Для него стать моряком означало уехать, а уехать - это зажить полной жизнью, отправиться за пределы времени и пространства, на поиски рая детских лет.

Алина с присущей матерям верой в лучшее тут же подумала о мореходном училище. Несмотря на плохие отметки сына, она уже воображала его в форме офицера военно-морского флота. Но Поль быстро разочаровал мать. Он так нерадиво готовился к трудному конкурсу в училище, что его преподаватели отсоветовали ему даже пытаться участвовать в нем. На беду он достиг в 1865 году семнадцати лет - предельного возраста для поступающих. Учеба была закончена. Было решено, что он поступит на торговое судно учеником лоцмана, чтобы, по возможности, стать в дальнейшем офицером торгового флота.

Это решение, вероятно, не вполне удовлетворило мать Поля, но все-таки у нее одной заботой стало меньше. Алина воспользовалась этим обстоятельством, чтобы освободиться от мастерской, так как ее собственное здоровье внушало ей все большую тревогу. Она поселилась на Роменвильской дороге, в поселке Л'Авенир. Твердо уверенная, что не доживет до совершеннолетия своих детей, Алина составила завещание. Она не столько стремилась поделить между Полем и Мари то немногое, чем она владела ("Я оставляю Полю все мои портреты и картины, книги, цепочку с часами и брелоками, а также перстень с печаткой, принадлежавший моему деду"), сколько назначить им опекуна.

Этим опекуном стал старый друг семьи Гюстав Ароза, который, как и его жена, всегда проявлял большое участие к Полю и Мари. Семья Ароза была богата. Она принадлежала к парижским финансовым кругам - Гюстав был компаньоном биржевого маклера, его брат Ашиль - банкиром. Интеллигентные люди, наделенные тонким вкусом, братья не ограничивали свою деятельность деловой сферой. У них была общая страсть к собиранию произведений искусства. Оба составили прекрасные коллекции и неустанно их пополняли. Восторженный почитатель Делакруа[15], Гюстав в феврале 1864 года купил на посмертной распродаже его мастерской - она состоялась через два года после смерти художника - большое количество картин, этюдов, набросков великого мастера, с которым он, кстати, был

[15] Делакруа, Эжен (1796-1863) - французский художник, один из главных представителей романтизма. Автор множества произведений на исторические, литературные, мифологические сюжеты. Живопись Делакруа, яркая по колориту, сочетаниям дополнительных цветов, исполненная энергичными, смелыми мазками, оказала огромное влияние на развитие французских художников прошлого века.

знаком[16]. Эти произведения прибавились к работам Коро[17], Домье[18], Йонкинда[19] и Курбе[20], которые украшали квартиру Гюстава на улице Бреда[21] и которыми он так дорожил.

Дом - полная чаша, приветливая, изысканная обстановка (коллекция восточной керамики вносила в нее экзотическую нотку), атмосфера довольства и счастья - не напоминало ли все это Полю далекие годы, проведенные возле дона Пио? Было бы странно, если бы ему не нравилось бывать в доме Ароза. И, наверное, это отчасти и определило выбор Алины, когда она назначила Гюстава опекуном своих детей.

Завещание Алины еще более укрепило ее связь с семьей Ароза. У этой семьи был в Сен-Клу, на улице Кальвер, дом, куда они часто наезжали. Алина поселилась в непосредственной близости от них, в доме номер два по улице Оспис. Там она и обосновалась вдвоем с дочерью, а Поль тем временем начал жизнь матроса.

Выполнив множество формальностей, как этого потребовали в Управлении по учету военнообязанных моряков, Поль вскоре узнал, что ему предстоит 7 декабря сесть в Гавре на корабль "Лузитано", принадлежащий Союзу грузчиков и совершающий рейсы в Южную Америку. На сей раз "Лузитано" направлялся в Рио-де-Жанейро.

Вдохнув соленый морской ветер гаврского порта, Поль почувствовал себя другим человеком[22]. В одно мгновение канули в прошлое унылые годы, проведенные в Париже и Орлеане. Уехать и вправду означало начать жить заново.

С первых же его шагов в Гавре все благоприятствовало Полю. Капитаном "Лузитано" оказался капитан Фомбарель, квартерон, "добрейший папаша". Корабль, трехмачтовик, водоизмещением шестьсот пятьдесят четыре тонны[23], был великолепно оснащен и имел отличный ход. Линия горизонта то поднималась, то опускалась между его снастями. В утренней прохладе плескались волны. Это было утро жизни. Чтобы отметить зарю нового, полного ярких впечатлений существования, которая занималась для него, Поль "в первый раз согрешил" в публичном доме для матросов. Наконец-то он стал мужчиной. Наконец-то он начал жить. Теперь он возьмет курс на Эльдорадо.

Перед отплытием к Полю зашел ученик лоцмана, на место которого он поступил. "Так это ты нанялся вместо меня? Послушай-ка, возьми эту коробочку и письмецо и не посчитай

---

16 Имя господина и госпожи Ароза дважды упоминается в Дневнике Делакруа (2 февраля и 26 марта 1856 года).

17 Коро, Камиль (1796-1875) - французский художник. Так называемые "пейзажи настроения" Коро были одним из источников живописи импрессионистов, его учеником считал себя Камиль Писсарро, с которым Гоген познакомился в семье Ароза.

18 Домье, Оноре (1808-1879) - французский график и живописец, выдающийся мастер политической карикатуры.

19 Йонкинд, Иоганн Бартольд (1818-1891) - голландский художник-пейзажист, большую часть жизни прожил во Франции. Живопись Йонкинда оказала большое влияние на сложение импрессионизма.

20 Курбе, Гюстав (1819-1977) - французский художник, один из основоположников реализма в живописи.

21 Ныне площадь Гюстава Тудуза.

22 За семнадцать лет до этого, почти день в день, в начале декабря 1848 года, молодой человек, которому в ту пору было почти столько же лет, сколько теперь Полю, тоже нанялся учеником па корабль в Гавре, который плыл тем же курсом, что и "Лузитано". Молодого человека звали Эдуард Мане. Мы ведем рассказ о 1865 годе - годе, когда разразился скандал с "Олимпией".

23 Не 1200 тонн, как писал Гоген.

за труд отнести по этому адресу". Поль бросил взгляд на конверт: "Мадам Эме, улица Оувидор". А бывший ученик лоцмана продолжал: "Она славная женщина, а я особо рекомендовал тебя ей. Она моя землячка из Бордо". Это было еще одно доброе предзнаменование.

Плавание прошло великолепно. Попутные ветры сопровождали "Лузитано", который при сильном бризе делал до двенадцати узлов. Поль был очарован гаванью Рио. Как только его отпустили на берег, он помчался на улицу Оувидор. Улица Оувидор с ее роскошными магазинами, ателье и мастерскими искусственных цветов, которые делались из перьев, была одной из самых оживленных артерий городе. Девушки, служившие в этих магазинах - многие из них были француженки, - славились своим легкомыслием. Мадам Эме из Бордо, тридцатилетняя певичка, исполнявшая первые партии в опереттах Оффенбаха, не опровергла галантной славы улицы Оувидор. "Ну-ка дай взглянуть на тебя, малыш! да ты красавчик!" И она самым радушным образом приняла молодого матроса, который провел с ней "восхитительный" месяц.

"Я так и вижу, как она в богатом наряде выезжает в двухместной карете, запряженной норовистым мулом. Все наперебой за ней ухаживали, но официальным ее любовником в ту пору считался сын русского императора, который проходил службу на учебном корабле. Он тратил на Эме такие деньги, что капитан корабля обратился к французскому консулу, чтобы тот как-нибудь осторожно вмешался в дело.

Наш консул вызвал Эме к себе в кабинет и весьма неуклюже стал ей выговаривать. Эме не рассердилась, а рассмеялась и сказала ему: "Дорогой консул, я вас слушаю с превеликим восхищением и думаю, что дипломат вы, наверное, очень хороший, да только по бабьей части вы ни черта не смыслите". И ушла, напевая:

"Зачем, Венера, ты меня

Толкаешь на стезю греха?"

Меня Эме очень быстро толкнула на стезю греха. Как видно, почва была благоприятная, потому что я стал настоящим распутником.

На обратном пути мы взяли на борт много пассажиров, среди них толстушку-пруссачку. Тут настал черед капитана влюбиться, он всячески ее обхаживал, но без толку. Мы с пруссачкой нашли прелестное гнездышко в помещении, где были сложены паруса и которое выходило в каюту под лестницей. Безудержный враль, я наплел ей кучу небылиц, а она, по уши в меня влюбившись, во что бы то ни стало хотела увидеться со мной в Париже. Я дал ей адрес - улица Жубер, у Ла Фарси[24].

Гадко, конечно, меня некоторое время мучила совесть, но не мог же я пригласить ее к своей матери!"

Подобные любовные похождения могут дать пищу пикантным воспоминаниям, когда на склоне лет мужчина перебирает их со снисходительной усмешкой. Но что они дают уму и сердцу? Ничего. В лучшем случае, минутный подъем, в котором как бы продолжается радостное возбуждение, связанное с отъездом. И вскоре радостный смех Гогена умолк. Поль опять стал прежним молчаливым юношей.

Жизнь на море не принесла Полю удовлетворения. Океан многое обещает, но не выполняет своих обещаний. Он сначала дает, а потом отбирает обратно. Ты приезжаешь в порт, потом снова снимаешься с якоря. Жизнь моряка бродячая жизнь, и порты для него лишь временные остановки. А сын Алины, юноша, потерявший родную почву, подсознательно стремился отнюдь не к бродяжничеству. Для него важно было не море, а порт. Ему мерещились сказочные дали - они были не похожи на то замкнутое пространство, в пределах которого бесконечно кружило по волнам трехмачтовое судно. "Лузитано" плыл по ночному морю. Гоген на мостике слушал исповедь вахтенного офицера, которому должен был помогать:

---

24 Ла Фарси - знаменитая куртизанка того времени.

"Он рассказал мне, как служил юнгой на маленьком судне, совершавшем длительные рейсы в Океанию с грузом всякого залежалого товара. Однажды утром он драил палубу и свалился за борт - никто этого не заметил. Но паренек не выпускал из рук швабры и благодаря ей сорок восемь часов продержался на поверхности океана. По невероятной случайности проходивший мимо корабль спас его. Через некоторое время этот корабль бросил якорь у маленького гостеприимного островка. Наш юнга отправился прогуляться на остров, задержался там дольше положенного срока, и корабль ушел без него. Юнга пришелся по душе жителям острова и зажил среди них, ничего не делая. Его в два счета лишили невинности, приютили, накормили и стали ласкать и баловать, кто как мог. Он был необыкновенно счастлив.

Продолжалось это два года, но однажды утром к острову причалил другой корабль, и наш паренек захотел вернуться во Францию".

"Лузитано" форштевнем рассекал ночное море. "Господи, какой же я был дурак! - воскликнул вахтенный офицер. - И теперь я вынужден тянуть эту лямку - скитаться по морям... А я был так счастлив! С дикарями так хорошо. Но что поделаешь - тоска по родине!"

*

После двух плаваний на "Лузитано" в Рио-де-Жанейро Поль получил повышение. Из ученика лоцмана он стал вторым лейтенантом (это означало уже не двадцать, а пятьдесят франков жалованья) на "Чили" - трехмачтовом судне водоизмещением тысяча двести семьдесят семь тонн. В конце октября 1866 года судно отправилось из Гавра в кругосветное плавание, рассчитанное больше чем на год[25].

Направившись сначала в Кардиф, "Чили" двинулось по пути, уже знакомому Полю, в Южную Америку, потом к Патагонии и Магелланову проливу - к холодной и неприветливой оконечности континента, где спал последним сном Кловис Гоген.

Для второго лейтенанта этот путь был и знакомым и незнакомым. Когда трехмачтовик шел вдоль чилийского побережья, не было ли у Поля такого чувства, будто он совершает паломничество? Из Вальпараисо парусник направился к Иквикве, и тут - о воспоминания! - земля вдруг заходила ходуном. Дома рушились, корабли подбрасывало на волнах. Уже чувствовалась близость Перу.

Вдоль перуанских берегов трехмачтовик двигался к Центральной Америке. Возможно, он заходил в какой-нибудь порт, может быть, даже в Каллас. Но для Поля Лима была отныне недосягаема. "Все или ничего", - заявила Алина генералу Эченикве. Лима стала теперь просто названием грезы, цветом мечты.

Сквозь эту мечту Поль и глядел на мир, на города, куда заходил его корабль.

Неподалеку от порта Панама, куда в ту пору заходили только маленькие суденышки, "Чили" пришлось бросить якорь у Табоги - одного из многочисленных островов, разбросанных в заливе. Табога, гористый островок два километра в длину и полтора километра в ширину, на триста метров вздымался над зеркалом вод Тихого океана. Тамариндовые деревья, пальмы и олеандры купались в солнечном свете. Туземцы ходили почти голые и жили, не зная забот, потому что природа щедро наделяла их плодами, рыбой и раковинами - всем тем, что им было нужно. Глазами своей мечты смотрел Поль на этот остров вечной весны.

Вскоре ему открылись и другие острова - Полинезия, Таити... Поль глядел на эту "очарованную землю", "девственную землю", где жил "примитивный и простой народ".

---

25 Это плавание продолжалось ровно тринадцать с половиной месяцев. Оно единственное из всех плаваний Гогена, подробности которого нам до сих пор неизвестны (не считая Вальпараисо), но я смог восстановить его в общих чертах благодаря разбросанным в разных местах указаниям: в томе воспоминаний Гогена "Прежде и потом" (Иквикве), в его переписке (Табога), в интервью, данном им "Эко де Пари" 13 мая 1895 года (Таити), в двух статьях Октава Мирбо, опубликованных той же газетой 18 февраля 1891 и 14 ноября 1893 года (Таити), и в книге Шарля Мориса о Гогене (Индия).

Вазы, керамические изделия инков оживали в потемках дома в Сен-Клу. Детство Поля смыкалось с детством человечества. Океан катил на песчаные отмели длинные, бормочущие волны, которые навевали покой, точно материнская колыбельная песня.

Алина пела сыну песни в доме дона Пио. Поль еще не знал, что голос матери умолк, умолк навеки. Только когда он прибыл в Индию, ему сообщили, что Алина умерла в Сен-Клу 7 июля.

Поль Гоген еще не знал, что его детство умерло.

II
ЧЕЛОВЕК С ПЕЧАТЬЮ НА УСТАХ

В эту самую ночь открылось во мне мое внутреннее око, и предстали ему небеса, мир идей и бездны ада,

Сведенборг[26]

В декабре трехмачтовик "Чили" вернулся в Гавр.

Отныне у Гогена не осталось дома - кроме семьи братьев Ароза. Дом в Сен-Клу был для него пуст и неприютен. Там теперь хозяйничала Мари, девушка властная, которая, вероятно, была не прочь злоупотреблять своим нравом старшей... Гоген решил снова уехать. Ему было девятнадцать лет, предстояло отбыть срок воинской повинности. Он решил поступить в военный флот.

Несколько недель спустя план был осуществлен. 26 февраля 1868 года вчерашний второй лейтенант стал матросом третьей статьи (матрикулярный список № 1714), прибыл в Шербур и вскоре был зачислен кочегаром на корвет "Жером-Наполеон" мощностью четыреста пятьдесят лошадиных сил. Только что построенный корвет был переделан в императорскую яхту и отдан в распоряжение принца Наполеона, чаще называемого Жеромом. Корвет "Жером-Наполеон" все время находился в плавании - из Ла Манша шел в Атлантику, а оттуда в Средиземное море. В течение многих месяцев Гоген жил общей жизнью со ста пятидесятью членами экипажа - разнообразие в нее вносили лишь стоянки в порту. Это были то Лориан, то Генуя, то Лиссабон, то Кале, то Гибралтар.

Гоген проработал кочегаром всего несколько недель. Его перевели в рулевое отделение. Это было как раз тогда, когда "Жером-Наполеон", на борту которого в этот момент находились принц Наполеон и его жена, принцесса Клотильда, готовился отчалить из Тулона. Их королевские высочества в течение июня и июля совершили плавание по восточной части Средиземного моря и по Черному морю от Мальты до болгарского порта Варна, от Константинополя и Салоник до островов Киклады.

Глазам Гогена открывались все новые пейзажи. В сентябре корвет пересек Ла Манш и по Темзе дошел до Лондона. На следующий год (это были апрель май 1869 года) новое плавание: из Марселя "Жером-Наполеон" направился в Бастию, потом в Неаполь, оттуда в Корфу и к берегам Далмации, и дальше, по Адриатическому морю, к Триесту (родному городу принца) и Венеции[27].

Военный флот разочаровал Гогена еще больше, чем торговый. Дисциплина его тяготила. Грубость товарищей отталкивала. На суше и на корабле матросы ссорились, затевали драки. Эти потасовки претили Гогену, он старался держаться от них в стороне. Но горе тому, кто вздумал бы искать с ним ссоры. Тяжелый труд, морской воздух, суровое и в то же время здоровое существование закалили его, укрепили мышцы. Среднего роста (1 метр 63

---

[26] Сведенборг, Эманюэль (1688-1772) - шведский философ-мистик.

[27] До сих пор маршруты Гогена на "Жероме-Наполеоне" были неизвестны. Данные, которые я здесь сообщаю, почерпнуты мной из "Матрикулярных списков кораблей за 1863-1880 годы", сохранившихся в архивах истории морского флота.

сантиметра), Гоген был хорошо сложен - узкобедрый с мощным торсом. Хотя он не любил грубости и не ввязывался в матросские побоища, он яростно защищался, если его задевали. Однажды в ответ на замечание старшины, которое он счел несправедливым, он схватил старшего по чину за шиворот и окунул головой в чан.

Эта история едва не кончилась военным трибуналом. Гогену, стяжавшему славу строптивца, пришлось прослужить двадцать восемь месяцев, прежде чем он дождался повышения - 1 июля 1870 года его произвели в матросы второй статьи.

В ту пору королевская яхта стояла в Шербуре. 3 июля она должна была выйти в плавание к мысу Норд - плавание было задумано как развлекательная прогулка, по преследовало и научные цели. Принц Наполеон уже совершил в 1856 году плавание с научной целью в арктические воды, в Гренландию. На этот раз он собирался продолжить свои наблюдения в Лапландии и на Шпицбергене в обществе нескольких ученых и своего друга Эрнеста Ренана. "Жером-Наполеон" бросил якорь в Питерхеде, чтобы оттуда направиться к берегам Норвегии. Погода стояла отличная, на редкость ясная. Корвет, делая пятнадцать узлов, прибыл 8 июля в Берген. Там путешественников ждали тревожные вести из Франции: в связи с тем, что один из Гогенцоллернов под нажимом Бисмарка заявил претензии на испанский трон, отношения Франции с Пруссией резко ухудшились.

Принц Жером, слишком поверхностный, чтобы быть по-настоящему честолюбивым, все-таки испытывал некоторую досаду, что не добился успеха ни на каком поприще. На его выходки уже никто не обращал внимания, но он со свойственной ему непосредственностью открыто и яростно критиковал политику своего двоюродного брата, императора, которого он именовал "олухом". Война? "Они на это не пойдут", - объявил принц. И "Жером-Наполеон" продолжал плавание. Вечером 13 июля он пересек Полярный круг.

Снеговые горы, водопады, низвергающиеся со склонов в море, острова с причудливо изрезанными берегами, над которыми стаями взлетают гаги, непрерывно меняющиеся свет и воздух - все это вызывало восторг путешественников, совершенно позабывших о том, что происходит в мире. 14 июля яхта подошла к острову Тромсё. Несмотря на тревожную депешу, полученную им в этот день, принц упорствовал в своем намерении увидеть "Великие льды". Но депеши следовали одна за другой.

17 июля в шесть утра принц узнал, что война с Пруссией неизбежна. Он дал приказ отчаливать. "Куда мы держим путь, ваше высочество?" - "В Шарантон!", - завопил принц, в ярости расхаживая по палубе. Это был один из тех черных дней, когда, по выражению некоторых придворных, "он смахивал на Виттелиуса"[28]. Прибежавшему Ренану он заявил: "Это их последняя глупость других они уже не наделают!"

Через Эбердин "Жером-Наполеон" прибыл в Булонь. Это было 21 июля, через два дня после вступления Франции в войну[29]. Корвету надлежало присоединиться к эскадре Северного моря. Пополнив свои запасы продовольствием в Шербуре, корвет вышел в море 25 июля и начал патрулировать в датских и немецких водах, доходя иногда до Данцига в Балтийском море. С 26 по 30 августа он стоял в Копенгагене - в том самом Копенгагене, где жила девушка, которой суждено было стать мадам Поль Гоген.

Империя Наполеона III рухнула. 4 сентября была провозглашена Республика. 19 сентября "Жером-Наполеон" был переименован в "Дезе". В октябре он взял в плен один за

---

28 А. де Вьель-Кастель. Мемуары.

29 Матрикулярный список кораблей почти не упоминает об этом плавании в Заполярье. Исследователям Гогена до сих пор была известна только последняя остановка в Тромсё. Познакомившись с материалами, посвященными принцу Наполеону (в частности, с работой доктора Фламмариона), я узнал, что в плавании участвовал Ренан. И действительно, в переписке Ренана ("Семейная переписка". Париж, 1947) я нашел очень точный и притом почти ежедневный отчет о плавании. Кое-какие дополнительные сведения я почерпнул из интервью с Ренаном, которое Георг Брандес опубликовал в сборнике "Избранные эссе" ("Меркюр де Франс". Париж, 1914) и из книги Анриетт Псишари "Ренан и война 1870" (А. Мишель. Париж, 1947).

другим четыре немецких корабля, в том числе 11 октября корабль "Франциска". Гоген оказался в той части команды, которой было приказано нести охрану на корабле - он покинул борт "Франциски" только 1 ноября.

Стремительно развивавшиеся события принимали все более тяжелый оборот для французских войск. В середине декабря "Дезе" был направлен к Бордо. Он курсировал вдоль портов Атлантики вплоть до конца февраля 1871 года, когда были подписаны предварительные условия мирного договора.

Война окончилась. А у Гогена было только одно желание - как можно скорей вырваться из своей плавучей тюрьмы. Пять лет, проведенных на море, убедили его, что он совершил ошибку, выбрав профессию моряка. По его собственным словам, этот опыт "отравил его жизнь"[30]. Он поддался мечте, которая обманула его. И та же мечта, та самая мечта порой в часы отдыха вкладывала в его руку карандаш и заставляла рисовать... Он не придавал этому большого значения, просто повиновался какому-то импульсу. "Словно убивал время"[31].

Последнее плавание привело Гогена в Алжир, оттуда он попал в Тулон. В Тулоне 23 апреля Гоген получил десятимесячный отпуск с правом его продления и сошел на берег с корвета "Дезе".

Он собирался вернуться в семью Ароза. Но где жили теперь братья Ароза? В Париже, взбудораженном последними днями Коммуны? Или в Сен-Клу, сожженном немцами в канун перемирия - 25 января?

Дом Алины тоже подвергся опустошению. Гоген не нашел там ничего - ни воспоминаний о матери, ни перуанской глиняной утвари и фигурок. Все погибло в огне. Прошлое существовало отныне только в воспоминаниях матроса, освободившегося от службы.

*

На парижской бирже 6 июня, через несколько дней после падения Коммуны, трехпроцентные бумаги котировались по 53,65 франка. Цена не слишком блестящая, но ни на что иное нельзя было рассчитывать сразу после войны, из которой Франция вышла истерзанной, неуверенной в своем завтрашнем дне.

Подыскивая какое-нибудь место для Гогена, Гюстав Ароза решил устроить его к биржевому маклеру Полю Бертену, контора которого находилась на улице Лафит, 1. Зять Бертена, Адольф Кальзадо, директор финансовой газеты, издававшейся в Париже на испанском языке, "Фундос публикос", был в то же время директором этой фирмы. Гоген получил должность посредника.

Курсы на бирже в этот момент упали довольно низко, объем сделок сократился, но сведущие люди ожидали, что положение скоро изменится. Необходимость восстановить то, что разрушила война, пополнить запасы товаров и даже выплатить пять миллиардов франков контрибуции немцам должна была в ближайшем будущем вызвать большое финансовое оживление.

Гоген никак не был подготовлен к тому, чтобы стать биржевым посредником. Но эта профессия не требовала специальных познаний. Посредники получали распоряжения о купле и продаже от биржевых спекулянтов, собиравшихся в кафе неподалеку от биржи или на бульварах и обсуждавших там свои дела, и заносили их в записные книжки. Многие молодые люди из приличных семей, аристократы и буржуа, нашли в этой профессии удобный способ зарабатывать на жизнь или округлить свое состояние.

Гоген прекрасно справлялся с доверенным ему делом. Если бы не его медленная, тяжеловатая, чуть вразкачку походка, какой обычно ходят моряки, трудно было бы узнать бывшего матроса в этом молодом, элегантно одетом человеке, в цилиндре, который

---

30 Из письма сестры Гогена Марии к Шарлю Морису.

31 Октав Мирбо.

старательно заполнял свою книжицу, под диктовку клиентов кафе Тортони или в Английском кафе. Однако его первые шаги ознаменовались маленьким происшествием.

В ту пору служащие биржевых маклеров имели обыкновение разыгрывать новичков. Когда Гоген в первый раз вошел в огромный зал биржи, его коллеги дважды сбили с него цилиндр. Заметив, что над ним потешаются, Гоген бросился к группе зубоскалов, схватил одного из них за горло - кисти у Гогена были узкие, но пальцы длинные - и стал душить. У него с большим трудом вырвали его "жертву".

На бирже Гоген не завел себе друзей. В кругу биржевиков, как за десять лет до того в семинарии и позже во флоте, он держался особняком. Его отношения с окружающими почти всегда ограничивались профессиональными рамками. То, что занимало или забавляло его коллег, оставляло его равнодушным. Чужак. Ни с кем настоящей душевной близости. Его считали странным, скорее, неприятным. Его замкнутость принимали за высокомерие, тем более что на деловом поприще Гоген действовал довольно успешно. Скупой на слова, посредник умел, однако, убедить нерешительных биржевых спекулянтов, соблазнить их выгодной перспективой, выдать надежду за уверенность. А так как биржевые курсы неуклонно повышались, его прогнозы часто оправдывались. Бертен был очень доволен своим посредником. Ароза радовался, что выбрал для Поля именно это поприще.

Вообще с семьей Ароза отношения у Гогена были прекрасными. В их доме задумчивый Гоген совершенно преображался. Он становился оживленным. Его лицо, почти всегда хранившее серьезное выражение, иногда смягчалось улыбкой. Глаза прояснялись - из серовато-зеленых становились голубыми. Гоген слушал.

В семье Ароза почти не говорили о финансовых делах. Гюстав Ароза и его брат Ашиль при первой возможности отвлечься от деловых забот возвращались к любимой теме - искусству, живописи. Несколько лет назад Гюстав расширил круг своей любительской деятельности.

Оп уже не ограничивался коллекционированием. Откупив патент на особый метод фототипии, он иллюстрировал такие художественные издания, как "Колонна Траяна" Вильгельма Френера или "Прудон" Шарля Клемана. Всех, кто их окружал, Ароза заражали своей страстью к искусству. Младшая дочь Гюстава, Маргарита, хотела стать художницей. Даже крестник Ашиля, мальчик лет девяти-десяти, пытался что-то писать на холсте и твердил, что, когда вырастет, тоже станет живописцем[32].

Часто по воскресным дням в доме Ароза в Сен-Клу на улице Кальвер или в Вирофлейском лесу Маргарита и Гоген устанавливали рядом свои мольберты: девушка обучала биржевого посредника начаткам живописи.

Надо полагать, Гоген не заставил себя долго упрашивать, чтобы взять в руки кисти, которые ему предлагала Маргарита. Этот сдержанный и пассивный с виду юноша, этот углубленный в себя молчун, который мальчиком вырезал рукоятки кинжалов, а матросом рисовал на корабле, испытывал потребность выразить себя, но не в беседе, не в играх, не в дружеских отношениях. Он, который с материнской стороны через семью Шазаль вел свое происхождение от людей, так или иначе имевших отношение к искусству[33], занимаясь живописью, удовлетворял тем своим смутным, но изначальным потребностям, которые человек, обнаруживший их в себе, начинает считать неотъемлемой частью своего "я".

---

[32] Этот мальчик, тайна рождения которого до сих пор не раскрыта, до десятилетнего возраста жил у Ашиля Ароза. В 1872 году, после своей женитьбы, финансист с ним расстался. Мальчик стал в дальнейшем не художником, а музыкантом. Это был Ашиль-Клод Дебюсси. С того момента, как они расстались, и вплоть до своей смерти Дебюсси никогда больше не упоминал имени своего крестного отца.

[33] Брат Андре Шазаля, Антуан, профессор при Музее естественной истории, умер в 1854 году. Он регулярно выставлял свои полотна в Салоне. В 1831 году он удостоился медали второго класса. Его сын Шарль-Камиль, родившийся в 1825 году, пошел по его стопам. С 1849 года он выставлялся во всех Салонах. В 1851 году удостоился медали третьего класса. В 1861 второго (Шарль-Камиль Шазаль умер в 1875 году).

Стоя рядом с Маргаритой, Гоген делал наброски пейзажей. Само собой он писал под влиянием многократно виденных в доме Ароза произведений, которые братья охотно ему поясняли, в частности произведений Коро. "Дивный Коро... Он был мечтателем, глядя на его полотна, я тоже предаюсь мечтаниям".

Гоген мечтал, глядя и на другие полотна - не только на те, что были собраны у братьев Ароза, как полотна Делакруа, которым он всю жизнь будет восхищаться ("У этого человека темперамент хищника"), Курбе и Домье, "который лепит иронию". Когда у биржевого посредника выдавалась свободная минута, он шел в музеи, в галереи. Впрочем, ему достаточно было выйти из своей конторы и бродить по улице Лаффит - тогда это был центр торговли произведениями искусства, - чтобы любоваться картинами.

Заработки Гогена росли, но он вел размеренный, благоразумный образ жизни. Он поселился на улице Ла Брюйера, 15, неподалеку от жилища своего опекуна, и вечером, где-нибудь наскоро поужинав, сразу возвращался к себе. Он не искал развлечений - разве что изредка по субботам посещал балы. Он предпочитал сидеть дома с книгой. Среди его любимых авторов были Эдгар По[34], Барбе д'Оревильи[35], Бальзак, Шекспир. Он читал не слишком много книг, но постоянно возвращался к тем, которые ему нравились, как, например, "Философские этюды" ("Серафита" и "Поиски абсолюта") Бальзака.

Самый пунктуальный и самый ловкий среди служащих Бертена, он быстро заполнял распоряжениями свою записную книжку. Человек незаурядного ума, он соображал быстрее своих товарищей. Да и действовал смелее. Там, где другие колебались, он шел на риск и умел увлечь за собой клиентов. Трудности его не смущали. И это не было фанфаронством. Просто он верил, что все всегда устраивается к лучшему. "Флора Тристан, - писал Жюль Жанен, - очень здраво судила об окружающем мире, но вдруг туманные облака снов наяву и фантастические лабиринты воздушных замков заволакивали свет ее разума". В этом смысле биржевой посредник был похож на свою бабку. Он очень быстро освоил практику биржевых операций и давал советы, как человек искушенный в тайнах финансового рынка. Но он тоже строил воздушные замки, не допуская, что дела могут принять и не самый счастливый оборот. В другое время его иллюзии рассеялись бы очень быстро. Но в эту пору Франция опять переживала подъем, прогнозы Гогена оправдывались, а это укрепляло его оптимизм, снискало ему славу осмотрительного биржевика и уважение Бертена.

"Скупец - это безумец", - писала Флора Тристан. Гоген зарабатывал деньги, но не думал о них. Он не придавал им значения. Деньги текли у него между пальцев. Он был беспечен как ребенок или как дикарь. "У меня два свойства, которые не могут быть смешными: я ребенок и я дикарь".

Однажды, еще в Орлеане, малыш Поль принес из школы несколько шариков из цветного стекла. "Мать в негодовании спросила, откуда у меня эти шарики. Опустив голову, я объяснил, что получил их в обмен на свой мяч". "Как, ты, мой сын, занимаешься торговлей?" В устах моей матери слово "торговля" звучало как нечто презренное. Бедная мама! Она была права и неправа, в том смысле, что, уже ребенком, я понимал: на свете есть многое такое, что не продается".

Ни одна удачная биржевая спекуляция не вызывала у биржевого посредника такого трепета, какой вызывали у него картины Энгра[36], Веласкеса[37], или экзотическая

---

[34] По, Эдгар (1809-1849) - американский писатель-романтик, поэт, критик, очень популярный во Франции во второй половине XIX века.

[35] Барбе д'Орвельи, Жюль (1808-1889) - французский писатель и литературный критик.

[36] Энгр, Жан-Доминик (1780-1867) - французский художник, глава неоклассицизма во французской живописи XIX века. Его картины изучали не только Гоген, но и такие художники, как Дега, Ренуар, Пюви де Шаванн.

[37] Веласкес, Диего (1599-1660) - великий испанский художник-реалист.

первобытная глиняная утварь, будившая в нем воспоминания и навевавшая грусть. Как хороша была его мать в своем перуанском костюме, когда она прогуливалась среди золотистых цветов Аллеи Нарцисов.

В лесах Виль-д'Аврё обвитые плющом дубы Коро, "проникновенных золотистых оттенков", отличались "тропической сочностью"...

*

Время от времени Гоген обедал в семейном пансионе, который открыла жена скульптора, мадам Обе.

В конце 1872 года он познакомился там с двумя молодыми датчанками, приехавшими в Париж. Одна из них, гувернантка Метте-София Гад, сопровождала другую - наследницу богатого копенгагенского промышленника - Марию Хеегорд.

Внимание нашего биржевика привлекла не дочь промышленника, а гувернантка. Смеющееся лицо Метте-Софии, ее густые светлые волосы, пышные округлые формы, решительный вид, откровенная, без робости манера говорить и расспрашивать покорили его с первого взгляда.

За первыми встречами последовали другие. Метте, захватив с собой Марию Хеегорд, без смущения приходила в маленькие ресторанчики неподалеку от биржи, где имел обыкновение завтракать Гоген. Молодым людям (Гогену исполнилось двадцать четыре, Метте - двадцать два) было о чем поговорить. Гоген знал Копенгаген. В августе 1870 года на "Жероме-Наполеоне" он прошел через Каттегат вблизи острова Лесе, где в сентябре 1850 года в Вестерхавне родилась Метте и где ее отец был окружным судьей.

После смерти отца Метте жила в Копенгагене с матерью, двумя братьями и двумя сестрами. У матери была только маленькая пенсия и Метте смолоду пришлось думать о том, как заработать на жизнь. В семнадцать лет она устроилась гувернанткой в семью политического деятеля, министра Эструпа. Жизненный опыт рано сделал ее взрослой, а неудачный роман с морским офицером научил быть осторожной и в предвидении последствий смирять сердечные порывы. Впрочем, Метте это не стоило никакого труда. Она отнюдь не отличалась чувствительностью и еще менее чувственностью. Любовные интрижки, кокетство не доставляли ей ни малейшего удовольствия. Она считала их ребячеством. Ее независимость, свободная манера держаться и выражаться напрямик резко отличали ее от многих молодых девиц. Даже ее братьев это иногда удивляло, а подчас коробило. В самом деле, природа словно ошиблась, создавая Метте-Софию Гад. В этой рослой, пышногрудой девушке было больше мужского, чем женского. Кстати, она охотно надевала мужскую одежду, а если ей предлагали сигару - не отказывалась от нее[38].

Эти ее черты, возможно, объясняют первую любовную неудачу Метте. Они должны были отталкивать от нее многих мужчин. Но они же привлекли и удержали далекого от реальности мечтателя Гогена, которого до этого еще ни разу всерьез не пленила ни одна парижанка. А в этой крепко сбитой иностранке, властной, самоуверенной и лихой, он увидел "оригинальный характер", его пленивший. В ее присутствии исчезало чувство одиночества, которое так часто его мучило. Рядом с этой холодной и рассудительной скандинавкой он испытывал ощущение уверенности - вновь обретенной уверенности. Метте-София Гад заполняла пустоту.

Гоген увлекся. В пустынном для него Париже, где он чувствовал себя - и характерно сформулировал это однажды - "одиноким, без матери, без семьи", Метте в угаре страсти рисовалась ему сильной женщиной, покровительницей, объятиям которой он может довериться как дитя. Он включил Метте в мир своего воображения.

Молодые люди быстро пришли к согласию.

---

[38] Эти черты впоследствии усугубились. В 1905 году, когда еще существовали купе "для дам", контролер Южной железной дороги пытался вывести из одного такого купе мужчину в галстуке и кепке, курившего длинную сигару,- это была Метте-София Гад.

Метте весело смеялась, довольная тем, что покорила этого благоразумного молодого человека, который избавит ее от необходимости думать о хлебе насущном, этого биржевика, успешные спекуляции которого свидетельствовали о том, что он хорошо разбирается в цифрах и знает толк в деньгах.

В начале 1873 года Метте-София Гад вернулась в Копенгаген, чтобы объявить родным о своей помолвке.

*

Гюстав Ароза добросовестно выполнил миссию, возложенную на него Алиной. Решение и выбор Гогена он одобрил вполне, так же как и Бертен.

Оба дельца сразу же расположились к Метте-Софии Гад, которая своим жизнелюбием, самоуверенностью, бойким остроумием и здравым смыслом произвела на них самое благоприятное впечатление. Эта положительная девица казалась им самой подходящей подругой для их подопечного. Они были свидетелями во время брачной церемонии, которая состоялась в субботу 22 ноября в мэрии IX округа. Двумя другими свидетелями были отец Гюстава, восьмидесятисемилетний Франсуа Ароза, и секретарь датского консульства. Так как Метте была протестанткой, церковный брак был освещен в лютеранском храме Искупления на улице Шоша.

Молодая чета поселилась в маленькой квартирке на площади Сен-Жорж, 28[39], которую Гоген со вкусом обставил. Биржевик сам продумал всю обстановку до мелочей. Заработки позволяли ему не стесняться в расходах. Бертен повысил его в должности, назначив ликвидатором. Гоген накупил дорогих вещей - старинный фаянс, восточные ковры. Теперь он стал еще большим домоседом, чем когда был холостяком. Ему никуда не хотелось выходить. Читать, писать красками, рисовать (он попытался нарисовать портрет Метте) таковы были его единственные развлечения.

"Мы провели чудесную зиму, разве что на взгляд других жили немного отшельниками", - писал он в апреле 1874 года жене промышленника, госпоже Хеегорд. На взгляд других - отшельниками, на взгляд Метте - безусловно тоже. Молодая женщина любила светскую жизнь, сборища, шум и суету. В отличие от мужа, всегда склонного к замкнутости, она была общительного нрава. Замужество льстило ее тщеславию, а оно у нее было весьма велико. Ей хотелось покрасоваться перед окружающими, щегольнуть красивыми нарядами, услышать комплименты. Положение Поля, все более завидное (несмотря на политические волнения [40], дела на бирже шли очень бойко), давало возможность молодой чете завязать связи с влиятельными людьми.

Метте пыталась втолковать Гогену, насколько эти связи полезны и важны для его карьеры. Но это был напрасный труд. Кроме братьев Ароза, с которыми Гоген продолжал поддерживать отношения, и семьи Кальзадо Гоген почти ни с кем не водил знакомства. Метте приходилось довольствоваться встречами с немногочисленными приятельницами, с которыми она свела случайную дружбу, и с заезжими скандинавами, вроде норвежского художника Фритса Таулова[41], ставшего незадолго перед тем ее деверем (он женился на сестре Метте Ингеборг).

Впрочем, Метте не жаловалась. Ей не в чем было упрекнуть Поля. Он был образцовым мужем, внимательным и щедрым - он никогда не отказывал в деньгах своей "женушке", и не

---

[39] Этот адрес, упомянутый в брачных записях прихода церкви Искупления, подтвержден записью о рождении первенца Гогена (Записи актов рождений мэрии IX округа).

[40] Эти волнения были вызваны главным образом подготовкой конституционных законов. Третья Республика официально родилась только в 1875 году, а в эту пору еще шла борьба между монархистами и республиканцами.

[41] Таулов, Фритс (1847-1906) - норвежский живописец.

было сомнений, что он будет таким же образцовым отцом. Метте ждала ребенка.

Но как ошибались коллеги Гогена, когда в его неразговорчивости, в отчужденном выражении лица и глаз с тяжелыми веками, в складке рта, казавшейся иронической, видели ограниченность и самодовольство! Если бы они знали, как мало значения придавал он социальной иерархии! Настолько мало, что в маклерской конторе свел дружбу с одним из самых скромных служащих чиновником, получавшим двести франков в месяц.

Приземистый, коротконогий, большеголовый и бородатый; высокий лоб, глаза слегка навыкате, плавные жесты, речь бойкая, взгляд веселый - таков был этот экспансивный и добродушный чиновник. Он родился в 1851 году (то есть на три с половиной года позже Гогена) в департаменте Верхняя Сона во Френ-Сен-Мамес от эльзасца и уроженки Франш-Конте. Имя его было Клод-Эмиль Шуффенекер[42]. Но обычно его называли просто Шуфф. Воспитанный дядей и теткой, он вначале работал вместе с ними на их маленькой шоколадной фабрике, неподалеку от Парижского рынка, потом поступил на службу в Министерство финансов и, наконец, попал к Бертену. Хотя, в отличие от Гогена, Шуфф был бережлив и благоразумен, финансовые проблемы его совершенно не интересовали. И, наверное, сослуживцы Гогена были бы искренно удивлены, доведись им слышать, о чем говорят между собой ликвидатор и Шуфф. Они рассуждали только о рисунке и живописи.

Шуфф мечтал стать знаменитым художником. Слава! Надо было слышать, как он произносит это слово своим скрипучим голосом! В восемнадцать лет он удостоился золотой медали в парижской школе рисунка, которую посещал по вечерам, и эта награда внушила ему полную уверенность, что его ждет блестящее будущее на поприще живописи. После работы Шуфф посещал мастерские, руководимые художниками академического направления, такими, как Поль Бодри[43] и Каролюс-Дюран[44]. Особенно он почитал Бодри.

Теперь Гоген и Шуффенекер проводили вместе большую часть досуга. Шуфф, вероятно, не принадлежал к числу знакомств, о которых мечтала Метте. Вид у чиновника был, скорее, смешной - одежду и обувь он покупал у старьевщиков. Но этот веселый, беззлобный, почти беззащитный и по-детски наивный человек с преданным собачьим взглядом, который, восхищаясь Гогеном, он не без восхищения устремлял и на Метте, сразу же ей понравился. И она охотно принимала его.

Увидев наброски Гогена, Шуфф тотчас с восторгом заявил, что у него огромное дарование. Он ввел его в академию Колларосси, которая помещалась на левом берегу, на улице Гранд-Шомьер[45].

Гоген сопровождал Шуффа не только к Колларосси. Иногда в воскресенье единомышленники назначали друг другу свидание в Лувре. А иногда отправлялись писать в какой-нибудь пригород.

---

[42] Шуффенекер, Эмиль (1851-1934) - французский художник, получил известность в основном благодаря дружбе с Гогеном, который писал о нем в 1893 году следующее: "В живописи темперамент у него (Шуффенекера) был ниже нуля. Сперва он был поклонником Бодри и иже с ним, потом из духа противоречия или из коммерческих соображений (Салон не пожелал открыть для него свои двери) переменил курс. Тогда он... пожелал идти за мной и опередить меня..." (Цит. по кн.: Поль Гоген. Письма. Ноа Ноа. Из книги "Прежде и потом". Л., 1972, с. 67).

[43] Бодри, Поль (1828-1867) - французский художник, мастер парадных портретов.

[44] Каролюс-Дюран, Эмиль (1838-1917) - французский художник, мастер парадных портретов.

[45] Академия Колларосси сменила основанную в 1815 году папашей Сюисом на острове Сите Свободную академию, которая была так популярна среди молодых художников. Проданная Сюисом некому Кребассолю, академия впоследствии была куплена итальянцем-натурщиком Колларосси, который после войны 1870 года перенес ее на Монпарнас. Колларосси был родом из Пиччиниско - деревни в Абруцци, которая поставляла парижским ателье бесчисленное множество натурщиков. Во время Второй Империи итальянцы в качестве натурщиков почти всюду вытеснили французов. Эту монополию они сохранили до войны 1914 года.

Вскоре, однако, Гогену пришлось прекратить эти вылазки. Несмотря на свое крепкое сложение, Метте была неженкой, она стонала и плакала из-за малейшего недомогания. Естественно, что ее пугали приближающиеся роды. Она хандрила, еле передвигалась по комнате. Гоген не отходил от нее ни на шаг.

Но и тут он не сидел без дела. Десятки раз повторяя один и тот же сюжет, он вновь и вновь рисовал этюды рук и ног. Метте, которой эти рисунки очень нравились, была поражена дарованием мужа. Какой приятный любительский талант!

Но этот любитель вкладывал столько усердия и энергии в свою работу, что становился глух и слеп ко всему окружающему. Чего же все-таки искал Гоген на кончике своего карандаша? Разве ему чего-то не хватало в жизни - в том позолоченном существовании, которому многие завидовали?

Госпожа Хеегорд спрашивала Гогена в письме, не собирается ли он приехать в Данию.

"Я принадлежу к тем людям, - отвечал ей Гоген в июле, - которых судьба приговорила к оседлости. Я слишком много путешествовал, и поэтому теперь обречен на пожизненный труд. Будем же переносить эту участь по возможности стойко".

Странно звучат эти слова в будничном письме. Как отдаленный грохот, как глухой грозовой раскат.

*

31 августа Метте родила сына, которого назвали Эмилем. Гоген был в восторге. Молчальник громко ликовал, глядя на этого младенца, "белого, как лебедь, и сильного, как Геркулес", на это "чудо" - своего сына! "Не думайте, что так судит о нем материнское и отцовское сердце, это всеобщее мнение", - объявил он госпоже Хеегорд.

Оправившись после родов, Метте с ребенком уехала в Данию и провела там некоторое время. После ее возвращения маленький Эмиль стал моделью Гогена. Гоген неутомимо писал и рисовал сына, теша одновременно свою любовь к искусству и отцовскую любовь.

Работа у Бертена отнимала все его время. 4 сентября, в годовщину падения империи, когда правительство опасалось волнений, продажная цена ренты достигла ее номинальной стоимости. Деньги текли на биржу, которую во время собраний, продолжавшихся по три часа, заполняла все более многочисленная и шумная публика. Вокруг "корзины", у которой располагались маклеры, волновалась, кипела распаленная страстью к игре и к наживе толпа спекулянтов и всевозможных посредников; некоторые из них, сбившись в кучки, сообщали друг другу на ухо названия ценных бумаг, цифры, давали советы, что купить и что продать, а снаружи, у колоннады биржи, в любую погоду, под гомон еще более густой и, может быть, еще более возбужденной толпы производили свои операции агенты неофициальной биржи - кулисы.

Но как ни был Гоген занят своей службой, он снова прилежно посещал вместе с Шуффом академию Коллароссн. В противоположность большинству любителей, которые очень легко удовлетворяются своими маленькими достижениями, не замечая трудностей, которые предстоит преодолеть, Гоген чем больше рисовал и писал, тем более сложной считал свою задачу и тем острее чувствовал неудовлетворенность. Он понимал, что ничего не знает. Мрачный, недовольный собой, он, однако, не отступал и терпеливо, упорно, настойчиво возвращался к мучившим его проблемам.

Гоген не принадлежал к числу тех пламенных натур, которые продвигаются вперед в разрушительном порыве, в вихревом горении. В нем все совершалось внутри, в недрах души. Внешне ничто в нем не выдавало медленного кипения лавы. Разве что изредка в академии Коллароссн у него вырывалась более резкая фраза или категорическое суждение, которые говорили о том, что живопись для него не просто беззаботное времяпрепровождение. Гогена раздражали столпы официального искусства, которых никогда не признавали братья Ароза. Одному венгру, который отрекомендовался учеником Бонна[46], Гоген ответил: "С чем вас и

---

[46] Бонна, Леон (1833-1922) - французский художник, отличался склонностью к натуралистической точности в изображении модели.

поздравляю" - и добавил, намекая на выставленный Бонна в Салоне 1875 года "Портрет госпожи Паска": "Своей картиной в Салоне ваш патрон одержал победу на конкурсе рисунка для новой почтовой марки!"

"Славный Шуфф", которого ослепляли успехи академиков, бьющая на эффект крикливая пышность какого-нибудь Каролюса-Дюрана, затянутого в камзол по моде XVI века, слыша подобные заявления Гогена, находил, что тот слишком уж язвителен и непримирим.

Метте забавляли жаркие споры двух художников-любителей, которые иногда велись при ней. Но она не придавала значения этим "пустякам". Слишком занятая собой, чтобы интересоваться тем, что ее непосредственно не затрагивало, она жила в маленьком мирке собственных забот, тщеславия, женских прихотей, жажды нарядов и роскоши. Язвительный психолог сказал бы, что к Гогену ее привязывали только деньги. Она их требовала непрерывно. Ликвидатор в шутку называл ее "продажной".

Но без всякого сомнения, она оставалась в его глазах той самой женщиной, какой он ее вообразил однажды. Он по-прежнему ее любил. Однако в глубине его души, в потаенных ее уголках, смутное и неосознанное зрело разочарование, которое впоследствии, когда пробил час обид, вылилось в долгих и горьких жалобах. Нет, его брак не был "обменом мыслями и чувствами", на который он надеялся, пылкой и стойкой привязанностью, надежным материнским объятием. В конце концов, может, он потому и отдавался с такой страстью живописи, что снова, в который раз, почувствовал себя один на один с самим собой, со своей судьбой человека, которого куда-то звали далекие голоса.

Пока Метте занималась хозяйством (вернувшись из Копенгагена, она наняла служанку - Жюстину), маленьким Эмилем и примеркой у портних, Гоген заполнял колонки цифр в конторе биржевого маклера или стоял с мольбертом на берегах Сены.

С зимнего неба, низкого и унылого, лился свинцовый, зеленоватый свет. Гоген писал заснеженные набережные, холодную реку, по которой вверх и вниз плывут баржи. Безрадостный вид[47].

Сомневаясь в себе и словно бы желая получить подтверждение, что его усилия не совсем напрасны, Гоген решил втайне от всех (ни Метте, ни Шуфф не знали о его планах) попытать счастья в Салоне 1876 года. Когда наступил срок представления картин, он послал в жюри "Лес в Вирофле".

Жюри 1876 года, злобно ненавидевшее Эдуарда Мане[48], художника, возбуждавшего в ту пору наиболее жаркие споры, отвергло две картины, представленные этим знаменитым и гонимым автором, но приняло "Лес", написанный каким-то незнакомцем.

"Г-н Поль Гоген... подает большие надежды", - писал один из критиков[49].

*

Гоген не разделял мнение жюри о Мане. Мане был художником, которого в эту пору своей жизни он считал, пожалуй, наиболее интересным. Он внимательно изучал его картины.

Гоген продвигался вслепую. Целый мир форм, красок, чувств бушевал в нем, а он не мог его уловить. Зыбкий мир, таинственный, как туманности, в которых нарождаются еще не

---

47 Написанная в 1875 году картина, о которой здесь идет речь, называется "Сена у Иенского моста" и в настоящее время находится в Лувре.

48 Мане, Эдуард (1832-1883) - французский художник, в 1876 году жюри Салона отвергло две его картины - "Белье" и "Художник" (портрет Марселена Дебутена). Тогда Мане выставил их для публичного обозрения в своей мастерской. Новаторское творчество Мане еще с начала 1860-х годов вызывало бурное обсуждение. Мане первым обратился в живописи к тем проблемам, которые затем развивались в творчестве импрессионистов, он был их другом, но никогда не участвовал в их выставках.

49 Шарль Ириат в "Газет де боз-ар".

оформившиеся мириады звезд, чья молочная расплывчатая масса переливается в пространстве. Этот мир давил на него. Под влиянием Мане Гоген писал картину за картиной, в частности натюрморты. Посвящая живописи все свободное время, он ощупью, неуверенно искал свою дорогу. Принадлежа к породе бессонных душ, он часто за полночь бился над каким-нибудь начатым этюдом и отрывался от него против воли с тяжелым, гнетущим чувством недовольства собой.

Эта ночная работа совершенно не отражалась на профессиональной жизни Гогена. Каждое утро с безукоризненной точностью Гоген отправлялся к зданию на улице Лаффит, где на третьем этаже находилась контора маклера - нового маклера Галишона, которому Бертен передал свое дело. Так же тщательно и методично, как прежде, Гоген выполнял свою работу, заполняя приказы и бордеро[50] своим четким, округлым, без завитушек почерком. Под его пером то и дело возникали названия далеких стран. Названия, перед обаянием которых не могли устоять многие биржевые спекулянты. Люди белой расы покрывали всю планету своими предприятиями, иногда совершенно дутыми, вроде пресловутых калифорнийских золотых приисков, которые за четверть века вызвали к жизни три, а то и четыре сотни финансовых обществ с многообещающими названиями и разоряли вкладчиков, плененных химерами. Биржа тоже была своего рода мечтой.

Потом наступал вечер. На первом этаже здания, где служил Гоген и которое одним своим фасадом выходило на Итальянский бульвар, знаменитый ресторан "Мэзон Доре" уже сверкал всеми своими огнями. Для Гогена начиналась его "ночная жизнь".

Выйдя от Галишона, биржевик шел в картинные галереи. Совсем близко, на улице Ле Пелетье, открылась галерея торговца Дюран-Рюэля, где весной описываемого нами 1876 года состоялась вторая выставка группы художников, которых теперь называли "импрессионистами". Среди них был Камиль Писсарро[51], о котором Гоген часто слышал от братьев Ароза. У Гюстава и Ашиля было не меньше восьми картин этого художника, который, несмотря на свой талант, упорный труд и долгую борьбу (Писсарро уже исполнилось сорок шесть лет), продолжал бедствовать. Если ему встречался любитель, готовый уплатить за картину сто франков, Писсарро без колебаний расставался со своим полотном.

Гогену случилось несколько раз заговорить с Писсарро у Дюран-Рюэля, а может быть, и у одного из братьев Ароза - этого было довольно, чтобы Гоген привязался к Писсарро.

Биржевик сразу оценил, как глубоки, обдуманны и выношены суждения этого художника, который был значительно старше Гогена и которому так не повезло. В Писсарро с его пушистой белой бородой и почти голым черепом было что-то от библейского патриарха (по происхождению он был еврей). Увлеченный проблемами техники и различными теориями, не только художественными, но и политическими (Писсарро увлекался социализмом), художник любил делиться с другими своими знаниями, опытом, внушать им свои убеждения. В нем жила глубокая внутренняя потребность в педагогической деятельности. На редкость терпеливый, не склонный к безапелляционности и совершенно лишенный чувства превосходства, он обладал величайшим достоинством педагога по призванию умением ясно излагать свои мысли. Гоген слушал его со страстным интересом. Ему казалось, что Писсарро внезапно осветил ему путь - он почувствовал, что с его плеч упал тяжелый груз.

Писсарро был учеником Коро, потом его увлек Курбе и, наконец, Мане. Он входил в ту самую "банду Мане", которая сложилась после скандала с "Олимпией", в 1865 году[52], и

---

50 Опись, сопровождающая финансовые документы. - Примеч. пер.

51 Писсарро, Камиль (1830-1903) - французский художник-импрессионист. Постоянный участник всех выставок импрессионистов. Благодаря ему Гоген также стал их участником.

52 Картина Мане "Олимпия" (1863, Лувр), изображавшая лежащую обнаженную куртизанку, была

собиралась в кафе Гербуа, на бульваре Батиньоль. Это кафе стало колыбелью импрессионизма. Писсарро ближе познакомил Гогена с живописью художников-новаторов, которые решительно отказались от приемов академической школы и которых пресса поливала грязью, - это были Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Поль Сезанн, Берта Моризо[53]... Писсарро учил биржевика тому, чему до него учил уже других художников. Убежденный сторонник "светлой" палитры, он повторял Гогену, как прежде Сезанну, в жизни которого сыграл огромную роль, что писать надо только "тремя основными цветами[54] и их непосредственными производными".

И Гоген без колебаний пошел на выучку к Писсарро. Он приглашал Писсарро к себе, расспрашивал его, показывал ему свои наброски, прислушивался к его замечаниям и советам.

Метте была в восторге от этого нового знакомства. В самом деле, ее муж не часто "приглашал кого-нибудь в гости"[55]. К тому же Писсарро прекрасно действовал на Гогена: в присутствии художника от угрюмости биржевика не оставалось и следа.

Вдобавок оказалось, что хотя семья Писсарро происходила из Португалии, сам он родился на Антильских островах, на принадлежащем Дании острове Сент-Томас, и таким образом был почти соотечественником Метте. И первым его учителем был датский художник Фритс Мельбюэ [56] . Метте обрадовали все эти совпадения, и она сразу почувствовала себя с Писсарро накоротке.

Вместе с Фритсом Мельбюэ и совершил Писсарро в двадцать два года побег из родного дома, определивший его судьбу. Отец Писсарро, владевший на Сент-Томасе скобяной лавкой, несомненно, предназначал сына к коммерческой деятельности. Но юноша думал только о живописи. Еще ребенком Писсарро все время рисовал. Эта склонность углубилась в годы учения в парижском пансионе в Пасси, директор которого уговаривал Писсарро совершенствовать свое дарование. "Главное побольше рисуйте кокосовые пальмы", - советовал он молодому человеку, когда тому пришла пора возвращаться на Антильские острова. Писсарро служил в скобяной лавке отца, когда он познакомился с Мельбюэ, который предложил ему поехать с ним в Каракас, и - рассказывал Писсарро, - "я без раздумий бросил все". Три года спустя он снова поехал в Париж, на сей раз, чтобы изучать там живопись... Хотя ни Гоген ни Писсарро не задумывались над этим, сын скобяного торговца с острова Сент-Томас учил потомка семьи Тристан Москосо не одним только принципам импрессионистической живописи. Сам того не желая, он подал ему пример жизни, целиком и полностью отданной служению искусству. Искусство не терпит половинчатости. "Я бросил все" - эти три слова сыграли в жизни Гогена роль фермента.

Гоген иногда встречался с Писсарро в кафе "Новые Афины", куда, покинув кафе Гербуа, перебралась "банда Мане", пополнившаяся новыми членами. Многочисленные участники выставок импрессионистов, их друзья, критики, кое-кто из писателей приходили сюда поболтать в круглом зале, расположенном в глубине кафе и называвшемся "Сенакль".

выставлена в Салоне 1865 года и вызвала бурное негодование публики. В картине содержался протест против традиционной идеализации наготы, скрытая насмешка над Салоном и академизмом. "Олимпия" стала знаменем новой французской живописи.

[53] Клод Моне, (1840-1926), Эдгар Дега (1834-1917), Огюст Ренуар (18411919), Альфред Сислей (1839-1899), Поль Сезанн (1839-1906), Берта Моризо (1841-1895) - французские художники. Все они, за исключением Сезанна, были активными участниками выставок импрессионистов.

[54] Красным, желтым и синим.

[55] Гоген Пола. Поль Гоген, мой отец.

[56] Мельбюэ, Фритс (1826-1896) - датский маринист и пейзажист.

Биржевик больше не посылал в Салон ни одной своей работы. Он примкнул к непокорным. Можно было заранее сказать, что когда придется выбирать между гонимыми, непризнаваемыми импрессионистами и академиками, милыми сердцу добряка Шуффа, Гоген изберет первых. Импрессионисты с их главой Мане главой неблагодарным, потому что, мечтая об официальном успехе, он отрекался от своих последователей, хотя любил их и помогал им, представляли собой единственное жизнеспособное течение современной живописи. Слова Писсарро были для Гогена откровением, но к этому откровению его подготовило все - начиная от волнения, которое он впервые почувствовал перед картинами из коллекции Ароза, и кончая влиянием Коро, а потом Мане, которое он сознательно воспринял.

Однако Гоген по-разному оценивал произведения импрессионистов, которые составляли куда менее однородную группу, чем это рисовалось насмешникам профанам. Игра света в небесах и на воде, пробивающегося сквозь дымку испарений или сквозь листву, его переливы, тени и отражения, которые с увлечением передавали Моне, Ренуар, Сислей (Моне в это время писал серию картин под стеклянным куполом вокзала Сен-Лазар, Ренуар только что окончил "Бал в Мулен де ла Галетт", Сислей "Наводнение в Пор-Марли"), не слишком привлекали Гогена. Эти картины были слишком радужны и воздушны, чтобы всерьез тронуть его. Подобное искусство так же мало отвечало его созерцательной натуре, как некоторые излюбленные сюжеты импрессионистов все эти полотна, где нарядные краски запечатлевали веселье воскресных народных гуляний, пригородные ресторанчики, гребцов - мужчин и женщин, скользящих в лодках по Сене, переливающейся в солнечных лучах, сады с влюбленными парочками, где в гуще зелени расцветают великолепные цветы. Гогена куда больше привлекали сельские пейзажи Писсарро, написанные в тонах более сдержанных, глухих, менее блистательные, но передававшие значительность людей и явлений, связанных с землей. Биржевик, чьи предки в общем-то еще недавно крестьянствовали в Гатине - да и разве не от крестьян унаследовал Гоген свою тяжеловесную медлительность, свою привычку все обдумывать не торопясь, - биржевик в цилиндре ни разу так и не написал ни одну из миловидных парижанок, которые, прогуливаясь под зонтиком в платьях с турнюрами, пленяли взоры многих художников, собиравшихся в кафе "Новые Афины".

Впрочем, Гоген не сошелся близко ни с кем из группы импрессионистов, за исключением одного из подопечных Писсарро - Армана Гийомена[57], который был старше Гогена на семь с половиной лет. За плечами Гийомена был уже довольно долгий творческий путь - он участвовал в памятной выставке Салона Отверженных в 1863 году. Но путь этот был не гладким. Гийомен тоже оставался художником-любителем, может, поэтому они с Гогеном почувствовали взаимное тяготение и им было легче сблизиться друг с другом.

Гийомен служил приказчиком в бельевом магазине, потом чиновником в канцелярии Управления железной дороги Париж - Орлеан. Потом бросил службу в безумной надежде прожить живописью. Это ему не удалось. И после двух лет лишений, отказавшись делить тяжкую участь Писсарро (вместе с которым, чтобы заработать немного денег, он расписывал шторы), он вернулся на службу, стал чиновником муниципалитета.

Писсарро, несмотря на свое бедственное положение, осуждал Гийомена за то, в чем видел едва ли не трусость. "Нельзя лавировать", - говорил он. Гийомен предпочел твердый заработок ненадежной стезе искусства. Но, избрав спокойную жизнь, он обрек себя на неизбежное недовольство собой. Гийомен страдал, что не может писать так, как хотел бы. И те проблемы, которые встали перед ним, не могли не встать однажды перед ликвидатором, служившим у Галишона.

Гийомен присоединялся к Писсарро, когда тот навещал Гогенов.

Весной 1877 года биржевик перебрался с площади Сен-Жорж в более просторную

---

[57] Гийомен, Арман (1841-1927) - французский художник, участник выставок импрессионистов, друг Сезанна и Писсарро.

квартиру, потому что Метте снова ждала ребенка. Беременность не очень радовала молодую женщину. "Ох, уж эти дети - бог свидетель, я их не хотела!" - писала она позже в письме Шуффенекеру.

Гоген снял квартиру далеко от прежнего места жительства, на левом берегу, в районе Вожирар - на улице Фурно, 74 (ныне улица Фальгьер). Здесь 24 декабря Метте родила ребенка - дочь, которой восхищенный Гоген поспешил дать имя своей матери - Алина... "Я видел тебя малюткой, очень спокойной, ты открыла свои красивые, очень светлые глаза - такой ты для меня и осталась навсегда".

Несколько недель спустя, 25 февраля 1878 года, в Отеле Друо была распродана коллекция Гюстава Ароза. Больше Гогену не придется любоваться семнадцатью картинами Делакруа, четырьмя Домье, семью Курбе, произведениями Коро и Йонкинда из коллекции своего опекуна. У него останется только воспоминание о часах, проведенных перед этими картинами, и каталог распродажи, с которым он никогда не расстанется.

Маленький угловой трехэтажный дом на улице Фурно одной стороной выходил в тупик Фремен - здесь в доме номер четыре жил посредственный скульптор Буйо. Примерно в это же время сюда переехал и другой скульптор Обе[58]. Это соседство, вероятно, объясняет, почему Гоген поселился в районе Вожирар, далеко от биржи и делового квартала.

Но далекое расстояние не было помехой для Гогена. Участвуя уже на собственный страх и риск в спекуляциях, лихорадивших финансовый рынок, ликвидатор вел крупную игру, используя непрерывное повышение курса.

На биржу Гоген приезжал в двухместной карете, чем немало изумлял своих более скромных коллег, "карета ждала его до конца собрания"[59]. В гардеробе Гогена было по меньшей мере четырнадцать различных панталон.

А биржа тем временем развивала все более активную деятельность. Канули в прошлое времена, когда она пугливо отзывалась на малейшие события в мире. Теперь политика не оказывала на нее никакого влияния. Подстегиваемая посредниками и агентами по продаже ценных бумаг, оживленная толпа каждый день увеличивала все новыми приказами и без того значительное количество сделок. На рынок выбрасывали все новые ценности. В 1878 году был создан банк "Всеобщий союз", задачей которого было "собрать воедино и преобразовать в могучее бродило капиталы, принадлежащие католикам". Создатели этого банка получили "особое личное благословение его святейшества папы"[60] и собрались противопоставить свой банк еврейским и протестантским банкам, которые в ту пору господствовали на рынке. Золотые грезы, мечты о гигантских состояниях проносились над толпой, которая наполняла невообразимым шумом большой зал биржи. Агенты кулисы хлопотали и суетились уже с десяти часов утра. Но и вечерами, с девяти до половины одиннадцатого, в холле банка "Лионский кредит" на Итальянском бульваре не умолкали их голоса.

"Покупайте, продавайте!.." Боны пуэрториканского казначейства, венгерские государственные земли, бразильские железные дороги переходят из рук в руки... Гоген играет, Гоген выигрывает, кладя в карман все более крупные суммы. Его доходы превзошли все, о чем когда-либо могла мечтать Метте-София Гад.

Безусловно, Метте искренне восхищалась своим мужем - человеком, "обладавшим почти безграничной верой в свои способности добывать деньги"[61] и эту веру полностью

---

58 Тупик Фремен в настоящее время называется Сите Фальгьер. Впоследствии здесь жили многие художники: Модильяни, Сутин, Фужита...

59 Воспоминания М. Миртиля, переданные его сыном мэтром Марселем Миртилем.

60 Из учредительного проспекта банка Всеобщий союз.

61 Цитаты заимствованы из книги Полы Гоген "Поль Гоген, мой отец".

оправдывавшим, неутомимым тружеником, который, вместо того чтобы спокойно наслаждаться краткими часами досуга, никак не мог угомониться и еще продолжал марать свои холсты, одолеваемый "живописной блажью". Казалось, ни его ум, ни его руки не способны оставаться праздными... Руки Гогена - живые, всегда в движении, руки, точно им постоянно надо было что-то лепить, что-то создавать!

Да, Метте восхищалась этим человеком. По сути, если не считать маленькой слабости - он курил и не отказывался выпить коньяку, - у него не было недостатков. Метте досаждало лишь одно: сама она любила пошутить и посмеяться, а муж был такой серьезный, что в конце концов просто "зло брало", и вдобавок - он был нелюдим. Когда вечерами у Метте собирались друзья, Гоген, холодно обронив несколько вежливых слов, уходил к себе. Однажды случилось даже, что, удалившись к себе, он через несколько минут вернулся в ночной рубашке, и в таком виде, как ни в чем не бывало, прошел через всю комнату, чтобы взять нужную ему книгу, и только попросил дам "не обращать на него внимания". Не только коллеги-биржевики считали Гогена букой, упрекая его - одни в тщеславии, другие - в грубости. Почти все, кому приходилось сталкиваться с ним. были о нем не лучшего мнения. А на самом деле, Гоген просто оставался чуждым миру, который его окружал. Он походил на актера, который играет роль, не задумываясь над ней. Невосприимчивый к окружающему миру, он жил вне его, далеко-далеко, двигаясь, как сомнамбула, с пустым взглядом среди фантомов, созданных его воображением.

Биржевик попросил жену, чтобы она позировала ему в мастерской Буйо, который обучил Гогена технике моделирования и лепки. Гоген выполнил в глине бюст Метте, который Буйо перевел в мрамор. А потом и сам стал работать прямо в мраморе и высек бюст Эмиля.

В 1879 году Гоген почти украдкой принял участие в 4-й выставке импрессионистов, которая открылась 10 апреля на авеню де л'Опера, 28, выставив на ней статуэтку. Несомненно, Гогена приняли на эту выставку в последнюю минуту - его имя даже не значится в каталоге - и, скорее всего, по настоянию Писсарро. Писсарро, наверное, нелегко было уговорить принять Гогена - кое-кто из импрессионистов относился к биржевику неприязненно...

Накануне закрытия выставки, 10 мая, жена Гогена родила третьего ребенка - мальчика[62].

Гоген дал дочери имя своей матери - Алина. Этого сына он назвал именем своего отца - Кловис. Сентиментальные воспоминания. Бука Гоген был бы горько обижен, если бы 7 июня его близкие не поздравили его с днем рождения и не пожелали ему счастья.

*

Много лет подряд Писсарро ездил в окрестности Понтуаза, где в самом городе, на улице Эрмитаж, снимал дом. Летом 1879 года Гоген провел у Писсарро свой отпуск.

Писсарро по-прежнему бедствовал. Продавать картины ему почти не удавалось, хотя просил он за них смехотворно мало. Он тщетно тратил силы и время в поисках любителей. "Дела мои обстоят самым жалким образом, - писал он зимой этого года Теодору Дюре[63]. - Скоро я состарюсь, зрение мое ослабнет, а я продвинусь не дальше, чем двадцать лет назад". Но это не мешало Писсарро по-прежнему осуждать Гийомена и утверждать, что, доведись ему начать сначала, он, не колеблясь бы, бросил все". Гоген, как видно, старался помочь Писсарро и приобрел несколько его картин. Писсарро в свою очередь внушал Гогену, что он, биржевой спекулянт, вообще должен делать ставку на неизбежный успех импрессионистов в будущем.

---

62 Это было 10 мая, а не 8 мая, как писали до сих пор (Записи актов рождений мэрии XIV округа).

63 Дюре, Теодор (1838-1927) - французский художественный критик и журналист, коллекционер, друг импрессионистов.

В Понтуазе или поблизости от него, в Они, Гоген бок о бок со своим другом писал пейзажи. Поощрение Писсарро подбадривало его, укрепляло веру в свои силы, и Гоген решил на ближайшей выставке импрессионистов дебютировать уже всерьез, послав на нее несколько работ.

Эта пятая по счету выставка, продолжавшаяся с 1 по 30 апреля 1880 года, была устроена на антресолях дома номер 10 по улице Пирамид. Читая отпечатанные красным по зеленому фону афиши, в которых было объявлено об открытии выставки и перечислены имена участников, нельзя было не заметить отсутствия многих имен. И в самом деле, группу новаторов раздирали бесконечные распри. Некоторые художники, вроде Ренуара и Моне, покинув своих товарищей, намеревались выставиться в официальном Салоне. Надо полагать, что участие Гогена - он послал на выставку семь полотен и мраморный бюст - не способствовало укреплению взаимопонимания. И впрямь, несколько недель спустя Клод Моне заявил одному из сотрудников "Ви модерн": "Я импрессионист, но теперь очень редко встречаюсь с моими собратьями по группе. Наш маленький храм стал банальной школой, открывающей свои двери первому встречному мазиле".

"Первый встречный мазила"! Если верно, что эти слова относились к Гогену - а такое мнение существовало, - то они были жестоки. Во всяком случае, работ биржевого маклера никто не заметил. Непримиримый противник Мане, критик газеты "Фигаро" Альбер Вольф - Гоген прозвал его "крокодилом", - не удостоил их даже намеком в своей статье о "скоплении бездарностей", какими, на его взгляд, являлись художники, выставившие свои работы на улице Пирамид. Печальный итог! Но не заслужил ли его биржевой маклер? Будь у него больше досуга, чтобы писать, углублять свои поиски, дать жизнь тому, что шевелится в нем... Но биржа!

Гоген играл на бирже и выигрывал - выигрывал с неизменным успехом. Десять тысяч франков, двадцать пять тысяч, тридцать тысяч... За последние месяцы он к изумлению и восхищению Шуффенекера заработал сорок тысяч франков золотом[64]. Воспользовавшись этим, Гоген перебрался в новую квартиру (художник Жоббе-Дюваль, член парижского муниципалитета, сдал Гогену в районе Вожирар, на улице Карсель, 8 роскошный павильон, при котором была просторная мастерская, выходившая в громадный сад).

На гребне успеха биржевой маклер меньше чем когда-либо считался с расходами. Он беспечно засадил свой сад розами редких сортов и, уступив давнему желанию, увешал стены дома целой коллекцией картин: в несколько приемов он истратил на картины пятнадцать тысяч франков[65].

Метте пугала расточительность мужа, громадные суммы, выброшенные на холсты и рисунки. Впрочем, она вообще никогда не понимала и не поймет никогда, что есть на свете люди настолько безумные, что рвут друг у друга из рук за бешеные деньги прямоугольные куски холста, покрытые краской, когда на свете есть столько возможностей истратить деньги с пользой! Но Писсарро, советами которого руководствовался биржевой маклер, уверял, что это надежное помещение капитала, и Метте хотелось верить, что ее "земляк" прав. Да и потом, как она могла противодействовать Полю, который приносил в дом столько денег и приучил ее к роскоши - к роскоши, от которой бывшей гувернантке теперь будет очень трудно отказаться. Ведь Поль такой снисходительный муж!

Гоген накупил полотна Писсарро, Гийомена, Ренуара (ему повезло - он приобрел работу Ренуара за 30 франков), Моне, Сислея, Дега, Сезанна (среди последних - великолепный натюрморт), Мэри Кассат[66], Домье, Йонкинда, Леви-Брауна[67]. У

---

64 Около 100 тысяч новых франков.

65 Около 37500 новых франков.

66 Кассат, Мэри (1845-1926) - американская художница французского происхождения. Долго жила во Франции, участвовала в выставках импрессионистов.

Дюран-Рюэля он купил также "Голландский пейзаж" Мане. Желая приобрести еще какое-нибудь произведение творца "Олимпии", Гоген обратился к самому художнику, и тот за пятьсот франков продал ему пастель "Фуфайка"[68].

Возможно, что именно тогда, увидев картину Гогена, Мане похвалил художника. "Очень хорошо! - сказал он, прищелкнув языком, что выражало у него восхищение.

- Что вы! - возразил Гоген. - Я всего лишь любитель!

- О, нет! - ответил Мане. - Любители - это те, кто пишут плохие картины".

"Мне было приятно это услышать", - скажет впоследствии Гоген[69].

А на бирже курс акций продолжал повышаться. Люди старались перехватить друг у друга новые облигации. Спекулянты, не колеблясь, заключали займы, чтобы заработать еще больше. Облигации Всеобщего союза, в декабре 1879 года котировавшиеся по семьсот пятьдесят франков, в конце 1880 года стоили уже больше девятисот.

Гоген, с головой уходя в работу, писал и рисовал на улицах района Вожирар.

Дега, чтобы выразить свое уважение "любителю", купил у него картину.

*

В разгаре биржевой горячки "добряк Шуфф" сохранял трезвость ума. Воспитавшие его дядя и тетка умерли. Унаследовав от них небольшой капитал в двадцать пять тысяч франков, Шуфф решил не рисковать им в биржевой игре.

Во время осады 1870 года он познакомился на парижских бастионах с молодым человеком, который изобрел особый метод производства накладного золота, но у него не было средств, чтобы осуществить свое изобретение. Шуффенекер вошел с ним в долю. Это было надежное предприятие, компаньоны вели дело осторожно, счетоводство лежало на Шуффе - и оно стало медленно, но верно развиваться.

"Шуфф - буржуа!" - говорил Гоген.

Этот мягкий, робкий и разумный человек готовился совершить большую глупость. Его уговаривали жениться, и он склонялся к тому, чтобы дать согласие. Невеста, Луиза, его дальняя родственница, жила в монастыре. Внешне она была довольно привлекательна: миловидное двадцатилетнее личико, лукавый изгиб рта, вздернутый носик, очень красивые глаза. Тонкая талия, туго стянутая корсетом, подчеркивала маленькую упругую грудь. Но душевные и нравственные качества Луизы далеко уступали ее внешности. Луиза не отличалась умом, но зато была властной и раздражительной. Шуффенекер об этом знал. Но дядюшка Луизы, который был ее опекуном, настаивал, расхваливая свой товар: "Она с характером, это верно, но он обломается, вот увидишь! - уговаривал он добряка Шуффа. - И ни с кем она не станет такой хорошей, как с тобой". Луиза, однако, отнюдь не была в этом убеждена. Шуфф водил ее к своим друзьям, к художникам, и окружение жениха смущало Луизу, казалось ей слишком "интеллигентным". Как ни хотелось ей вырваться из монастыря, она поведала монахиням о своих сомнениях. "Да нет же, вы увидите, господин Шуффенекер научит вас, и вы сами станете ученой!" убеждали ее монахини. Решительно все окружающие, кроме жениха и невесты, добивались этого брака: он состоялся в октябре 1880 года.

Добрейшая душа, Шуффенекер, который так неосторожно связал себя "на радость и на горе" браком, оказался куда более осмотрительным, когда дело коснулось живописи. Он противился Гогену, который пытался вырвать его из-под влияния академической живописи и

---

67 Леви-Браун, Джон-Льюис (1829-1890) - французский художник, писал жанровые, батальные и охотничьи сцены.

68 Эта покупка упоминается в неизданной записной книжке Мане (Национальная библиотека, Кабинет эстампов).

69 Это была не просто любезность. О том, что Мане интересовался Гогеном, подтверждает его друг Антонен Пруст (Воспоминания об Эдуарде Мане, с. 45).

связать с импрессионистами. "Вы глухи к убеждениям, Шуфф".

Но таким ли убежденным импрессионистом был сам Гоген? Что бы он сам ни думал в эту пору, его родство с импрессионистами оставалось чисто поверхностным - оно не затрагивало глубин его души. Воспроизводить реальный мир таким, каким его видит глаз, запечатлевать на холсте зрительное восприятие в его первозданном виде, посвятить себя передаче внешних явлений - того, что происходит вне художника, - разве мог признать это конечной целью искусства Гоген, для которого существовал внутренний мир, и только он один?

Гоген писал на улочках района Вожирар. Он написал церковь Сен-Ламбер, высившуюся на участке рядом с его домом[70]. Написал свой сад и написал обнаженную женщину - позировала ему служанка Жюстина.

В этой обнаженной Гоген как нельзя более полно выразил то, что отличало его от импрессионистов. В самом деле, трудно найти что либо общее между этой женщиной, сидящей на краю дивана и склонившей безрадостное лицо над тканью, которую она штопает, и обнаженными женщинами Ренуара, с их цветущей и сверкающей плотью!

Кисть Ренуара ласкает поверхность кожи. Под кистью Гогена сквозь формы тела проступает душа. Ренуар и другие импрессионисты пишут зримое, Гоген, сознательно или нет, пытается писать то, что находится за пределами зримого, то, что это зримое в какой-то мере отражает.

Эта обнаженная[71] настолько выделялась на фоне других произведений самого Гогена и его товарищей, что на 6-й Выставке импрессионистов в апреле 1881 года в доме номер 35 по Бульвару Капуцинок, где висела эта картина, она надолго приковала к себе внимание писателя-натуралиста Гюисманса[72].

"В прошлом году, - писал Гюисманс, - господин Гоген выставил... серию пейзажей - этакий разжиженный, неокрепший Писсарро.

В этом году г-н Гоген представил произведение воистину самостоятельное, полотно, которое свидетельствует о неоспоримом темпераменте современного художника. Картина называется "Этюд обнаженной натуры...". Осмелюсь утверждать, что ни у одного из современных художников, работавших над обнаженной натурой, с такой силой не звучала правда жизни... Эта плоть вопиет. Нет, это не та ровная, гладкая кожа, без пупырышек, пятнышек и пор, та кожа, которую все художники окунают в чан с розовой водицей и потом проглаживают горячим утюгом. Это красная от крови эпидерма, под которой трепещут нервные волокна. И вообще, сколько правды в каждой частице этого тела - в толстоватом животе, свисающем на ляжки, в морщинах под отвислой грудью, обведенной бистром, в узловатых коленных суставах, в костлявых запястьях!.. За долгие годы г-н Гоген первый попытался изобразить современную женщину... Ему это полностью удалось, и он создал бесстрашную, правдивую картину".

После чего Гюисманс бегло упомянул семь остальных картин, деревянную "готически современную" статуэтку и медальон из крашеного гипса, которыми Гоген был представлен на выставке. "Но в пейзажах индивидуальность г-на Гогена пока еще с трудом вырывается из

---

70 Писали, будто в этой церкви с 1807 года покоились останки дона Мариано де Тристан Москосо. Трогательная, но, к сожалению, неточная подробность. Дон Мариано был погребен не в этой церкви Сен-Ламбер, которую построили только в 1853 году, а в первой церкви Сен-Ламбер, расположенной значительно южнее и снесенной в 1854 году. Погребенные в ней были эксгумированы и перенесены на кладбище Вожирар.

71 В настоящее время картина находится в Новой Глиптотеке Карлсберга в Копенгагене.

72 Гюисманс, Жорис-Карл (1848-1907) - французский писатель и художественный критик, принадлежал к натуралистической школе, затем перешел в лагерь символистов.

объятий его наставника г-на Писсарро", - писал Гюисманс с легким презрением[73].

Похвалы Гюисманса избавили Гогена от сомнений: он художник, настоящий художник, а не любитель. Но эти похвалы должны были и смутить его. Гюисманс в общем-то хвалил его за реализм, а Гоген безусловно испытывал по отношению к реализму то же инстинктивное сомнение, что и по отношению к импрессионизму. По сути, импрессионизм был наследником реализма. И в том и в другом случае речь шла о том, чтобы изображать "видимые предметы"[74], правда, различными средствами. Гораздо позже, когда Гогену станет ясен смысл его собственных исканий и он поймет, к чему они ведут, он не случайно скажет об импрессионистах, что они вели свои поиски "вокруг видимого глазу, а не в таинственном центре мысли". Обнаженная, восхитившая Гюисманса, с ее тяжелым, непривлекательным телом, с ее выражением печали вовсе не была героиней натуралистического "среза жизни". Она была вестницей внутреннего мира Гогена, того неведомого мира, первым неожиданным проявлением которого и было это полотно.

Семья биржевика снова увеличилась. 12 апреля Метте произвела на свет четвертого ребенка, мальчика, Жана-Рене. У Метте было много хлопот с четырьмя детьми - Эмилем, которому было шесть с половиной лет, трехлетней Алиной, двухлетним Кловисом и новорожденным, и она еще меньше, чем прежде, интересовалась "живописной блажью" Поля, хотя и нелегко смирилась с тем, чтобы "одолжить" ему Жюстину: что за неприличная фантазия - заставить девушку позировать голой!

Шли месяцы, друзьям Метте Гоген казался все более чудаковатым. На бирже продолжался вихрь безумных спекуляций: акции Суэца, стоившие два года назад семьсот франков, теперь стоили три тысячи, акции Всеобщего союза с тысячи поднялись до тысячи двухсот, потом до тысячи трехсот, наконец до полутора тысяч... Гоген по-прежнему зарабатывал огромные деньги - ему бы радоваться, а он, наоборот, все мрачнел. Из него нельзя было вытянуть ни слова.

Однажды Гоген с женой отправился в гости к свояку, Фритсу Таулову, где встретил другого норвежского художника, Скредсвига, которому в этом году жюри Салона присудило медаль третьей степени. Польщенный этой честью, Скредсвиг, человек и вообще-то любезный и добродушный, восхищался Салоном 1881 года, говорил, что он был "великолепен", что там были выставлены замечательные полотна. "А как, по-вашему, господин Гоген?" - любезно спросил он биржевого маклера.

- Я видел в Салоне только одну картину - Мане[75], - ледяным тоном отрезал Гоген. Чуть позже Скредсвиг увидел, как Гоген, схватив канделябр, отправился в мастерскую Таулова посмотреть его работы и там расхаживал от одной к другой, пожимая плечами[76]. Странная личность этот молчун маклер!

И даже еще более странная, чем предполагал Скредсвиг! Этот человек нигде не чувствовал себя на своем месте, всюду оставался чужаком. Он остался чужим миру дельцов, кругу, где меж тем блистательно преуспел. Чужим парижскому обществу с принятыми в нем обычаями и любезностями. Чужим даже своей эпохе, европейскому буржуазному и материалистическому миру Европы конца XIX века, который так увлекся наукой, что стал отрицать духовное, субъективное начало, власть мечты и чувства. Вот почему Гогену было

---

73 "Выставка независимых в 1881 году" в "Ар модерн". Шарпантье, Париж, 1883.

74 Курбе.

75 "Портрет Петрюнзе, охотника на львов" - за него сорокадевятилетний Мане удостоился медали второй степени.

76 Пола Гоген, цит. произв.

не по себе и среди импрессионистов: если Золя[77], написавший за год до этого "Нана", стремился создать "экспериментальный" роман, то и импрессионисты не избежали общего поветрия. Именно стремясь к объективному наблюдению, они писали не предметы, а их видимость, и возражали против того, чтобы разум вклинивался между глазом и рукой, когда художник анализирует и передает на холсте мимолетную игру света.

Да, странная личность этот маклер, ищущий собственную душу, - всюду чужой, нигде не способный ужиться. С глубоким душевным волнением прочтет он однажды стихи, написанные никому не известным преподавателем английского языка, другом Мане, Стефаном Малларме[78]:

"Тоскует плоть, увы! К чему листать страницы?
Все книги прочтены! Я чувствую, как птицы
От счастья пьяны там, меж небом и водой.
Бежать, бежать! Ни сад, заросший лебедой
Пусть отражался он так часто в нежном взоре,
Не исцелит тоски души, вдохнувшей море.
О ночь! Ни лампы свет, в тиши передо мной
Ложащийся на лист, хранимый белизной,
Ни молодая мать, кормящая ребенка.
Уходим в плаванье! Мой стимер, свистни звонко
И в мир экзотики, в лазурь чужих морей,
Качая мачтами, неси меня скорей!"[79]

Гоген потому так страстно отдавался живописи, что видел в ней путь к освобождению. Еле сдерживая нетерпение, он начал роптать против повинностей, которые налагала на него его профессия. Часы, которые он отдавал бирже, это были часы смерти, а не жизни, безвозвратно потерянное время. Ах, если бы ремесло биржевика не обкрадывало его, отнимая у него время, если бы он мог писать изо дня в день, он узнал бы во всей его полноте счастье быть наконец самим собой. Только с кистью в руке Гоген чувствовал, что живет.

Гоген ходил на выставки, в галереи, в музеи, изучал, размышлял. Все давало ему пищу для раздумий - и колючее искусство Дега, столь далекое от импрессионизма во вкусе Клода Моне, и стилизованное, рассудочное искусство Пюви де Шаванна[80], и гравюры великих японцев, и азиатская скульптура. Восток притягивал его. Вдохновляясь восточными мотивами, он работал над деревянной скульптурой. У папаши Мори, француза, когда-то жившего в Лиме, он увидел индейские украшения, керамические изделия инков. Короткий, щемящий всплеск тоски по далекой стране - на весенней выставке Гоген представил "Маленького юнгу". Искусство необъятна, как сама жизнь. Из поколения в поколение искусство оплодотворяют великие самцы человеческого стада: "королевский тигр" -Веласкес или Рембрандт, "грозный лев, который отваживался на все". Гоген, импрессионист, отнюдь не ортодоксальный в своих вкусах, восхищался Энгром и, подобно Дега, непрерывно возвращался к этому художнику, в котором чувствуется "внутренняя жизнь", и под "внешней холодностью... таится глубокий жар, кипучая страсть".

---

77 Золя, Эмиль (1840-1902) - французский писатель, глава натуралистической школы, выступал как художественный критик, пропагандировал произведения Э. Мане.

78 Малларме, Стефан (1842-1898) - французский поэт, дружил с художниками.

79 Перевод В. Левика.

80 Пюви де Шаванн, Пьер (1824-1898) - французский художник, в живописи стремился возродить традицию классического искусства, своими панно и стенными росписями оказал влияние на сложение живописи стиля модерн.

В Салоне, который так расхваливал Скредсвиг, Гоген обменялся несколькими словами с Пюви де Шаванном, который выставил там своего "Бедного рыбака".

- Ну почему же они не понимают? - воскликнул Пюви, обращаясь к маклеру и намекая на какого-то злобствующего критика. - Ведь картина совершенно проста!

- А с этими людьми надо говорить загадками, потому что все равно они смотрят и не видят, слушают и не слышат! - отозвался Гоген.

Уж не притягивало ли Гогена в "Бедном рыбаке" именно то, что не нравилось некоторым критикам, в том числе Гюисмансу, упрекавшему Пюви в "наивной жестокости" и "нарочитой неумелости примитива"?..

Летом, как только пришло время его летнего отпуска, Гоген вернулся в Понтуаз, к Писсарро. С мая в Понтуазе жил также друг Писсарро Сезанн. За истекшие годы искусство Сезанна претерпело большие изменения. И для этого художника импрессионизм не был конечной целью. Его не удовлетворяли чисто зрительные ощущения. Они - только элемент, который художник должен преобразовать, "осмыслить", чтобы "скомпоновать". Гоген с таким интересом наблюдал за работой художника из Экса ("Ну и художник этот чертов Сезанн! Все время играет на большом органе!"), что подозрительный провансалец стал беспокоиться: уж не собирается ли этот маклер, чего доброго, воспользоваться его восприятием, "стянуть у него мотивы". Недоверие это несколько смягчалось явным уважением маклера к живописи Сезанна - сам Сезанн, человек грубый и зачастую неприятный в обращении, нравился Гогену значительно меньше. Но вот удивился бы художник из Экса, если бы узнал, как воспринимает его Гоген. Сезанн, говорил Гоген, напоминает "древнего левантинца", от него веет каким-то восточным мистицизмом.

Недели отдыха пролетели быстро. Гоген нехотя вернулся на улицу Карсель. "Я слышал, как вы однажды высказывали одну теорию, - писал он в письме к Писсарро. - Заниматься живописью надо, мол, непременно в Париже, чтобы обмениваться мыслями. А что же происходит на деле? Мы, бедные, жаримся в "Новых Афинах", а вы, ни о чем не помышляя, живете себе отшельником... Надеюсь, что вы вернетесь в ближайшие дни".

А курс акций на бирже продолжал повышаться. Акции Всеобщего союза поднялись до тысячи семьсот, тысячи восьмисот, двух тысяч франков... Католический банк переживал эпоху расцвета. Его деятельность распространилась уже на всю Центральную Европу, в особенности на Австрию, где открылся его филиал - Земельный банк. Банк финансировал много других предприятий, в частности предоставил сербам заем в сто миллионов франков. Эти бесчисленные операции требовали непрерывного притока капиталов. В ноябре, чтобы увеличить свой капитал, банк выбросил на рынок новые ценные бумаги на сумму сто тысяч франков. Ходили слухи, что ради того, чтобы повысить их курс, католический банк через подставных лиц приобрел большой пакет собственных акций.

Покупайте, продавайте!.. Счастливцы Писсарро и Сезанн! Они могут в любую минуту заниматься живописью, неуклонно, настойчиво продолжать свои поиски! А он, Гоген, должен то и дело от нее отрываться. Недовольный тем, что он пишет, мучительно преодолевая трудности, по многу раз переделывая картины, он с каждым днем все сильнее раздражался против своего биржевого ремесла. Живописью нельзя заниматься на досуге! Он устал, ему надоело разрываться между искусством и биржей, он вконец измучен. На исходе 1881 года он написал Писсарро, что не хочет оставаться художником-дилетантом и решил бросить финансовую деятельность. К тому же, добавлял он, дела идут неважно. Может быть, Гоген проиграл на бирже.

Гоген подолгу молчал, потом вдруг внезапно изливал свои задушевные чувства. Он доверил свои планы Шуффенекеру. "Да, но семью-то кормить надо!" - возражал ему Шуфф. Гоген покачивал головой. Он только что продал свою картину проезжему датскому коммерсанту, который "намерен отстаивать импрессионизм перед своими соотечественниками". Гоген быстро добьется успеха в живописи, как добился успеха на бирже. Разве он не доказал, что он человек практический?

- Шуфф - буржуа, - говорил Гоген.

И бледная мимолетная улыбка освещала его резко очерченное лицо с горькой складкой губ и тяжелыми зеленоватыми веками, из-под которых искоса смотрели глаза, подернутые дымкой грезы...

III
ДАТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО

Он пошел за нею, как вол идет на убой...
Книга Притч. VII, 22

Никогда еще в группе импрессионистов не было такого разлада. Тем из них, кто, как Писсарро и Гюстав Кайботт[81], пытался весной 1882 года организовать новую, 7-ю Выставку импрессионистов, пришлось убедиться, что злая воля, упрямство, непримиримость и обидчивость быстро разобщили людей, которых недолгое время объединяли общие интересы, общие идеи или общие антипатии.

"Дега внес раскол в наши ряды", - говорил Кайботт. Отчасти он был прав: Дега пытался навязать импрессионистам художников, которым он покровительствовал (как, например, Раффаэлли[82]), но которых другие члены группы терпели скрепя сердце. Однако Дега был не единственной причиной несогласия. Ренуар и Моне стали выступать особняком. Сезанн ("Я достоин одиночества!") с 1877 года не участвовал в выставках импрессионистов.

В декабре художники пытались договориться с Дега. Напрасный труд. 13 декабря Дега встретил Гогена и раздраженно заявил ему, что "скорее уйдет сам, чем позволит устранить Раффаэлли". За это время вера Гогена в собственные силы окрепла, сообщая об этой встрече Писсарро, он решительно заявлял:

"Хладнокровно обдумывая положение, сложившееся за те десять лет, что вы пытаетесь устраивать эти выставки, я вижу, что импрессионистов стало больше, а их талант, как и их влияние, возрос. Но зато из-за Дега, и только по его воле, наметилась и усиливается дурная тенденция: каждый год один из импрессионистов уходит, чтобы уступить место какому-нибудь ничтожеству или ученику Школы. Еще года два, и вы останетесь один среди худшего сорта ловкачей. Все ваши усилия потерпят крах, а с ними и Дюран-Рюэль[83]. При всем моем желании, - добавлял Гоген, - я не могу служить посмешищем для господина Раффаэлли и иже с ним. Поэтому благоволите принять мою отставку. Отныне я ни в чем не участвую... Гийомен, кажется, настроен так же, как и я, но я не собираюсь оказывать на него давление".

Пришлось Писсарро, несмотря на все его уважение к Дега ("Это ужасный человек, но искренний и честный"), признать, что Гоген прав. Раз Дега не хочет отказаться от своих обременительных "учеников", придется обойтись без него. "Вы скажете, что я слишком нетерпелив и всегда порю горячку, - писал Гоген в очередном письме к Писсарро, - но согласитесь, что мои расчеты оказались верными. Никто не разуверит меня, что для Дега Раффаэлли лишь предлог для разрыва. В этом человеке живет дух противоречия, который все разрушает. Не забывайте об этом и, прошу вас, будем действовать".

---

81 Кайботт, Гюстав (1848-1894) - французский художник и коллекционер. Кайботт был состоятельным человеком и потому имел возможность помогать своим товарищам, покупая их картины и активно занимаясь устройством выставок, в которых принимал участие с 1876 года.

82 Раффаэлли, Жан-Франсуа (1850-1924) - художник и гравер. Эдгару Дега живопись Раффаэлли импонировала своей сюжетной тематикой, другие импрессионисты отвергали Раффаэлли как художника, лишь поверхностно усвоившего импрессионистическую манеру.

83 Дюран-Рюэль, Поль (1831-1922) - крупный торговец картинами, известный главным образом тем, что устраивал выставки импрессионистов и покупал их произведения.

Это письмо датировано 18 января. Можно ли поверить, читая его, что Гоген - тот самый Гоген, который "разыгрывает диктатора", как писал Мане Берте Моризо после разговора с Писсарро, - непосредственно затронут важными событиями, разыгравшимися на бирже? 11 января, в результате краха Банка Лиона и Луары, повышение курса акций внезапно застопорилось. А 18 января, в тот самый день, когда Гоген написал свое письмо Писсарро, акции Всеобщего союза, которые еще совсем недавно котировались дороже трех тысяч франков, упали до тысячи трехсот.

Пока Гоген обсуждал проблемы, связанные с будущей выставкой импрессионистов, биржа переживала все более драматические часы. "Вчерашний день был неудачен для Франции, - читаем мы в "Фигаро" от 20 января. - И дело не только в том, что разорены биржевые спекулянты, что подорваны многие репутации... На сей раз речь идет об общественном кредите, надо защищать национальное достояние от безумия распродажи, от паники, охватившей рынок".

28 января акции Всеобщего союза упали до шестисот франков. Два дня спустя банк официально приостановил платежи. 1 февраля его директор Федер и президент Административного совета Бонту были арестованы. На другой день коммерческий суд официально объявил о банкротстве банка.

Отзвуки этого краха разнеслись очень далеко. В маленьких деревушках и в больших городах он затронул тысячи мелких вкладчиков - рабочих, слуг, торговцев, крестьян, батраков, служащих, которые, внимая уговорам своих хозяев, богатых местных землевладельцев или агентов Всеобщего союза, доверили свои сбережения католическому банку. В Париже перед закрытыми дверями банка толпились длинные очереди - вопреки здравому смыслу хмурые, взволнованные люди надеялись, что банк возвратит им их вклады.

Гоген должен был потерять на этом деле много денег. Но, несомненно, это его беспокоило куда меньше, чем выставка импрессионистов. Так или иначе, отныне возможность биржевых спекуляций была сведена к нулю. Крах вызвал такое потрясение, отголоски его были столь ощутимы, даже за границей в Лондоне, Брюсселе, Амстердаме и Вене, что было совершенно ясно оживление в делах теперь настанет не скоро. Восторженное возбуждение сменилось страхом. Большой зал биржи почти совсем опустел. Теперь собрания протекали в угрюмой, гнетущей тишине. Какой зловещий контраст с шумом, царившим здесь в минувшие недели! Однако крах дал Гогену возможность вволю размышлять о живописи.

А Кайботт продолжал добиваться своего. Он запросил Моне и Ренуара, согласятся ли они участвовать в задуманной выставке. Моне ответил уклончиво. Ренуар, заболевший в Эстаке, где он жил вместе с Сезанном, также не дал прямого ответа.

Выставка, наверное, никогда бы не состоялась, если бы Дюран-Рюэль, который все эти годы покупал полотна импрессионистов и защищал членов группы, не решился убедить колеблющихся. Он объяснил им, что выставка в их общих интересах, потому что крах Всеобщего союза затронет и его, Дюран-Рюэля, а через него и художников, его подопечных. Дюран Рюэль был ярым католиком, и Федер, директор Генерального союза, его кредитовал.

Препирательства продолжались почти целый месяц. Ренуар и Моне виляли. Последний не скрывал, как мало его привлекает участие в выставке рядом с господами Гогеном и Гийоменом. А первый ставил в вину Писсарро его политические убеждения. "Выставляться вместе с Писсарро, Гогеном, Гийоменом, - писал он не без раздражения Дюран-Рюэлю, - это все равно, как если бы я выставился с какой-нибудь социалистической группировкой. Еще немного, и Писсарро пригласит участвовать в выставке русского Лаврова (Лавров был анархистом. - А. П.) или еще какого-нибудь революционера. Публика не любит того, что пахнет политикой, а я в мои годы не желаю становиться революционером... А оставаться с евреем Писсарро - это и есть революция".

Наконец, после многотрудных усилий и объемистой переписки Дюран-Рюэлю удалось добиться примирения. Моне и Ренуар уступили. 1 марта выставка открылась на улице Сент-Оноре, 251. Гоген представил на нее двенадцать живописных работ и пастелей и один

бюст.

Трудно представить, чтобы до Гогена не дошли отголоски недоброжелательных отзывов о нем Ренуара и Моне, и вряд ли они доставили ему удовольствие. Впрочем, очень многие сошлись на том, что в этом году он был представлен на выставке "весьма посредственными"[84] произведениями. Но хуже всего было то, что Гюисманс, так горячо расхваливший его, теперь воздержался от похвал по его адресу.

"Увы, - писал он, - г-н Гоген не сделал успехов! В прошлом году этот художник показал нам отличный этюд обнаженной натуры, в этом году - ничего стоящего. Упомяну разве что удавшийся более, чем всё остальное, новый "Вид церкви в Вожираре". Что же касается картины "В мастерской художника", то колорит ее грязный и глухой...".

Выступление Гюисманса привело Гогена в ярость. "Грязный колорит"! Он не мог примириться с этой оценкой. Слишком прямолинейный, чтобы выбирать слова и действовать с оглядкой, он тотчас заявил, что Гюисманс ничего не понимает. Все критики стоят друг друга! Имя Альберу Вольфу - легион. И подумать только, что в продаже картин художники зависят от этих недоумков!

Теперь Гоген видел мир только сквозь призму живописи. Тяга к ней разрасталась в нем, как раковая опухоль. Другой на его месте "с отчаянием", "в смятении" (именно такими выражениями пестрела газетная хроника) следил бы за роковым развитием событий на финансовом рынке, как его коллеги и все завсегдатаи биржи. Но он даже не подумал сократить свои расходы (а Метте тем более). То, что отныне операции на бирже заглохли, что его заработки резко уменьшились, не отвращало Гогена от его мечты, наоборот, она завладевала им все сильнее. "Грязный и глухой колорит"! Чего ради тратить время на биржу, если этот рабский труд даже не оплачивается как следует? И Гоген внезапно решает, что все встанет на свои места, если он избавится от биржевой повинности.

Финансовый кризис тяжело отозвался на торговле картинами. В частности, положение Дюран-Рюэля, на которого Гоген возлагал большие надежды, стало очень шатким. Долги торговца, по которому сильно ударило банкротство Генерального союза, измерялись сотнями тысяч франков. "Он продержится не больше недели", - говорили о нем его собратья. И художники, которых он поддерживал, снова почувствовали мучительную тревогу о завтрашнем дне. Но все это не останавливало Гогена. Он жил не в реальном мире, а в мире своих грез. Став профессиональным художником, убеждал он себя, он будет писать, сколько захочет, будет продавать картины и будет счастлив. Он подгонял действительность к своим мечтам. Его надежды были химеричны, но его грезы не могли существовать без надежды, а он - без своих грез.

Гоген шел к далекому горизонту, пристально вглядываясь в миражи.

*

Жизнь Гогена достигла критической точки.

В конце 1882 года Шуффенекер - его маленькое предприятие по производству накладного золота процветало - решил уйти от Галишона и заняться другим ремеслом, более соответствующим его вкусам и менее рискованным. Биржевой крах, несомненно, его напугал. Но хотя с 1877 года Шуффенекер регулярно выставлялся в официальном Салоне, он был слишком осторожен, чтобы, по примеру Гогена, очертя голову, подвергнуть себя превратностям карьеры художника. Он рассчитывал всего-навсего получить должность учителя рисования при муниципальных школах Парижа. Ближайший конкурс на эту должность должен был состояться в июле.

Уход Шуффа был как бы последним толчком для "пресытившегося биржей"[85] Гогена.

Однажды, январским вечером 1883 года, вернувшись домой, на улицу Карсель, Гоген

---

84 Такое мнение высказано в письме Эжена Мане к его жене, Берте Моризо.

85 Шуффенекер. Заметки о Гогене.

рассказал жене, что он объявил Галишону и Кальзадо о своем уходе. Метте онемела. "Я уволился от них, - невозмутимо повторил Гоген. Отныне я каждый день буду заниматься живописью".

Метте глядела на мужа совершенно потрясенная. Что говорит Поль? Не лишился ли он рассудка?

Метте глядела на мужа, с которым прожила бок о бок почти десять лет и которого совсем не знала.

*

Метте пыталась успокоить себя. Она не могла допустить, что решение Поля бесповоротно, - это было бы настолько страшно, что она отвергала такое предположение. Она считала, что Поль просто переживает одну из тех минут, когда человек из-за усталости, нервного истощения или приступа внезапно открывшейся душевной болезни на какое-то время перестает быть самим собой и делает глупости. А потом все входит в обычную колею. Как правило, причиной таких потрясений бывают женщины. Женщина - главный враг женщины. Но живопись! Метте не могла поверить в такую нелепость. Тщетно билась она над загадкой этой необычной страсти, перед которой чувствовала себя безоружной. Поль, расчетливый биржевой маклер, за десять лет добившийся самого завидного положения, образумится. Метте не могла допустить, что в биржевике, за которого она вышла замуж, в дельце, который приносил столько денег в дом, кроется безумец. Рассчитывать на продажу картин в период, когда импрессионисты, почти совсем лишившиеся помощи Дюран-Рюэля, снова должны, по выражению Писсарро, "готовить нищенскую суму", в самом деле было чистейшим безумием, и Писсарро, хотя он и укорял Гийомена за то, что тот снова поступил на службу, первый это признавал. Правда, в Гогене Писсарро терял возможного покупателя. И так ли уж он верил в его талант, в будущность своего друга? Не был ли биржевой маклер в его глазах чем-то вроде второго Кайботта - богатого художника-любителя, к которому импрессионисты в трудную минуту всегда могли обратиться за помощью?

Гоген и сам вскоре убедился, что все обстоит далеко не так просто, как ему казалось. Ему ничего не удавалось продать. А сбережения, на которые он думал просуществовать по меньшей мере год, таяли куда быстрее, чем он рассчитывал. Он мог вернуться к Галишону. Кальзадо заявил, что в любую минуту возьмет его обратно, но Гоген не собирался отказываться от обретенного права свободно заниматься живописью. Отказываться от своего безумия! Оно было слишком нерасторжимо связано с чем-то самым для него заветным, чтобы он мог уступить. Мысль о том, чтобы сдаться, вернуться в будничную колею, приводила его в ужас. Однако перед лицом участи, которую он избрал, его одолевала тревога. В эти дни 1883 года Гоген написал свой автопортрет за мольбертом. Холст этот - красноречивая исповедь: лицо у Гогена мрачное, смятенное, взгляд ускользающий - неизвестность со всех сторон обступила этого человека, и он ее страшится. Как сладка была уверенность в завтрашнем дне! Как сладка и как ненавистна! "Да, я таков иначе я поступить не могу".

Никогда еще Гоген не был так одинок, как в эти месяцы. Помощи ждать было не от кого. Не считать же помощью бесплодные советы тех, кто, подобно Метте, превратно судя о нем, уговаривал его вернуться к прежней работе, снова стать тем, кем он никогда не был. Незаурядность всегда влечет за собой одиночество - поступок, который совершил Гоген и который все окружающие осуждали, должен был бы открыть ему глаза на эту истину. Но Гоген, несомненно, был далек от того, чтобы уяснить эту грустную мысль.

Гоген пытался найти какой-то компромисс - способ заработать деньги, не теряя приобретенной свободы. Он поступил в страховое агентство, к мэтру Альфреду Томро, на улице Амбуаз, 1[86]. Но там он оставался недолго. Ведь, по сути, он искал работу если не

---

86 Сведения о деятельности Гогена в этой фирме у нас самые скудные. По-видимому, он пытался оформлять какие-то полисы. Во всяком случае, он застраховал или продлил страховку Писсарро.

художественную, то хотя бы близкую к искусству. В июне, побывав вместе с Шуффенекером в Салоне, он пришел в восторг от замечательной коллекции выставленных там настенных ковров. Его воображение тотчас стало нашептывать ему, какие широкие возможности открываются на этом поприще для импрессионистов. Это был первый из множества бесчисленных проектов, задуманных Гогеном под давлением обстоятельств. "Верю, потому что хочу верить". Его чуждый реальности ум все время создавал иллюзии - они были для него не просто необходимостью, а чем-то большим: он защищался ими от щемящего душу страха.

С прошлой зимы Писсарро покинул Понтуаз и перебрался в расположенную поблизости деревню Они. Гоген, в начале года уже навещавший его в этой деревушке, 15 июня вновь приехал туда на три недели. Находясь там, Гоген поспешил поделиться с другом мыслью об импрессионистских коврах. Писсарро очень понравилась идея Гогена, он даже пообещал ему сам сделать наброски для ковров. Но проект так и остался проектом.

Писсарро, находившийся в ту пору "в глубоком душевном упадке"[87], несомненно, предупреждал Гогена о том, какие трудности его ждут. Гоген не должен надеяться на Дюран-Рюэля, дела которого идут все хуже. Торговец не захотел взять на себя организацию очередной выставки импрессионистов, хотя его просил об этом сам Моне. Персональные выставки, которые он устроил поочередно - в марте Моне, в апреле Ренуару, в мае Писсарро и в июне Сислею, - не дали практических результатов. "Моя выставка совсем не принесла денег, - жаловался Писсарро. - А с выставкой Сислея и того хуже ни гроша, ни гроша!"

Как видно, между Гогеном и Писсарро уже не было прежнего согласия. Писсарро все меньше понимал Гогена. В том, что Гоген так спешил продать картины, извлечь из них деньги, он видел склонность к торгашеству. Происшедшие события не раскрыли ему глаза на рассудительного биржевика. Он не понимал, что Гогену не терпится, потому что он лихорадочно жаждет успокоить себя - доказать себе, что он поступил правильно. "Он тоже отъявленный торгаш, во всяком случае, в своих замыслах, - писал вскоре Писсарро. - Я не решаюсь сказать ему, как это неправильно и как мало приносит пользы. У него большие потребности, семья привыкла к роскоши, все это верно, но это причинит ему большой вред.

Я вовсе не считаю, что не надо стремиться продавать, но, на мой взгляд, думать только об этом - значит тратить время попусту. Начинаешь терять из виду искусство и переоцениваешь себя".

В эту пору в Гогене уже прорисовывается новая личность. Мало того, что ему нужны иллюзии, чтобы мужественно переносить положение, в котором он очутился после шага, совершенного в январе. Его поступок имеет смысл только, если он "великий Гоген". И человек, который изобразил себя за мольбертом во всей неподдельности своего страха, расправляет плечи, выпрямляется, деревенеет в показной позе - и эта поза тоже самозащита против тоскливого страха, головокружительной бездны будущего.

Уж не Писсарро ли познакомил в эту пору Гогена - не с покупателями импрессионистических полотен, а с испанскими революционерами, группировавшимися в Париже вокруг главы республиканской партии, бывшего премьер-министра Руиса Сорильи? Внук Флоры Тристан взялся исполнить для них опасное поручение (к тоже ему, вероятно, обещали щедро заплатить - жена Сорильи была очень богата), которое, как видно, пришлось ему по душе. Шуфф наверняка не рискнул бы взяться за такое дело. В начале августа, когда восставший гарнизон Бадахоса в Эстремадуре провозгласил Республику, Гоген переправил Сорилью через франко-испанскую границу, и, так как восстание было сразу же подавлено, "привез его обратно во Францию на возу с сеном"[88].

Жаль, что революционеры проиграли! Благодарная Испанская Республика, думал

---

87 Письмо Писсарро к Моне от 12 июня 1883 г.

88 Шуффенекер. Заметки о Гогене.

Гоген, предоставила бы ему синекуру, о которой он мечтает.

Гоген бродил по Парижу... Жена, говорил он, "с трудом привыкает к бедности". Несколько раз он пытался устроиться на работу, но тщетно. Так же бесплодно он пытался найти покупателя для своих картин. А в семье вскоре должен был прибавиться лишний рот - в марте Метте забеременела. Озабоченный, желчный, не зная что предпринять, Гоген расхаживал по Парижу.

Однажды в октябре у Дюран-Рюэля он узнал, что Писсарро работает в Руане - пишет превосходные картины. На хмуром осеннем небе вдруг сразу забрезжил просвет.

Жизнь в провинции куда дешевле, чем в Париже, решил Гоген. Обосновавшись с семьей в Руане, ну, скажем, на год, он сэкономит много денег и весь этот год будет усердно заниматься живописью, чтобы "завоевать место в искусстве". Руан даст ему новые мотивы. Да и вообще, так или иначе, ему там будет гораздо лучше, чем в этом напыщенном Париже, который в глубине души он никогда не любил и который никогда его не вдохновлял. На ближайшей же выставке импрессионистов - она предполагалась весной 1884 года - все увидят, каких успехов добился Гоген. К тому же Руан процветающий город. У руанцев "денег куры не клюют"! Наверняка там нетрудно продать картины. Кстати, бывший кондитер Мюрер[89], школьный товарищ Гийомена и друг импрессионистов, купил в Руане Отель Дофина и Испании. Писсарро остановился в этом отеле, и Мюрер взял с него плату со скидкой... Неожиданно в конце октября Гоген объявил Писсарро, что собирается в Руан, чтобы "на месте изучить обстановку с точки зрения практической жизни и искусства".

"Гоген не на шутку меня тревожит!" - признавался Писсарро. Едва Гоген появился в Руане, Писсарро понял, что бывший маклер всерьез намерен здесь обосноваться, что он "преисполнен твердой решимости". Писсарро не старался ободрить Гогена. Выставка импрессионистов, на которую рассчитывает Гоген, не состоится. Эта затея обречена. Гоген надеется заинтересовать богатых руанцев живописью импрессионистов? Но импрессионистам нигде ничего не удается продать. Если бы не помощь Кайботта, Писсарро провел бы лето в нужде... "Я не верю, - говорил Писсарро, - что в Руане можно продать картины... Не забудьте, даже в Париже нас считают отщепенцами, подонками. Нет, искусство, которое потрясает старые устои, не может заслужить одобрения, и тем более в Руане, родном городе Флобера, в чем руанцы не смеют признаться"[90]. Но какой смысл спорить с бывшим маклером? "Дело сделано, он решил взять Руан приступом", - писал Писсарро 10 ноября.

Гоген стал искать кров для своей семьи. В тупике Малерн сдавался дом № 5. Гоген снял его и вернулся в Париж, чтобы подготовить переезд.

6 декабря Метте родила пятого ребенка, мальчика Поля-Роллона. В заснеженном саду на улице Карсель Гоген написал одну из своих последних парижских картин. Картину, исполненную зимней грусти. Картину, пронизанную одиночеством.

*

В начале января 1884 года семейство Гогенов приехало в Руан.

Покинуть улицу Карсель было для Метте жестоким ударом. В необходимости переезда как бы материализовались страхи, от которых ей становилось все труднее отгораживаться, поскольку она видела, с каким упорством преследует Гоген свои химерические мечты. Впрочем, и того, как отнеслись к происшедшему Писсарро и Гийомен, было довольно, чтобы укрепить ее тревоги. Но до переезда она все еще сомневалась. Теперь сомневаться не приходилось. Все в ней восставало против краха того, что составляло ее жизнь. Вознесенная своим замужеством до такого социального положения, о котором она, несмотря на все свое

---

[89] Мюрер, Эжен (настоящее имя Огюст Менье, 1845-1906) - школьный друг Гийомена, через которого он познакомился со многими художниками, стал коллекционировать их картины.

[90] Из письма Писсарро Мюреру от 8 августа 1884 г.

честолюбие, не могла мечтать, она теперь была озлоблена, что ее лишили достигнутого.

Конечно, немногие женщины на ее месте не устрашились бы будущего. И суть не в том, предстояло ли Гогену добиться в будущем признания своего таланта или ему суждено было остаться неудачником. Все равно - выбор жизненного пути, сделанный главой семьи, с точки зрения социальной был пагубным. И однако многие женщины в подобных обстоятельствах не перестали бы поддерживать своих мужей. Хрупкая женская рука была иной раз самой надежной опорой для дерзновенных искателей в области духа. Любовь - это всегда понимание, а женщина в любви часто идентифицирует себя с любимым человеком. Но если Гоген представлял собой в своем роде крайний случай как бы идеальное воплощение мощи мужского воображения, неутомимой способности мужчины, вечного мечтателя, оплодотворять мысль и форму, то и Метте противостояла ему как крайность другого рода. Метте даже не пыталась понять причину неожиданного превращения, в результате которого вместо биржевого маклера, за которого она вышла замуж, перед ней оказался совершенно непостижимый человек. Этот человек ничуть ее не интересовал. Она никогда не стремилась приобщиться к духовной жизни мужа. Да и любила ли она его по-настоящему? "Ее" Поль был ее собственностью. Это был человек, который дал ей возможность создать семью и от которого она ждала покровительства. Метте принадлежала к той породе женщин, для которых на свете существует только их женская жизнь и которые со слепым животным эгоизмом рвутся к своей цели; мужчина для них всего лишь - производитель или "дойная корова". Гоген в отчаянии однажды упрекнул жену именно в том, что она видит в нем "дойную корову", а это самый жестокий упрек, какой мужчина может бросить в лицо женщине.

Трагическая взаимная слепота! Ни Метте, ни Гоген никогда не подозревали, что они морочили друг друга. Живя вместе, они друг друга не видели. Их призрачное согласие могло бы тянуться долго, как тянется согласие многих других пар, подобранных так же случайно игрой чувственности или расчета, которым истина так и не открывается никогда. Но хрупкость уз, соединявших Гогена и Метте, недоразумение, на котором зиждилось их видимое согласие, обнаружились во всей своей зловещей очевидности за недели, прожитые в Руане. Потеря былого благополучия не столько даже пугала, сколько унижала Метте. Она была уязвлена в своем тщеславии. Как разрывалось, должно быть, ее сердце, когда она бросила прощальный взгляд на красивый павильон на улице Карсель, который в своей наивной гордости она именовала "особнячок Жоббе-Дюваль". Холодными серыми глазами смотрела она на человека, который ее предал. Она никогда не простит Гогену, что он отнял у нее то, что сначала дал. Никогда не простит живописи крушение своей жизни.

"Мерзкая живопись!" - ты часто оскорбляла ее этими словами". Уязвленная Метте даже не пыталась бороться с трудностями. Она не хотела и не старалась сократить расходы, словно отсутствие денег должно было принудить Гогена снова начать зарабатывать. Сбережения Гогенов быстро таяли.

Гоген приходил в отчаяние от настроения Метте. Он был бы рад обеспечить ей прежние условия жизни - но как? Писсарро оказался прав руанцы не покупали живописи импрессионистов. Бедная Метте! Он оправдывал ее разочарование, ее резкости, даже выпады против французов, "странного народа", которых она теперь презирала, как она заявляла в гневе.

И вдруг для Гогена забрезжила надежда. Через посредство его свояка Фритса Таулова его пригласили принять участие в выставке в Норвегии, в Кристиании. Гоген поспешил отправить устроителям несколько своих произведений и посоветовал Писсарро сделать то же. Норвегия, утверждал он, великолепная страна. Он убедился в этом, когда плавал на "Жероме-Наполеоне". Художнику имеет смысл там обосноваться - на пять тысяч франков в год там можно безбедно существовать с семьей.

Но у Метте не было ни малейшего желания ехать в Норвегию, и у Писсарро, который снова - в который раз! - пытался предостеречь своего друга, - тоже. "Передайте Гогену, - писал он Мюреру, - что после тридцати лет занятий живописью и имея кое-какие заслуги, я

сижу без гроша. Пусть молодые не забывают об этом. Таков наш жребий - он не самый выигрышный!"

Когда 8 августа Писсарро отослал это письмо, Метте уже отбыла в Данию.

*

По мере того как недели шли и озлобление Метте усиливалось, она все чаще и все с большей нежностью вспоминала свою родину - Данию. Одиннадцать с половиной лет тому назад она с Марией Хеегорд приехала в этот самый Руан на корабле, который курсировал от порта Эсбьерг, на западном побережье Ютландии, до Нормандии. Так началось ее путешествие во Францию. Потом она встретила Гогена и прожила с ним несколько счастливых лет. Но теперь это была разочарованная в своих надеждах, оскорбленная женщина. И гудок парохода, который приходил из Эсбьерга и на борту которого служил один из ее родственников, звучал для нее как призыв. Пока Гоген предавался мечтам о Норвегии, она мечтала о стране, где прошла ее юность. На земле Франции она снова стала чувствовать себя чужестранкой.

Метте увезла с собой Алину и самого младшего сына, Поля, которого она уже стала звать на датский лад - Пола.

Было решено, что Метте проведет в Копенгагене семь-восемь недель, пока Гоген постарается упрочить свое положение. Оставшись один с детьми и няней, он старался экономить, как мог. Чтобы свести концы с концами, он за половинную цену продал свой страховой полис.

Пока Гоген писал портреты, пейзажи, виды руанского порта, Метте в Копенгагене радовалась встрече со знакомыми улицами, с домом на Фредериксберг-Алле, где жила ее мать, Эмилия Гад. Мать и вся остальная родня приняли сторону Метте против Гогена. Ей советовали не возвращаться во Францию. Уговаривать ее не пришлось. Метте начала строить планы. Она будет преподавать соотечественникам французский, который она хорошо знает. Через полгода Поль приедет к ней. Быть может, за это время он поймет, в чем состоит его долг. Так или иначе, здесь ему это растолкуют. Такой умный и практичный человек, как он, всегда найдет в Копенгагене работу.

Метте поделилась своими планами с Гогеном. Но вдруг она передумала. Она решила не оставлять во Франции мебель, которой была обставлена их квартира. Она увезет ее в Копенгаген. В октябре она приехала в Руан. Теперь она уже не сомневалась, что навсегда уезжает в Данию.

Планы жены не слишком улыбались Гогену. Но, видя ее решимость, он уступил. Она всегда поступала по-своему, он это знал. "Вспомни, как ты вела себя со мной, - я всегда был последним человеком в доме!" Гоген уступил он поедет в Данию, и не через полгода, а сразу же. Решиться на разлуку, остаться во Франции означало признать, что прошлое умерло. Гоген не хотел с этим смириться. Как ни огорчало его иногда поведение Метте, он не хотел лишаться того, что называл своей "любовью". Он всеми силами пытался убедить себя, что, несмотря на все передряги, прежняя жизнь продолжается. Он хотел видеть в Метте женщину, которую он любил и любит по-прежнему. "Что бы там ни изобретали, лучше семейного согласия ничего не выдумать".

В приливе оптимизма Гоген твердил себе, что родственники Метте помогут его семье. Кроме того, начинающий торговец картинами Берто обещал его поддержать. И еще Гоген завязал отношения с управляющим "фабрикой по производству непромокаемых и водоустойчивых тканей" фирмы Дилли и К°, принадлежащей Рубе, которая только что запатентовала свой метод. Почему бы Гогену не стать представителем фирмы в Дании? С помощью жениной семьи, у которой, как он охотно объяснял служащим Рубе, большие связи в официальных кругах, он, несомненно, без труда - довольно похлопотать раз-другой заключит множество выгодных сделок.

27 мая Метте в Париже простилась с Шуффенекером, у которого заняла четыреста двадцать франков, потому что не могла устоять перед искушением, и купила себе "роскошное" платье, "хотя оно было не по карману семье".

Меньше чем через неделю Метте с детьми и всей обстановкой погрузилась на пароход, который шел в Данию. А следом за ней, едва ему удалось заключить соглашение с фирмой по производству непромокаемых тканей, из Руана в Копенгаген направился Поль Гоген.

IV
МЕТТЕ

То, что с такой силой притягивает меня к тебе и будит во мне негасимое желание, восходит к давним временам. Если бы ты могла понять, какой ты видишься мне, как прекрасен образ, который ты излучаешь, и как он освещает для меня мир!.. Твоя земная оболочка лишь бледная тень этого образа... Это вечный, изначальный образ, частица божественного, неведомого мира.

Новалис[91]*. Генрих Офтердинген*

Декабрь. По заснеженным улицам Копенгагена, где температура показывала десять градусов ниже нуля, скользили сани. В парке Фредериксберг катались на коньках.

Гогену в общем нравился этот город, он считал его "живописным", некоторые мотивы уже привлекли его внимание. Он был готов приспособиться к новым условиям существования, сделать над собой усилие, чтобы к ним привыкнуть. Но семья жены отнюдь не ценила его благих намерений.

Сплотившись вокруг Метте, члены семьи Гад и их друзья держались с Гогеном отчужденно, почти враждебно. Они смотрели на него с холодным и вежливым любопытством, к которому примешивались удивление и неприязнь. Для этих людей в жизни существовала только одна ценность - деньги и социальное положение. Поступок Гогена озадачил их, поставил в тупик. Не случайно этот человек, который ведет себя и рассуждает иначе, чем все они, не знает их языка. Они смотрели на Гогена с инстинктивным недоверием, какое люди испытывают к тому, что им чуждо.

Гоген надеялся, что найдет в Дании семью, опору, но обрел лишь свое прежнее одиночество. Он просил убежища, но его не приняли в клан. Его порыв угас, он снова оказался предоставлен самому себе.

"Нечего сказать, приятная страна эта Дания!"

Окружавшая его среда коробила и раздражала Гогена своей посредственностью. Датчане - отвратительные буржуа, реакционеры и шовинисты, негодовал Гоген. Они отличаются рабской приверженностью к внешним формам, и при этом показной добродетелью и ханжеством; у них принята система "пробного обручения", которое "покрывает все грехи", зато внебрачные связи караются тюремным заключением. Вдобавок они начисто лишены вкуса и способны, например, какую-нибудь мебель настоящей художественной работы накрыть "дешевой тряпкой за несколько франков". Картины Рембрандта плесневеют в музеях, куда никто никогда не заглядывает. Датчане предпочитают семейные посещения храмов, "где им читают Библию и где можно одеревенеть". Они создали музей своего соотечественника - скульптора Торвальдсена. Музей этот отвратителен. "Я посмотрел, что там выставлено, хорошенько посмотрел, и у меня голова пошла кругом. Греческая мифология, ставшая скандинавской, а потом, после еще одной стирки, - протестантской. Венеры опускают глазки и стыдливо кутаются во влажное белье. Нимфы танцуют джигу. Да, да господа, они танцуют джигу - поглядите на их ноги". На взгляд самых смелых датских художников, великие живописцы современности - это де Ниттис[92] и Бастьен Лепаж[93], которые якобы "завершили дело импрессионистов". Балаган!

---

[91] Новалис (настоящее имя Фридрих фон Харденберг, 1772-1801) немецкий поэт и философ, представитель романтизма.

[92] Де Ниттис, Джузеппе (1846-1884) - художник и рисовальщик, итальянец по происхождению.

И, однако, Гоген мужественно принялся за дело. Он заказал себе почтовую бумагу на бланке с надписью:

"Специальная фабрика
по производству непромокаемых
и водоустойчивых тканей
Дилли и Компания Рубе
Представитель
Поль Гоген"

Прилежно изучая датский язык, Гоген одновременно начал вести переговоры с железнодорожными и судоходными компаниями, гражданскими больницами и военными госпиталями, пытаясь продать им брезент и вальтрап.

Когда речь заходила о коммерции и о деньгах, семейство Гад старалось помочь Гогену и поддержать его своими связями. Один из родственников, Херман Таулов, фармацевт из Кристиании, предложил даже войти с Гогеном в долю и выяснить, что можно продать в Норвегии. Гоген поспешил принять предложение Таулова. Он считал, что Херман человек "оборотистый", а с норвежцами, "совсем не похожими на датчан, дела вести легко. Этот народ внимательно следит за всеми новыми изобретениями и готов быть среди первых. А о народах-консерваторах я больше и слышать не хочу".

Норвегия в глазах Гогена обладала одним неоспоримым преимуществом она находилась далеко от сферы его непосредственной деятельности. А близкая, реальная действительность, как всегда, приносила разочарования. Представитель Дилли и К° на каждом шагу сталкивался с трудностями. Во-первых, датские власти потребовали, чтобы он заплатил за патент двести двадцать крон, а у него не было на это денег. У него не было денег даже на карету - концы приходилось делать большие, а зимние дни коротки. Он попросил аванс у Дилли и К°, но ему отказали. С другой стороны, Рубе не решался посылать ему много образцов. Таможня обложила товары фирмы самой высокой пошлиной, и они стали слишком дороги "для страны, где предпочитают всякую дешевую дрянь", как утверждал Гоген.

И все-таки Гоген пытался уверить служащих Рубе, а заодно и самого себя, что его старания вот-вот увенчаются успехом. Но пока что они ни к чему не приводили. Всюду, куда он приносил образцы, начиналось длительное обсуждение их преимуществ, потом давались уклончивые ответы, перечислялись всевозможные препятствия, а потом - "мы подумаем", и заказы откладывались на неопределенное время. В Норвегии дела обстояли не лучше. Херман Таулов не понятно, почему он скрыл это от Гогена, - не мог "открыто заниматься другим ремеслом", кроме фармацевтического. Он договорился со своим приятелем, что тот возьмет на себя продажу непромокаемых тканей, но приятель потребовал большие проценты...

Устав от беготни, Гоген возвращался в квартиру на Гаммель Конгевей, 105 и уединялся в своем "художественном убежище", как он его прозвал.

"Больше чем когда-либо меня одолевает искусство, и одолевшие меня денежные заботы и деловые хлопоты не могут меня от него отвратить",признавался он Шуффекенеру в письме от 14 января 1885 года. Краски, продававшиеся в Дании, были отвратительны, да и он редко мог позволить себе их купить. И все-таки он писал. Набросал конькобежцев во Фредериксбергском парке. Написал самого себя на чердаке, слабо освещенном маленьким оконцем, куда жена выдворила его вместе со всеми художественными принадлежностями. Гостиная нужна была ей самой, чтобы давать уроки французского. Время от времени из гостиной до Гогена доносился смех Метте, которая беседовала со своими учениками, элегантными молодыми людьми, будущими дипломатами, жестокий не без нарочитости смех, который оскорблял Гогена. О, Метте, любимая женщина, защитница и

---

93 Бастьен-Лепаж, Жюль (1848-1884) - французский художник, пользовавшийся большим успехом в Салоне.

покровительница мира его фантазии, к чему эти уловки? С болью в душе Гоген продолжал писать.

"Я без гроша, завяз по горло, потому-то я и утешаюсь мечтами". Вечерами, в постели, он размышлял, раздумывал. Позабыты брезенты Дилли и К°, позабыто семейство Гад и датчане, Гоген погружался в родные ему глубины. Под его тяжелыми полуопущенными веками мелькали линии, плясали краски. Многомесячные тяжелые испытания дали толчок его мысли. У этого человека, жившего мечтами, все сначала совершалось в уме. Он продолжал писать в импрессионистской манере, но в эти часы бессонных раздумий в тревожном озарении ему уже виделась форма грядущей живописи, его собственного будущего искусства.

"Для меня, - писал он Шуффу в том же самом (во многих отношениях пророческом) письме от января 1885 года, - великий художник обязательно являет собой великий ум. Ему свойственны самые тонкие, а следовательно, самые неуловимые чувства и толкования мысли". Искусство будущего должно не столько воплощать внешний образ вещей, сколько придавать форму - "самую простую" - чувству или мысли, которая владеет художником, находить пластический эквивалент его внутреннему миру.

"Взгляните на огромный мир творения природы, и вы увидите, что в нем существуют законы, следуя которым можно воссоздать, стремясь не к внешнему сходству, а к сходству впечатления, все человеческие чувства... Есть линии благородные, лживые и т. д. Прямая создает ощущение вечности, кривая ограничивает творимое... Цвет еще более выразителен, хотя и менее многообразен, чем линия, благодаря своему могучему воздействию на глаз. Есть тона благородные и пошлые, есть спокойные, утешительные гармонии, и такие, которые возбуждают вас своей смелостью...".

Эстетическая теория, начатки которой здесь набрасывал Гоген[94] и на которой взросло впоследствии несколько поколений художников, была отрицанием импрессионизма, продолжавшего реализм. Поразительное открытие! Почти совсем оторванный от парижской художественной среды, развивая свои мысли в полном одиночестве, в гнетущей атмосфере всеобщего презрения, Гоген порой спрашивал себя, уже не сходит ли он с ума. "И все же, чем больше я размышляю, тем больше верю, что я прав".

А в гостиной раздавался смех Метте... Гоген делал все новые попытки продать непромокаемые ткани Дилли и К°. Но он не получил ни одного заказа, кроме как от господина Хеегорда, который в середине февраля купил пять рулонов брезента. Эти постоянные неудачи, конечно, не улучшали отношений с семейством Гад.

В особенности женская часть семьи с мстительным наслаждением унижала Гогена. Его теща, упрямая, сухая и властная женщина, непрерывно отпускавшая колкости, и свояченицы, в особенности "гордость семьи" Ингеборг, пользовались любым случаем, чтобы досадить Гогену. Самый глупый из датчан был в их глазах чудом ума по сравнению с этим бездарным французом, который сел на шею семейству Гад. Ингеборг вновь обрела былое влияние на свою старшую сестру Метте. С торжествующим злорадством она упорно раздувала обиду своей сестры, стараясь восстановить ее против этого маклера-неудачника, недостойного супруга, который не способен заработать ни гроша, хотя ему надо кормить жену и пятерых детей.

Гоген отмалчивался. Он ходил с образцами товаров из больницы в лавку шорника, из

94 Рене Юиг справедливо отмечал, что Делакруа в этом смысле можно считать предтечей Гогена. Он высказывал сходные мысли, некоторые из них были повторены Бодлером. "Человеческой душе, - писал Делакруа, - присущи врожденные чувства, которые никогда не удовлетворятся предметами реального мира, и вот этим-то чувствам воображение художника и поэта и придает форму и жизнь... Определенное впечатление рождается от того или иного сочетания красок, света и тени... Это то, что можно назвать музыкой картины. Такого рода ощущение обращено к самой интимной стороне души...". Гоген, который позднее переписал некоторые из этих фраз Делакруа, заметил: "Я люблю мечтать о том, что было бы, явись Делакруа на свет на тридцать лет позже и предприми он, с его состоянием и в особенности с его талантом, борьбу, на которую решился я. Какое возрождение искусства было бы у нас сегодня!"

конторы управления Зеландских железных дорог в контору Арсенала. "Даже детей подучивают говорить: "Папа, давай денежки, а не то, папочка, пеняй на себя!" Наконец в последних числах марта Гоген получил в Арсенале заказ на сто двадцать пять метров брезента. Воспользовавшись этим, он попросил Дилли и К°, чтобы ему разрешили взять вырученную сумму в счет аванса. Но это не могло спасти положения. За семикомнатную квартиру, в которой поселилась Метте, приходилось платить слишком дорого - четыреста крон за полгода. В апреле Гогены перебрались в более скромную квартиру, на Норрегаде, 51. Метте это дало новый повод злиться на мужа. Муки тщеславия, пережитые ею в Париже и в Руане, не шли ни в какое сравнение с теми, что ей приходилось переживать здесь, где все ее знали, где каждый ее шаг был на виду и люди злословили о ней и о торговце брезентом. Она шпыняла мужа, осыпала упреками, обвиняла в эгоизме и в бесчувственности! О, если бы не дети! Они ее настоящее утешение, подлинная цель жизни. Она больше мать, чем жена, твердила Метте. И, однако, озлобленность против мужа внушала этой матери неприязнь к некоторым из детей - эти чувства в ней поддерживала ее семья. Кловис и Алина - мальчику шесть, а девочке семь с половиной лет особенно любимы отцом, на которого они похожи, и этого довольно, чтобы семейный клан в отместку охладел к ни в чем не повинным детям. Жестокая, но правдивая деталь. Впоследствии Гогену пришлось даже просить Метте преодолеть себя и поласковей обходиться с Кловисом. "Этот ребенок не должен чувствовать, что ты и твои родные не расположены к нему. У него чуткое сердце - он ничего не скажет, но будет страдать". В другой раз - уже много лет спустя (потому что этот бессердечный отец не переставал тревожиться о детях) - он с горечью напишет об Алине: "Я знаю, что она немного похожа на меня, и по этой причине ты относишься к ней в какой-то мере, как к чужой. Она понимает, что ты ее не слишком любишь, и она несчастлива".

17 апреля Гоген отправил письмо управляющим фирмой Дилли и К°:

"Вы пишете мне, что создается впечатление, будто я отчаялся. Это не совсем так, но признаюсь, я устал от беготни и встреч, которые много обещают, но сулят заработки только в далеком будущем... Эти господа отнюдь не всегда держатся любезно, а сегодня из-за таможни, чтобы доставить товар в Арсенал, мне пришлось хлопотать и бегать с половины одиннадцатого до трех часов по конторам и в порту. Надо признать, что если я и заработаю у вас деньги, то не даром".

Молчальник начал терять терпение. Его принимали, выслушивали, разглядывали его товар, а потом откладывали заказы на неопределенный срок: "Приходите недель через шесть или месяца через три, может, мы что-нибудь и решим". И Гоген забирал свои образцы и отправлялся обивать другие пороги. Трудности, отказы, отсрочки, ожидание - в итоге он раздражался. "Эти господа отнюдь не всегда держатся любезно". Но и Гоген тоже. Однажды он схватил со стола стакан с водой и швырнул его в лицо клиенту.

И вдруг, в эти мрачные копенгагенские дни, на горизонте забрезжил просвет. Гоген изредка встречался с датскими художниками. Показывал им свои картины. Один из них, Филипсен[95], даже попросил на время одну из картин, чтобы изучить ее на досуге. В апреле благодаря этим знакомствам Общество друзей искусства предложило Гогену устроить небольшую выставку его произведений.

Гоген безусловно надеялся, что после стольких огорчений и разочарований выставка его поддержит. Теперь, больше чем когда бы то ни было, только мысли о живописи ("Убежден, - писал он в мае Писсарро, - что преувеличения в искусстве не существует. Я даже полагаю, что все спасение в крайности") и редкие минуты, когда он мог писать у себя на чердаке или в городских парках, приносили ему видимость успокоения. Увы, он не подозревал, что его выставка (она открылась в пятницу 1 мая) нанесет ему жестокий удар. И в самом деле, полотна Гогена показались настолько дерзкими, что критика встретила их единодушным молчанием. Общество друзей искусства приняло решение выставку закрыть.

---

[95] Филипсен, Теодор Эсбьерн (1840-1920) - датский живописец, скульптор и керамист.

Гоген тяжело пережил это публичное унижение, в котором винил Датскую Академию. "Я ведь ни о чем не просил!" Доведенный до отчаяния, он повсюду видел "низкие интриги". И так ли уж он был неправ? В том смятении чувств, в каком он жил, у него не раз, наверное, вырывались не слишком лестные слова по адресу Дании и датчан, которых его родственники вечно ставили ему в пример. "Ненавижу Данию!". Оскорбляемый семьей жены, он задыхался в этом прозаическом мире мещан, довольных собой, убежденных в своих добродетелях и обвинявших его в том, что они считали самым страшным преступлением - на социальной лестнице он оказался среди побежденных. В глазах этого сына солнца, которому климат северной страны был так же противен как ее жители (он страдал от ревматических болей в плече), Дания воплощала все то, что он безотчетно ненавидел.

Но, конечно, дело было не только в язвительных выпадах человека, которого непрерывно унижали и третировали. Гоген не умел притворяться. Он никогда не делал попыток приспособиться к этой среде с ее жестокой моралью, где все были озабочены соблюдением внешних приличий. Ему даже не приходило в голову приспособиться. Да и захоти он - он бы не мог.

Мало того что его выставка вызвала скандал, люди замечали, что он не ходит в церковь. Оказывается, этот мазила еще и безбожник. Вчера Гогена считали подозрительным, сегодня он стал нежелательным. И это ему откровенно давали понять. Мастера-окантовщики отказывались делать для него рамы. Иначе, мол, "они потеряют клиентов". Графиня Мольтке, оплачивавшая пансион старшего сына Гогена, Эмиля, отныне перестала за него платить "по религиозным соображениям". По этим же причинам некоторые ученики, собиравшиеся брать уроки у Метте, так больше и не появились в квартире представителя фирмы, не имеющего клиентов.

"У меня терпение лопается! " - восклицал Гоген. Бессмысленно было продолжать жить в Дании, в этой враждебной стране, где он не мог ждать ничего кроме постоянных унижений. "Долг! Посмотрел бы я, как другие повели бы себя на моем месте. Я исполнял свой долг до конца и отступил только тогда, когда это стало физически невозможно". В мае он написал Писсарро: "Самое позднее месяца через два, если только я не повешусь, я вернусь в Париж и как-нибудь проживу - стану рабочим или бродягой"[96]. Рабочим - хотя бы, например, у скульптора Буйо. Главное, он будет "свободным" и ему не придется терпеть нападки семейки, которая самого кроткого человека способна превратить в "кровожадного зверя".

Но в общем, хотел того Гоген или нет, семейство Гад решило вынудить его уехать. После того как у Эмиля отняли плату за пансион, а Метте лишилась уроков, ее родные окончательно ополчились против бывшего маклера. Ему напрямик объявили, что он "лишний". К тому же он непрерывно совершал бестактности. В начале лета, прогуливаясь по пляжу, где женщины и мужчины купались голые, но каждые в своей стороне и в определенные часы, - "причем полагалось, чтобы путники, идущие по дороге, ничего не видели", - он опять вызвал скандал, заглядевшись на жену пастора с маленькой дочкой. Нет, пора этому ничтожеству убираться восвояси.

Метте сама хотела "разъехаться". Когда Гоген упрочит свое положение, можно будет пересмотреть этот вопрос. "Оглядываясь назад и видя злобные страсти, которые нас разъединили, я должен был бы тебя ненавидеть". Но Гоген не питал к Метте ненависти. Несмотря на все зло, какое она ему причинила, на старые обиды, которые он теперь припоминал, он не хотел ее лишиться.

Он не хотел, чтобы жизнь его "была разбита и в ней не осталось никакой надежды", не хотел снова оказаться "одиноким, без матери, без семьи, без детей", отброшенным в ледяной холод изгнания, как это было когда-то может, он это вспоминал? - в Орлеане, после жизни в Лиме. В ту пору подгоняемый неосознанным желанием вновь обрести потерянный рай он отправился в плавание, путешествовал, скитался, и все без толку, вернулся во Францию и

---

96 Приводится Ховардом Рострупом.

тут-то и встретил прекрасную датчанку.

Гоген боролся, отстаивая то, что у него пытались отнять. Но - "эту бурю мне не выдержать!" Один из братьев Метте решительно заявил ей и ее мужу: "Вы не можете жить вместе". И, обратившись к сестре, добавил: "Мы сделаем все, чтобы тебе помочь".

Чаша терпения Гогена переполнилась. Его "гонят" - ну что ж, он уедет. Но он не мог смириться с тем, что двенадцать лет его жизни навсегда перечеркнуты. Его вынудили на разрыв с женой, но этот разрыв временный.

Он не знал, на что он будет завтра существовать в Париже. Он уехал без денег, почти без одежды, так как все вещи остались у Метте (она должна была переправить ему в Париж только один сундук). Но он увез с собой Кловиса не любимого матерью сына.

Когда его положение улучшится, рассуждал Гоген, он возьмет к себе и других детей. А потом приедет и сама Метте. Они забудут "мучительные" годы и восстановят разрушенный семейный очаг.

Часть вторая
ТОЩИЙ ВОЛК
(1885-1891)

I
ТАБОГА

И изменишься ты, но не станешь лучше.
Подражание Христу

В ноябре 1884 года, когда Гоген готовился уехать следом за женой в Данию, Шуффенекер, только что получивший диплом педагога, добился нового успеха на поприще, о котором мечтал: уже преподавая рисунок в школе на улице Фурно, он получил назначение еще и в лицей Мишле в Ванве.

Добряк Шуфф рад был бы помочь другу, но семья его разрослась, у него было теперь двое малолетних детей, и он немногое мог сделать для Гогена, разве что изредка пригласить его к обеду.

Гоген временно поселился неподалеку от своей старой квартиры, на улице Фурно, рядом со скульптором Буйо, в тупике Фремен, который, по словам Гогена, немножко напоминал "Двор чудес". Но вопреки надеждам Гогена, Буйо его на работу не взял, правда, пообещав сделать это в довольно скором времени, когда получит большой заказ.

"Ты спрашиваешь, что я собираюсь делать этой зимой, - писал Гоген Метте 19 августа. - Сам не знаю. Все зависит от того, какие у меня будут средства. Без ничего - ничего не получится".

Если бы только ему удалось продать одну-две картины! Но он сам признавался, что торговля картинами "совершенно заглохла". На Берто он давно уже не рассчитывал, а "проклятый иезуит Дюран-Рюэль" на него "плюет".

Но все равно. Гоген писал жене, что именно на живопись возлагает все свои надежды. Как-то он повстречал Жоббе-Дюваля, и этот бретонец из Карэ, между прочим, рассказал Гогену о маленьком местечке Понт Авен в Финистере, куда ездят многие художники. Там не только можно дешево прожить, но вдобавок хозяйка маленькой гостиницы Мари-Жанна Глоанек предоставляет художникам широкий кредит. Только бы Гогену раздобыть немного денег, и он поедет туда будущим летом. "Если дела пойдут на лад,- писал он Метте в письме от 19 августа, - и талант мой будет развиваться, да за него еще будут платить, я подумаю о том, где бы обосноваться прочно. А ты со своей стороны попытайся помочь мне составить имя в Дании. Это принесет тебе не меньше пользы, чем мне. К тому же это лучший способ соединиться".

Как видно, Метте этого не считала - во всяком случае, на письмо она не ответила.

В ожидании пока осуществятся его отдаленные планы Гоген должен был позаботиться о насущных нуждах - прокормиться и прокормить "своего" Кловиса. Ему это удавалось с трудом, он влачил "нищенское" существование, и это его удручало. Вдобавок фирма Дилли и К°, парижское отделение которой помещалось на улице Пердонне, 19, "одолевала" Гогена из-за аванса, который он удержал, и товаров, которые по вине Хермана Таулова без движения лежали в Норвегии.

Гоген никогда не мог до конца отказаться от своих мечтаний. Теперь, когда он уехал из Копенгагена, представительство Рубе стало казаться ему очень перспективным. Пораженный тем, как фирма расширила свои дела во Франции и Бельгии, он просил жену поинтересоваться датским рынком. "Поверь, это дело серьезное!" - убеждал он ее. Кроме того, он возобновил связи с испанскими революционерами Сорильи. В конце августа он поехал в Лондон, чтобы встретиться с ними - "сама знаешь где", - написал он жене. Перед отъездом Гоген отдал Кловиса своей сестре Мари, которая вышла замуж за чилийского коммерсанта Хуана Урибе. Но хотя Мари стала состоятельной женщиной, она весьма неохотно взяла к себе племянника.

Почти три недели провел Гоген в Великобритании. На обратном пути он остановился в Дьеппе - ему хотелось писать. Он был очень доволен поездкой: "Как ты знаешь из копенгагенских газет, положение в Испании осложнилось, а это, естественно, будет способствовать тем небольшим переменам, к которым мы стремимся. Так что это вопрос времени, и я не преминул возобновить старую дружбу. Стало быть, в будущем это дело почти верное", - утверждал Гоген.

В Дьеппе Гогена ждала почта. Но он был крайне удивлен, что среди писем не оказалось письма от жены. "Признаюсь тебе, твое нынешнее молчание кажется мне просто непостижимым, ведь вот уже месяц я не получаю от тебя ни строчки... Следовало бы помнить, что дети у тебя, и их здоровье беспокоит отсутствующего". У Гогена зародилось подозрение. От Шуффа он узнал, что Буйо решил отказаться от его услуг. Буйо наконец получил долгожданный большой заказ, но ему навязали другого помощника. "Есть во всем этом что-то туманное, что я не решаюсь себе объяснить, - писал Гоген жене. - Уж не написала ли ты мадам Буйо? Я ведь знаю, что ты мечтаешь, чтобы я вернулся на биржу...". И он добавлял кисло-сладким тоном: "Ты ведь знаешь, я всегда инстинктивно догадываюсь о том, что происходит, и уверен, в настоящую минуту твоя сестра опять верховодит тобой... Конечно, мне нанесли тяжелый удар, но ничего, - хорохорился он, - не такой я человек, чтобы не оправиться, особенно теперь, когда я привез из Лондона кое-какие козыри".

В Дьеппе Гоген встретил Дега, который гостил там у своих друзей. По неизвестной нам причине они поссорились. Дега, характер которого не отличался уживчивостью, стал донимать Гогена насмешками. В Дьеппе вокруг Дега увивалась целая компания художников. Был среди них бывший свояк Гогена, Фритс Таулов (он незадолго перед этим развелся с Ингеборг), сын психиатра Бланша - Жак-Эмиль[97], Уистлер[98], еще один английский художник Сиккерт[99] и молодой Эллё[100]... Эти люди высмеивали Гогена. Жак-Эмиль Бланш обращал внимание на его "странное лицо,, экстравагантную одежду и какой-то диковатый вид", а отец, - уверял он, - "постоянно указывал ему эти признаки мании величия".

---

97 Бланш, Жак-Эмиль (1861-1942) - художник и литератор.

98 Уистлер, Джеймс Мак-Нейл (1834-1903) - американский художник; был тесно связан с художественной жизнью Парижа.

99 Сиккерт, Уолтер Ричард (1860-1942) - художник, сын англичанки и датчанина, был учеником Уистлера.

100 Эллё, Поль-Сезар (1859-1927) - французский художник и гравер.

- Друзья мои, да он же просто кудесник! - восклицал Эллё. - Посмотрите на его руку. На его указательном пальце кольцо - настоящее произведение искусства! Мне просто дурно, когда я это вижу. Ну разве при таком несуразном виде можно быть талантливым? И вдобавок он разговаривает сам с собой!

Но Гоген не замечал издевательского интереса, вызванного его особой. Он писал. С той поры, как вечерами в Копенгагене он обдумывал свою эстетическую теорию, на практике его живописная манера почти не изменилась. В нем все созревало очень медленно. Он действовал, повинуясь не порывам, а рассуждению. Тем не менее он незаметно удалялся от импрессионизма, хотя и продолжал пользоваться его рецептами. Однако если в его пейзаже появляется животное, то это почти всегда корова: могучие формы коровы, ее монументальное спокойствие отвечали его антиимпрессионистической тяге к мощным структурам. В эти дни, проведенные в Дьеппе, Гоген сделал еще один шаг в сторону того искусства, которое он уже провидел: в картине "Купальщицы", которую он написал на пляже, он упростил цвет и обвел контуры четкой линией.

Но, увы, это был слишком краткий опыт. Гогену пришлось вернуться в Париж.

Он бродил по Парижу без денег, без крова, ночуя, где придется, иногда у Шуффенекера, иногда даже у представителя фирмы Дилли. Мари поспешила вернуть ему Кловиса. К счастью, Жоббе-Дюваль и его жена выразили желание на неделю взять к себе мальчика. Гоген искал, где бы снять квартиру, и просил Метте прислать ему постельные принадлежности. Пытался он "временно найти местечко на бирже". Большую часть его коллекции картин Метте вывезла в Данию. Но некоторые остались в Париже. Он пытался продать их, надеялся выручить шестьсот франков за одну картину Писсарро и одну Ренуара. "Как только я их получу, вышлю тебе двести франков", - написал он Метте, которая "хныкала".

В начале октября Гоген нашел квартиру в районе Северного вокзала - на улице Кай, 10. Но постельное белье, о котором он просил Метте, так и не пришло. Гоген взял к себе Кловиса и кое-как устроился на новом месте. Для мальчика он взял на прокат кровать, а сам довольствовался матрацем - он спал на нем, укрывшись походным одеялом. Питались они более чем скудно. "Не беспокойся о Кловисе, - писал Гоген жене. - ...Яйцо, немножко риса, и он ест за обе щеки, особенно когда на десерт бывает яблоко".

Но Метте, как видно, не слишком утруждала себя беспокойством. После того как Гоген объяснил ей, что о месте на бирже он мечтал, "просто чтобы продержаться до тех пор, пока не настанут лучшие времена для живописи", и сообщил, что продажа картин Писсарро и Ренуара сорвалась, она снова перестала писать.

Гоген проводил время в хлопотах. Места на бирже получить не удалось. Не нашлось покупателей на Ренуара и Писсарро. Он жил щедротами случайных знакомых. Сына кормить было почти нечем. Ко 2 ноября он все еще не получил от жены ни писем, ни белья. "Послала ли ты вещи, о которых я тебя просил? Мне они нужны сейчас позарез". И в самом деле, грянули холода. Отец с сыном мерзли в квартире, где было нечем топить. А у Кловиса не было даже теплой фуфайки.

Наконец в ноябре Гоген все-таки получил письмо от жены - Метте хотела знать, сколько стоят некоторые картины из коллекции мужа, она собиралась их продать. Гоген удивился и встревожился: "Если так будет продолжаться, у меня в один прекрасный день ничего не останется". Он пытался убедить жену не продавать двух картин Сезанна: "Я очень дорожу этими двумя Сезаннами, таких очень мало, потому что он редко заканчивал работы, и когда-нибудь они будут стоить очень дорого. Лучше уж продай рисунок Дега". Но вообще Метте в первую очередь следовало бы позаботиться о произведениях самого Гогена. "Самое важное - привлечь внимание к моим картинам", - напоминал ей Гоген.

О постельном белье Метте не обмолвилась ни словом. "У нас сейчас страшный мороз, и мне позарез нужны матрацы и одеяла. Но кто знает? Может, когда-нибудь я их все же получу!"

Декабрь выдался на редкость холодный. Гоген бился в тисках нужды, которая

становилась все беспросветнее. Им с сыном порой было нечего есть, кроме кусочка хлеба, да и то купленного в кредит. Хилый мальчик заболел ветрянкой. Сидя у постели ребенка, горевшего в лихорадке, Гоген в отчаянии не знал, что предпринять. В кармане у него оставалось двадцать сантимов. И вдруг ему пришло в голову наняться расклейщиком афиш в рекламное агентство.

Управляющий агентством, увидев Гогена, одетого, как буржуа, рассмеялся. Но Гоген настаивал, объяснял, что у него болен ребенок. Его наняли - он должен был расклеивать афиши на стенах Северного вокзала за пять франков в день.

Три недели он клеил афиши, пока Кловис медленно поправлялся. Когда отец уходил на работу, за мальчиком присматривала сердобольная соседка. В разгаре этой беды у Гогена вдруг забрезжила надежда. Рекламное агентство пообещало ему место инспектора с жалованьем двести франков в месяц. С другой стороны, импрессионисты намеревались весной организовать выставку. "Может статься,- писал Гоген, - это положит начало нашему успеху". Наконец, в конце декабря Метте решилась послать мужу постельные принадлежности.

В письмах к Метте тон Гогена по временам становился резким. Метте это заметила. Как видно, ее родственники более или менее забросили ее (она провела рождественские праздники в одиночестве), и она пыталась разжалобить мужа, вызвать у него сочувствие к ее собственной "такой печальной" судьбе, просила у него снисхождения.

А в Гогене назревал гнев, хотя он это отрицал. "Ты напрасно думаешь, что я сержусь. Я просто ожесточился... Не хлопочи о том, чтобы я простил твою вину. Я уже давно все забыл. Даже твоя сестра, самая злая и глупая из всех, кажется мне теперь женщиной не хуже других". Эти слова огорчали Метте, она просила мужа "быть с ней поласковее". Разве он не знает, что она его любит? Тут Гоген не выдержал. До сих пор он не признавался Метте, что нужда заставила его наняться расклейщиком афиш. Теперь у него вырвалось это признание:

"Ты будешь уязвлена в своем самолюбии датчанки, узнав, что у тебя муж - расклейщик афиш. Что поделаешь, не всем быть талантливыми... Я с полным спокойствием перечитал все твои письма, которые прехладнокровно и, впрочем, вполне убедительно говорят мне, что я тебя любил, но ты, мол, не жена, а мать и т. д. Воспоминания эти весьма мне приятны, но в них есть один большой недостаток - они не оставляют мне никаких иллюзий на будущее. Поэтому не удивляйся, если в один прекрасный день, когда положение мое улучшится, я найду женщину, которая станет для меня не только матерью и пр.".

Прочитав эти строки, Метте "дулась" больше двух месяцев.

*

"Кловис держит себя героически. По вечерам, когда мы вдвоем садимся ужинать куском хлеба с колбасой, он даже не вспоминает о своих прежних любимых лакомствах, он молчит, не просит ни о чем, даже о разрешении поиграть, и ложится спать. Так у него проходят дни. Он теперь и сердцем и разумом совсем взрослый человек. Он день от дня растет, но чувствует себя неважно, всегда у него болит голова, и меня беспокоит, что он немного бледный".

Этому полуголодному, только-только оправлявшемуся от болезни ребенку необходимо было побольше есть и дышать деревенским воздухом. И Гоген, хоть и не знал, как он оплатит этот новый расход, решил поместить мальчика в пригородный пансион и отправил Кловиса в Антони.

Хотя сестра приняла Гогена недоброжелательно, он все-таки надеялся, что Мари поможет ему оплатить несколько месяцев пансиона для Кловиса. Но Мари отнюдь не собиралась отказывать себе в чем-либо, чтобы помочь брату. Если ему плохо, он сам в этом виноват. Пусть сам и выпутывается, как знает! А жалобы Метте - она не писала мужу, но невестке посылала длинные письма поддерживали в Мари сознание, что совесть у нее чиста.

"Она кричит на всех перекрестках, - говорил Гоген, - что я жалкий человек, что я ушел от Бертена ради живописи и ради этой ужасной живописи покинул свою бедную жену, оставив ее без крова, без обстановки, без всякой поддержки. В самом деле, толпа ведь всегда

права, - горько иронизировал он, - вы с ней ангелы, а я жестокий негодяй. Что ж, каюсь и простираюсь ниц".

Гоген был похож на ребенка, который плачет, обнаружив, что огонь жжет, а шипы колют. Погруженный в свои мечты, он сталкивался с действительностью, и она его больно била. Но жестокое соприкосновение с ней ничему не могло его научить. Он не пытался приспособиться к действительности, он негодовал, возмущался. Браня на чем свет стоит людей и общество, виновных в его глазах в том, что они не соответствовали его мечтам, он считал себя жертвой и еще глубже погружался в свои мечты.

Он метался из стороны в сторону. Искал место, но когда в начале 1886 года рекламное агентство предложило ему обещанную раньше должность инспектора, он, поколебавшись, отказался. Чего же он хотел? Может, он сознавал это еще довольно смутно, но все-таки он чувствовал, что не хочет "упустить добычу ради тени. А тень - это роль служащего". Это рабство, время, потерянное для настоящего дела - живописи. Его устраивала только такая работа, которая приносила бы ему деньги, много денег - почему бы нет? - но при этом не отвлекала его от живописи. По сути, всякая служебная лямка была ему отвратительна. То, чего он ждал, на что надеялся, хотя не говорил этого и, наверное, даже не сознавал, было "выгодное дело", которое помогло бы ему быстро разбогатеть и все идеально упростило бы, - то есть он мечтал о чуде, которое изменило бы реальность по образу и подобию его грез.

В первые месяцы 1886 года все мысли Гогена были заняты одним выставкой, которую задумали импрессионисты. Подготавливалась она медленно и не без конфликтов, потому что согласие между художниками стало более хрупким, чем когда бы то ни было. После бесконечных бурных дискуссий выставка наконец открылась и продолжалась с 15 мая по 15 июня на улице Лаффит, на втором этаже того самого здания "Мэзон Дорэ", которое так хорошо знал маклер Гоген, больше одиннадцати лет подряд поднимавшийся по его лестнице к Бертену или Галишону.

Гоген представил на выставку не меньше девятнадцати полотен, но не они привлекали внимание зрителей. Со дня вернисажа публику - шумную, насмешливую - притягивали всего несколько картин, выполненных в одной и той же технике, - среди них в особенности выделялась своими гигантскими размерами работа Жоржа Сёра[101] "Воскресная прогулка в Гранд-Жатт".

Бывшему ученику Академии художеств Жоржу Сёра исполнилось двадцать шесть лет. Это был мужчина громадного роста, сухой, с молодцеватой выправкой. Ярый поклонник пауки, наделенный аналитическим умом, он избегал какой бы то ни было фантазии в живописи, как не терпел ее в своем внешнем облике (Дега прозвал его "нотариусом"), и настойчиво разрабатывал то, что он назвал своим "методом". Применяя к импрессионизму некоторые законы спектра, сформулированные физиками Шеврейлем[102] во Франции, Рудом[103] в Америке и Гельмгольцем[104] в Германии, он разлагал цвет на самом холсте, накладывая краски "точечно" - мелкими пятнышками чистого цвета. Отныне краски должны

---

101 Сёра, Жорж (1859-1891) - французский художник, глава неоимпрессионизма. Влияние неоимпрессионизма, испытали многие художники (Синьяк, Камиль и Люсьен Писсарро, Ван Гог, Максимилиан Люс, отчасти Гоген).

102 Шеврейль, Эжен (1786-1889) - французский ученый-химик, много времени посвятил изучению законов красочных сочетаний, так как возглавлял производство гобеленов, в которых оттенки цвета складываются из многих различно окрашенных нитей.

103 Руд, Огден Н. - американский профессор-физик, его книга "Научная теория цветов" была переведена на французский язык в 1881 г. Обращаясь к художникам, он призывал их использовать научные открытия в искусстве.

104 Гельмгольц, Герман (1834-1894) - немецкий ученый, автор ряда работ по физиологии зрения.

были смешиваться не на палитре художника, а в глазу зрителя.

На выставке, открывшейся на улице Лаффит, Сёра был не единственным представителем "дивизионизма". Рядом с "Гранд-Жатт" висели работы друга Сёра - Синьяка[105], старшего сына Писсарро, Люсьена[106], и самого Писсарро, который пылко увлекся "научным" импрессионизмом. Отныне для Писсарро, ставшего убежденным "пуантилистом", Моне и Ренуар - всего лишь "импрессионисты-романтики". Он горячо отстаивал перед ними своих новых друзей. Поэтому Моне и Ренуар, а также Сислей и Кайботт не участвовали в этой выставке, которая, кстати сказать, оказалась последней выставкой, организованной группой импрессионистов.

Распад группы не был случайным. Прошло уже двенадцать лет с того времени, когда в 1874 году состоялась первая выставка импрессионистов, и за эти годы каждый из этих художников развивался в своем направлении. Импрессионизм раскололся. Направления, как в искусстве так и в науке, рождаются, достигают расцвета и, выполнив свое оплодотворяющее назначение, истощаются, клонятся к упадку. С выставкой на улице Лаффит заканчивается воинствующая история импрессионизма - обозначается новая эпоха в искусстве. Она обозначается не только работами Сёра, но и серией проникнутых таинственностью рисунков совсем еще не известного художника, влюбленного в фантастическое и необычайное, - Одилона Редона[107]. Парадоксальным образом на этой восьмой, и последней, выставке импрессионистов последовательных импрессионистов оказалось, в общем, мало. Кроме Гогена это были Берта Моризо, Гийомен и Шуффенекер, который просил у Берты Моризо чести быть допущенным на улицу Лаффит. После неудачи, постигшей его в Салоне 1883 года, добряк Шуфф, весьма самолюбивый и обидчивый, вдруг обнаружил в себе призвание... быть "непримиримым".

Искусство Сёра произвело огромное впечатление на Гогена. Тщательно построенные полотна автора "Гранд-Жатт" поразили его своей упрощенностью и ритуальной статичностью фигур. Эта стилизация так явно отвечала многим его мыслям об искусстве, что он не мог не отозваться на нее всей душой. Гоген познакомил Сёра с длинным перечнем живописных "рецептов", который вычитал у одного турецкого поэта и копию которого всегда носил с собой. "Пусть все у вас дышит миром и душевным покоем. Поэтому избегайте движения. Каждый из ваших персонажей должен быть статичен..." [108] . Но сама "пуантилистическая" техника вызывала у Гогена сомнения, и он проявлял по отношению к ней большую сдержанность. Присутствуя на банкете, который дивизионисты устроили в ресторане в Бельвиле, чтобы отметить свой шумный дебют - в парижском художественном мире говорили только о "Гранд-Жатт" и "точечной" технике, Гоген в смятении выслушивал теории Писсарро и его друзей. Нет, что бы ни утверждали пуантилисты, они не открыли "абсолютной истины в живописи". Гоген высказывал это, хотя и не вполне внятно, когда делился с Писсарро своими мечтами, устремлениями, потребностью в "чем-то другом" - отдаленном, извечном, что временами снедало его, томя невыразимым беспокойством. "Мне предлагают наняться сельскохозяйственным рабочим в Океанию, - говорил он, но это значит

---

105 Синьяк, Поль (1863-1935) - французский художник, неоимпрессионист.

106 Писсарро, Люсьен (1863-1944) - французский художник, старший сын Камиля Писсарро. Получил известность как график, оформитель книг.

107 Редон, Одилон (1840-1916) - французский художник. Крупнейший представитель символизма в живописи Франции 1880-х годов.

108 Гоген включил текст турецкого поэта в "До и после". Сёра живо заинтересовался этими рецептами. "Листок Гогена", - говорил он, ссылаясь на них. Принадлежавшую ему копию этого листка обнаружила в 1950 году мадам Жипетт Кашеп-Синьяк, которая уточнила имя турецкого автора: Вехби Мохамед Зунбул Заде (Гоген назвал его Мани-Вехни-Зунбул-Зади) - копия была опубликована в "Леттр Франсез" 7 января 1954 года.

отказаться от всякого будущего, а я не могу на это решиться, я чувствую, что если немного потерплю и мне хоть немного помогут, искусство сулит мне еще счастливые дни... Самое разумное - уехать в Бретань. В пансионе за шестьдесят франков в месяц можно работать...".

Выставка не принесла Гогену ничего, кроме дружбы с гравером Феликсом Бракмоном [109], который купил у него картину за двести пятьдесят франков. Пятидесятитрехлетний Бракмон, человек прямой и подчас грубоватый, участвовал почти во всех художественных битвах последней четверти века. Старый приятель Мане, он вместе с ним оказался в Салоне отверженных 1863 года [110], был завсегдатаем кафе Гербуа и участвовал в трех выставках импрессионистов. Страстный любитель керамики, Бракмон после войны 1870 года некоторое время был начальником группы художников на Севрской мануфактуре, потом работал у Хэвиланда [111], где восемь лет, до 1880 года, руководил керамической мастерской. Пытаясь помочь Гогену, он свел его с керамистом с улицы Бломе - Эрнестом Шапле [112], которого Бракмон считал "равным китайцам ".

Художественные ремесла притягивали Гогена не меньше, чем сама живопись. С первого взгляда покоренный искусством Шапле, необычайной красотой его керамики, Гоген поспешил принять предложение, которое керамист сделал ему, увидев его скульптуры: Шапле сказал, что будет счастлив сотрудничать с Гогеном, а прибыль от их совместных работ они будут делить пополам. Бракмон считал, что предприятие это может стать очень доходным. Отрадная перспектива! Однако план не мог быть осуществлен до наступления зимы.

Гоген не очень сожалел об этом, потому что все больше мечтал поработать летом в Бретани. Ему нужно было совсем немного денег, чтобы провести с Кловисом в Понт-Авене несколько месяцев и там спокойно писать. "Если бы ты могла продать моего Мане", - писал он Метте. Но он тщетно ждал денег из этого источника.

Метте решила переводить романы Золя для копенгагенской газеты "Политикен", и вот с апреля из номера в номер там начал печататься ее перевод на датский язык четырнадцатого тома "Ругон Маккаров". Пикантный выбор! Это был роман "Творчество", где рассказывается история художника-неудачника Клода Лантье. Друзья помогали Метте воспитывать ее детей. Едва уехал Гоген, графиня Мольтке возобновила свою благотворительность. Мало-помалу Метте зажила собственной жизнью, из которой Гоген - неимущий Гоген - был исключен. Гогену следовало бы это знать, а, впрочем, он это и знал.

"Я получил письмо от Эмиля, написанное на ужасном французском языке. Придет день, когда никто из детей не сможет со мной объясниться. Ловко сыграно, все принадлежит вам, а мне нечего возразить. Интересный, однако, вывод напрашивается из твоего письма. Он звучит так: "Мне здесь хорошо, моим детям тоже. А вы с Кловисом пеняйте на себя, что у вас ничего нет. Я не прочь, чтобы мы остались добрыми друзьями, только бы мне не мешали жить спокойно". "У вас, женщин, какая-то особая философия. Словом, vae victis!" [113].

---

109 Бракмон, Феликс (1833-1914) - французский художник и гравер, увлекался декоративным искусством, японской гравюрой, участвовал в выставках импрессионистов.

110 Салон отверженных 1863 года - выставка, устроенная по требованию тех художников, картины которых не были приняты в 1863 году в официальный Салон. В Салоне отверженных участвовали многие известные впоследствии художники.

111 Хэвиланд, Чарлз - американец по происхождению, владелец керамической мастерской во Франции. Этой мастерской в 1873-1882 годах руководил художник Феликс Бракмон.

112 Шапле, Эрнест (1835-1909) - французский керамист и живописец.

113 Горе побежденным (латин.). - Примеч. пер.

Подобные слова вырывались у Гогена под влиянием гнева и усталости. Правда, оп не скрывал от Метте своих обид. Он горько упрекал ее за то, что она пишет редко или вообще не пишет. "Ты дуешься на меня, чтобы потешить свое самолюбие. Ладно! Одной низостью больше или меньше, какая разница! Бог мой, если ты считаешь, что ты права, - продолжай в том же духе, это делает тебе честь". Он не упускал случая привести ей в пример чету Жоббе-Дюваль им пришлось узнать тяжелые дни, но они "одолевают беды единением своих сердец". Он едко замечал, что "делить бедность и труд совсем не то, что делить богатство". Сообщая ей о том, что Шуффенекер все более несчастлив со своей женой, "которая совсем ему не подруга и все больше становится фурией", он нарочно подчеркивал: "Просто диву даешься, сколько счастья приносит людям брак: он доводит их до гибели или до самоубийства". Но хотя Метте и заставляла его страдать и он сам по временам был в отместку резок и упорно стремился ее оскорбить, Гоген неколебимо верил в неизменную прочность их отношений. Метте оставалась для него женщиной, которую он любил и любит, той, с которой он однажды восстановит семейный очаг. "Есть только одно преступление, - писал он ей, - супружеская неверность".

"Если бы ты могла продать моего Мане"... Чтобы уменьшить свои расходы (Мари "решилась" раз-другой заплатить за пансион Кловиса), Гоген съехал с улицы Кай, сам не зная, где он поселится. Синьяк, уехавший в июне в Анделис, разрешил ему работать в мастерской, принадлежавшей ему и Сёра. Но Сёра, не знавший о разрешении Синьяка, не позволил Гогену воспользоваться мастерской. Это поссорило Гогена с Сёра, и ссора не осталась без последствий. Гоген отказался от обещания участвовать с Сёра и Синьяком в ближайшей выставке Общества независимых художников[114], основанного за два года до этого, - в 1884 году. С той поры он отвернулся от дивизионистов, о которых хмуро отзывался как о "юнцах-химиках, которые копят точечки". В глазах своего бывшего наставника Писсарро Гоген стал "сектантом".

Так погибла давно уже подорванная дружба.

Она не случайно не пережила распада группы импрессионистов. С нею кончился для Гогена тот период ученичества, размышлений, тот медленный инкубационный период, когда среди всех тягот его жизни, обид и разочарований, неуверенности и гнева, в нем зрело искусство, которое Гоген пока еще только предчувствовал, когда властный голос уже зазвучал, хотя и невнятно, в самых недрах его души. Тревога. Тоска. Солнечные блики трепещут в водах, омывающих жаркие, счастливые страны.

В конце июля Гоген, с сожалением отказавшись от мысли взять с собой сына - он "будет по нему скучать" и мальчик "останется без каникул", - сел на вокзале Сен-Лазар в поезд, идущий в Кемперле. Бывший сослуживец по бирже одолжил немного денег, чтобы он мог уехать в Понт-Авен "писать картины по дешевке"...

На три месяца прекратились ежедневные заботы о хлебе насущном. Три месяца - впервые в жизни - Гоген без тревог, без посторонних мыслей мог целиком посвятить себя живописи. Что за отдых! Что за отдых этот творческий труд! И какой приветливой кажется Гогену Бретань - эта часть Бретани, лишенная суровости Корнуоллского полуострова!

В семнадцати километрах от Кемперле, по дороге в Конкарно, на берегу Авена, среди холмов вытянулись домики Понт-Авена, крытые черепицей, проросшей желтыми пятнами лишайника. В верховьях реки, среди ольшаника и тополей, стоит неумолчный гул дюжины мельниц. В низовьях, за мостом, где находится пансион Глоанек, в речном порту, полностью зависящем от приливов и отливов, стоит каботажная флотилия, которая связывает Понт-Авен с городками, соседствующими с ним на побережье Атлантики.

"Окрестности Понт-Авена и в особенности сам город предоставили бы много достопримечательностей рисовальщику, который пожелал бы сделать наброски", - писал

---

[114] Весной 1884 года была устроена Первая выставка Общества независимых художников, чьи произведения не были приняты в официальный Салон.

один из путешественников конца XVIII века[115]. Первыми это поняли лет пятьдесят спустя американские художники. Они принесли известность Понт-Авену, который с 1870 года полюбился художникам - многие из них приезжали из англо-саксонских стран и из Скандинавии. В Понт-Авене почти все владельцы домов сдавали жилье художникам, некоторые не побоялись превратить чердаки в мастерские. Но основную часть клиентуры поделили между собой два заведения: гостиница Юлии Гийу, "доброй хозяйки", на главной площади города и чуть подальше, если спуститься к Авену, более скромный пансион в маленьком двухэтажном домике с тремя окнами по фасаду и с мансардой под крышей. Его хозяйке, Мари-Жанне Глоанек, к этому времени было уже под пятьдесят[116].

Гоген поселился в одной из комнат на мансарде. Большинство художников, живших вместе с ним в пансионе Глоанек, были иностранцы - американцы, англичане, голландцы и шведы. Было даже трое датчан. Французов оказалось мало: двадцатидвухлетний уроженец Нанта Фердинанд дю Пигодо, по прозвищу Пиколо, бывший ученик Бонна - Шарль Лаваль[117], худощавый, стройный молодой человек, несколько вялый и слабый - он подорвал свое здоровье излишествами; тридцатилетний лионец Гранши-Тейлор, который тоже только недавно поселился у Глоанек и ходил в довольно странном одеянии: в рединготе, в цилиндре так называемой "иокагаме" и... в деревянных сабо!

Казалось, Гоген должен был бы сблизиться с Гранши-Тейлором. Лионец служил на бирже почти в то же время, что и Гоген. Гранши-Тейлор мальчиком хотел посвятить себя живописи, но его мать, бедная вдова, посоветовала ему сначала обеспечить себя материально, и он поступил к биржевому агенту. Там он и оставался пока не счел, что накопил достаточно средств, чтобы попытать счастья на зыбком поприще искусства.

Но Гоген отнюдь не дорожил биржевыми воспоминаниями, а у Гранши-Тейлора был в его глазах весьма существенный недостаток - он принадлежал к академическому клану, к тем, кого Гоген с выражением высокомерного презрения на лице именовал "салонщиками".

К этому кругу принадлежала вообще большая часть гостей Понт-Авена. Многие из них учились прежде или продолжали учиться в Академии художеств или в академических мастерских, таких, как мастерская Фернана Кормона[118] или академия Жюлиана[119]. Живопись Гогена поразила эту конформистскую среду. О ней стали спорить. Впервые в жизни Гоген мог писать вволю, и так же впервые в жизни он стал предметом почти всеобщего внимания. Шарль Лаваль ходил за ним по пятам. Живший в гостинице Юлии двадцатичетырехлетний художник из Реймса, Анри Делавалле, и Пигодо не упускали случая с ним побеседовать. Под его влиянием вновь прибывший художник, сын судебного следователя из Ванн, Эмиль Журдан, отказался от академических традиций. "Я здесь работаю много и успешно. Меня здесь ценят как самого сильного художника в Понт-Авене... Все наперебой просят у меня совета", - с удовлетворением писал Гоген Метте.

Гоген не хвастался. К приезду Гогена у голландского художника, напыщенного и

---

115 Камбри. Путешествие в Финистер (1798-1799).

116 Семья Мари-Жанны Глоанек впоследствии уточнила правописание своей фамилии - Ле Глуанек. Но я сохраняю правописание, которому следовали во времена Гогена.

117 Лаваль, Шарль (1862-1894) - французский художник, последователь Гогена.

118 Кормон, Фернан (1845-1924) - французский художник-академист, автор картин на сюжеты из жизни первобытных людей.

119 Академия Жюлиана - художественные мастерские, основанные бывшим борцом и натурщиком в 1880-е годы. Из академии Жюлиана вышли многие художники, в том числе будущие последователи Гогена, которые составили группу Наби, - Поль Серюзье, Морис Дени, Пьер Боннар.

важного лауреата Салона, В...[120], который разгуливал по улицам Понт-Авена в зеленой бархатной шапочке а ля Рембрандт, был ученик П...[121] Однажды утром, когда Гоген возвращался к обеду, В., разглагольствовавший у дверей трактира посреди целой группы художников, захотел потешиться над "импрессионистом" и сделать его посмешищем в глазах своих собеседников. Он остановил Гогена и спросил его, какого черта он мажет свои полотна такими яркими красками. Гоген хмуро поглядел на В. и, не отвечая, прошел мимо. Но две недели спустя П. покинул В. и стал учеником Гогена, и теперь голландец осаждал П. расспросами, чтобы хоть что-нибудь почерпнуть из драгоценных уроков Гогена[122]. "Я здесь делаю погоду". Вскоре Писсарро не без раздражения написал о Гогене: "Я слыхал, что этим летом на берегу моря он проповедовал целой свите молодых людей, внимавших суровому наставнику-сектанту".

Гоген отдыхал душой. Его привели в Понт-Авен соображения экономические, и Жоббе-Дюваль его не обманул: Мари-Жанна Глоанек кормила клиентов "на убой". Но Бретань не только избавила Гогена - увы, ненадолго от нищеты и заботы о завтрашнем дне. Она укрепила его в его высоком мнении о самом себе, дала ему небывалую уверенность в своих силах.

В довершение всего Бретань оказалась краем, с которым он чувствовал глубокое душевное родство. Подобно ему самому, этот край был серьезным и печальным. Как далек от импрессионизма был этот пейзаж с его строгими линиями и четкими планами, эти пустынные равнины, поросшие утесником, эти поля, разделенные живой изгородью и обнесенные деревянным частоколом, грубо сработанным топором, эти сельские церквушки и простые гранитные распятия, в которых чувствовалась душа народа, склонного к мечтательности, внутреннему беспокойству и ко всему таинственному.

Белые чепцы женщин, украшенные лентами шляпы мужчин, воскресные процессии, полуночные рассказы о колдунах - все это дышало какой-то иной эпохой. Ухищрения цивилизации едва-едва коснулись этого народа, который почти нетронутой сохранил свою первозданность. Это был народ, восприимчивый к тайному голосу вещей, к чарам невидимого и сверхъестественного, народ, который баюкали вековые грезы. "Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?". Извечные вопросы веяли над берегами этой оконечности материка, у которых бился пульс прибоя.

Гоген исподволь проникал в этот новый для него мир. "Я делаю много набросков, и ты вряд ли узнала бы мою живопись". В поле, нависшем над дорогой в Конкарно, он писал старые хижины, выделявшиеся на холмистом фоне заднего плана, - горы Сен-Геноле. Вспоминая некоторые мысли Дега о рисунке, советы турецкого поэта - "Лучше писать по памяти, тогда ваше произведение будет воистину вашим", - Гоген в работе над пейзажами иногда прибегал к необычному методу: он начинал их на своей мансарде, а заканчивал на натуре. Таким образом, сохраняя "дробный" мазок импрессионистов, он добивался некоторой стилизации. "Я использую только цвета призмы, сопоставляя и смешивая их как можно меньше, чтобы добиться большей яркости, - объяснял он Делавалле, - а рисовать стараюсь как можно проще и синтезирую". "Синтезировать", "синтез" - Гоген теперь очень часто произносил эти слова.

Но как и прежде в Копенгагене, когда вечерами в постели он размышлял о живописи ("Линия - это способ подчеркнуть идею", - писал он Шуффенекеру), его мысль обгоняла практику. Несмотря на всю его самоуверенность, которую он сознательно выставлял напоказ, у него бывали минуты сомнений. Он шел ощупью. Он решился даже попробовать

---

120 Вероятно, Хуберт Воос.

121 Вероятно, Пелен.

122 Со слов А.-С. Хартрика.

свои силы в дивизионизме - и набросал пуантилистический пейзаж. Но уж не был ли этот пейзаж пародией? Это можно предположить, потому что Гоген повесил его среди произведений, украшавших столовую пансиона Глоанек. Гоген не любил откровенничать, ему нравилось ставить людей в тупик. Это стало неотъемлемым свойством той новой личности, которая рождалась в нем в окружавшей его теперь атмосфере почтения и даже страха.

От всего его облика исходило ощущение силы. В заломленном на ухо берете, в облегающем синем рыбацком свитере его скорее можно было принять за капитана какого-нибудь пиратского судна, нежели за художника, обдумывающего выразительные возможности линии и цвета. Бывший старший помощник на военном корабле, Керлюен, назначенный начальником Понт-Авенского порта, открыл для колонии художников фехтовальную школу, Гоген оказался отличным фехтовальщиком. Его успехи еще усилили его авторитет. Говорили, что он берет уроки бокса у некого Буффера. Кто-то видел, как он нагишом плавает в устье Авена. Он производил впечатление не только своими полотнами и своими эстетическими взглядами, которые он часто излагал, прибегая к парадоксам и насмешкам, но и своей грубой, природной физической мощью - он даже не снисходил до того, чтобы ее подчеркивать, он просто спокойно утверждал ее, наслаждаясь радостями, которые извлекал из своего могучего тела.

В компании художников, которые любили всяческие проделки и забавы ради раскрашивали живых гусей или по ночам, когда Понт-Авен спал, перемещали вывески, Гогену тоже случалось устраивать какой-нибудь чудовищный розыгрыш, но он проделывал это с холодной насмешкой, да и то редко. Иногда любезный, но чаще замкнутый, колючий, он надолго мрачно замолкал, и тогда никто не смел к нему подступиться. После ужина в столовой пансиона Глоанек художники жарко спорили, пока незадолго до полуночи хозяйка не просила их разойтись по комнатам: закрытые бретонские кровати, в которых спали служанки, стояли в столовой. Гоген держался в стороне от этих споров: он сидел и курил, обрабатывая стамеской трость или пару деревянных башмаков, которые покрывал резьбой. Кроме Лаваля, с которым он сдружился, никто не мог бы похвалиться, что вошел к нему в доверие. Если Гоген иной раз заговаривал о своем прошлом, то всегда мельком, полушутя, полусерьезно, тоном, который озадачивал собеседников. А он и не старался рассеять окружавший его ореол таинственности. "Если я скажу вам, что по женской линии веду свой род от Борджиа Арагонского, вице-короля Перу, вы решите, что я хвастун и лжец. Если я вам скажу, что это семья золотарей, вы будете меня презирать. Если же я вам скажу, что со стороны отца вся моя родня звалась Гогенами, вы скажете, что это чистейшая наивность. Так лучше я буду молчать". И он молчал, по временам изрекая краткие фразы, - как правило, нарочито саркастические оценки. Любовные истории вызывали у него презрение. "Никаких баб!" - решительно заявлял он.

Гоген хотел, чтобы к нему приехал Шуффенекер. Шуфф решился приехать, но так как он не любил деревни, то сразу перебрался в Конкарно. Добряк Шуфф увлекся пуантилизмом. Однажды в августе, когда он писал у входа в порт скалы при отливе, за его спиной остановился молодой человек. Через некоторое время раздраженный Шуфф обернулся: "Вы интересуетесь живописью?" - "Да - но только хорошей".

Шуфф узнал, что молодому человеку восемнадцать лет, он сам занимается живописью, учился в мастерской Кормона, но Кормон прогнал его за то, что он осмелился пользоваться палитрой импрессионистов; в начале апреля он уехал из Парижа и исходил пешком Бретань, рисуя, работая маслом и декламируя по дороге стихи; Бретань очаровала его - порой ему кажется, что он перенесся "в свое любимое средневековье", и зовут его Эмиль Бернар[123]. Художники подружились. Шуффенекер рассказал Бернару о Гогене и посоветовал

---

[123] Бернар, Эмиль (1868-1941) - французский художник, испытавший влияние Гогена, автор статей по искусству.

отправиться в Понт-Авен. Он снабдил его своей визитной карточкой, на которой написал Гогену несколько слов, рекомендуя ему своего друга.

15 августа Бернар явился в Понт-Авен. Четыре дня спустя он писал родителям, что в трактире Глоанек живет "импрессионист по имени Гоген, очень сильный малый", который "здорово рисует и пишет". Но Гоген встретил молодого художника угрюмо. Бернар, уверенный в своем даровании (а он и в самом деле был человек одаренный) и в своем блестящем будущем, с нетерпеливым задором набрасывался на все новое, а наутро отказывался от того, чему поклонялся накануне, всегда готовый оправдать свои сиюминутные взгляды уймой разных теорий. Непостоянный в своих увлечениях, он перепробовал все. Будучи учеником Кормона и увидев полотна импрессионистов, он стал работать в манере импрессионистов[124]. Теперь он был увлечен дивизионизмом Сёра, как Шуффенекер и многие другие в это лето 1886 года. Это не могло понравиться Гогену, которого дивизионизм раздражал все больше и который "изо всех сил" боролся со всеми этими "усложнениями"[125]. Но его речи не поколебали бывшего ученика Кормона - Бернар, "упрямец и зубоскал"[126], не преминул повесить в столовой трактира осенний пейзаж, выполненный в пуантилистической манере[127]. Те несколько недель, что Бернар провел в Понт-Авене, Гоген сидел напротив него за общим столом в пансионе, но почти не разговаривал с этим дивизионистом[128].

"Оставим взаимные упреки, - писал Гоген Метте. - Я похоронил прошлое и далек от мысли быть злым, хотя и не собираюсь быть любезным. Сердце мое высохло, как доска, закалившись против превратностей, я думаю теперь только о работе, о своем искусстве. Это единственное, что нас не предает. Слава богу, я каждый день делаю успехи и когда-нибудь сумею ими воспользоваться".

П. предоставил в распоряжение Гогена довольно просторную мастерскую, которую он занимал в старинной усадьбе Лезавен, расположенной на лесистом холме, позади церкви. Гоген часто ходил теперь туда кратчайшим путем - по тропинке, окаймленной стеной сухих камней и папоротников. Мастерская с большими светлыми окнами стояла среди каштанов и тополей. От нее к дороге вела липовая аллея. Тут Гоген мог работать в тишине.

Сентябрь... Октябрь... "Дни проходят так однообразно, что мне нечего рассказать тебе, чего бы ты уже не знала". Но пора было думать о возвращении в Париж - "к сожалению, чтобы искать работу". Потому что с возвращением в Париж должны были вернуться и заботы. "Будем надеяться, что керамическая скульптура, которую я буду делать, прокормит нас с Кловисом".

Гоген еще немного продлил свое пребывание в Понт-Авене. 13 ноября он выехал в Париж, где Шуффенекер снял ему "маленькую конуру" на улице Лекурб, 257.

*

---

124 О дебюте Эмиля Бернара у Кормона см.: "Жизнь Тулуз-Лотрека", ч. I, гл. III.

125 Гоген, Заметки о Бернаре.

126 Эти эпитеты принадлежат самому Бернару.

127 В настоящее время картина находится в коллекции мадам Робер Ле Глуанек в Понт-Авене.

128 Впоследствии, порвав с Гогеном, Бернар не раз вспоминал эту первую холодную встречу, объясняя "дурной прием", оказанный ему Гогеном, тем, что он "недостаточно восторгался картинами последнего" (чему противоречит цитированное выше письмо), но никогда не упоминал о том, что в ту пору он был приверженцем пуантилизма, а Гоген в своих "Заметках о Бернаре" подчеркивает именно это. На самом деле Бернар оставался пуантилистом до конца 1886 года, когда он выставил в Аньере несколько своих полотен, исполненных в этой манере. Правда, Бернар вообще не любил вспоминать о своих пуантилистических полотнах. Большая часть их пропала. Сохранившиеся ценятся очень высоко.

В холодном и унылом осеннем Париже Гоген снова стал влачить нищенское существование.

Он начал работать у Шапле, но деньги это сотрудничество должно было принести не сразу. Гогену удалось продать за триста пятьдесят франков картину Йонкинда и рассчитаться с первоочередными долгами, в частности с долгом за пансион Кловиса, которым его сестра Мари совершенно перестала интересоваться.

У Гогена произошло бурное объяснение с сестрой. Мари, упрекая брата, что он не пытается заработать деньги, а упрямо занимается живописью, предложила ему ехать в Панаму, где ее муж, Хуан Урибе, собирался основать комиссионное и банковское дело. "Для Панамы подходящего человека не найдешь, - писал Гоген Метте, - никуда не годные служащие требуют две тысячи франков. Вот почему Мари решила устроиться со мной на даровщинку. И довольно об этом, - обрывал сам себя художник. - Противно!"

Гоген со всем пылом окунулся в свою работу над керамикой. "Вдохнуть в вазу жизнь фигуры, не нарушая при этом характера материала и законов геометрии" - вот какую цель он ставил перед собой[129].

Но если Бракмон был довольно сдержан в своих похвалах Гогену, Шапле его всячески поощрял. Он сомневался, что эти "слишком художественные" изделия сразу найдут покупателей. Но считал, что через какое-то время они будут пользоваться "бешеным успехом". "Да услышь его сатана!" - восклицал Гоген. Работа в новой для него технике керамики не прошла бесследно для его живописи. Изображая на керамической вазе сцену из бретонской жизни, он "синтезировал" ее, обводя четким, подкрашенным золотом контуром формы людей, деревьев и облаков, написанных небольшими цветовыми пятнами[130].

Примерно в это самое время он написал картину, в которой отчетливо видно, что он продвинулся вперед по избранному пути: на картине изображен в профиль последовавший за Гогеном в Париж Шарль Лаваль, который в лорнет рассматривает фрукты, лежащие на столе рядом с керамической вазой. Еще никогда Гоген не заходил так далеко в своем стремлении к "синтезу". Картина, для которой он использовал столь любимую Дега композицию со смещенным центром (край полотна по вертикали разрезает лицо Лаваля), производит сильное впечатление своей декоративностью. Здесь Гоген куда ближе к Дега или к Сезанну (фрукты натюрморта написаны с сезанновской плотностью), чем к Писсарро.

Кстати сказать, он теперь поддерживал постоянные сношения с Дега ходил к нему в гости или встречался с ним в "Новых Афинах". Оба художника забыли свою прошлогоднюю ссору в Дьеппе. Впрочем, их могла бы примирить общая неприязнь к дивизионизму. Былая группа импрессионистов теперь разделилась почти на враждебные лагери. Гоген, влияние которого возросло и который знал, что к нему прислушиваются, непрестанно нападал на пуантилистов тоном, не допускающим возражений. Писсарро им возмущался. "Надо признать, - с досадой отмечал он, - что он стал пользоваться большим влиянием. Это, конечно, результат долгого, тяжелого и почтенного труда... Но в чем - не в искусстве ли сектантства?.. Само собой. Одно слово маклер!"

А тем временем "маклер" порой ел раз в три дня. Бракмон, всячески пытавшийся ему помочь, взял на хранение несколько его картин в надежде предложить их любителям - но без всякого успеха. Переговоры Гогена с торговцами картин также ни к чему не привели. "Спроси у Шуффенекера, писал Гоген жене,- что думают о моей живописи художники, и все равно ничего".

Гоген стал прихварывать. Насморк, вскоре осложнившийся воспалением миндалин,

---

129 Гоген. Письмо в газету "Суар", опубликованное 23 апреля 1895 года.

130 Эта ваза принадлежит в настоящее время Музею искусства и истории в Брюсселе. Ее значение в художественной эволюции Гогена было отмечено Мерете Бодельсен ("The missing Link in Gauguins Cloisonism").

вынудил его лечь в больницу. Там Гоген провел двадцать семь дней. Эти двадцать семь дней были своеобразной "передышкой", но Гоген предавался в больнице самым мрачным мыслям.

"Уж не думаешь ли ты, что по ночам в больнице мне весело было думать о том, как я одинок, - с раздражением писал он Метте. - В моем сердце скопилась такая горечь, что если бы ты и в самом деле приехала в это время (ты ведь, кажется, хотела на два часа повидать Кловиса), думаю, что вряд ли я согласился бы тебя принять, разве что с озлоблением. У тебя есть крыша над головой и почти верный кусок хлеба каждый день. Так береги это. Это рай в сравнении...".

Выйдя из больницы, ему не оставалось ничего другого, как заложить свои вещи и вернуться к Шапле формовать вазы, которых никто не покупал.

"Я узнал крайнюю нищету... - писал впоследствии Гоген в тетради, предназначенной для дочери Алины. - Но это не страшно или почти не страшно. К нищете привыкаешь и при наличии воли над ней в конце концов начинаешь смеяться. Ужасно другое - невозможность работать, развивать интеллектуальные способности... Правда, страдание обостряет твой талант. И, однако, избыток страдания ни к чему, потому что тогда оно убивает... При большой гордости я приобрел в конце концов и большую энергию, и я хотел хотеть".

Было холодно. Шел снег. Иногда на улицах Монмартра Гогена можно было встретить в сопровождении невысокого, коренастого, рыжебородого человека с худым лицом, который, закутавшись в козью шкуру, в кроличьей шапке, шагал рядом с Гогеном и бурно жестикулировал. Этот тридцатитрехлетний голландец со сбивчивой речью был тоже художник - Винсент Ван Гог [131]. Гоген познакомился с ним после возвращения из Понт-Авена на бульваре Монмартр, в художественной галерее Буссо и Валадона, управляющим которой был брат Винсента - Тео [132]. Насколько торговец держался сдержанно и незаметно, настолько художник был шумным, вспыхивал и возбуждался по любому поводу. "Я человек страстей, способный совершить и совершающий более или менее безрассудные поступки, в которых мне случается более или менее раскаиваться...". Без поддержки брата, который его содержал, Винсент давно бы погиб. Ему тоже ничего не удавалось продать. Но одержимый неистовой страстью творчества, он писал полотно за полотном. Когда за год до этого он приехал в Париж, он слыхом не слыхал об импрессионизме. За несколько месяцев он приобщился ко всем тенденциям современного искусства. После разговора с Синьяком он стал дивизионистом, от чего Гоген решительно его отговаривал.

Всей своей личностью, категорической манерой выражать свое мнение, присущим ему сочетанием холодности и пыла Гоген произвел глубокое впечатление на Ван Гога, который считал его мэтром, и тем больше отчаивался, видя, как тот бедствует. Впрочем, нужда, на которую обречено большинство художников, была одной из навязчивых идей Ван Гога. Он пытался убедить брата уйти от Буссо и Валадона: Тео мог бы открыть собственную галерею и продавать картины, оказывая всяческую поддержку тем художникам, которых они с Винсентом ценят. Рискованный план! Но Винсент в своем великодушии не уставал строить подобные планы. Так, например, он мечтал о создании художественных фаланстеров. Хотел он также организовать "гигантские выставки", чтобы привлечь к ним внимание народа.

В начале 1887 года Винсенту как раз удалось получить разрешение развесить в одном из ресторанов на улице Клиши свои картины и картины своих друзей. Винсент, конечно, пригласил Гогена участвовать в этой выставке, пригласил также голландца Конинга и двух приятелей, с которыми сдружился во время недолгого пребывания в мастерской Кормона, -

---

131 Ван Гог, Винсент (1853-1890) - голландский художник, постимпрессионист; с середины 1880-х годов жил во Франции. Испытал влияние импрессионизма, но затем перешел к более красочной и экспрессивной манере живописи.

132 Ван Гог, Тео (1857-1891) - брат Винсента Ван Гога, стремился поддерживать импрессионистов и других еще непризнанных художников.

Тулуз-Лотрека[133] и Анкетена[134]. Пригласил он также и Эмиля Бернара, с которым Ван Гога познакомил торговец красками с улицы Клозель, папаша Танги.

Всегда готовый одобрить другого художника, Ван Гог похвалил и молодого Бернара, что очень тому польстило: Винсент был "первый человек, который меня поддержал"[135]. Но когда Ван Гог выразил желание привлечь к выставке Синьяка, Бернар стал угрожать, что заберет свои полотна, если будут приняты полотна дивизиониста. Бернар в это время уже перестал Писать точками, в одно мгновение отказавшись от этой манеры после разговора с тем же самым Синьяком, который, как видно, в данном случае проявил слишком большую настойчивость в своей приверженности дивизионизму. Теперь Бернар вместе с Анкетеном увлекся совершенно противоположным экспериментом - упрощением, вдохновляясь вперемежку японскими эстампами, наивным искусством лубка и некоторыми картинами Сезанна, на которых голубоватые контуры предметов напоминали Бернару свинцовые переплеты витражей. Теперь Бернар, казалось бы, созрел для уроков Гогена. Но, судя по всему, Гоген не изменил своего сдержанного к нему отношения.

Впрочем, Гоген довольно равнодушно относился к выставке Винсента.

"Некоторое время тому назад, - писал он Метте, - мне сделали великолепное предложение. Зная мою энергию, ум и в особенности честность, меня хотят послать на Мадагаскар, чтобы поддержать там дело, созданное год назад. На беду тот, кого послали раньше, вернулся оттуда, составив себе недурное состояние, и не желает, чтобы его контролировали. Поэтому вкладчики хотят, чтобы я не продолжал начатое, а заново развернул большое дело".

В эту мрачную зиму, когда Гоген жил вдали от своих, "лишенный привязанностей", голодал и мерз - "холод леденит меня физически и морально, мне все начинает казаться уродливым", - его преследовали видения. Мадагаскар! Его мать, поющая в доме дона Пио! Тропические страны счастливые, родные ему страны!

"По наведенным мной справкам, там ничего не стоит разбогатеть, при этом живя на широкую ногу. Спроси у Софуса, который поездил по свету, он скажет тебе, что это отличное место, чтобы делать дела. Это то, что нам надо, потому что в трех днях плавания - остров Бурбон, который теперь стал вполне цивилизованным, где есть коллежи и пр. Это получше, чем Копенгаген. Думаю, что ты захочешь приехать ко мне. Я мог бы время от времени вас навещать, не запуская дел фирмы. Но все это, - заключал Гоген,- пока еще вилами по воде писано".

У Шапле, где по выражению Альбера Орье[136], он "лепил не столько из глины, сколько из души", Гоген придавал некоторым своим изделиям необычную форму - создавал вазы, причудливый облик которых был сродни керамическим изделиям инков. Перуанское детство, потерянная весна! Гоген должен уехать. "Больше всего я хочу вырваться из Парижа - это пустыня для бедняка". Он отправится в солнечные страны, где свободная природа щедро расточает свои дары. "Не могу больше влачить это унылое, размягчающее существование, я хочу испробовать все, чтобы совесть моя была чиста". В Париже здоровье его разрушается, он утрачивает волю, зато там...

Приехав в Понт-Авен, Гоген стал звать к себе Шуффенекера. Теперь он уговаривал Лаваля отправиться с ним путешествовать. Он так красноречиво расхваливал сказочную легкость жизни в экзотических странах, что Лаваль очень быстро согласился. Во время

---

[133] Тулуз-Лотрек, Анри де (1864-1901) - французский художник и график.

[134] Анкетен, Луи (1861-1932) - французский художник и рисовальщик.

[135] Эмиль Бернар. Винсент Ван Гог. - В кн.: "Письма к Эмилю Бернару Ван Гога, Гогена и др.".

[136] Орье, Альбер (1865-1892) - французский литератор-символист, художественный критик.

своего плавания вторым лейтенантом на "Чили" Гогену пришлось заходить на остров, расположенный против Панамы, "почти необитаемый, свободный и необыкновенно плодоносный" остров Табога. Как он был красив! Туземцы беззаботно проводили там свои дни под сенью тамариндовых деревьев. Вот куда следовало ехать в ожидании пока мадагаскарское предложение воплотится в жизнь. Поскольку Хуан Урибе организует в Панаме торговую фирму - что ж, Гоген поедет разузнать, "не захочет ли Хуан открыть филиал на Мадагаскаре".

"Там мы сможем ждать, а здесь нет", - убежденно писал Лаваль понт-авенскому приятелю Пигодо. Тяжелая зима подорвала силы больного чахоткой Лаваля. Но на Табоге, по словам Гогена, "очень здоровый воздух, а питаться можно рыбой и фруктами, которые там стоят гроши". Словом, писал Лаваль, они с Гогеном будут там вести "самую разумную и здоровую жизнь", не зная "заботы о сегодняшнем и завтрашнем дне". Пигодо был не прочь поехать с ними. "Мы часто говорим об этом, - писал ему Лаваль, - но это мечта, которая осуществится позднее".

Гоген сообщил Метте о своем решении: 10 апреля он сядет в Сен-Назере на пароход, чтобы отплыть в Новый Свет. "Я хочу обрести былую энергию... Вот я и еду в Панаму, чтобы зажить дикарем... Увожу с собой краски и кисти, вдали от людей я снова воспряну духом, я по-прежнему буду тосковать без семьи, но зато избавлюсь от опостылевшего мне нищенского существования". А тем временем решится дело с Мадагаскаром. "Вкладчики" будут поддерживать связь с Гогеном. "Сударь, - сказали они ему, - в наши дни люди вашей закалки - большая редкость, и мы отыщем вас за тридевять земель".

Гоген просил Метте взять Кловиса к себе. Стараясь все предусмотреть, он выслал ей доверенность, на случай если умрет дядя Зизи из Орлеана (ему было около семидесяти лет). "Деньги, которые ты получишь, - наставлял жену Гоген, - принадлежат детям. Надеюсь, ты теперь достаточно благоразумна, чтоб не трогать их: как бы ни мала была эта сумма, это могучий рычаг, чтобы восстановить наше благополучие и способствовать нашему воссоединению".

Последние письма мужа очень понравились Метте. Наконец-то Поль вновь заговорил о делах! Получая сведения от Мари, Гоген укорял жену, что она "клюнула на приманку медоточивых писем" его сестрицы, - Метте надеялась, что в Панаме бывший маклер тем или иным способом начнет опять зарабатывать большие деньги. Она стала ласковой, обмолвилась ненароком, что "любовь близких не могла заменить ей любви мужа".

"Ты пишешь, что ты сильно изменилась в лучшую сторону, - отвечал ей Гоген, - надеюсь, что это так". Но он не мог забыть прошлое, "удар, который ему нанесли" в Дании, - "удар, от которого ни один человек не оправится". "Если когда-нибудь после всех испытаний я добьюсь успеха, нам надо соединиться. Но что ты принесешь мне - ад вместо семейного очага, повседневный разлад? Что ты обещаешь мне: любовь или ненависть? ...Я знаю, что в глубине души ты добрая и по-своему благородная, поэтому надеюсь на здравый смысл".

Да, ему оставалось только надеяться.

"Пускаюсь на поиски приключений со всем своим скарбом на спине и без гроша и страдаю оттого, что не могу выслать тебе денег. Все мои керамические работы ждут, чтобы их продали - я оставил распоряжение деньги выслать тебе. Надеюсь, что ты их скоро получишь, и это даст тебе возможность дождаться моего возвращения. Себе я не оставил ничего и делаю это от души. Не упрекай меня за двухлетнюю беспечность. Я больше на тебя не сержусь... Целую тебя тысячу раз очень нежно, как и люблю".

Метте размышляла, не поехать ли ей с мужем в Панаму. Но пришлось бы расстаться с детьми. И потом она "слишком любила свой дом" [137]. Однако в канун такого многообещающего отъезда она все-таки не могла на прощание не поцеловать Поля. В начале апреля она вдруг явилась в Париж. Она решила сама взять Кловиса из пансиона и отвезти его

---

[137] Письмо Метте к Ж.-Д. Монфреду от 31 марта 1905 года.

в Копенгаген.

Супруги не виделись пятнадцать месяцев. Гоген был рад увидеть жену, но не обошлось и без разочарований. Он с огорчением убедился, что Метте не переменилась со времени их расставания в Копенгагене. "Те же трудности для совместной жизни". И все же он старался ей угодить. У него почти ничего нет, но если жене хочется взять себе что-нибудь из его имущества, пусть возьмет.

Метте не заставила себя упрашивать. Как только Гоген уехал, она сложила картины, рамы, книги, керамику и возвратилась в Копенгаген с большой поклажей.

II
КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК

Ах, Мартиника! Ах, Мартиника!
Там все от мала и до велика,
От мужчин и до милых дам
Ходят, почти как Ева и Адам.
Мартиника. Песенка Кристинэ

Семьдесят пять километров железной дороги на Панамском перешейке, соединявшей порт Колон, на побережье Атлантики, с портом Панама, на побережье Тихого океана, тянулись среди темных и густых зарослей тропического леса, заливаемого дождями. Лианы обвивались вокруг стволов кокосовых пальм и банановых деревьев, между которыми росли древовидные папоротники. В желтоватой воде рек обитали кайманы.

С середины апреля на перешейке наступил период дождей, который обычно продолжался до середины декабря. Проливные дожди шли почти не переставая, а температура не понижалась - в среднем она держалась на 32 градусах. Даже по ночам жара едва спадала.

После тяжелого плавания ("Скверная погода, а в третьем классе пассажиры - как сельди в бочке, но, в конечном счете, мужчина может это выдержать!") Гоген и Лаваль высадились в Колоне. По дороге они заходили в Гваделупу и на Мартинику, "прекрасную страну", которая их очаровала, "где дешевая, легкая жизнь, а люди славные", - писал Гоген.

Панама оказалась менее приветливой.

В ту пору, когда Гоген плавал на "Чили", корабли, которые шли из Атлантического океана в Тихий, должны были огибать мыс Горн. Решено было сократить этот долгий обходный путь. Основанная в 1881 году Международная компания под председательством француза Фердинанда Лессепса поставила своей целью прорыть через перешеек межокеанский канал. Около десяти тысяч рабочих уже четыре года работали на этом строительстве.

Строительство канала привлекло множество людей из самых разных стран перекупщиков, лавочников, торговцев всякой всячиной. На перешейке все продавалось втридорога. За кров в самом захудалом панамском отеле Гогену и Лавалю пришлось платить каждому по пятнадцать франков в день. Это было первое разочарование. Но за ним последовали и другие. Хуан Урибе, как видно, не имел ни малейшего желания развивать свою деятельность у мальгашей. "Мой болван-зять содержит здесь магазин, и непохоже, чтобы он процветал. По случаю моего приезда он не раскошелился даже на сто су словом, скряга, каких мало. Со злости я у него выклянчил костюм за тридцать пять франков, который можно продать перекупщику за пятнадцать".

Но оставалась Табога, куда Гоген с Лавалем отправились без промедления. Со стороны бухты сверкающий под солнцем остров казался именно таким, каким Гоген представлял его себе. Но, к сожалению, остров "цивилизовался". Компания по строительству канала

построила здесь дом-больницу для лечения и отдыха своих служащих. И туземцы поняли, что земля - ценность.

"С тех пор как начали рыть канал, эти дураки колумбийцы[138] не уступят метра земли дешевле, чем за шесть франков. Земля совершенно невозделанная, но, несмотря на это, щедро родит. И, однако, ты не можешь построить себе хижину и питаться фруктами - на тебя набросятся и обзовут вором. За то, что я помочился в грязную яму, заваленную осколками бутылок и дерьмом, меня полчаса тащили через всю Панаму под охраной двух жандармов да еще заставили заплатить пиастр. И отказаться было нельзя. Меня подмывало запустить чем-нибудь в жандарма, но расправа здесь короткая: они следуют за тобой в пяти шагах, и если ты шевельнешься, прострелят тебе голову. В общем, сделали глупость, придется как-нибудь ее исправлять".

Но ее можно исправить только одним способом - поехать на Мартинику. "Вот где было бы славное житье, - писал Гоген Метте. - Если бы только продать во Франции на восемь тысяч франков картин, мы всей семьей жили бы припеваючи, и ты, наверное, даже имела бы уроки. И люди там славные и веселые!"

Чтобы раздобыть денег на эту новую поездку, Гоген и Лаваль вернулись в Колон. Лаваль решил писать портреты. "За них здесь хорошо платят, - писал Гоген, - пятьсот франков, и работы сколько душе угодно (конкурентов нет)". Только писать портреты надо "в определенной, очень скверной манере". Сам Гоген на это согласиться не мог и предпочел наняться землекопом на строительство канала.

Колон был не слишком привлекательным местом для житья. За два года до приезда Гогена, во время революции, почти все здешние дома сгорели. Теперь посреди мусорных куч и грязных, источавших зловоние луж стояли жалкие бараки. В грязи копошились крысы, красные в синих пятнах крабы и змеи, приползавшие из леса, который начинался сразу за последними домами.

В полшестого утра Гоген отправлялся на стройку. До шести вечера он не выпускал из рук лопаты. Изнурительный труд, в сырости, в духоте, настолько насыщенной влагой, что кусок кожи за несколько часов покрывался плесенью. Да и ночью мудрено было отдохнуть - заедали москиты.

Говорили - и это была правда, - что каждый метр железной дороги от Колона до Панамы, построенной за тридцать лет до этого, был оплачен человеческой жизнью. То же самое можно было сказать теперь о канале. Желтая лихорадка, малярия, дизентерия косили рабочих и инженеров. Треть нанятого персонала уже была больна. Опасность заражения была так велика, что капитаны кораблей запрещали членам своих экипажей сходить на берег в Колоне.

Гоген хотел казаться оптимистом. "Смертность здесь не такая ужасная, как рассказывают в Европе. Негров ставят на тяжелые работы, и среди них из двенадцати умирает девять, но среди белых умирает только половина". Однако вскоре приступ желтой лихорадки свалил Лаваля. Это были драматические минуты. Во время одного из приступов Лаваль пытался покончить с собой. Гогену приходилось бодрствовать у его постели и стараться, насколько это возможно, лечить его гомеопатическими средствами. Он чувствовал, что сам слабеет, "отравленный болотными миазмами на канале", но крепился. Продержаться бы два месяца, и тогда у него будет достаточно денег (как землекоп он получал сто пятьдесят пиастров в месяц), чтобы уехать с Лавалем на Мартинику. Обстоятельства помешали осуществить этот план, по всей вероятности, не очень разумный. Работы на канале продвигались значительно медленней, чем предполагалось. Компания выпускала один заем за другим, но охотников на них находилось все меньше. Последний выпуск не был покрыт. Из Парижа было отдано распоряжение приостановить некоторые работы. Рабочих стали увольнять. Гоген пострадал одним из первых.

---

138 Панамский перешеек в ту пору принадлежал Колумбии.

Решение было принято быстро: с первым же кораблем, идущим на Мартинику, они с Лавалем уехали из Колона. У обоих художников не оставалось ни гроша. Приехав в Сен-Пьер, еще прямо на набережной, они продали с аукциона свои часы и устроились на берегу моря, в двух километрах от города, в "негритянской хижине".

"Это рай по сравнению с перешейком! - восклицал Гоген. - В общем, все хорошо, что хорошо кончается".

*

Как писал Лаваль в письме к Пигодо, "будь у нас побольше монет, вели бы мы здесь райскую жизнь".

Перед хижиной Гогена и Лаваля тянулся песчаный пляж, окаймленный кокосовыми деревьями и пальмами. Целыми днями, болтая и напевая, по нему ходили взад и вперед цветнокожие люди. Женщины несли на голове тяжести. Закутанные в разноцветные тряпки, они двигались плавно и небрежно, покачивая бедрами и ни на минуту не прекращая болтовни.

"Не думай, что это однообразно - наоборот, разнообразно и очень! писал Гоген жене. - Не могу описать тебе, как восхищает меня жизнь во французских колониях. Уверен, что ты отнеслась бы к ней так же... Надеюсь, что когда-нибудь ты приедешь сюда с детьми. Не ужасайся - на Мартинике есть коллежи, и здесь с белыми нянчатся, как с "диковинкой".

Он рассказывал жене, как шестнадцатилетняя негритянка - "ей богу прехорошенькая" - прижала к своей груди плод гуавы, и когда он лопнул, подарила его Гогену. Какой-то мулат объяснил Гогену, что это любовное кокетство и этот плод был "приворотным средством ".

"Поверь, белому трудно сохранить здесь свою добродетель, потому что жен Пентефрия [139] предостаточно...". Но ты, добавлял он, "можешь положиться на мою стойкость".

Досадно, право, что нет у него маленького капитала, хотя бы, к примеру, наследства орлеанского дядюшки! "Для землевладельца жизнь здесь ничего не стоит". Плантация, купленная за тридцать тысяч франков, приносит от восьми до десяти тысяч в год, "а всей работы - приглядывать за несколькими неграми во время сбора овощей и фруктов, и землю обрабатывать не надо". По сути, дон Пио тоже ничего другого не делал, если не считать хлопот, которые он навлек на себя своими честолюбивыми замыслами...

Правда, через два месяца Гоген и Лаваль очутятся "на мели" - это "единственное темное пятно на горизонте". Но чего ради тревожить себя этой печальной мыслью? На мартиникском берегу, среди темнокожих аборигенов, на фоне красочной природы молчаливый художник испытывал не знакомое ему дотоле радостное чувство. Какая-то глубинная часть его души получила здесь настоящее удовлетворение. Зачем же отравлять себе это счастье? Может, ему пришлют немного денег из Франции. Перед отъездом из Парижа Гоген передал несколько своих полотен скромному торговцу картинами с улицы Лепик Портье. "Если у Портье хватило ума продать что-нибудь из моих картин, пришлите мне деньги безотлагательно", - писал Гоген Шуффу.

Он начал рисовать и писать. Экзотическая природа и жизнь туземцев казались ему неисчерпаемо многообразными. Они не только привлекали его по-человечески - они волновали в нем художника. Как бы отголоском их разговоров с Гогеном звучит письмо Лаваля к Пигодо: "Большего живописного разнообразия, чем представляют здешние туземцы, нельзя и пожелать. Тут есть поле для наблюдений и совершенно самобытного творчества для многих художников".

Но разве приемы импрессионистов, их мелкие мазки могли передать ослепительные яркие краски и контрасты мартиникского пейзажа? Гоген стал прибегать к более сочному цвету, накладывать его более плотными массами, компоновать с большей строгостью,

---

139 Намек на библейскую историю Иосифа Прекрасного, которого пыталась соблазнить жена Пентефрия, у которого он был в услужении.

подчеркивая ритм своей композиции уверенным арабеском. Это был решающий опыт, возвещавший новые завоевания. Гоген освобождался от своего прошлого. Под сенью пальм он обретал одновременно и человеческую и художественную истину, средства воплотить то, что он называл "личным пониманием красоты, единственно человечным".

Но работа на Панамском канале не прошла для Гогена безнаказанно. С тех пор как он приехал на Мартинику, силы его таяли день ото дня. Месяц спустя после приезда, во второй половине июля, он слег. Начались боли в желудке и в печени. Обнаружилась дизентерия. Вскоре он оказался "на краю могилы".

Три или четыре недели Гоген провалялся на своей циновке из морских водорослей, терзаемый страшными болями, кричал и метался в бреду. После тяжелого кризиса, он стал поправляться, но очень медленно. Болезнь подорвала его силы. Голова была "дурная", перед глазами все плыло, ноги подгибались, он дрожал в ознобе и обливался потом. Гоген страшно исхудал, стал похожим "на скелет". Притом, что он почти ничего не ел, мучительно болела печень. Это новое испытание сломило его дух. "Мне кажется, что с тех пор, как я уехал из Копенгагена, на меня все время сыплются беды, - писал он Метте. - Да и чего ждать хорошего, когда семья живет врозь".

Лечивший его врач советовал ему как можно скорее возвращаться во Францию, иначе он "всю жизнь будет маяться печенью и приступами лихорадки". Но как это осуществить? Лекарства, посещения врача истощили небольшие сбережения двух друзей.

Гоген с отчаянием взывает к Шуффенекеру.

"Умоляю вас, сделайте невозможное и незамедлительно пришлите мне двести пятьдесят-триста франков. Продайте мои картины за сорок, за пятьдесят франков, спустите за гроши все, что у меня есть, но меня надо вытащить отсюда, иначе я подохну, как собака! Я дошел до такого нервного состояния, что эти заботы мешают мне поправиться. Ноги меня не держат. Сделайте доброе дело, Шуфф!"

Все его надежды вновь обратились к Франции. Лавалю сообщили, что какого-то господина очаровала керамика Гогена.

"Кажется, он не прочь ссудить мне двадцать-двадцать пять тысяч франков, чтобы я стал компаньоном Шапле, - писал Гоген Шуффу. - Тогда мы организуем превосходное предприятие, и мне будет обеспечен кусок хлеба скромный, но все же верный. А в будущем это могло бы принести прекрасные плоды. Но в этих обстоятельствах мне необходимо вернуться... Я чувствую, заключал он, - что керамика поможет мне встать на ноги, а ведь у меня еще остается живопись".

Ответ из Франции мог прийти не раньше, чем через месяц. По счастью, тем временем Гоген получил от Шуффа пятьдесят шесть франков[140]. К концу августа он снова начал писать. "Несмотря на физическую слабость, никогда я еще не писал так светло и ясно и, между прочим, с такой фантазией", отмечал он удовлетворенно. Картины, которые он повезет во Францию, должны "ошеломить". Он уже написал "двенадцать полотен, из которых четыре с фигурами, куда интереснее тех, что написаны в период Понт-Авена"[141].

Где бы ни находился Гоген - в Панаме, Колоне или Сен-Пьере, - он регулярно писал жене. Но он напрасно ждал почты из Европы - ему ни разу не вручили конверта с копенгагенским штемпелем. "Что происходит?.. Может, кто-нибудь болен?" После одного-двух "теплых" писем, отправленных после встречи в Париже, Метте умолкла и потом неделями, месяцами не нарушала молчания. Каждый приход почтового парохода наносил Гогену тяжелый удар. "Из-за этого я не сплю ночами. Если моя жена сейчас умирает, хорош

---

140 Неизвестно, откуда взялись деньги, переведенные Шуффенекером. Может быть, Портье продал какую-нибудь картину.

141 Известно около тридцати картин мартиникского периода. Правда, с течением времени на многих картинах Лаваля появилась подделанная фальсификаторами подпись Гогена.

я буду в глазах детей". Но не болезнь мешала Метте отвечать мужу. И Гоген об этом догадывался.

"Вы воображали, что в Панаме стоит нагнуться - греби золото лопатой, писал он ей в октябре. - И вдруг я очутился на Мартинике, и сразу заметная перемена, лица вытянулись... Не стоит тебе рассказывать, как я бедствую и голодаю, может, это доставило бы вам удовольствие... Из всех горестей, что вы мне причинили, самое тяжелое - молчание".

Гоген больше не мог выдержать ни физически, ни морально. Деньги, которые оп просил у Шуффа, не приходили. Он пытался хлопотать, чтобы его переправили на родину, но успеха не добился. Ему необходимо было вернуться во Францию. "Любым способом!" Он предложил свои услуги в качестве матроса капитану парусника. Тот согласился. Так наконец Гоген смог покинуть Мартинику. Лаваль остался там еще на некоторое время.

*

Стоило пройти крытым входом во двор дома 29 по улице Булар, и казалось, что ты уже не в Париже. По обе стороны центральной аллеи тянулись маленькие павильоны, окруженные садиками.

Шуффенекер с женой и двумя детьми жил в одном из павильончиков, по правой стороне. Он и приютил Гогена, когда тот приехал в Париж во второй половине ноября 1887 года.

С 14 ноября в Париже шел снег. Гоген резко ощущал контраст между этим зимним пейзажем и солнечными Антильскими островами. Воздух Атлантики восстановил его силы, но он по-прежнему страдал от болей в животе, порой просто "невыносимых". Слабое здоровье, более чем неопределенное положение, долги - Шуффу и в пансион, куда он когда-то поместил Кловиса, - все это отнюдь не располагало к оптимизму. Надежды на предприятие по производству керамики тоже рухнули, потому что Шапле перенес свою мастерскую в Шуази ле Руа. "Еще одна неудача!"

Друг Шуффенекера, его старый товарищ по мастерской Колларосси, Жорж-Даниэль де Монфред[142], встретивший Гогена на улице Булар, вынес тяжелое впечатление от этой встречи.

"Ни его высокомерный вид, - писал он позже, - ни устремленный на вас пристальный взгляд, в котором одновременно было что-то вызывающее, загадочное и вопросительное, ни таинственная немота плотно сжатых губ не располагали к нему. А когда он заговорил, его мысли об искусстве, высказанные в лаконичных выражениях, показались мне парадоксальными... Наконец, я увидел его картины, и они поставили меня в тупик".

Политическая обстановка в 1887 году была неспокойной. Во Франции активизировались сторонники "генерала Реванша", Буланже, в Германии все более угрожающе вел себя канцлер Бисмарк.

"Дела в Париже идут все хуже, - писал Гоген Метте. - Все считают, что единственный способ их поправить - это война. В один прекрасный день она и разразится. Конечно, после этого дня мы многих не досчитаемся, но зато нам, оставшимся, станет легче".

Это признание отчаявшегося человека, пожалуй, даже не назовешь циничным. Он поверил жене, которая оправдывалась, что не писала ему якобы потому, что не знала его адреса в Сен-Пьере, хотя он указывал его почти в каждом своем письме. "Не теряй мужества, - писал он ей. - Оно необходимо нам обоим". Однажды днем, прогуливаясь по садику Шуффа, он подобрал кусок железа и вырезал из него кулон для жены.

В начале декабря Гоген продал за сто пятьдесят франков одну из своих ваз и послал сто франков жене. У него снова забрезжила надежда. Пока он находился на Мартинике, Ван Гог продолжал обсуждать с братом Тео, как помочь художникам в их борьбе. Хотя политические события отнюдь не благоприятствовали торговле произведениями искусства, Тео начал покупать некоторые произведения друзей Винсента. "Мало-помалу он заставит свою

---

142 Манфред, Жорж-Даниэль (1856-1929) - французский художник, скульптор и гравер; в прошлом моряк.

клиентуру нас принять... - говорил Гоген. - И хотя это очень трудно, может быть, когда-нибудь я займу место, которого заслуживаю".

Мартиникские полотна Гогена произвели огромное впечатление на Ван Гога, который увидел в них, как и во всех прежних произведениях своего друга "что-то мягкое, щемящее, удивительное". "В его негритянках - высокая поэзия", - утверждал он. Этим восхищением вскоре заразился и Тео.

Однажды, в воскресенье, Тео пришел на улицу Булар и, посмотрев картины Гогена, отобрал сначала одну, потом вторую, потом третью. А потом отсчитал художнику девятьсот франков. Гоген был в восхищении.

"Прошу тебя, не отчаивайся, - писал он Метте, - и наберись сил, чтобы подождать еще год... Я знаю, что вы не поверите в меня, пока мои картины не станут продаваться постоянно. Знаю, что эта проклятая живопись не дает тебе покоя, по, поскольку горю уже не поможешь, надо с ним примириться и постараться извлечь из него пользу в будущем". Он со своей стороны готов "сделать последнее усилие": расплатившись с самыми срочными долгами, он оставит себе несколько сотен франков и вернется в Понт-Авен, чтобы упорно работать там семь-восемь месяцев. Он знал, что Мари-Жанна Глоанек предоставит ему долгосрочный кредит, у нее он сможет подождать, пока Тео продаст его картины.

В письмах к жене появились ликующие нотки. Маленькая выставка произведений Гогена - картин и керамики, организованная Тео в декабре в галерее на бульваре Монмартр, хотя привлекла внимание только немногих любителей, но вызвала споры в том узком кругу знатоков, который создает репутации. Среди этой публики не было никого, кто, критикуя или одобряя мартиникские произведения Гогена, не признал бы их самобытности. Теперь Гоген безусловно вот-вот "выдвинется". Вера в деловую сметку Тео придавала ему силы, он не сомневался, что выиграет начатую борьбу. Выходит - он не обманулся в своих мечтах.

"В обществе есть два класса, - писал он Метте, - один владеет наследственным капиталом, который позволяет человеку стать рантье, служащим, компаньоном или владельцем торговой фирмы. А на что жить другому классу, лишенному капитала? Он живет плодами своего труда. Одни ценой долгого упорства (на поприще администрации или коммерции) добиваются более или менее посредственных результатов. Другим инициатива (в искусстве литературе) дает, правда не скоро, независимое положение и возможность творить. Но разве дети в семье художника страдают больше, чем в семье служащего? Назови мне таких служащих, которые не страдали бы от бедности (во всяком случае, в течение какого-то времени)?

Но зато кто представляет лучшую, плодотворящую часть нации, ту, что ведет к прогрессу, обогащает страну? Художники. Ты не любишь искусства. Что же ты любишь? Деньги. Как только художник начинает зарабатывать, вы тут как тут. Но в игре всегда бывает выигрыш и проигрыш, и если вы не хотите участвовать в трудностях, у вас нет прав и на радости. Да и зачем вы стремитесь дать образование детям, если это связано с сегодняшними тяготами ради неопределенного будущего?.."

Как только Метте узнала о том, что Тео купил картины, и о том, на что ее муж собирается употребить небольшую сумму, которой он располагает, она написала ему, пытаясь отговорить его от поездки в Бретань. Полезно ли для его здоровья жить зимой в Понт-Авене? Не лучше ли ему будет работаться в Дании, рядом с женой, - он может приехать сюда на время морских купаний? Собрав несколько рисунков Алины и других детей, Метте послала их мужу. Но Гоген не отказался от своих намерений.

"Твой план... плох со всех точек зрения, - ответил он без обиняков 1. На деньги, в которые мне обойдется поездка, я три месяца могу прожить в Бретани. 2. Здесь мне будет работаться гораздо лучше, потому что там меня будут отвлекать дети. Кроме того, у меня нет летней одежды, а в вашей буржуазной стране это рассматривается как бесчестье. 3. На расстоянии мы кое-как можем столковаться, а там начнутся те же неприятности, споры и т. д. И что скажет твоя семья? Не забудь, что у тебя может родиться еще ребенок. 4. И последняя причина - ожесточаясь, заканчивает он. - С тех пор как я уехал, я, чтобы сохранить душевные

силы, мало-помалу закрыл свое сердце для чувства. С этой стороны все во мне уснуло, и мне было бы трудно снова увидеться с детьми, а потом уехать".

Бесчувственный человек боялся горечи разлуки. И он заключал, блуждая мыслью в тумане своих грез:

"Не забудь, что во мне два человека: индеец и человек с повышенной чувствительностью. Второй теперь исчез, это позволяет индейцу твердо идти вперед".

На берегу Карибского моря Гоген почувствовал себя потомком инков. Легендарная кровь течет в его жилах. Он художник с профилем кацика Гоген-дикарь.

Ван Гог тоже хотел вырваться из Парижа. Приехав сюда два года назад, он все это время жил в непрерывном перевозбуждении. Он чувствовал, что выдохся, что ему нужен покой, размеренное существование. Гоген звал его в Понт-Авен. Но Ван Гога манило южное солнце, края, которые, увлеченный гравюрами Хокусаи и Хиросиге[143], он называл Японией, и он мечтал уехать "куда-нибудь на юг".

Гоген решил отправиться в Бретань один. И уехал туда в феврале 1888 года[144].

*

В Понт-Авене шли холодные зимние дожди.

В трактире Глоанек в это время года было мало постояльцев, и Гоген жил почти в полном одиночестве. У него опять возобновились приступы дизентерии и он три дня из шести проводил в постели.

И однако еще до конца февраля он начал несколько картин. Как только у него хватало сил подняться и сесть за работу, он предавался "молчаливому созерцанию природы". Теперь, когда он лучше узнал Бретань и с каждым днем "глубже постигал характер людей и страны" - а это, говорил он, "самое важное, чтобы хорошо писать", - он начал яснее сознавать, почему его так влекли к себе равнины и песчаные берега Корнуолла. На Антильских островах он нащупал нить своей судьбы; Бретань, окраина западного мира, которая лицом к лицу с океаном, "отцом всего сущего", жила вне времени, не меняясь, как бы сама по себе, уже не была Европой. В ней было что-то от утраченной родины Гогена. Он чувствовал здесь то, чего никогда не испытывал в Париже. "Вы парижанин, - писал он Шуффенекеру. - А мне подавай деревню! Я люблю Бретань. Я нахожу здесь дикое, примитивное. Когда мои деревянные башмаки стучат по здешнему граниту, я слышу тот глухой, невнятный и мощный звук, которого ищу в живописи".

Но Бретань была лишена светозарности Мартиники, и то, чему Гоген научился на островах, здесь было трудно применить. Художнику пришлось вернуться к старой технике.

Плохая погода и болезнь печени, почти не дававшая передышки, не позволяли Гогену работать так, как ему хотелось. Весна оказалась не лучше зимы. Дожди сменялись градом - работать на пленэре было нельзя. Невозможно было и писать модели дома - Гогену нечем было платить тем, кто мог бы ему позировать. Денежные заботы вновь стали одолевать Гогена уже через несколько недель после его приезда. С марта он начал спрашивать Ван Гога, который в конце февраля уехал на юг и обосновался в Арле, не продал ли Тео что-нибудь из его произведений. Он выражал готовность "еще снизить цену за свои картины".

Гоген тяжело переносил одиночество. "Не с кем обменяться мыслью". В Понт-Авен приезжали художники, но это были художники академического направления - "темные художники", которых Гоген презирал и с кем не желал водить компанию. Один из них, Гюстав де Мопассан, отец писателя[145], шестидесятишестилетний художник-любитель

---

143 Хокусаи, Кацусика (1760-1849), Хиросиге, Андо (1797-1858) японские художники. Серии гравюр Хокусаи и Хиросиге вызывали большой интерес у французских художников.

144 Судя по всему, это было в четверг 9 февраля.

145 Мопассан, Гюстав де - художник, отец писателя Ги де Мопассана.

весьма посредственного дарования, громовым голосом изрекал за столом глупости. Лаваль, застрявший на Мартинике, собирался вернуться во Францию только в середине июня.

Если Гоген тяжело переносил одиночество, то Ван Гог в Арле справлялся с ним еще хуже. Тео, получивший небольшое наследство, хотел помочь Гогену. Почему бы Гогену не переехать в Прованс? - спрашивал Винсент. "Как тебе известно, мне всегда казалось глупым, что художники живут порознь". Ван Гог снял маленький дом, который собирался мало-помалу обставить. Гоген сможет жить вместе с ним. Обед они будут готовить дома, расходы сведут к минимуму. На этом выиграют все. Чтобы обеспечить существование двух художников, Тео почти не придется увеличивать ежемесячное содержание, какое он высылает брату. А в оплату за свое гостеприимство он будет получать от Гогена по одной картине в месяц. Гоген же будет избавлен от тревоги о завтрашнем дне. Так они положат начало коммуне художников - Южной мастерской. А впоследствии к ним присоединятся другие художники, например Бернар.

В первых числах июня Тео сообщил Гогену об этом плане, выслав ему пятьдесят франков. Гоген согласился поехать в Арль, но не с таким жаром, как надеялся Ван Гог. Во-первых, он не мог уехать из Понт-Авена, пока не разделается с долгом Мари-Жанне Глоанек и доктору, который его лечил. Затем ему казалось, что намечается возможность заложить основы гигантского дела коммерческой ассоциации банкиров и живописцев, художественное руководство которой должно было быть возложено на Тео. Он написал Тео, что надеется получить кредит в размере шестисот тысяч франков. Ван Гог в Арле негодовал: он надеялся, что Гоген приедет немедленно. "Я не удивлюсь, если его надежда окажется миражем, фатой морганой нищеты. Чем глубже увязаешь в нищете особенно, когда ты болен, - тем чаще предаешься подобным мечтам. В этом его плане я вижу лишнее доказательство того, что он там совсем истомился и что самое лучшее, как можно скорее снять его с мели". Гоген пишет о долгах? Что ж? "Оставьте долги, как есть, и оставьте в залог картины, а если кредиторам это не по вкусу, оставьте долги, как есть, а картины не оставляйте. Мне пришлось поступить так же, чтобы приехать в Париж, и хотя я на этом немало потерял, в подобных случаях иначе поступить нельзя - лучше идти вперед, чем прозябать в застое".

Мягкое июньское тепло на короткое мгновение приободрило Гогена. Он стал писать уверенней, чем вначале. Как и Ван Гог, он восхищался японцами, которых он узнал еще раньше, чем Винсент. Дега и Бракмон внушили ему поклонение перед этими мастерами эстампа. Теперь он вспоминал о них, работая над своими картинами: об их быстром и четком рисунке, о плоских пятнах цвета, о мощной декоративной силе их гравюр. Он делал наброски обнаженной натуры. "Последний по времени, - пишет он Шуффу 8 июля, - борьба двух мальчишек на берегу реки, работа, совершенно в японском духе, выполненная перуанским дикарем. Проработанная очень мало зеленая лужайка, верх белый". Отныне Гоген ясно представляет свою дорогу: между Мартиникой и Бретанью переброшен мост. "Серого не существует, - писал он, - каждый предмет имеет совершенно определенные форму, цвет и четкий контур. Цель художника их распознать".

Так он поучал Эрнеста Понтье де Шамайара. Примерно в середине июня, присутствуя на аукционе в замке Энан, неподалеку от Понт-Авена, Гоген познакомился с этим поверенным из Шатолена. Небогатый землевладелец Шамайар жил в поместье Мескеон, неподалеку от Дуарнене, и принадлежал к почтенной бретонской семье. Его брат, Анри, адвокат в Кемпере, был недавно избран мэром Трегёна, маленького местечка неподалеку от Понт-Авена. Но Эрнест не лелеял никаких честолюбивых планов. Страстно увлеченный поэзией и искусством, он с некоторого времени стал живописцем-любителем. Встреча с Гогеном перевернула его жизнь. "Поверенный? Да вы смеетесь! Вы - художник. Бросьте вашу юриспруденцию", - сказал ему Гоген[146]. С тех пор Шамайар следовал за ним по пятам.

---

146 Со слов Андре Сальмона.

"У меня появился ученик, у которого дело пойдет: наша компания увеличивается", - писал Гоген Шуффу. Тем временем в Понт-Авен приехал Лаваль. И еще один новичок присоединился к группе Гогена - Анри Море[147], голубоглазый нормандец, рослый викинг, спокойный, скромный и рассудительный. Море жил у начальника порта Керлюена, Шамайар у почтовой чиновницы, которая приходилась ему теткой. Но столовались они в пансионе Глоанек вместе с Гогеном, Лавалем и еще одним или двумя импрессионистами.

Друзьям Гогена подавали еду отдельно в маленьком зале. Отношения с "темными художниками", сидевшими за большим столом, были натянутыми. Обе стороны обменивались насмешками и оскорблениями. Споры часто переходили в ссоры. Гюстав де Мопассан выкрикивал угрозы. На одном из рисунков Гогена неизвестная рука сделала надпись: "Филиал Шарантона".

Было совершенно очевидно, что Гогену нравится играть роль наставника: он не скрывал желания обращать других в свою веру. Ему нравилось руководить, советовать, а советовать тоже означало руководить. Ему доставляло удовольствие осуществлять над другими высшую форму власти власть духа. В этом была для него высшая радость. Но люди, которыми он повелевал, давали ему также и душевное тепло. Благодаря им кончилось одиночество "гонимого", отвергнутого семьей человека. Признанное превосходство компенсировало неудачу в семейной жизни. "Ты коришь меня, что я тебе долго не отвечаю, - писал он Метте. - Но на что отвечать?.. Со времени Панамы от твоих редких писем веет ледяным холодом. Один человек здесь прочел недавно твое письмо (их можно показывать другим как деловые письма, не совершая нескромности) и, увидев, как оно кончается, спросил: "А сердечный привет после дождичка в четверг?". Рассказывая Метте о "симпатии", о "восхищении", какие ему выказывают, он с горечью подытоживал свои давние обиды: "7 июня мне исполнилось сорок, но от моей семьи я еще не видел и десятой доли таких чувств". Вскоре, подарив Шуффу свое пальто на меху - память о былом благоденствии, - он скажет, что "покончил с франтовством". "Самоуважение и оправданное ощущение собственной силы - вот единственное утешение в этом мире. Что рента! В конце концов, ею пользуется большинство негодяев".

В начале августа в Понт-Авен явился Эмиль Бернар, проживший три месяца в Сен-Бриаке. Он тоже вошел в группу. Гоген поспешил обеспечить ему место в маленьком зале пансиона Глоанек. Поселился Бернар у Керлюена, как и Море.

После первой встречи в Понт-Авене Гоген и Бернар виделись много раз, но не всегда могли столковаться друг с другом[148]. Бернар не забыл, как плохо встретил его здесь же, в Понт-Авене, старший собрат по искусству два года назад[149]. Но теперь Гоген был совсем в другом настроении. А впрочем, и Бернар тоже. "Молодчина, что вспомнил о Гогене", - писал Бернару в мае Ван Гог: Бернар посмотрел мартиникские картины, которые находились у Тео.

С тех пор как молодой художник отказался от пуантилизма, он заметно приблизился к Гогену. Под влиянием Ван Гога Бернар полюбил японские гравюры и вместе со своим другом Анкетеном пытался учиться у японцев. В феврале Анкетен выставил несколько своих работ в "Группе двадцати"[150] в Брюсселе, и его школьный товарищ, Эдуард Дюжарден[151],

---

147 Море, Анри (1856-1913) - французский художник, работал в Понт-Авене.

148 "Ты знаешь, что нынешней зимой Бернар опять искал ссоры с Гогеном", - писал Ван Гог брату Тео.

149 "Под влиянием Винсента я увидел Гогена человечным, евангельски кротким символистом. Но это преображение не могло изгладить из моей памяти человека, которого я встретил в Понт-Авене в 1886 году" (Бернар Э. Предисловие к Письмам Ван Гога. Воллар, 1911).

150 "Группа двадцати" (1883-1893) - художественное объединение в Брюсселе, целью которого было устройство совместных выставок без жюри. "Группа двадцати" объединяла двадцать художников, каждый из которых мог приглашать для участия в выставке одного иностранца. На выставках "Группы двадцати" были показаны работы импрессионистов и других французских художников.

в мартовском номере "Ревю индепандант" объявил его главой новой художественной школы - "клуазонизма", названного так из-за подчеркнутых контуров, которыми на картинах были обведены предметы, изображенные яркими цветовыми пятнами.

"Отправная точка, - писал Дюжарден, - символическое понимание искусства... Довольно силуэта, чтобы изобразить лицо. Отказываясь от какой бы то ни было фотографичности, будь то с ретушью или без нее, художник старается запечатлеть посредством минимального числа характерных линий и цветов глубинную сущность предмета, который он намерен изобразить".

Сама по себе эта теория была не слишком оригинальна. Опиравшаяся на японские эстампы, она могла с таким же успехом отталкиваться от лубка или от возвышенной символики витражей. Наставник предшествующего поколения художников, Эдуард Мане, тоже увлекавшийся японцами, уже давно использовал контуры и плоскостную живопись. Достаточно вспомнить "Олимпию" и "Флейтиста". Да и Ван Гог пришел к тем же выводам, изучая японские гравюры.

"Когда я вижу в зеленом парке с розовыми аллеями, - писал он незадолго до этого Бернару из Арля, - господина, одетого в черное, по профессии мирового судью, который читает "Энтрансижан", а над ним и парком чисто кобальтовое небо, почему бы мне не написать означенного судью чистым черным цветом, а "Энтрансижан" чистым белым? Ведь японцы не обращали внимания на рефлексы, располагая рядом чистые цветные пятна и фиксируя движение и формы характерными линиями".

Это было точное определение клуазонизма.

Но теории важны не сами по себе, а лишь в связи с теми, кто их осуществляет на практике. Чтобы стать жизнеспособными, они должны отвечать внутренней потребности. Стать самобытным дано не всякому. Теории, высосанные из пальца, остаются мертворожденными. Непостоянный, как Бернар, Анкетен, как и он, пережил увлечение импрессионизмом и пуантилизмом, а потом так же быстро отказался от клуазонизма, чтобы отдаться новым экспериментам, столь же поверхностным и потому заранее обреченным на неудачу[152]. Отношение же Гогена к клуазонизму, о котором ему толковал Бернар, было совершенно иным - все его поиски клонились к этому. Он вдруг понял смысл своих исканий, увидел цель, до сих пор не вполне ясную, к которой он шел ощупью, сомневаясь и отступая.

Сам неспособный к игре идей, он с тем большим вниманием слушал двадцатилетнего юношу, неисправимого любителя жонглировать словами и концепциями, который никогда не испытывал недостатка в аргументах и словоохотливо излагал доктрину клуазонизма, ссылаясь на историю искусства, на немецких и итальянских примитивистов, на готическое искусство и египтян, на философию, теологию и поэзию символистов, которые восстали против натурализма Золя, и цитируя даже святого Дионисия Ареопагита: "Идея - это форма вещей, вне самих вещей"[153]. "Вот человек, который ничего не боится!" - восклицал Гоген.

Гоген с новым пылом взялся за работу.

"Мои новые работы продвигаются успешно, - писал он Шуффу, - и мне кажется, вы почувствуете в них особую ноту, вернее, утверждение моих прежних исканий, синтез формы и цвета... Мой совет - не старайтесь слишком подражать природе. Искусство - это абстракция, извлекайте ее из природы, фантазируя на ее основе, и думайте больше о процессе творчества, нежели о результате; единственное средство приблизиться к богу - это подражать нашему божественному мастеру, то есть творить... Тут все американцы

---

151 Дюжарден, Эдуард (1861-1949) - французский поэт-символист, художественный критик.

152 Об Анкетене см.: Жизнь Тулуз-Лотрека.

153 "Символистская поэзия пытается облечь идею в чуткую форму", говорилось в Манифесте символистов, опубликованном Жаном Мореасом за два года до этого, в сентябре 1886 года в "Фигаро".

злобствуют против импрессионизма, - добавлял он. - Пришлось пригрозить им кулачной расправой, и теперь у нас тишь и гладь".

Бернар, видя что к нему относятся одобрительно, безоговорочно примкнул к группе Гогена. Никто с таким пылом, как он, не пускался в дискуссии с "темными художниками". К нему в Понт-Авен приехали мать и семнадцатилетняя сестра Мадлен. Мадлен обожала брата. Несколько экзальтированная, фантазерка и идеалистка[154], она разделяла его "мечты о прекрасном", защищала брата перед родителями и поддерживала своим безудержным восхищением. Мадлен также обедала в маленьком зале пансиона и увлеченно следила за ходом дискуссий, аплодируя каждый раз, когда импрессионисты наносили очередной удар академикам. Она стала как бы "музой" группы Гогена. Гоген звал ее "милой сестрой".

15 августа, в день именин Мари-Жанны Глоанек, Гоген захотел повесить натюрморт в большом зале пансиона. Узнав об этом, Гюстав де Мопассан разъярился. Он не допустит, заявил он, чтобы картина Гогена марала стены. В противном случае он съедет. Тогда Гоген пошел на хитрость: он подписал полотно "Мадлен Б.". Таким образом, подарок Мари-Жанне Глоанек был одновременно данью уважения Мадлен Бернар.

Девушка согласилась позировать Гогену и Бернару, и они написали ее портреты[155]. Бернар написал также сестру на берегу Авена, у подножия холма, поросшего буком и утесником, так называемого Леса Любви, где художники группы Гогена часто устанавливали свои мольберты. Бернар утверждал, что Лес Любви - место ритуальных, магических церемоний. Мадлен на картине брата, лежа на земле, прислушивается к таинственным голосам.

Гоген переживал счастливый творческий подъем. Только нехватка денег, ограничивая его в покупке холста и красок, сдерживала его. "Мы плывем на корабле-призраке со всем несовершенством наших фантазий... - писал он Шуффенекеру. - Музыканты тешат свой слух, а мы с нашим ненасытным, вожделеющим глазом, мы наслаждаемся без конца. Вот сейчас я пойду обедать, животное утолит свой голод, но жажду искусства мне никогда не утолить...". Он писал картины, резал по дереву, он научил Бернара владеть стамеской. Дерзость молодого друга, порывов которого никогда не обуздывало отсутствие опыта ("Малыш Бернар очень занятен!"), помогали самому Гогену избавиться от робости. Его синтетизм с каждым днем отливался во все более четкую форму, иногда еще сочетаясь с пережитками импрессионизма, иногда принимая откровенно японский облик, как, например, в натюрморте с тремя маленькими щенками, лакающими похлебку[156]. Плодовитость Гогена, его творческая мощь восхищали Бернара. Гоген получал от него письма, которые свидетельствовали о том, как Бернар его "почитает". "Он говорит, что считает его таким великим художником, - писал Винсент брату Тео, - что почти боится его и, по сравнению с произведениями Гогена, считает свои работы никуда не годными".

Ван Гог в Арле терял терпение, видя, что Гоген не торопится и оттягивает свой приезд, - он даже решил было сам податься в Бретань, но потом передумал и предложил обоим друзьям из Понт-Авена обменяться картинами: он пошлет каждому из них свой автопортрет, а они напишут друг друга и пришлют эти портреты Ван Гогу. Но Гогену никак не удавалось схватить слишком подвижную физиономию юноши, а Бернар "не отваживался писать Гогена, слишком перед ним робея". Оба решили послать Ван Гогу свои автопортреты.

---

[154] "Знаешь, где бы я по-настоящему мечтала жить? - однажды написала она брату. - В старой башне, которая вознесла бы меня над будничной суетой. Я жила бы там поблизости от облаков, от прекрасных звездных ночей. Глядя на них, так хочется невозможного и так больно! Оттуда я любовалась бы восходом солнца и его торжественным закатом".

[155] Портрет кисти Гогена находится в музее Гренобля, Бернара - в музее Альби.

[156] Натюрморт с тремя охотничьими щенками находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

16 сентября, в день местного религиозного праздника, Бернар написал бретонских женщин в праздничных одеждах на лужайке. Картина так понравилась Гогену, что он выменял ее на одну из своих работ. Его поразил мотив белых чепцов, выделяющихся на одноцветном фоне. Он сам тоже использовал его. Но Бернар в своих "Бретонках" ограничился применением техники клуазонизма его картина, довольно сухая по фактуре, носит чисто декоративный характер, чувство в ней отсутствует. Иное дело полотно Гогена. На фоне цвета киновари борются двое, а на первом плане бретонки в белых чепцах смотрят на них. В этой картине сочетаются реальное и фантастическое. "Видение после проповеди или борьба Иакова с Ангелом" - это видение поэта, великого фантазера, плывущего на корабле-призраке. Это произведение, значительное не только мастерством, которое громко заявляет о себе в свободной игре арабесок и цветовых пятен, но еще в большей мере чувством, которое вызывают эти пятна и арабески и которое "таинственно источает картина".

Гоген знал, где должно висеть его произведение, - в какой-нибудь старой бретонской церкви. Понт-Авенская церковь, построенная в 1855 году, была слишком современной, но существовала другая, совсем старинная, в соседней деревушке - Низоне. У нее, по словам Эмиля Бернара, был "тяжеловесный, феодальный вид". Окружало ее кладбище, где высилось гранитное распятие, почерневшее и выветрившееся от времени. Гоген и его друзья любили этот уголок древней Бретани. Маленькие деревянные скульптуры, украшавшие церковь внутри, очаровывали их своей наивностью. Этой деревенской церкви и предназначил Гоген свое "Видение". Под огромными синими балками, украшенными деревянной резьбой с изображением чудовищ, выявится вся его мощь. Это будет дань Гогена-дикаря первобытной Бретани. На белом поле картины Гоген написал синими буквами: "Дар Тристан Москосо".

Дорога из Понт-Авена в Низон - даже напрямик через поля - была довольно длинной. Гогена сопровождали Бернар и Лаваль, которые взялись нести картину. В церкви Гоген выбрал место, где ему хотелось бы ее повесить. Бернар и Лаваль вдвоем держали картину так, чтобы автор мог судить, как она будет смотреться. Гоген не ошибся: "Видение" прекрасно гармонировало со стилем церкви. Бернара послали поскорей найти местного кюре.

Кюре читал свой молитвенник. Бернар сказал ему, что выдающийся художник преподнес ему в дар "замечательную картину". Священник пошел за молодым человеком в церковь, где Гоген показал ему свое произведение. Но подарок отнюдь не привел священника в восторг. Имя дарителя показалось ему странным, а сама картина совершенно его смутила. Он недоверчиво слушал объяснения художника. "Уж не хотят ли над ним подшутить? Может, это "Видение" - просто злая проделка?" Ему была известна репутация мазил из Понт-Авена. Вежливо, но твердо он отказался от картины.

Пришлось трем друзьям ни с чем возвратиться в Понт-Авен. С досады Гоген послал картину Тео, назначив за нее цену шестьсот франков[157].

Несмотря на то, что ему так хорошо работалось в Понт-Авене, Гоген не забывал о своем намерении перебраться к Ван Гогу. Но до сих пор он откладывал осуществление этого плана по многим причинам, и в первую очередь, вероятно, по той, о которой он умалчивал, а именно потому, что в Понт-Авене он не чувствовал себя одиноким. Он отнюдь не думал о том, как страдает от одиночества Ван Гог. К тому же патетический смысл призывов, обращенных к нему Ван Гогом, от него ускользал. Он усматривал в них расчет, а не отчаянную потребность в близком человеке. Предложение Винсента и Тео, рассуждал Гоген, продиктовано не столько дружескими чувствами, сколько соображениями выгоды. Тео -

---

[157] "Видение после проповеди" в настоящее время находится в Национальной галерее Шотландии, в Эдинбурге. Летом 1959 года, путешествуя по Бретани в поисках материалов о Гогене, я однажды после полудня постучал в дверь кюре в Низоне. По-моему, он отнесся к цели моего визита с такой же подозрительностью, как его предшественник к дару Гогена. Я признателен ему за его прием - мне кажется, что в тот день я сам пережил ту сцену, о которой сейчас рассказал здесь.

торговец, который делает ставку на будущее. Гоген все время твердил, что без денег не может уехать из Бретани. Пусть Тео поможет ему расплатиться с долгом, продав что-нибудь из его произведений. Люди, у которых он живет, "по отношению к нему были безукоризненны", поэтому он не вправе, по совету Винсента, "оставить долг, как есть", - это был бы "дурной поступок". А расплатившись с долгами, он приедет в Арль. И после этого, в самом деле, перестанет думать о делах опираясь на помощь Тео, он будет жить вместе с Винсентом, ни о чем не заботясь, и работать в ожидании окончательного успеха. Эта перспектива временами внушала Гогену страстное желание уехать. Бернар, у которого с ранней осени начались приступы лихорадки, правда короткие, но все учащавшиеся, тоже решил ехать в Арль. Да и Лаваль, которому какой-то торговец картинами обещал выплачивать сто пятьдесят франков ежемесячно, тоже решил, если Гоген уедет, присоединиться к нему немного позже. Такие же планы строили Море и Шамайар. Речь шла прямо-таки о коллективном переселении.

"В Понт-Авене теперь только об этом и речь", - писал Винсент брату. В течение всего лета Винсент благоустраивал свой дом: приобрел кое-какую обстановку, поставил две газовые плиты, повесил свои картины, чтобы Южная мастерская "была достойна художника Гогена, который станет ее главой".

Обещанные Ван Гогу автопортреты были закончены. На автопортрете Гогена над посвящением "другу Винсенту" была надпись: "Отверженные". Название романа Гюго выражало мысль художника. Создавая свой портрет, Гоген хотел дать в нем символический образ одного из современных художников, "бедных жертв общества", которые, подобно ему самому или Ван Гогу, осуждены быть вне закона, - отверженные, которые в отместку исполняют свой долг.

"Я считаю, что это одна из лучших моих работ, - писал Гоген Шуффенекеру. - На первый взгляд голова разбойника, этакого Жан Вальжана... олицетворяющего художника-импрессиониста, которого общество не уважает и в котором всегда видит каторжника. Рисунок тут особый (полная абстракция). Глаза, рот, нос, подобные цветам на персидском ковре, воплощают, таким образом, символическую сторону картины. Цвет достаточно далек от натурального; вообразите нечто отдаленно напоминающее мою керамику, опаленную ярким пламенем. Все оттенки красного, фиолетового, прочерченные отсветами пламени, сверкающего точно в жерле раскаленной печи, в глазах, где отражается борение мысли художника. И все это на фоне чистого хрома, испещренном детскими букетиками".

Этот автопортрет произвел на получившего его Ван Гога странное впечатление. "Пленник. Ни тени радости". Но одновременно из письма Тео Винсент узнал, что беды его друга скоро кончатся: Тео на днях выслал Гогену триста франков, чтобы тот мог приехать в Прованс.

"На своем страдальческом портрете Гоген выглядит больным! Но погоди, это скоро пройдет, и тогда интересно будет сравнить этот автопортрет с тем, который он напишет через полгода".

8 октября Гоген, ликуя, сообщил Шуффу новость: "Ван Гог (Тео) только что купил у меня на триста франков керамики. Так что в конце месяца я выезжаю в Арль и думаю остаться там надолго, принимая во внимание, что мое пребывание там задумано, чтобы облегчить мне работу, избавив меня от денежных забот, пока ему не удастся меня продвинуть".

В последние недели приступы дизентерии опять замучили Гогена, но об этом он упоминал вскользь. Главное - другое. Впереди у него спокойная жизнь. Скоро он пожнет плоды своих усилий.

"Я знаю, - надменно писал он Шуффенекеру, - что меня будут понимать все меньше. Я не боюсь идти своим, далеким от других путем. Для толпы я останусь загадкой, для некоторых - поэтом, но, рано или поздно, хорошее оценят по достоинству. Как бы там ни было, говорю вам, я буду делать первоклассные вещи, я в этом уверен - увидите. Вы ведь

знаете, в вопросах искусства я всегда по существу прав".

Разве не доказывало правоту Гогена восхищение художников, его окружавших? Бернар в редком письме к Ван Гогу не упоминал о том, как он уважает Гогена. Он почитал его как человека "выдающегося по характеру и уму", "как крупного мастера". "Величайший художник нашего времени!" восклицала, разделяя восторги брата Мадлен. А совсем недавно Гоген приобрел еще одного сторонника. Это был живший в пансионе Глоанек ученик академии Жюлиана, Поль Серюзье[158], который в последний день своих каникул набрался храбрости и попросил Гогена дать ему "урок живописи".

Гоген повел его в Лес Любви и заставил сделать "синтезированный" набросок. "Каким вы видите это дерево? Оно зеленое? Так пишите же его самым красивым зеленым цветом, какой есть на вашей палитре. А эту тень? Скорее, синей? Так не бойтесь сделать ее как можно более синей". Серюзье, как драгоценность, бережно увез в Париж этот пейзаж, второпях набросанный на крышке коробки из-под сигар. Серюзье и некоторые его товарищи из академии Жюлиана и Академии художеств, те, кто вскоре станут звать себя "наби" Морис Дени, Боннар, Вюйар, К.-К. Руссель, Поль Рансон, Анри-Габриэль Ибельс[159], - окрестили набросок "Талисманом".

"Обратите внимание, - писал Шуффенекеру Гоген, - сейчас среди художников появилось весьма благоприятное для меня поветрие... и будьте покойны, как ни влюблен в меня Ван Гог (Тео), он не стал бы содержать меня на юге ради моих прекрасных глаз. Как подобает трезвому голландцу, он изучил обстановку и хочет извлечь из нее как можно больше выгоды, и притом единолично. Я просил его снизить цены, чтобы привлечь покупателей, а он ответил мне, что, наоборот, намерен их поднять. Конечно, я вообще оптимист, но на сей раз я и в самом деле ступил на твердую почву".

В воскресенье 21 октября 1888 года, в полдень, простившись со своей "братией", Гоген сел в дилижанс, который отправлялся в Кемперле с центральной площади городка, против гостиницы Юлии. Через два дня глава Южной мастерской должен был прибыть в Арль.

III
ОТВЕРЖЕННЫЕ

Вы тоже, как и я, по-своему несчастны.
Ван Гог. Письмо к Гогену

Предутренний мрак мало-помалу рассеивался. Приехав в Арль ночным поездом, Гоген в кафе "Альказар" дожидался рассвета, чтобы направиться в дом к Ван Гогу на противоположной стороне площади Ламартина.

Винсент занимал правое крыло двухэтажного дома с желтым фасадом и двумя треугольными фронтонами. Позади дома, чуть поодаль, проходила железная дорога. До вокзала было рукой подать. Слева, вдоль берега Соны, тянулся городской сад, засаженный кипарисами, кедрами, елями, платанами, кустами олеандров, - сад Ламартина. Район назывался предместьем Тамплиеров. Самый город начинался за Кавалерийскими воротами - прорубленные в старинной крепостной стене XV века с двумя круглыми башнями по обе стороны, эти ворота находились как раз напротив дома Винсента, отделенного от них шириной площади.

Винсент принял Гогена восторженно - пожалуй, даже слишком восторженно. Гоген

---

[158] Серюзье, Поль (1863-1927) - французский художник, один из основных участников группы Наби.

[159] Дени, Морис (1870-1943), Боннар, Пьер (1867-1944), Рансон Поль (1864-1909), Ибельс, Анри-Габриэль (1867-1936) и др. - французские художники, назвавшие свой кружок группой Наби (от древнееврейского слова пророки), так как считали себя пророками искусства будущего. Все они испытали влияние Гогена.

молча следовал за ним из комнаты в комнату. В первом этаже помещалась мастерская и еще одна мастерская, служившая кухней. На втором этаже две спальни. Большую, где стояла широкая кровать орехового дерева, Винсент предназначил для Гогена. Он украсил ее картинами - различными видами сада Ламартина. "Я хотел так написать этот сад, - объяснил Винсент Гогену, чтобы он одновременно наводил на мысль о старом местном (или, вернее, авиньонском) поэте - Петрарке и о новом местном поэте - Поле Гогене. Какими бы неудачными ни получились эти наброски, может быть, вы почувствуете по ним, что я думал о вас и с большим волнением приготовлял для вас мастерскую". Гоген смотрел на виды парка и на другие полотна, которые Винсент развесил на побеленных известью стенах. Но он молчал - нравилось ему далеко не все. И, однако, эти "Подсолнухи", эта "Желтая комната"...

Ван Гог был удивлен видом Гогена. Он считал, что тот болен, изнурен. А перед ним оказался человек, который хоть и страдал болезненными приступами, но выглядел по-прежнему здоровяком. Гоген тоже был удивлен, но по противоположной причине. Ван Гог показался ему чрезмерно возбужденным. И какой беспорядок в мастерской! В ящике с красками валом навалены тюбики, наполовину выдавленные, незакрытые.

Все лето напролет Винсент работал "раскаленный добела". Он писал повсюду, каждую минуту: в поле под палящим солнцем, ночью на берегу Роны или на площади Форума. "Я мчусь на всех парах, точно живопишущий паровоз", - писал он Тео[160]. Но эта одержимость была чревата опасностью. Изредка в письмах к брату проскальзывали тревожные фразы. "Нечего хитрить в один прекрасный день может разразиться кризис". Еще совсем недавно, как раз перед приездом Гогена, он признавался Тео: "Я не болен, но безусловно заболею, если не буду сытно питаться и на несколько дней не прерву работы. В общем, я снова почти дошел до безумия, как Гуго Ван дер Гус на картине Эмиля Ваутерса". Его преследовал образ этого голландского художника XV века, потерявшего рассудок и умершего в Красном Монастыре возле Суаньи, чье безумное лицо изобразил Ваутерс. "Мне следует быть поосторожнее с моими нервами". Ван Гог страстно мечтал о приезде Гогена не только для того, чтобы избавиться от одиночества, но и чтобы с помощью друга отогнать от себя страшные призраки. Он чувствовал, что выдохся, что глаза у него устали, "но в конце концов из самолюбия мне хочется произвести некоторое впечатление на Гогена моей работой". Последнее "безоглядное" усилие его доконало.

Но Гоген не стал углубляться в вопросы, связанные с состоянием здоровья Винсента, вдумываться в то двойственное впечатление, которое испытал, переступив порог дома с желтым фасадом. Он настраивался на все более оптимистический лад. Тео только что продал полотно с бретонками за пятьсот франков, Гоген сможет теперь рассчитаться с последними понт-авенскими долгами. "Я верю в будущее... Ван Гог (Тео) так подготовил почву, что, думаю, все талантливые художники смогут теперь пробиться". Гоген успокоит Винсента. А пока надо как можно скорее наладить ту отшельническую жизнь, простую программу которой Винсент сформулировал так: "Жить, как монах, который раз в две недели ходит в дом терпимости".

Гоген познакомился с арлезианскими друзьями Ван Гога: лейтенантом зуавов Милье, когда-то служившим в Тонкине, сорокасемилетним служащим почты Жозефом Руленом, гигантом почти двухметрового роста, с длинной раздвоенной бородой (Рулен служил бригадиром почтовых грузчиков на вокзале в Арле, но все звали его почтальон Рулен), и с четой Жину - владельцами привокзального кафе, где столовался Винсент. Но отныне художники решили есть дома. Винсент должен был делать покупки на рынке, Гоген заниматься стряпней.

"Удивительный человек Гоген! - восхищался Винсент. - Он не рвется, закусив удила вперед, а спокойно работая без устали, будет здесь выжидать минуты, когда можно будет сделать гигантский рывок". Спокойно, да, но отнюдь не восхищаясь Провансом, где Гоген

---

160 См.: Жизнь Ван Гога.

чувствовал себя "выбитым из колеи"...

По сути дела, в Арле не было ничего родственного душе Гогена. Прованс не имел отношения к миру его мечты. Он не мог равняться с Бретанью. Он был лишен ее строгой структуры, ее одухотворенности и трогательной печали. В Бретани все "шире", объяснял Гоген Винсенту, и все "более торжественно, а главное, более цельно и определенно, чем в хилой и выжженной природе Прованса". Конечно, краски Прованса богаче бретонских, но зато они бледнеют по сравнению с тропиками!.. Они только пробуждали в Гогене тоску по жарким странам, а разговоры о колониях, о Тонкине с лейтенантом зуавов еще больше ее бередили.

"Гоген рассказывает о тропиках чудеса". Радуясь приезду друга, Ван Гог еще преувеличивал то, что ему рассказывал Гоген: для него не было сомнений, что в тропиках "будущее великого возрождения живописи". Будь Винсент на десять лет моложе, он охотно принял бы участие в создании "колористической школы" на Яве. "Но ничего, ему, как и мне, нравится то, что он видит здесь, в особенности его любопытство возбуждают арлезианки".

Ван Гог снова принялся за работу, а Гоген тем временем присматривался к жителям Арля и к его пейзажу.

"Забавно, Винсенту кажется, что здесь надо писать в духе Домье, а я, наоборот, вижу Пюви в цвете, с примесью японцев. Здешние женщины с их изысканными прическами, греческой красотой и шалями, ниспадающими складками, как у примитивистов, женщины, говорю я, наводят на мысль о греческих шествиях. Проходящая по улице девка не уступит любой даме и выглядит девственной, как Юнона. Так или иначе, здесь есть источник красоты в современном стиле".

Гоген в свой черед взялся за кисти. Он ходил с Винсентом в Аликаны старинный некрополь, от которого сохранилась только аллея саркофагов, ведущая к развалинам церквушки. Здесь он начал писать пейзажи[161]. Начал он также "Ночное кафе" - картину с женской фигурой на первом плане, которую он нарисовал в доме терпимости.

Организуя совместную жизнь с Винсентом, Гоген не ограничился ее материальной стороной. Еще большее значение он придавал своему духовному руководству. Глубоко убежденный в своей правоте, не замечая никого, кроме самого себя, он обращался с Ван Гогом, как еще недавно с художниками Понт-Авена. Он старался навязать ему свои собственные живописные концепции, наставлял, советовал докторальным и зачастую повелительным тоном. Ван Гог слишком часто прибегает к дополнительным цветам. Ему следует больше работать по памяти. Оп должен сдерживать свои порывы и упорядочить свои восторги. А то в них царит досадная неразбериха: он готов восхищаться кем угодно и чем угодно, с одинаковым упоением говорит о гениальных живописцах и о третьестепенных ремесленниках. Испытывая "жуткое почтение" к Гогену, повинуясь его властному голосу, его уверенности, Ван Гог поддавался наставлениям понт-авенского мэтра. Гоген привез в Арль "Бретонок на лугу" Бернара. Ван Гог сделал с них копию. Он отдал дань клуазонизму, написав в этой манере сцену бала в Фоли-Арлезьенн.

В Бретани Гоген несколько раз бывал в публичных домах вместе с Бернаром, который любил атмосферу этих заведений, и сделал серию набросков под названием "В публичном доме" [162] - довольно колоритных, но банальных. Они не очень понравились Гогену. "Локальный цвет меня не устраивает", - говорил он. Но как раз на локальном цвете основано его "Ночное кафе". Арлезианские публичные дома были хорошо знакомы Ван Гогу. Неподалеку от его дома, за крепостной стеной и Кавалерийскими воротами, начинались улочки, ведущие к этим домам. У Ван Гога уже сложились определенные привычки - он был

---

161 Один из них, "Аликаны", находится в настоящее время в Лувре.

162 На одном из этих набросков была надпись - слова одной из проституток: "Чтобы обслужить мужчину, другой такой, как я, не найдешь".

постоянным клиентом некой Рашели, по прозвищу Габи, из публичного дома под номером один на улице Бу-д'Арль. Организуя финансовую сторону их быта, Гоген выделил деньги на "ночные гигиенические прогулки". Часто вечерами два отшельника задерживались в выкрашенных "голубоватой известью" залах борделей, смешиваясь с военными из местного гарнизона и женщинами, откровенные туалеты которых - небесно-голубые и пурпурные - восхищали Винсента.

Папаша Луи, содержатель одного из домов терпимости, с гордостью показал Гогену две репродукции, выпущенные фирмой Буссо и Валадон с картин Бугро[163] "Дева" и "Венера", - они украшали его гостиную, предназначенную для клиентов "высшего класса". "Как подобает сутенеру высшей марки", папаша Луи понял, где надлежит красоваться этой гордости академического искусства, - говорил Гоген. Гоген и среди проституток не оставлял своего иронического тона. Сильный, невозмутимый, расхаживал он по публичному дому и разыгрывал распутника, который никого и ничего не боится и не намерен обуздывать свой мощный инстинкт. Никогда еще их резкое несходство с Ван Гогом не проявлялось с такой очевидностью, как в те вечера, когда они являлись к проституткам. Гоген не терял спокойствия, Винсент, стоило ему немного выпить, быстро возбуждался, жестикулировал, без умолку говорил. Винсент не мог равняться с Гогеном физической силой. Он был более восприимчив к спиртному и истощен в сексуальном отношении. Несомненно, Гоген поступал опрометчиво, забывая его щадить. Как все крепкие люди, он почти не отдавал себе отчета в ограниченных возможностях тех, кто слабее его.

Гоген продолжал получать хорошие известия. Тео организовал выставку его произведений, написанных в Понт-Авене, и на ее долю выпал довольно большой успех. 13 ноября Тео сообщил ему, что две картины уже проданы, третью вот-вот купят, если он согласится на небольшую ретушь, и что одну картину собирается купить Дега. Он "так восхищается вашими работами, что многим говорит о них",- писал Тео.

Одобрение Дега тронуло Гогена.

"Это особенно лестно для меня... Да и с точки зрения коммерческой это прекрасно для начала. Все друзья Дега ему доверяют. Ван Гог (Тео) надеется продать все мои картины. Если мне и в самом деле так повезет, я уеду на Мартинику. Я убежден, что теперь напишу там прекрасные вещи, а если получу побольше денег, куплю там дом, чтобы основать мастерскую, где друзьям будет все обеспечено за гроши. Я отчасти разделяю мнение Винсента, что будущее за художниками тропиков, которые почти никто не писал, а для дураков покупателей нужны свежие мотивы".

В это же самое время журнал "Ревю индепандант"[164] пригласил Гогена участвовать в одной из организованных им выставок. Но художник сухо отказался: он не мог простить одному из основателей этого журнала, критику Феликсу Фенеону[165], что тот, будучи ярым защитником Сёра и дивизионистов, в своем отчете о декабрьской выставке у Тео назвал Гогена "вздорным"[166].

---

[163] Бугро, Адольф (1825-1905) - французский художник, представитель салонного искусства.

[164] "Ревю индепандант" - символический журнал, основанный в 1884 году. В 1886-1888 годах его директором был Э. Дюжарден, в нем сотрудничали многие поэты. По словам Ф. Фенеона, он нашел читателей "среди идущих к упадку натуралистов и возвышающихся символистов".

[165] Фенеон, Феликс (1861-1944) - французский художественный и литературный критик. До 1894 года сочетал литературную деятельность со службой в Военном министерстве. Был связан с анархистами, в критике выступал глашатаем идей неоимпрессионистов.

[166] "Статья, терпимая по отношению к художнику, но довольно странная в оценке его характера, - отзывался о ней Гоген. - Можно подумать, что эти господа натерпелись от моего обращения, а сами этакие ангелочки". Критик в особенности похвалил керамические работы Гогена, говоря, что предпочитает их его картинам. "Он любит презренную, злосчастную, трудную керамику", писал Фенеон ("Ревю индепандант",

Зато он поспешил принять другое приглашение - в самом деле, признаки успеха множились! - которое пришло от "Группы двадцати" из Бельгии и которое весьма ему польстило. Созданная в 1884 году брюссельская "Группа двадцати" с 1887 года приглашала Сёра на свои выставки. Гоген был этим раздосадован - его как бы обходили. Но зато теперь он был вознагражден. В Брюсселе он покажет "серьезную выставку в противовес пуантилизму". Он не сомневался в своем торжестве. "Дело движется вперед на всех парах". Быть может, ему удастся найти покупателей в Бельгии. В таком случае, он сначала переберется в Брюссель, а потом уже на Мартинику.

Гоген ликовал: "Если я, как я надеюсь, смогу прокормить семью, тогда, быть может, поймут, что я был прав". Семью! Он скрежетал зубами, думая о Метте, от которой не получал ни строчки. "Все равно! Я стал находить радости во многом другом, и весь мой теплород уйдет в искусство". А когда Шуфф написал ему, что он слишком большой оптимист, Гоген с горячностью отозвался:

"Да, я оптимист, но Вы ошибаетесь, если думаете, что мой оптимизм касается денег. Тут я не строю себе иллюзий, но я столько из-за этого выстрадал, что самая малость уже много для меня, однако я воспользуюсь деньгами не для баловства и отдыха, а, наоборот, чтобы подготовиться к главной битве, потому что пока еще я веду малую борьбу в искусстве. Я пойду в атаку не раньше, чем у меня в руках будут все необходимые средства. Я чувствую, что способен на гораздо большее, и гордо заявляю: "Увидите!" Спросите у Писсарро, считает ли он меня одаренным. Гигиена и половая жизнь. Если это налажено и ты работаешь, ни от кого не завися, ты не пропадешь.

Я так и вижу, как Вы, добродетельный Шуфф, широко открыли глаза, читая эти рискованные слова. Успокойтесь, хорошенько ешьте, хорошенько совокупляйтесь, работайте в том же духе, и Вы умрете счастливым.

Нежный привет всей Вашей маленькой семье от любящего Вас великого безумца".

Радужные перспективы подстегивали Гогена. Он сам первый применял на практике советы, которые давал Шуффу. Проработав целый день без передышки, по вечерам он увлекал Винсента в кафе или публичный дом. "Мы изнурены", писал Ван Гог брату. Но он ошибался: Гоген чувствовал себя превосходно.

Он беззаботно излагал Винсенту свои планы - как он переедет в Брюссель или на Мартинику, не замечая, какое горе причиняет другу. Ван Гог все свои надежды возложил на Южную мастерскую. Если Гоген уедет, это будет крах! Он снова окажется в зловещем одиночестве, окружающий мир потеряет свой "успокаивающий, привычный облик", и по дому с желтым фасадом опять начнет бродить призрак безумного художника Гуго ван дер Гуса. "Я дух святой. Я здрав душой!" - написал Винсент на стене своей комнаты. Гоген считал, что живет в Провансе только временно. К тому же Арль ему не нравился, и он этого не скрывал. "Самая дрянная дыра на Юге". Все здесь "мелко, пошло пейзаж и люди".

Винсент с трудом переносил эти выпады - сдерживая нетерпение, глухо раздражаясь. "Мартиника! Брюссель!" "Неужели Гоген не читал "Тартарена в Альпах" и не помнит нашего знаменитого тарасконского приятеля Тартарена, который был наделен таким воображением, что в одно мгновение навоображал целую воображаемую Швейцарию?" Да, Гоген прекрасно организовал их совместный бюджет, но "его слабость состоит в том, что ради какой-нибудь случайной животной прихоти, он нарушает все, что сам же организовал".

Так как погода испортилась и обоим художникам из-за дождя и ветра приходилось работать в мастерской, Гоген убеждал Винсента писать по памяти. Винсент подчинялся, но первая его попытка в этом роде - "Воспоминание о Саде в Нюэнене" в Голландии - оказалась неудачной. Его искусство не было, не могло быть похожим на искусство Гогена. Искусство великих творцов слишком спаяно с их личностью, чтобы подделываться под искусство, порожденное столь же властными, но совсем иными требованиями других великих творцов. Для таких людей подчиниться - означает погубить себя. Они обречены жить на вершинах

январь 1888 г.).

своего одиночества.

Столкновение Гогена и Ван Гога в эти арлезианские недели было драматическим столкновением двух людей, которых разделяло все, которые были полярны в своем искусстве, - один жесткий, упрямый, сознательный эстет с изысканным воображением, классик-варвар, другой не менее упрямый, но увлекаемый страстью, исполненный бурь и порывов, который сжигал себя в творчестве, точно в пламени костра.

Деспотичный догматик, замкнутый в своем всепоглощающем творческом "я", Гоген вещал, распоряжался, пытаясь согнуть своей волей волю другого. И Винсент повиновался. Повиновался из чувства дружбы, потому что боялся потерять Гогена. Но он повиновался ропща. Он непрерывно спорил, возражал, иногда ненадолго вспыхивая гневом.

"Мы с Винсентом редко соглашаемся в чем-нибудь, особенно когда дело касается живописи, - писал Гоген Бернару. - Он восхищается Домье, Добиньи, Зиемом и великим Руссо, то есть всеми, кого я не воспринимаю. И, наоборот, презирает Энгра, Рафаэля, Дега - всех тех, кем восхищаюсь я. Чтобы положить конец спорам, я отвечаю: "Ваша правда, капитан". Ему очень нравятся мои работы, но пока я пишу, он всегда находит, что я что-нибудь сделал не так. Он романтик, меня же, скорее, тянет к примитиву. Что до цвета, ему ближе причуды пастозности, как у Монтичелли, а я ненавижу эту мешанину фактуры и т. д.".

Гоген был разочарован не только строптивостью Ван Гога. В своем отношении к людям Ван Гог признавал только крайности. Его привязанность была всепоглощающей, тиранической, и в конечном итоге утомляла тех, на кого была направлена. А его чувства к Гогену были еще обострены снедавшим его страхом, что тот уедет. Винсент нарисовал картину на простой сюжет: деревянное кресло красного цвета с зеленым соломенным сиденьем, кресло Гогена - пустое. Потребление спиртного и посещения проституток тоже не способствовали успокоению нервов Винсента. Он возбуждался, вспыхивал, а потом погружался в зловещее молчание. Он мог разбушеваться, обнаружив, что у Гогена, на его взгляд, слишком низкий лоб. Мог расплакаться, говоря о Монтичелли[167]. Однажды вечером он захотел сам приготовить суп. Получилась несъедобная бурда - он раскричался, стал топать ногами, хохотать: "Тараскон, фуражка папаши Доде!" Гоген вздыхал. Ну, нет! Ему нужен покой, и как можно скорее! Скорее на Мартинику или хотя бы в Париж!

Оба художника были "в горячке работы". Гоген признавался, что доволен своими последними полотнами. Он послал два из них, в которых пытался выразить "общий взгляд на вещи", Тео и настоятельно просил Шуффа посмотреть их и высказать свое мнение. 11 ноября Шуфф ответил восторженным письмом:

"Это еще прекраснее того, что Вы прислали из Бретани, более абстрактно и мощно. И еще меня поражает Ваша продуктивность, изобилие Ваших работ. А я, несчастный, месяцами вылизываю какую-нибудь маленькую картинку. Конечно, каждый делает, что может, но Вы, милый мой Гоген, до каких высот дойдете Вы? Наши друзья, наверное, криво усмехаются. Так как я никого из них (кроме Гийомена) не вижу, я не знаю, что они думают, если только они вообще это выказывают. Но чем больше я смотрю и размышляю, тем больше убеждаюсь, что Вы забьете всех, за исключением Дега. Этот - колосс, но Вы - гигант. А гиганты, как известно, добрались до неба. Вы взгромоздите Оссу на Пелион, чтобы достичь небесного свода живописи. Вы его не достигнете, потому что это абсолют, иначе говоря, бог, но Вы подадите руку тем, кто подошел к нему ближе всех. Да, дорогой Гоген, Вас ждет в искусстве не просто успех, а слава на уровне Рембрандта и Делакруа. И Вам, как и им, пришлось страдать. Но надеюсь, что, по крайней мере теперь, вы будете избавлены от материальных (денежных) страданий".

Это письмо, еще укрепившее его уверенность в себе, Гоген поспешил довести до

---

[167] Монтичелли, Адольф (1824-1886) - французский художник, писал яркими красками и пастозным мазком. Его произведения очень нравились Ван Гогу.

сведения Метте. Он вложил его в конверт с деньгами и довольно сухой запиской:

"Прилагаю двести франков. Прошу подтвердить получение, чтобы они не затерялись. И если это тебя, конечно, не слишком затруднит, можешь заодно сообщить мне новости о детях. Я уже очень давно ничего о них не знаю. Я понемногу оправляюсь, хотя и не без труда. Дела мои тоже идут неплохо, хотя и медленно. Во всяком случае, я приобретаю неоспоримую известность как в Париже, так и в Брюсселе... Посылаю тебе письмо Шуффенекера, которое объяснит тебе, лучше чем я сам, как расценивают мою живопись. Я работаю на измор, но надеюсь, что в будущем это окупится... Возможно, зимой я вышлю еще (денег), если моя выставка в Брюсселе, куда меня пригласили, сойдет хорошо, а это весьма вероятно".

Но зачем он сидит в Арле? Раздражительность Винсента, его переменчивое настроение, затеваемые им по всякому поводу споры, к которым он упорно возвращался, удручали Гогена. Он написал Тео, что собирается вернуться в Париж. В то же время он запросил Шуффа, не сможет ли тот снова его приютить.

Перед отъездом с юга Гоген хотел посмотреть Музей Фабра в Монпелье, и в частности коллекцию Альфреда Брюйа, друга Курбе. Он уже однажды побывал в этом музее[168], и картины Курбе, Делакруа, Коро, Шардена и Энгра (в частности, "Стратоника") из его собрания привели Гогена в восхищение. И вот однажды они с Винсентом поездом отправились в Монпелье. У картин и рисунков споры вспыхнули с удвоенной силой. "Мы были околдованы", - писал Ван Гог брату после поездки. Но признавался, что споры были "напряженными до предела".

Предела достигла и нервозность Винсента, с тех пор как Гоген объявил, что хочет уехать. Он уговаривал друга "подумать, пересмотреть свои расчеты". Гоген "очень сильный, очень творческий" человек, но "именно поэтому ему нужен покой". А где он "найдет этот покой, если не здесь?" убеждал Винсент.

Гоген, который не вполне понимал, почему так волнуется Винсент, по разным причинам решил все-таки выждать.

"Вы ждете меня с распростертыми объятиями, спасибо, - писал он Шуффу, - но, к сожалению, я все еще не выезжаю. Мое положение здесь очень затруднительно. Я многим обязан Ван Гогу (Тео) и Винсенту и, несмотря на некоторые несогласия, не могу сердиться на человека с золотым сердцем, который болен, страдает и нуждается во мне. Вспомните судьбу Эдгара По, который в результате несчастий и нервного состояния стал алкоголиком...".

Винсент поделился с Гогеном кое-какими воспоминаниями о том времени, когда он был миссионером и проповедовал в бельгийском Боринаже слово Христово. Он рассказал, как спас одного шахтера, тяжело раненного взрывом рудничного газа, которого, считая его безнадежным, врачи бросили на произвол судьбы[169]. Этими да и многими другими чертами своего характера, своей "великой добротой", "евангельским альтруизмом" Винсент трогал Гогена. Так и быть, Гоген проявит сверхтерпение и еще некоторое время проживет в Арле. К тому же в Париже сложилась неблагоприятная в финансовом отношении обстановка. Компания по строительству Панамского канала обанкротилась. Это должно отозваться на продаже картин. Лучше подождать. "Если бы я мог уехать в мае, зная, что мне обеспечены полтора года жизни на Мартинике, я был бы почти что счастливым смертным", - писал он Шуффу. Райские видения маячили перед его глазами:

"Согласно легенде, Инка явился прямо с Солнца - я туда и возвращусь... - писал он. - Винсент зовет меня иногда человеком, который пришел издалека и далеко пойдет. Я надеюсь, что за мной последуют все добрые сердца, которые меня поняли и любили...

---

168 Вероятно, в 1883 году, когда возвращался в Париж, переправив Сорилью через испанскую границу.

169 См.: Жизнь Ван Гога, ч. I, гл. 4.

Близится наступление нового мира, где все будет следовать велениям природы, люди заживут под знаком Солнца и научатся любить".

В этом письме к Шуффу Гоген написал, что "исподволь все равно будет готовиться к отъезду". Об этом догадывался Ван Гог. Не сегодня-завтра Гоген уедет. Угроза, нависшая над ним, над будущим Южной мастерской и бедного домика с желтым фасадом, вызывала у него полный упадок духа. Снедаемый мучительной тревогой, он вглядывался в Гогена, пытаясь разгадать его намерения. Иногда по ночам Винсент вставал, входил в комнату друга, склоняясь над ним, глядел на него. "Что с вами, Винсент?" - спрашивал разбуженный Гоген. Ни слова не говоря, Винсент выпрямлялся и уходил - как когда-то сумасшедший в доме дона Пио.

Странная атмосфера царила в конце декабря в мастерской на площади Ламартина! Однажды Ван Гог спросил Гогена: "Вы собираетесь уехать?" "Да", ответил Гоген. Тогда Ван Гог разорвал какую-то газету, вырвал из нее клочок, на котором были напечатаны слова: "Убийца сбежал...", и вложил его в руку Гогена... Гогена начали не на шутку беспокоить странности Винсента, его растущая нервозность, все более шумные вспышки, которые сменялись внезапным молчанием. Он настороженно следил за ним. "Я больше не знал покоя", - говорил он потом.

В субботу 22 декабря[170], глядя на портрет, который написал с него Гоген, Ван Гог воскликнул: "Да, это я, только лишившийся рассудка!" В тот же вечер в кафе он бросил в голову Гогена свой стакан со спиртным. Гоген успел увернуться. Не теряя хладнокровия, он схватил Винсента в охапку и отвел домой, на площадь Ламартина, где Винсент мгновенно уснул.

Хватит! - Гоген понял, что больше ждать нельзя. Надо бежать от этого опасного компаньона. К черту все планы! Утром он предупредил Ван Гога, что завтра, в понедельник, он покидает Арль.

В воскресенье вечером Гоген вышел прогуляться в последний раз. Было уже темно. Художник перешел площадь Ламартина. Он был почти у Кавалерийских ворот, когда вдруг услышал, что за ним кто-то бежит. Он узнал шаги Ван Гога, быстро обернулся - и вовремя! Винсент бросился на него с раскрытой бритвой в руках. Под взглядом Гогена Винсент замер в растерянности. Потом опустил голову. "Вы молчите, ну что ж, я тоже буду молчать", - сказал он и побежал обратно к дому. Гоген домой не вернулся. Он решил переночевать в гостинице. Разыгравшаяся сцена ужаснула его. Он был так взволнован, что заснул только около трех часов ночи. "Может, в эту минуту я проявил трусость, наверное, мне следовало отнять у него бритву и попытаться его успокоить".

Поднявшись утром в понедельник, Гоген сразу же направился на площадь Ламартина. Перед домом с желтым фасадом он увидел толпу, жандармов, а у дверей человека в котелке - полицейского комиссара. Когда Гоген подошел ближе, комиссар объявил ему, что его подозревают в убийстве его друга. Дом был весь в пятнах крови. Окровавленные салфетки валялись на плитках пола на первом этаже. Винсент лежал у себя в комнате, неподвижно скрючившись под одеялом. "Он мертв", - заявил комиссар.

Потрясенный этой новостью и предъявленным ему обвинением, Гоген в первую минуту совершенно растерялся. С трудом овладев собой, он попросил комиссара вместе с ним подняться на второй этаж. Там он с облегчением убедился, что тело его друга теплое - Винсент жив. "Пожалуйста, мсье, шепнул он комиссару, - разбудите этого человека с величайшей осторожностью, а если он спросит обо мне, скажите, что я уехал в Париж. Мой вид может подействовать на него роковым образом".

Комиссар тотчас послал за врачом и каретой. Все объяснилось. Мало-помалу удалось восстановить, что произошло. Вечером, после того как он бросился на Гогена на площади

---

170 Обнаруженные новые документы заставляют меня внести изменения в хронологию событий, происшедших в эти дни в Арле, какой я придерживался в "Жизни Ван Гога". Само собой, в последующие издания "Жизни Ван Гога" будут внесены соответствующие изменения.

Ламартина, Винсент вернулся домой и отрезал себе ухо. Положив его в конверт, он явился в дом терпимости к своей "подружке" Рашели с улицы Бу-д'Арль. "На память обо мне", - сказал он, протянув ей конверт, и вернулся домой спать...

Проснувшись, Ван Гог стал настойчиво расспрашивать о своем друге. Но Гоген остерегался появляться перед ним. Вскоре Винсента увезли в больницу. Как только он оказался там, ему стало хуже: он кричал, бранил монахинь, вымазал себе лицо углем. Пришлось заточить его в изолятор.

Гоген дожидался Тео, которого вызвал телеграммой.

Винсент кричал и пел в своей одиночной келье.

А на город спускалась ночь, рождественская ночь, которую скоро должен был огласить колокольный звон.

*

Вернувшись из Арля вместе с Тео, Гоген остановился у Шуффенекера[171]. Так как Тео щедро возместил ему расходы, которые у него были в Арле, Гоген снял на три месяца мастерскую на улице Монсури, 25.

Конец содружества с Ван Гогом не особенно повлиял на планы Гогена. Он не собирался задерживаться в Париже. Если счастье ему улыбнется, рассуждал он, он осуществит свою поездку на Мартинику. Он по-прежнему возлагал большие надежды на выставку "Группы двадцати". Он даже рассчитывал в связи с этим поехать в Бельгию, а оттуда в Копенгаген и пожить там месяц. В ответ на посланные двести франков и письмо Шуффа Метте написала мужу "нежное письмо"...

"Ты пишешь, что Шуффенекер слишком уж курит мне фимиам, - отвечал Гоген жене, - однако он говорит почти слово в слово то, что говорят многие другие, и даже Дега. "Это пират, - говорит он,- но зато и силен же он... Это подлинное искусство".

И, однако, Гогену пришлось отказаться от поездки в Брюссель. Выставка "Группы двадцати" открылась раньше, чем он предполагал. К тому же, как всегда плохо умея считать свои деньги, он вскоре оказался почти без гроша. Поездку в Данию тоже пришлось отложить на конец зимы.

В ожидании результатов брюссельской выставки Гоген формовал вазы и статуэтки и, обернув их во влажные тряпки, отдавал добряку Шуффу, а тот бережно уносил их для обжига керамисту Делаэршу на улицу Бломе. Гоген чаще работал в доме Шуффа, чем у себя, в своей мастерской. Он написал групповой портрет хозяина, его жены и двоих детей. На этой картине добряк Шуфф стоит у мольберта, немного наклонив голову и потирая руки. На ногах у него огромные шлепанцы, вид - наивный, незначительный и смешной. В этой картине чувствуется насмешка, граничащая с презрением[172].

Тем временем мало-помалу начали приходить новости из Бельгии. Они не радовали. Гоген послал в Брюссель двенадцать полотен, назначив за них цены от пятисот до полутора тысяч франков. Но бельгийская публика усмотрела в этих произведениях вызов. Покупателей на них не нашлось. На брюссельцев "Видение после проповеди" произвело такое же впечатление, как на низонского кюре. Провал был полный.

Гоген пал духом. Значит, поездка на Мартинику опять сорвалась! Тео не удавалось продать почти ничего из его произведений. Да и вообще в начале 1889 года финансовые дела шли все хуже и хуже. 4 февраля была официально распущена Компания по строительству Панамского канала. 7 марта покончил с собой директор Учетного банка, и вдобавок биржу потряс кризис. Что оставалось Гогену в этих обстоятельствах, как не вернуться в Понт-Авен

---

171 Гоген и Тео выехали из Арля, по-видимому, 26 декабря. Во всяком случае, 27 Гоген уже находился в Париже. На рассвете 28 он присутствовал на казни Прадо, приговоренного к смерти за убийство еще за шесть недель до этого; казнь состоялась на площади Ла Рокетт. Винсент рассказывал Гогену об этом преступлении, которое, по его словам, было совершено в кабаре "Тамбурин".

172 "Семья Шуффенекер" в настоящее время находится в Лувре.

к добрейшей Мари-Жанне Глоанек?

Так он и решил. Но на этот раз он не собирался надолго задерживаться в Бретани. Он не отказался от поездки в Копенгаген. С другой стороны, поскольку путешествие в тропики не состоялось, он решил посетить Всемирную выставку, которая должна была открыться в Париже в мае, - на ней предполагался большой отдел колоний. Гоген решил, что там отогреется душой.

На выставке был задуман также отдел искусства. Рядом с Эйфелевой башней, которую спешно достраивали, на Марсовом Поле был воздвигнут Дворец изящных искусств. Гоген и его друзья не могли рассчитывать на то, что их удостоят чести быть представленными в этом дворце - он был предназначен в первую очередь для мэтров Академии, таких, как Жером[173], Тома Кутюр[174], Кабанель[175], Мейссонье[176] и Фернан Кормон. Туда едва согласились допустить несколько работ "старших" импрессионистов - Писсарро и Клода Моне. Ни Ренуар, ни Сёра там представлены не были. Сезанн был допущен только украдкой[177]. Но Шуффенекер не мог смириться с тем, что его отстранят от участия во Всемирной выставке.

На первом этаже Дворца искусства директор "Гран-кафе", Вольпини, оборудовал в это время "Кафе искусств". Шуффенекер приложил все старания, чтобы уговорить его предоставить нескольким художникам возможность украсить стены кафе своими произведениями. Вольпини заказал зеркала фирме Сен-Гобен. И так как поставщик не выполнил заказа в срок, Вольпини в конце концов согласился.

"Браво! Вы добились успеха, - писал Гоген Шуффенекеру из Понт-Авена. Повидайтесь с Ван Гогом (Тео) и устройте все до моего возвращения. Не забывайте только, что эта выставка не для других. А следовательно, давайте ограничимся нашей маленькой дружеской группой". Гоген перечислил, кого он имеет в виду: Шуфф, Бернар, Гийомен и он сам выставят каждый по десяти картин, Ван Гог шесть, двое друзей Шуффа - Леон Фоше и его сослуживец по лицею Мишле, Луи Руа, - дополнят список, выставив по две работы каждый.

Но на Гогена снова посыпались огорчения и разочарования. Метте всячески противилась приезду Поля в Копенгаген. "Идти на такие расходы" это "несерьезно". "Я боюсь, - писала она мужу, - твоей встречи с моими братьями, а мне всего дороже мой покой. Подумай хорошенько, прежде чем ехать, и подумай о расставании". Возмущенный Гоген положил конец обсуждению этого вопроса. Он не поедет в Данию. "Не будем больше к этому возвращаться, желаю тебе хорошо провести лето, и бог вам в помощь!"

Вернувшись в Париж в первой половине апреля, он столкнулся там с другими трудностями. Тео осуждал его за намерение выставиться в кафе Вольпини. Это означало проникнуть во Дворец искусств "с черного хода". Тео отказался предоставить для этой цели работы Винсента. Гийомен тоже колебался. После долгих сомнений он отказался от участия в выставке. Вместо них были приглашены трое других художников: Шарль Лаваль, которого Гоген опустил в своем списке, Анкетен и Жорж-Даниель де Монфред.

Но если Тео и Гийомен презрели кафе Вольпини, по-иному отнеслись к нему Шуффенекер и Бернар - они хотели показать как можно больше своих работ. В результате,

---

[173] Жером, Жан-Леон (1824-1904) - французский художник салонно-академического толка; прославился как автор картин на античные сюжеты.

[174] Кутюр, Тома (1815-1879) - французский художник. У него учились Эдуард Мане и Пьер Пюви де Шаванн.

[175] Кабанель, Александр (1824-1889) - французский художник, профессор Школы изящных искусств, автор помпезных портретов.

[176] Мейссонье, Эрнест (1815-1891) - французский художник, автор исторических и жанровых картин.

[177] См.: Жизнь Сезанна, ч. IV, гл. 6.

если Гоген выставил всего четырнадцать полотен, две пастели и одну акварель, Шуфф развесил у Вольпини девятнадцать картин и одну пастель, а Бернар двадцать холстов и три акварели. Бернар выставил еще два полотна под псевдонимом Людовик Немо и еще две его работы были включены в альбом из тринадцати цинкографий, подготовленный Гогеном в начале года.

6 мая, когда президент Республики Сади Карно открыл Всемирную выставку, члены "группы импрессионистов и синтетистов" - так окрестили ее Гоген и его друзья, еще не были готовы принять посетителей. Они только начали развешивать картины на стенах кафе Вольпини, обитых нарядной гранатового цвета тканью. Окантовали они свои работы простым некрашеным деревянным багетом и привезли их в ручной тележке. Тележку тащил Гоген, а друзья подталкивали ее сзади.

Сотни тысяч посетителей наводняли теперь ежедневно Марсово Поле. Дворец изящных искусств тянулся вдоль Авеню де ла Бур-донне - его увенчивал громадный купол в пятьдесят пять метров высотой, покрытый глазурованной черепицей, белой, бирюзовой, желтой и золотой. Позади здания раскинулись сады, где у подножия Эйфелевой башни били сверкающие фонтаны. Покинув кафе Вольпини, где светловолосая русская княгиня дирижировала ансамблем скрипачек, Гоген долго ходил по залам дворца, временами роняя какое-нибудь саркастическое замечание по адресу представителей официального искусства. "Слова Курье не утратили справедливости, - говорил он. - То, что государство поощряет, чахнет, то, чему оно покровительствует, умирает".

Куда больше привлекали его экзотические павильоны. Ему не надоедало прогуливаться по колониальной части выставки, расположенной на Эспланаде инвалидов, наблюдать там жителей Тонкина, конголезцев, канаков... Рядом с макетом кмерского храма была построена яванская деревня. Шестьдесят туземцев, в том числе двадцать женщин, жили здесь в семи хижинах, сделанных из стволов бамбука и пальмовых листьев, связанных волокнами кокосового дерева. Юные баядерки в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет давали здесь танцевальные представления, которые произвели глубокое впечатление на художника. "У меня есть фотографии Камбоджи - это в точности их напоминает", - писал он Бернару. От одного из восточных павильонов откололся кусочек фриза с изображением танцовщицы. Он бережно подобрал его и увез с собой в Бретань. Цирковые представления Wild West Company[178] полковника Коди, знаменитого Буффало Билла, на площадке возле Порт де Терн вызывали у него не меньшее восхищение. Перед отъездом в Понт-Авен он купил себе огромную широкополую шляпу а ля Буффало.

А кафе Вольпини мало-помалу заполнялось картинами. Их посмотрели уже многие посетители. "Теперь я ваш", - объявил Гогену Поль Серюзье, которого, как видно, урок живописи, полученный прошлой осенью в Лесу Любви, еще не окончательно убедил. Гоген встретил этого союзника довольно насмешливо. Несомненно, куда более интересной была для него встреча с молодым критиком Альбером Орье, с которым его познакомил Бернар.

Сын нотариуса из Шатору, выросший в семье, корнями связанной с французской провинцией - его родители были родом из Пуату и Берришона, Орье был сложен, как атлет, отличался редким здоровьем и столь же редким честолюбием. Но это был честолюбец честный, прямодушный и благородный рослый, здоровый детина с душой идеалиста. Он всегда готов был поддержать тех, кто борется. Главный редактор маленького авангардистского издания "Модернист", которое начало выходить всего за полгода до описываемых нами событий, он 6 апреля предоставил его страницы Гогену и Бернару. Гоген стал вести для него "Заметки об искусстве на Всемирной выставке", довольно язвительные по тону[179].

---

[178] Труппа "Дикий Запад" (англ.). - Примеч. пер.

[179] Они появились в номерах от 4 и 13 июля 1889 года. Еще одну статью Гогена "Модернист" опубликовал 21 сентября.

Бернар мечтал о большем. Ему хотелось, чтобы "Модернист" посвятил специальный номер каталогу выставки Вольпини. Орье на это согласиться не мог. Но он обещал сделать рекламу выставке синтетистов, когда 10 июня она будет окончательно подготовлена.

Но Гоген, не дождавшись этой даты, уехал в Бретань. В первых числах июня, когда еще продолжались споры ("Выставляйте каждый, кто что хочет", заявил в конце концов Гоген Бернару), Гоген был уже в Понт-Авене. Вскоре к нему присоединился Серюзье.

Своим "Талисманом" Серюзье внес смятение и смуту в академию Жюлиана. Увлеченный философией, метафизикой, ориенталистикой, изучивший ради удовольствия арабский и древнееврейский языки, Серюзье был склонен ко всему, что было окружено тайной и открыто только посвященным. Под страшным секретом он показал "Талисман" своим друзьям. Предстояло родиться новому искусству - небольшая группа посвященных должна его защищать. Они будут его пророками, по древнееврейски - nebiim, братья Наби этого художественного Евангелия перед толпой филистеров. У группы Серюзье были повадки тайного общества.

"У Серюзье только и разговоров, что о его эволюции", - не без иронии писал Гоген Бернару. И в самом деле, между "Наби со сверкающей бородой" и "мэтром Гогеном" отношения налаживались с трудом. По-видимому, заговорщические ухватки, которые культивировали Наби, их жаргон, ритуал, который они для себя установили, казались Гогену нелепыми причудами и ребячеством. Он язвительно высмеивал Серюзье, а тот жаловался Морису Дени, "Наби прекрасных икон", что не находит в Гогене "художника своей мечты". Каждый жил в замкнутом мире своего воображения.

Понт-Авен стал другим. Приток художников мало-помалу изменил характер маленького городка: художники в бархатных костюмах теснились у стоек кафе, пересмеивались с местными девушками. Служанки кафе украшали свои прически лентами. Хозяин табачной лавки водрузил над ней вывеску в виде палитры с надписью Artist's material (товары для художников)[180]. Понт-Авен, жаловался Гоген, "полон чужих отвратительных людей". Он уединялся в мастерской в Лезавене, но все равно был недоволен. Он предложил Серюзье перебраться южнее, в нетронутую цивилизацией уединенную деревню Ле Пульдю. Гоген уже писал в этой деревне и теперь хотел там обосноваться. Там ему будет спокойно.

За то время, что Гоген жил в Понт-Авене, он свел дружбу с капитаном таможенной службы Жакобом. Главной задачей Жакоба было бороться с контрабандной торговлей солью между Понт-Авеном и Кемперле. Небольшое таможенное суденышко спускалось по течению Авена и через Росра, Бриньо и Дуелан шло вдоль берега до самого Ле Пульдю, потом по Лайте, широкому рукаву реки, служившей границей между Финистером и Морбианом, поднималось до Кемперле. Однажды июньским днем Гоген и Серюзье отправились в путь с капитаном Жакобом, который высадил их в порту в нижнем Ле Пульдю.

Оба художника устроились на пансион в верхней части города -в скромной гостинице Десте, расположенной на перекрестке дорог. Одна из них начиналась в нижней части города, две другие вели в Клоар-Карноэ, четвертая спускалась к дюнам и пляжам Гран-Сабль.

Деревня Ле Пульдю с ее разбросанными фермами и редкими рыбацкими хижинами насчитывала не больше ста пятидесяти жителей. Это были суровые люди, хранившие старинные обычаи я всем своим обликом резко отличавшиеся от жителей глубинной части Бретани. Места были на редкость дикие. Тут уж нельзя было встретить художника в бархатном костюме. Кроме крестьян и рыбаков здесь попадались только ломовики - приезжая грузить песком свои повозки, они поднимались на высокие дюны, которыми бугрилось побережье. С вершины прибрежных скал, где низкорослые коровы щипали низкую траву, открывался вид на бескрайние просторы океана до острова Груа. Здесь слышен был только шум моря, непрерывный шепот пенистых, прозрачно-зеленых вод,

---

180 Из письма Синьяка к Максимилиану Люсу.

набегавших на пустынный берег.

Гоген работал не так уж много. На этом берегу, о который бились могучие атлантические волны, он тешил себя неотвязной мечтой. Ле Пульдю и удовлетворяло и укрепляло его тягу к примитивному существованию, которая стала еще острее, после того как он побывал в колониальных павильонах Всемирной выставки. Никогда еще он так не ощущал тайну, которой дышала армориканская земля, как в это лето 1889 года. Пантеистические восторги Ван Гога, против которых он так возражал, тем не менее повлияли на него. Бродя среди дюн, поросших синим чертополохом, или в маленьких бухтах, где одетые в лохмотья девочки, по грудь в воде, собирали морские водоросли, он прислушивался к голосам моря и земли, ища "чего-то большего". "Я это чувствую, но еще не могу выразить".

На стене их комнаты в гостинице Серюзье написал следующие слова Вагнера: "Я верую в Страшный суд, который осудит на страшные муки всех тех, кто в этом мире осмелился торговать высоким и непорочным искусством, всех тех, кто запятнал и унизил его низменностью своих чувств, подлой жаждой материальных благ. Но я верую, что он зато прославит верных учеников великого искусства, и окутанные небесным покровом лучей, ароматов и мелодичных аккордов, они навеки припадут к божественному источнику вселенской гармонии".

Эти слова стали кредо Гогена. Слепой искатель подземных родников, он улавливал трепетный отзвук громадных скрытых от глаз пластов человеческой души. Творец в его представлении возлагал на себя исполнение высших функций, искусство - это бог, художник - его избранник, монах в миру, отмеченный судьбой жрец.

"Я раскаиваюсь в том, что писал тебе о Гогене, - признавался Серюзье Морису Дени. - В нем нет ничего от шарлатана, по крайней мере, по отношению к тем, о ком он знает, что они способны его понять". Теперь между двумя художниками возникло полное взаимопонимание. На беду их совместная жизнь длилась недолго, всего недели три: Серюзье пришлось уехать - отбывать военную службу.

Гоген вернулся в Понт-Авен. Но через некоторое время снова приехал в Ле Пульдю с другим художником, голландцем Якобом Мейером де Хааном[181], который прошедшей зимой некоторое время жил у Тео Ван Гога. Маленький, горбатый, с головой, ушедшей в плечи, весь какой-то сплющенный, де Хаан составлял странный контраст с Гогеном. Точно пытаясь еще подчеркнуть свою необычную внешность, он носил на голове красную феску зуава. Были у де Хаана и другие странности. Все крепкое, здоровое, крупное притягивало этого калеку с болезненным лицом. Он носил с собой тяжеленную Библию и писал необычайно длинными кистями натюрморты с преувеличенно крупными предметами.

Де Хаан происходил из еврейской семьи из Амстердама. Вместе с тремя младшими братьями он долгое время владел в этом городе бисквитной фабрикой. Все четверо были страстными любителями музыки. Под управлением Мейера де Хаана они составили квартет, слава о котором быстро распространилась по Нидерландам. Они стяжали такую известность, что даже были приглашены дать концерт для королевы и ее двора. Концерт доставил им величайшую радость, но положил конец их карьере. Сентиментальные молодые люди настолько высоко оценили оказанную им честь, что поклялись больше ни для кого не играть.

Де Хаан занимался также и живописью. И от этого искусства не отказался. Вначале он писал жанровые картины в духе Тенирса и портреты. Но однажды на какой-то выставке он открыл для себя импрессионистов. Он был потрясен их искусством, решил учиться у новаторов и полностью посвятить себя живописи. Он уступил все права на фабрику своим братьям, которые с тех пор выплачивали ему ежемесячную ренту в триста франков.

Руководя де Хааном, Гоген продолжал свои собственные поиски. "Надеюсь, этой зимой вы получите от меня почти что нового Гогена, - писал он Бернару. - Говорю "почти", потому

---

181 Мейер де Хаан (1852-1895) - голландский художник, работал в Понт-Авене; считается учеником Гогена.

что все остается при мне, и я вовсе не намерен изобретать что-то новое. Я ищу другого - еще не открытой частицы самого себя". И в самом деле, все оставалось при нем. Поиски Гогена только на поверхностный взгляд казались извилистыми. Он всегда шел к своим собственным истокам. Гоген подолгу простаивал в церквах перед распятиями, на которых деревянный Христос раскидывал худые негнущиеся руки, и никто не понимал так глубоко, как он, этот неверующий, священный порыв, вдохновлявший простые и суровые души древних скульпторов. Здесь он приобщался к изначальному. "Варварство... омолаживает меня". Любой ценой ему надо вырваться из Франции, из Европы, уехать в девственные края. Зуав Милье рассказывал ему о Тонкине. До зимы Гоген поживет в Бретани. "И если к этому времени я смогу получить какое-нибудь место в Тонкине, - писал он Бернару, - поеду изучать аннамитов. Неуемная жажда неизвестного толкает меня на сумасбродные поступки".

К середине августа Гоген остался без гроша в кармане. Он вернулся в Понт-Авен, и тут одно за другим написал несколько полотен, в которых мощно прозвучали тенденции, крепнувшие в его творчестве. На одной из этих картин - "Распятие"[182] - низонская Пьета высится среди дюн Ле Пульдю, точно языческий идол. На другой картине Гоген изобразил "Желтого Христа"[183]. Этого Христа он видел в маленькой часовне возле фермы Тремало, на холме, возвышающимся над Понт-Авеном. Деревянный сводчатый потолок этой сельской часовенки был синего цвета, стены - выкрашены голубой краской. В солнечные дни Христос казался желтым. Это сочетание цветов, должно быть, поразило Гогена, как и выразительная неуклюжесть, щемящая наивность скульптуры. Третья картина, портрет бретонки - "Прекрасная Анжела", гораздо ближе этому мистическому направлению, чем кажется на первый взгляд[184].

Этим портретом Гоген хотел выразить свою признательность молодой чете Сатр, за их доброжелательство, за кредит, который мать Анжелы Сатр предоставила ему в своем маленьком кафе рядом с пансионом Глоанек. Анжеле Сатр, вышедшей замуж восемнадцати лет, теперь было двадцать один год. Ее считали самой красивой женщиной в Понт-Авене. Гоген решил подарить ей свою картину.

Но если прекрасная Анжела воображала, что художник постарается, передав на портрете сходство, изобразить хорошенькую женщину, она ошиблась. Гоген написал Анжелу в бретонском праздничном наряде, во всей ее монументальности и тяжеловесной невозмутимости. Есть нечто извечное в этом образе женщины без возраста, полукругом отделенной от декоративного заднего плана, на котором неожиданно возникает перуанская статуэтка - "Дух умерших бодрствует". Можно себе представить, какие вопли поднялись в семействе Сатр, когда художник открыл перед ним свое полотно! Пока Анжела позировала, Гоген категорически отказывался показать незаконченную работу, отговариваясь тем, что хочет сделать сюрприз. Но среди художников, врагов Гогена, поползли недоброжелательные слухи. Муж Анжелы, Фредерик, пришел в ярость: Гоген хотел посмеяться над его женой, да и над самим Фредериком тоже, поместив рядом с изуродованной Анжелой гримасничающую статуэтку (Фредерик был мал ростом и некрасив). Растерянный Гоген пытался защищаться. "Ты ошибаешься, Фредерик. Я вложил в эту картину все, что мог". Но Фредерик и прекрасная Анжела были так же непоколебимы, как низонский кюре. Пришлось Гогену оставить картину себе.

Неутомимый Гоген не ограничивался живописью. "Я сделал также большое скульптурное панно, - писал он Бернару... - Это самое лучшее и самое странное из моих скульптурных произведений. Гоген в образе чудовища берет за руку отбивающуюся

---

182 В настоящее время находится в Королевском музее изящных искусств в Брюсселе.

183 В настоящее время находится в Галерее искусств Олбрайта в Буффало (США).

184 В настоящее время находится в Лувре.

женщину, говоря ей "Любите и будете счастливы" [185] . Лисица, индейский символ порочности, и в промежутках - маленькие фигурки". Перуанские статуэтки, индейские символы: трудно было бы обозначить более четкими вехами путь, по которому следовал Гоген. Панно "Любите..." вводило в его творчество стиль, уже отнюдь не европейский.

Плодовитость Гогена, его неутомимая активность и вера в свои творческие силы вызывали зависть Бернара. "Счастливчик Гоген", - писал он Шуффу. Бернар уехал из Парижа в Бретань, но не в Понт-Авен, а в Сен-Бриак, потому что отец, который всеми силами противился его художественным склонностям, запретил молодому человеку ехать к Гогену. А Бернар переживал в эту пору глубокое смятение. Его удручало, что выставка в кафе Вольпини почти не вызвала отклика. Ни одна картина не была продана, отзывов в печати очень мало. О выставке пока написали только Феликс Фенеон и Альбер Орье[186]. Но главная беда была в другом. "Не знаю, что со мной, - признавался он Гогену, - но, глядя на мои нелепые работы, я каждую минуту терзаюсь подозрениями, что я совершенно бездарен. Скажу вам по правде, то, что я делаю, кажется мне какими-то первоначальными набросками...". Самонадеянность чванливого мальчишки, его самоуверенность, самодовольство все вдруг исчезло, уступив место мучительной тоске.

"Я мучаюсь тревогой не о своей жизни, а о своем предполагаемом таланте... Все художники, кроме вас, меня отвергли, одни по злобе, другие, может быть, по рассудку... В общем, мои неловкие опыты, может быть, были причиной вашей веры в меня, но теперь она должна была исчезнуть, - жалобно заканчивал Бернар. - Спасибо за дружбу, которую вы мне всегда выказывали. Может, это моя последняя надежда".

Гоген лучше чем кто бы то ни было знал слабости молодого художника все, что было в его личности поверхностного, неустойчивого и чем объяснялись смены его настроений. Но, быть может, Бернар теперь переживал просто болезнь роста, ощущал в себе недостаток зрелости? Бернар хорошо знал свое ремесло, тщательно изучал творчество великих мастеров. Может быть, даже слишком тщательно! Он слишком внимательно смотрел музейные работы и недостаточно вглядывался в самого себя. А техника - это еще не все. И Гоген в письме утешал Бернара:

"Слезы ребенка тоже кое-что значат, и, однако, это неразумно, - писал он... - Вы молоды, и я считаю, что вам чего-то недостает, но эта пустота быстро заполнится с возрастом... Были, конечно, старые мастера, которые смолоду утверждались в своих верованиях, но, в отличие от нас, их верований ничто не смущало - ни трудности существования, ни картины других художников. Вы слишком много видели в слишком короткий срок. Отдохните от смотрения - и подольше".

Сообщив Бернару, что в конце сентября собирается вернуться в Ле Пульдю и что Лаваль и Море, вероятно, поселятся там с ним и с де Хааном, он приглашал Бернара присоединиться к их маленькой колонии.

У Мейера де Хаана в Ле Пульдю появилась теперь сердечная привязанность. Он влюбился в рослую брюнетку, крепкую и энергичную, в расцвете тридцатилетней деревенской красоты, Мари Анри, по прозвищу Мари Кукла. Она не отвергла де Хаана. Неподалеку от моря, посреди поля, Мари содержала небольшой трактир, где было несколько комнат - это была пляжная гостиница-лавчонка. 2 октября Гоген и де Хаан поселились у Мари. Голландец снял вдобавок на третьем этаже ближайшего дома, который стоял на самом берегу океана, громадное помещение - пятнадцать метров на двенадцать, которое должно было служить им мастерской. Как видно, Мари Анри мало беспокоили людские толки. В

---

185 В надписи на этой деревянной скульптуре Гоген употребляет множественное число (в настоящее время находится в Музее изящных искусств в Бостоне).

186 Несколько позже, в ноябре, в журнале "Ар э критик" за подписью Жюля Антуана появился довольно недоброжелательный отзыв.

марте, за год до этого, она родила девочку, отец которой остался неизвестен. Не боялась она и огласки своей связи с де Хааном: голландец открыто жил в ее комнате на втором этаже. Гоген здесь же занимал маленькую комнатушку. Иногда ночами дверь его комнаты приоткрывалась - он навещал служанку Мари Куклы.

Оба художника - на некоторое время к ним присоединился и Серюзье завладели столовой на первом этаже, которая дверью отделялась от буфетной[187]: они щедро разукрасили и расписали ее, покрыв росписью даже окна и потолок и повсюду развесив картины, рисунки и литографии. Вся эта декорация была выполнена полушутя, полусерьезно. На потолке Гоген изобразил "Женщину с лебедем", сделав надпись: "Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает", и связку луковиц с таким объявлением: "Люблю жареный лук". Натюрморт, написанный в манере Сёра, носил название "Рипипуэн" - с намеком на одноименный персонаж, выдуманный Гогеном, Бернаром и их друзьями в насмешку над пуантилизмом[188]. Гоген написал почти карикатурный портрет де Хаана: выпуклый лоб, шаровидные глаза, нос картошкой и автопортрет стилизованный шарж с ореолом над головой и подчеркнуто резким профилем[189].

Воспоминанием о картине "Здравствуйте, господин Курбе", которую он видел с Ван Гогом в музее Монпелье, навеяна картина "Здравствуйте, господин Гоген". В росписях принял участие и Мейер де Хаан - он написал портрет "Мари Анри, кормящей грудью свою дочь" и большое панно - "Трепальщицы льна". Под панно лентой фриза тянулись упомянутые нами выше слова Вагнера.

Осенью Ле Пульдю покинули даже те немногие приезжие, которые здесь жили. Над деревней нависли низкие облака, море пенилось барашками и завывало в маленьких бухтах. Художники остались одни - наедине с собой и с природой. Гостиница Мари Куклы стала тем местом отшельнического уединения художников, о котором мечтал Ван Гог. Устав здесь был почти монастырский. Художники жили по строгому расписанию: вставали на заре, не позже семи уходили из дому, возвращались в половине двенадцатого, в половине второго или в два снова уходили, возвращались в пять, ложились в девять. Исключая те дни, когда непогода удерживала их в мастерской, они шли на песчаный берег или в поля. "Пошли писать Сезанна", - говорил Гоген. Вечером при свете лампы они спорили, рисовали или отдыхали, играя в шашки или в лото. Это однообразное существование временами нарушалось только встречами с Море, Журданом или Шамайаром, которые приходили к ним в гости. Лаваль уехал в Париж. Вялость, апатия Лаваля огорчали Гогена. "На этой земле надо исполнять свой долг" - говаривал он[190].

В широкополом зеленоватом плаще и в деревянных башмаках, украшенных золотыми, лазурными и пурпурными арабесками, Гоген и в самом деле был похож на "отца настоятеля"

---

187 Однажды некий молодой человек остановился в гостинице Мари Куклы и увидел там художников - "этих господ": "Само собой я попросил, чтобы меня посадили за их стол, если это им не помешает. Впрочем, они дали мне почувствовать, что я их отнюдь не стесняю, то есть сами не стеснялись совершенно. Все трое были босы, одеты с великолепной небрежностью и говорили во весь голос. А я, все время пока продолжался обед, трепетал, глотая каждое их слово, страстно мечтая заговорить с ними, проявить себя, узнать их и сказать высокому светлоглазому человеку, что мотив, который он распевает во все горло, а остальные хором подтягивают, это вовсе не Массне, как он думает, а Бизе... Одного из них я позже встретил у Малларме - это был Гоген... Второй был Серюзье. Кто был третий, я так и не узнал..." Молодого человека звали Андре Жид.

188 Имя Рипипуэн по-французски звучит как слегка искаженная фраза: "Смеюсь над мелкими точками". - Примеч. пер.

189 Этот автопортрет в настоящее время находится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне.

190 Ван Гог писал о Гогене: "Этот наш друг любит дать почувствовать, что хорошая картина равноценна хорошему поступку. Он не то что бы прямо это говорит, но в общем трудно, имея с ним дело, не думать о какой-то моральной ответственности".

(так называл его Ван Гог) этой общины. Де Хаан и Серюзье почтительно слушали его, запоминая афоризмы, в которые он подчас облекал свои мысли: "Линия это и есть цвет, потому что она создается только контуром пятен", или "Квадратный сантиметр зеленого посреди зеленого сукна биллиарда зеленее, чем изолированный в пространстве", или "Уродливое может быть прекрасным, миловидное - никогда".

У Гогена был свой особый метод работы. Он часами созерцал какой-нибудь мотив, возвращался к нему снова и снова, но в блокнот заносил только несколько линий. К работе над картиной он приступал лишь тогда, когда "знал ее наизусть". "Писать надо за один сеанс, - утверждал он. - Иначе ничего не выйдет. Лучше писать картину заново, чем исправлять". Товарищи всегда, как зачарованные, следили за тем, как работает Гоген. Он писал медленно, без поправок, накладывая мазки "мягкими, гибкими, вкрадчивыми движениями". Спокойно и смело он создавал на холсте звучные аккорды. "Так как сам цвет загадочным образом воздействует на наши чувства, то, по логике вещей, мы и пользуемся им загадочно", - утверждал он. Суровое искусство Гогена становилось более мощным, мазок - трепетным, краски более звучными. Художник вступил на стезю великих свершений.

К росписям в столовой трактира он добавил еще одну. На дверной панели написал "Карибскую женщину с подсолнухами", вдохновленную осколком фриза, который он подобрал на Всемирной выставке. Тоска по далеким странам продолжала преследовать Гогена. В письме к товарищу министра по делам колоний он ходатайствовал о том, чтобы ему предоставили место в Тонкине, где, как он забавно выразился, "я полагаю, что смогу послужить правительству верно и умно, как подобает честному республиканцу". Но ему не торопились дать ответ. "Люди, которых посылают в колонии, - негодовал Гоген, - это, как правило, те, кто наделал глупостей, обчистил кассу и т. д. Но меня, художника-импрессиониста, то есть бунтаря, послать туда нельзя".

Конец года вообще принес ему одни только горькие разочарования: Метте, не писавшая ему несколько месяцев, вдруг сообщила, что их сын Пола упал с четвертого этажа и чудом не погиб. Гоген хотел бы в связи с этим послать Метте денег, но у него самого были одни долги. Жена и ее родные упрекали его в том, что он неудачник.

"Что вы хотите - что я могу? Разве я виноват? Я первый от этого страдаю. Поверь, что если бы понимающие люди сказали мне, что я бездарен, что я лентяй, я уже давно бросил бы это дело. Разве можно сказать, что Милле не исполнил своего долга и обрек детей на жалкое будущее?"

Метте сообщила мужу, что дала на выставку, организованную в Копенгагене Обществом друзей искусства, картины Гогена, которые находились у нее. "Можно было бы посоветоваться со мной, - отвечал Гоген, недовольный тем, что будут выставлены его "старые работы". Но он не настаивал - кое-кто из датских критиков довольно благожелательно отозвался о его произведениях: Гоген считал, что это "показательный поворот"[191].

Зато из Парижа приходили самые неутешительные новости. Гоген никогда еще не писал таких значительных полотен, однако его последние произведения, посланные им Тео, кроме "Прекрасной Анжелы", вызвали резкую критику посетителей галереи и даже Дега. Сам Тео тоже не одобрял этих работ.

Все эти критические высказывания, эта неожиданная "буря" горько удивляли Гогена. Он совершенно пал духом. Если те, кто до сих пор поддерживал его, перестали его понимать и ободрять, зачем заниматься живописью? Может быть, надо признать себя побежденным? В смятении он почти перестал работать. "Подставляя свое старое тело северному ветру", он бродил по берегу бурного моря, думая свою мрачную думу. "Господи, быть может, они правы, а я нет". Но все же!.. "Пусть они внимательно посмотрят на мои последние картины, и если их сердце все-таки способно чувствовать, они увидят заложенное в них смиренное

191 Эта выставка продолжалась с 31 октября по 11 ноября.

страдание. Так неужели же вопль души человеческой ничего не значит?"

"Я машинально сделал несколько этюдов, - писал он Бернару, - если можно назвать этюдами удары кисти в согласии с тем, что видит глаз. Но душа отсутствует и печально глядит на зияющую перед ней бездну. Бездну, в которой я вижу отчаявшуюся семью, лишенную отцовской помощи. И никого, кому я мог бы излить свое горе. С января я продал картин всего на девятьсот двадцать пять франков. В сорок два года жить на это, покупать краски и пр. тут и самому закаленному человеку станет не до работы... Я понимаю, что так не просуществуешь даже впроголодь, и не знаю, на что решиться. Попытаюсь получить какое-нибудь место в Тонкине. Может быть, там я смогу поработать спокойно, так, как мне хочется".

Сменить место, бежать. Гоген никогда не знал другого средства от своих бед, кроме как уехать в химерическую страну "покоя". Удивительное постоянство людей, которые с первых до последних дней жизни действуют совершенно одинаково. Слепой автоматизм, родственный инстинкту. Зрелый человек, ожесточенный испытаниями, обдумывающий свои неудачи на берегу Ле Пульдю, был похож на девятилетнего мальчугана, который отправился в путь по дорогам Орлеана с песком в привязанном к палке узелке. Хотя сам Гоген был уверен в своей практичности, он так же мало был способен сделать карьеру, как и другой "отверженный" - Ван Гог, который в эту пору боролся с безумием в убежище Сен-Реми в Провансе. Делать карьеру - означает пускаться на хитрости, идти на компромиссы, стараться утвердить себя, проявлять ловкость, расчетливость шахматного игрока, передвигающего свои фигуры. Как они оба были далеки от этого, как был далек от этого Гоген! Он мечтал уехать в Тонкий, в Перу, куда угодно! Лишь бы уехать. Тяжелыми шагами расхаживал он по берегу, на который обрушивались валы. Ревел ветер, бушевало море. Уехать! Он был игралищем своих фантазмов - фантазмов, которые порождали его творения. Он писал, он грезил - живопись тоже была для него грезой. "Нет, так просто они меня не одолеют, - писал Гоген Бернару... - Нынешний запад прогнил, и каждый Геракл, подобно Антею, может почерпнуть новые силы, прикоснувшись к тамошней земле. А через два года оттуда вернешься окрепшим".

Винсент в убежище Сен-Реми часто вспоминал о Гогене, с которым продолжал переписываться. Винсент горько сожалел о том, что их совместное житье прервалось так трагически. Его тяготило окружение душевнобольных, среди которых он очутился. Он мечтал выйти из больницы, переехать куда-нибудь севернее. Почему бы им с Гогеном не попытаться снова "завести общее хозяйство"? Почему бы Винсенту не поехать в Бретань? В начале 1890 года он задал этот вопрос своему другу. Гоген пришел в ужас. "Никогда! Винсент сумасшедший. Он покушался на мою жизнь". Но потом Гоген стал думать, прикидывать. А вдруг ему не удастся получить место в Тонкине? Может, тогда, приняв все необходимые меры предосторожности, следует подумать о том, чтобы где-нибудь в большом городе, а не в Ле Пульдю, где нет врачей, устроить мастерскую вместе с Ван Гогом и де Хааном?

По совету де Хаана Гоген предложил Винсенту Антверпен. В этом городе все благоприятные условия: жизнь такая же дешевая, как в провинции, замечательные музеи, много любителей живописи, а значит, и возможных покупателей. К тому же с той поры, как его произведения вызвали некоторый интерес в Дании, Гоген был убежден, что успех придет из-за границы. Стало быть, практичному человеку следует обосноваться за пределами Франции. "Будь у меня хоть немного денег, - писал он в это самое время Шуффу, - я бы снова начал борьбу в Копенгагене". Но Копенгаген и Антверпен он приберегал только на худой конец. Он не мог забыть о Тонкине.

Когда Гоген еще только приехал в Ле Пульдю, у Мари Анри жила некая графиня де Нималь. Она пришла в восторг от произведений Гогена и, похваляясь своими большими связями в политических кругах, своей дружбой с министром финансов Рувье, заверила Гогена, что добьется, чтобы государство купило у него его скульптурное панно "Любите..." и предоставило ему хорошее место в Тонкине. И Гоген, поверив этой болтовне, не замедлил

пообещать жене триста франков от "вероятной" продажи своей скульптуры. А графиня с той поры исчезла...

"Бывают минуты, когда я думаю, не лучше ли размозжить себе голову: и правда, есть от чего прийти в отчаяние... Думаете, голландец содержит меня здесь? Он предложил мне переехать из Понт-Авена в Ле Пульдю, чтобы учить его импрессионизму, и так как я не пользуюсь таким кредитом, как он, он оплачивает за меня пансион, ожидая пока я что-нибудь продам и верну ему долг... Я не курю, а это для меня большое лишение, я сам тайком стираю себе кое-что из белья, словом, кроме самой простой пищи, я лишен всего. Как быть? А никак - просто ждать, подобно крысе на бочке посреди воды... Если бы мне удалось добиться Тонкина, я за два года кое-как встал бы на ноги, чтобы заново начать борьбу, а иначе... не решаюсь об этом думать".

Гоген терял терпение. Надо было во что бы то ни стало вернуться в Париж, чтоб "до конца бороться за тонкинский план". Шуффенекер снова оплатил его дорожные расходы, и 8 февраля 1890 года художник появился в столице.

IV
И ЗОЛОТО ЕГО ТЕЛА

Это правда: я мечтал об Эдеме.
Рембо[192]*. Сезон в аду*

Шуффенекеру порой нужен был большой запас терпения, чтобы переносить Гогена.

Шуфф переехал в новую квартиру. Он поселился теперь в отдаленной части района Плезанс, возле старых укреплений, в квартале, пока еще мало заселенном, где серые пустыри тянулись среди немногочисленных строящихся зданий. Шуфф занимал маленький кирпичный трехэтажный дом с каменным цокольным этажом на улице Альфреда-Дюран-Клея, 12[193], у самой линии Западной железной дороги. Гогену он отдал кабинет на третьем этаже, рядом с большой комнатой, служившей мастерской.

Гоген вел себя в мастерской как хозяин. Такта ему не хватало. Ни то, что он всем был обязан Шуффу, ни восторженное отношение к нему друга ничто не могло заставить его щадить Шуффенекера. Замкнутый в своем собственном мире, да и вообще слишком прямой, чтобы разыгрывать комедию вежливости, он не скрывал от Шуффа, как мало ценит его живопись. Когда он не высказывал этого напрямик, было еще хуже - его молчание, подкрепленное долгими ироническими взглядами, было оскорбительнее слов.

Гогену и в голову не приходило, что его хозяина обижает такое поведение. Он принадлежал к числу людей, настолько неспособных отвлечься от самих себя и собственных забот, что они замечают других, только когда те проявляют к ним неприязнь. Щедр" одаривая Шуффа единственным, что у него было, то есть своими произведениями - живописью и керамикой, - Гоген был убежден, что ведет себя с ним самым дружеским образом, хотя на самом деле зачастую держался откровенно оскорбительно.

Шуфф любил с важным и ученым видом бесконечно рассуждать о живописи перед своими друзьями, молодыми художниками. Гоген садился в сторонке, в углу мастерской, и мрачно курил, покачивая головой и бормоча: "Вот болван!"

Однажды Тео Ван Гог пришел посмотреть последние работы Гогена - Гоген заперся с ним в мастерской, захлопнув дверь перед носом Шуффа.

Не удивительно, что, несмотря на всю свою кротость, добряк Шуфф часто не мог сдержать раздражения! Гоген пытался уговорить его вместе поехать в дальние страны. В

---

192 Рембо, Артюр (1854-1891) - французский поэт.

193 Сейчас это дом № 14.

самом деле, Шуфф недавно выгодно ликвидировал мастерскую по производству накладного золота, которую основал около десяти лет назад. Гоген предлагал ему часть вырученной им суммы в семьдесят пять тысяч франков вложить в будущую мастерскую в тропиках. Но, несмотря на то, что Шуфф восхищался Гогеном и завидовал "гению", который подчинял его своей власти и заставлял все сносить, он ни на минуту не увлекся экзотическими мечтами друга. Свой капитал он решил вложить в строительство шестиэтажного дома на улице Патюрль, неподалеку от своего жилья. Гоген качал головой. Дурацкий план, до нелепости буржуазный: "Будем надеяться, что вы в нем не раскаетесь!"

Настроение у Гогена было самое тяжелое. Его хлопоты в Министерстве колоний успехом не увенчались. Поездка в Тонкин срывалась. Надежды рушились. В сорок два года он чувствовал себя стариком.

"Все средства исчерпаны", - писал он. "Бесполезно продолжать борьбу без единого козыря на руках". Чтобы заработать немного денег, он согласился выправлять работы учеников в одной из мастерских Монпарнаса - академии Витти, но вскоре отказался от этого заработка, настолько его раздражало то, чему учили в академии. Париж, Европа вызывали у него отвращение. Набросив на плечи свой широкополый плащ, он бродил по улицам в мрачной меланхолии. В марте в Салоне независимых на него произвели огромное впечатление присланные на выставку Тео Ван Гогом десять картин его брата, о котором еще в январе Орье опубликовал большую статью в первом номере нового журнала "Меркюр де Франс". По мнению Гогена, картины Винсента были "гвоздем выставки". Раза два он заходил на бульваре Монпарнас в мастерскую Поля Рансона, "храм братьев Наби", где они собирались по субботам. Но выставки и встречи лишь ненадолго отвлекали Гогена от навязчивой мысли - уехать. Он не работал или работал совсем мало. На что ему решиться? Он уже думал было вернуться в Бретань, когда в мае "на горизонте забрезжил свет, развеявший сгустившиеся тучи".

Сослуживец Шуффа по лицею Мишле, Луи Руа, за год до этого выставлявшийся у Вольпини, познакомил Гогена с неким Шарлопеном, врачом и одновременно изобретателем. В эту пору Шарлопен как раз вел переговоры о продаже одного из своих патентов и рассчитывал получить через месяц, самое большее через полтора, крупную сумму. Шарлопен пообещал Гогену, что поможет ему уехать. Как только он получит деньги, Шарлопен купит у художника на пять тысяч франков картин. Убеждая всех, что поверит в эту сделку не раньше, чем она состоится, Гоген тем не менее загорелся. Он составил вместе с изобретателем список произведений, которые он тому уступит - всего тридцать восемь картин и пять керамических работ, - и принялся строить планы.

Сначала он поедет в Ле Пульдю, чтобы "набраться сил перед дорогой". Шарлопен вручит ему пять тысяч франков не позднее 15 июля. Гогену нужно время на сборы, но к 15 августа он сможет уехать. В Тонкин? Нет. По зрелом размышлении, он решил основать Тропическую мастерскую на Мадагаскаре, о котором ему рассказывала жена Одилона Редона, уроженка острова Бурбон. "Пяти тысяч франков, - заверила его мадам Редон, - вам хватит там на тридцать лет". Оставалось найти спутника. "Дурень" Шуфф упорно держался за свой проект с недвижимостью. Серюзье вообще не хотел уезжать из Франции. Брать с собой Лаваля Гоген не решался. В первых числах июня Гоген получил письмо от Бернара, который, собираясь жениться, уже несколько месяцев работал в Лилле художником по тканям. Бернар жаловался на свое положение, на неуверенность в будущем. Гоген тотчас написал ему в ответ:

"Я бесповоротно решил ехать на Мадагаскар. Куплю в деревне домик с клочком земли, сам буду ее обрабатывать и вести простой образ жизни. Натурщица и все, что необходимо для работы... Кто захочет, может ко мне присоединиться. Я навел справки, все совпадает... Для того, кто согласен существовать, как местные жители, жизнь не стоит ни гроша. Пропитаться можно одной охотой и т. д. Следовательно, если мое дело выгорит, я устроюсь там так, как я Вам говорю, и буду жить на свободе и заниматься искусством. Не хочу давать Вам советов, но от всей души обращаюсь к человеку, который страдает, к художнику,

который не может заниматься своим искусством здесь в Европе. Если после всех усилий Вы своего не добьетесь и Вам удастся освободиться от военной службы, приезжайте ко мне. Вас ждет обеспеченное существование без денег в мире, лучшем, чем здешний. Думаю, что, похлопотавши, можно добиться бесплатного проезда. Как говорится, самая прекрасная девушка может дать только то, что у нее есть. Я в том же положении, что и Вы. И если Вы несчастны, я не могу предложить Вам другого утешения, кроме вышесказанного. То есть, половину моего пальто. Впрочем, это, пожалуй, и есть самый христианский поступок..."

Тяжелые сомнения в самом себе и в "своем предполагаемом таланте", которыми Бернар делился с Гогеном минувшим летом, были лишь одним из проявлений кризиса, который переживал молодой человек. Влюбившись в подругу детства, Шарлотту Брисс, он пытался создать себе положение, но ремесло рисовальщика по тканям было для него "невыносимо", и смятение его росло. "Жизнь моя разбита, погублена", - писал он Шуффу. С отчаяния он обратился к своей детской вере. Бернар сам писал, что "упивается запахом ладана, звуками органа, молитвами, старинными витражами, стенными коврами на священные сюжеты". Это была религиозность с надрывом, с приступами "сатанизма", порой принимавшая совершенно сумбурный характер. Бернар не зря тревожился о своей будущности художника. Быть может, именно этот страх определял все его поведение. Ван Гог, увидевший фотографии последних работ Бернара на религиозные темы, еще осенью писал ему из убежища Сен-Реми в Провансе, остерегая художника. Он напоминал Бернару его "Бретонок на лугу". "И ты променял это, - писал Винсент, - назвать ли вещи своими именами? - на искусственность, надуманность... Браню тебя на чем свет стоит, разношу в пух и прах и при этом заклинаю настоящим письмом снова хоть на каплю стать самим собой". Но Ван Гог, которому, кстати сказать, Бернар с тех пор, по-видимому, больше никогда не писал, понапрасну тратил свое красноречие. Картины, над которыми исступленно бился молодой художник, становились все суше и манернее. Жизнь уходила из его живописи. Как было Бернару не метаться?

Получив письмо Гогена, Бернар в буквальном смысле слова обезумел от радости. Оно сулило ему избавление. Он вновь обретет творческие силы. С первой же почтой он ответил Гогену, что поедет за ним, а потом к ним присоединится и его любимая. Но это отнюдь не обрадовало Гогена. Если Бернару угодно взять на Мадагаскар европейскую женщину - пожалуйста, но он, Гоген, умывает руки. "В общем, оставим этот разговор. Женщина в тех краях, так сказать, необходима... Но, поверьте, у мальгашских женщин такое же сердце, как у француженок, только в нем куда меньше корысти".

В середине июня, в последний раз повидавшись с Шарлопеном, Гоген вернулся в Ле Пульдю, где его ждал де Хаан. Де Хаан тоже изъявил желание ехать с Гогеном. Он готов был внести пять тысяч франков, что составило бы, по мнению Гогена, "совсем недурную основу". И еще один человек соглашался ехать на Мадагаскар, хотя и не очень верил в успех сделки с Шарлопеном. Это был Ван Гог. В мае Винсент вышел из лечебницы Сен-Реми и переехал в Овер-сюр-Уаз. Проездом через Париж он остановился у Тео, но ненадолго. "Парижская суета произвела на меня тяжелое впечатление, я счел, что для моей головы благоразумнее удрать в деревню, а не то я бы мигом примчался к Вам", - писал он Гогену. Вообще Винсент был бы очень рад повидать Гогена. Он хотел погостить месяц у него в Бретани. "Мы будем целеустремленно пытаться создать что-то значительное, чего, может быть, уже достигли бы, если бы в свое время могли продолжать начатое", - писал он. Но Гоген уклонился от этого предложения. Не только одного месяца, но и одного дня не решался он прожить в глухой деревне вдали от всякой медицинской помощи наедине с человеком, отрезавшим себе ухо.

Жизнь в Ле Пульдю потекла своим чередом, почти так же, как за год до этого, с той лишь разницей, что художники стали теперь часто наезжать из Понт-Авена в Ле Пульдю и обратно. В самом деле, многие друзья охотно навещали Гогена в его уединении, оставаясь на несколько дней, а то и недель. Приехал Серюзье. Море поселился в трактире в нижнем Ле Пульдю... Художники будоражили жизнь деревушки. Некоторые из них устраивали, как прежде в Понт-Авене, грубоватые розыгрыши. Ночью они бродили по улицам, закутавшись в простыни и изображая привидения. О них шла худая молва. Из-за этого де Хаану отказали

в мастерской, которую он снимал на берегу моря. Пришлось Мари Кукле оборудовать ему под мастерскую пристройку, примыкавшую к ее гостинице, - настлать там пол и вставить стекла.

В июле к группе художников присоединились еще двое: гравер Поль-Эмиль Колен и Шарль Филижер[194], художник-эльзасец со странными замашками. С лица маленького, пухленького Филижера не сходило восторженное выражение. Он старательно выводил своей кистью религиозные образы - фигуры богородицы и святых, раскрашенные, как на византийских иконах. На этом основании Филижера можно было бы принять за человека глубоко верующего. Но этот двадцатишестилетний художник веровал только в живопись. Выбор его сюжетов объяснялся, вероятно, его страстью к Чимабуэ[195]. Впрочем, кто взялся бы утверждать это с уверенностью? Филижер был малоразговорчив, и все в нем было непросто и неясно. Он проповедовал язычество, но каялся в своей распущенности, в желаниях, перед которыми не мог устоять. Он был болезненно, почти патологически подозрителен. Из Парижа ему пришлось уехать после загадочного приключения - утром его нашли на тротуаре в луже крови с ножевыми ранами на бедре и руке. Возможно, это была какая-то любовная история с уголовщиной - художник, писавший непорочных богородиц и святых, был гомосексуалистом.

От эльзасца Гоген узнал, что Бернар вернулся в Париж - он отказался от карьеры художника по текстилю, и ему пришлось порвать с Шарлоттой. Отец перестал ему помогать, и Бернар разыграл одну из своих картин в лотерею. Иногда Бернар стучался в дверь к добряку Шуффу: "Дайте мне поесть, а я вам почитаю стихи", - говорил он.

Все мысли Бернара были поглощены предполагаемым путешествием, которое, несомненно, повлияло на принятые им решения. Орье собирался написать о Гогене статью, аналогичную той, какую уже написал о Ван Гоге. Бернар торопил его со статьей - после нее было бы легче продать несколько картин Гогена, и у эмигрантов прибавилось бы денег. В то же время Бернар убеждал Гогена изменить первоначальный план - почему бы не поехать в Океанию, на Таити, райский остров, воспетый Пьером Лоти?

Сначала это предложение не понравилось Гогену. Плавание будет стоить гораздо дороже. "К тому же Мадагаскар гораздо разнообразнее в смысле человеческих типов, религии, мистицизма, символизма. Там есть индийцы из Калькутты, чернокожие, арабы, и полинезийские типы. Однако соберите сведения о поездке через Панаму".

Но в общем в эту пору не маршрут путешествия причинял тревоги Гогену. Недели шли, а от Шарлопена не было ни слуху ни духу! Он стал нервничать. "Я больше не работаю. Томлюсь в ожидании Мадагаскара. Вот где будущее живописи". Гоген смастерил несколько деревянных стрел и "упражнялся в их метании на песке в духе Буффалло Билла".

В начале августа, когда его все сильнее тревожило то, что сделка с Шарлопеном затягивается, он получил известие о смерти Ван Гога. 27 июля на Овернском нагорье Винсент прострелил себе грудь.

"Как ни печальна эта кончина, - писал Гоген Бернару, - я не очень горюю о ней, потому что предвидел ее и знал, какие муки терпел бедняга Ван Гог в борьбе со своим безумием. Умереть теперь для него большое счастье, потому что он избавился от страданий, и если он восстанет к другой жизни, он (по закону Будды) пожнет плоды своего добродетельного поведения в этом мире. Он унес с собой утешение, что брат не покинул его и некоторые художники поняли...".

Довольно холодный отклик. Но какое значение имел теперь Винсент в жизни Гогена? Гоген был слишком озабочен своей собственной судьбой, чтобы беспокоиться о тех, кто

---

[194] Филижер, Шарль (1863-1928) - французский художник, швейцарец по происхождению; работал в Понт-Авене.

[195] Чимабуэ - итальянский художник XIII века.

имел к ней лишь отдаленное отношение.

Брошюра о Таити, изданная Министерством колоний, убедила Гогена принять предложение Бернара. Да, "Мадагаскар расположен все-таки слишком близко к цивилизованному миру". Ехать надо в Океанию, подальше от Европы и от ее бесплодных битв. "Чего стоит слава ради других! - восклицал он. Гоген для здешнего мира кончен. Его здесь больше не увидят".

Так как Бернар побывал у Шарлопена, Гоген просил его нажать на изобретателя. "В этих делах надо проявлять настойчивость, пока не добьешься толку...". Он просил его разузнать о стоимости плавания, о его продолжительности, когда отходит пароход и какие льготы предоставляет отъезжающим французское общество эмиграции. Ах, когда уже он уедет? "Когда Дикарь возвратится к дикарям?" Его воображение день ото дня разыгрывалось в предвкушении райской жизни на островах.

"Дивный край, - писал он Шуффу, - где я хотел бы прожить остаток своей жизни со всеми моими детьми. Позже я позабочусь о том, чтобы они могли приехать... Я живу теперь только надеждой на эту землю обетованную. Де Хаан, Бернар и я, да позже, может быть, моя семья - при работе и настойчивости это может составить счастливый, цветущий кружок, вы ведь знаете, что Таити - самая здоровая страна на свете... В этой гнилой и злобной Европе наших детей ждет мрачное будущее, даже если у них будет несколько су... В то время как на одном краю земной планеты мужчины и женщины только ценой беспрестанного труда могут удовлетворить свои потребности, в то время как они бьются в тисках голода и холода, страдая от нужды и всевозможных лишений, таитяне, счастливые обитатели неведомых райских кущ Океании, наоборот, вкушают одну лишь сладость жизни. Для них жить - значит петь и любить. Вот о чем следовало бы поразмыслить европейцам, которые жалуются на судьбу".

Сентябрь... Сидя в скалистом гроте, Гоген прислушивался к гулу прибоя. Иногда он наигрывал на мандолине какую-нибудь грустную мелодию, отчасти навеянную воспоминаниями, отчасти сымпровизированную, а Филижер аккомпанировал ему на гитаре. Он вновь взялся за кисти и стамеску и временами начинал писать или резать по дереву. Но душой он был уже далеко от Ле Пульдю. Странные произведения рождались под его рукой: деревянная скульптура, напоминающая произведения первобытного искусства "Преисполнитесь тайны", парное к "Любите...", и еще более необычное полотно, - вспомнив мартиникскую флору, Гоген написал обнаженную Еву на фоне экзотического пейзажа. Острова южных морей, Эдем, детские грезы! Обнаженную Еву своего рая Гоген наделил чертами покойной матери...

К несчастью, дело с Шарлопеном затягивалось. Но Гоген решил в крайнем случае обойтись без изобретателя. Мечта о тропиках так завладела им, что он решил уехать, чего бы это ни стоило. Он должен уехать. Он не мыслил себе дальнейшей жизни вне Таити. "Не беспокойтесь, мы уедем, - заверял он Бернара. - Мое решение тверже, чем когда бы то ни было, и если Шарлопен не клюнет, я поеду в Париж и камня на камне не оставлю, но заключу другую сделку в этом роде". А когда они окажутся на Таити, все устроится само собой. "Возможно, де Хаан без большого ущерба для нашей свободной и примитивной жизни займется торговлей жемчугом, вступив в сношения с крупными голландскими торговцами". Но прежде всего надо раздобыть денег на дорогу. Где же статья, которую пообещал Орье? А что Тео Ван Гог? Гоген уже давно не получал от него ни гроша. Что с ним? Ведь он мог бы уже утешиться после смерти брата...

Неточно указав адрес на конверте Бернару, Гоген почти целый месяц не получал от него писем. Он возмущался. Непростительное молчание! И вдруг в начале октября Гогену и де Хаану вручили две телеграммы. Их послал Тео. "Поездка в тропики обеспечена. Высылаю деньги", - было сказано в первой. "Присылайте все ваши произведения. Есть надежные покупатели", - значилось во второй.

Телеграммы были настолько неожиданны, что Гоген не мог побороть сомнения. Может быть, кто-то над ним подшутил. Но кто? Бернар? Писсарро? Невозможно! Но тогда значит,

значит... Мало-помалу Гоген воодушевился. "Если дело сладится, - писал он Шуффу, - моя поездка на Таити станет чудесным сном, еще более прекрасным, чем я предполагал. Наконец-то последние годы моей жизни пройдут счастливо, целиком отданные искусству и радости жизни, без денежных забот, на лоне таитянской природы!.. Там вечный отдых и радость жизни!"

Отрезвление оказалось жестоким. Хроническая болезнь, подтачивавшая организм Тео, внезапно приняла острую форму, и он впал в буйное помешательство. В бреду его преследовали воспоминания о брате. Может быть, укоры совести - в воскресенье, перед самоубийством Винсента, у братьев произошло тяжелое объяснение, во время которого были, как видно, произнесены непоправимые слова. Уволившись из галереи Буссо и Валадона, Тео решил создать ассоциацию художников, как мечтал Винсент, решил помочь Гогену, как мечтал Винсент, послал телеграммы в Ле Пульдю, а потом попытался убить молодую жену и грудного ребенка, появление которого внесло смятение в жизнь его брата, любившего Тео мучительной любовью собственника, и усугубило чувство вины, которое и прежде мучило Винсента. "Теперь, когда ты женился, мы должны жить не ради великих идей, а, поверь мне, только ради маленьких". 12 октября Тео был помещен в больницу, через два дня его перевели в лечебницу доктора Бланша... "Отверженные" - такую надпись сделал когда-то Гоген на автопортрете, который он послал Винсенту.

Получив эти известия, Гоген пришел в неистовство. Мало того, что телеграммы были посланы сумасшедшим, в лице Тео он потерял единственного человека, продававшего его картины. Это еще ухудшит его положение. Чего ждать от преемников Тео? Наверняка, ничего хорошего. Прощальное слово, каким Гоген помянул Тео, еще короче того, которым он отозвался на смерть Винсента. "Сумасшествие Ван Гога (Тео), - писал он Бернару, - здорово меня подвело, и если Шарлопен не даст мне денег для поездки на Таити, я пропал. Когда уж я наконец заживу на свободе в лесах? Господи, как долго ждать! Подумать только, каждый день собирают пожертвования на пострадавших от наводнения - а художники? Никто о них не думает. Хоть с голоду подыхай!" Узнав от Серюзье, что Бернар пытается организовать выставку произведений Винсента, Гоген с жаром выбранил его за эту затею. "Вот некстати! Вы сами знаете, как я отношусь к работам Винсента. Но учитывая тупоумие публики, совсем не ко времени напоминать о Винсенте и его безумии как раз тогда, когда его брат очутился в таком же положении! Многие и так говорят, что наша живопись - безумна. Это нам повредит, а Винсенту пользы не принесет, и т. д. А впрочем, действуйте, но это ГЛУПО".

Вот уже несколько дней Гоген оставался у Мари Куклы вдвоем с Филижером. Над де Хааном - еще одна невеселая новость - нависла угроза лишиться ежемесячного содержания. Его семья перестала высылать ему деньги, и де Хаану пришлось выехать в Париж, чтобы повидаться с одним из его дядей. Гоген, терзаясь беспокойством, забрасывал друзей письмами. Ему надо "вырваться" из Ле Пульдю, надо ехать в Париж, чтобы "все уладить". Письмо Шуффа немного успокоило и обнадежило его. Вопреки опасениям Гогена, Буссо и Валадон, по-видимому, не собирались отказываться от его работ. Он приободрился. "Вы пишете, что моя известность сильно возросла за последнее время: я предвидел это в связи с тем, что произошло с Ван Гогом. Вот почему я и рвусь в Париж, чтобы подхлестнуть вспыхнувший интерес, пока он не угас, и попытаться им воспользоваться. Я убежден, что если мне когда-нибудь удастся уехать подальше, пристроив в разные места мои картины, чтобы их разредить, они сильно поднимутся в цене...".

Продажа пяти картин по сто франков каждая, которую помог устроить Бернар, развязала руки Гогену (купил картины художник, с которым Ван Гог встречался в Провансе - наследник богатых владельцев фаянсовых заводов, из Люксембурга, - Эжен Бок), и 7 ноября он покинул Бретань.

*

В испачканной красками куртке поверх синей фуфайки, украшенной бретонской вышивкой, в старом плаще, в берете, деревянных башмаках и широких брюках, купленных

за двенадцать с половиной франков в универсальном магазине дешевых товаров, Гоген, появившийся в Париже в эти ноябрьские дни, был отнюдь не похож на победителя.

Прошло уже восемь лет, с тех пор как он бросил биржу. Все эти восемь лет его преследовали неудачи, всевозможные разочарования, он болел, иногда голодал, всегда нуждался и постоянно испытывал тяжкую нравственную муку, оттого что был изгоем, не имеющим ни дома, ни жены, ни детей. "Проклятый всеми близкими!" Эти восемь лет наложили свою печать на лицо Гогена, энергичное выражение которого омрачилось усталостью. Веки стали более тяжелыми, очерк рта более горьким. В минувшем году он написал картину "Христос в Гефсиманском саду", в которой хотел запечатлеть "крах идеала, муку в той же мере божескую, сколь человеческую", и этого Христа скорбей наделил своими чертами. "Вы же знаете, печаль это моя струна", - писал он Шуффу.

Нет, отнюдь не был похож на победителя сорокадвухлетний Гоген, деревянные башмаки которого тяжело стучали по парижскому тротуару. И, однако, сам того не подозревая, он приближался к той поре, которая почти неизбежно наступает и всегда в сорокалетний полдень жизни великих творцов, когда их заслуги, мало-помалу завоевывающие признание, вдруг становятся очевидными для всех. Серюзье и другие "братья Наби" превозносили Гогена, пропагандируя его эстетические взгляды. Морис Дени, систематизировавший в статье, которая минувшим летом была опубликована в журнале "Ар э критик", принципы, извлеченные из наставлений Гогена, сформулировал определение искусства, названного им "неотрадиционализмом"[196], и указал на художника из Ле Пульдю как на "ведущую фигуру" новой школы. Шуффенекер, Бернар, Орье, Дега, каждый в своем кругу, также привлекали внимание к Гогену. Даже враги, возможно даже в первую очередь враги - и среди них Писсарро ("негодяй Писсарро", - говорил о нем Гоген), который не простил своему бывшему ученику, что он пошел по иному пути, - своей хулой подогревали интерес к нему. Словом, хвалили его или бранили, Гоген стал художником, о котором спорят, художником, с которым нельзя не считаться.

Одним из создателей его славы был, несомненно, Орье. Став критиком "Меркюр де Франс", Орье начал осуществлять свои честолюбивые замыслы - он занял одно из видных мест в кругу молодых символистов, наставником которых в области искусства он и хотел стать. Осенью 1890 года литературное движение символистов было в расцвете. Основанный в январе этого года "Меркюр" способствовал объединению его сил. Сначала символизму недоставало театра - в ноябре восемнадцатилетний поэт Поль Фор создал такой театр под названием "Театр искусств". Но символизму по-прежнему не хватало великого художника, который мог бы достойно представлять это направление. По мнению Орье, таким художником мог стать только Гоген. Разве не совпадали с основными устремлениями символистов его взгляды: его антиимпрессионизм, то, что он отдавал пальму первенства душе и мысли, чувству и ощущению, его тяга к мечте, его чувство таинственного и его субъективизм?

Орье познакомил Гогена кое с кем из своих друзей, в том числе с поэтом Жюльеном Леклерком[197]. Водил он его также в разные места, где обыкновенно собирались символисты, - в кафе "Франциск I", "Кот д'Ор" и в первую очередь в кафе Вольтера, на площади Одеон, где они встречались каждую субботу. Здесь можно было увидеть

---

[196] Именно в этой статье, опубликованной 23 и 30 августа, под псевдонимом Пьер-Луи была высказана знаменитая формула: "Не забывайте, что всякая картина прежде всего не боевой конь, обнаженная женщина или какая-нибудь жанровая сцена, а плоскость, покрытая красками, наложенными в определенном порядке" - формула, которую следует дополнить еще одной, принадлежащей тому же Дени: "Всякое произведение искусства есть преобразование, чувственный эквивалент полученного ощущения".

[197] Леклерк, Жюльен (ум. 1901) - французский литератор и художественный критик.

Верлена[198] с его громадной головой фавна, директора "Меркюр" Альфреда Валетта, его жену Маргариту Рашильд, автора романа "Господин Венера" - женщину "с серыми глазами, опушенными длинными ресницами, пронзительно смеявшуюся и острую на язык"[199]. Жана Мореаса[200], выпустившего за четыре года до этого Манифест символистов, Анри де Ренье[201] - сдержанного господина с моноклем, американца Стюарта Мерилла[202], пробирного мастера Жана Долана[203], который в часы досуга чеканил продуманные фразы своих эссе о литературе и искусстве, и Шарля Мориса[204] "мозг символизма", на которого после публикации его труда о "Литературе завтрашнего дня" смотрели как на будущий столп символистского направления...

При первых встречах символистов с Гогеном, их если не покоробили, то, во всяком случае, озадачили его грубоватые манеры, резкость его суждений, его высокомерие, прямолинейность, цинизм, который он на себя напускал (особенно при посторонних), наконец, его подчеркнутая напыщенность. Даже для того, чтобы дать кому-нибудь прикурить, он делал широкий, величавый жест - "этак впору размахивать факелом"[205]. Мощь, которой от него веяло, подавляла символистов - люди неохотно мирятся с чужим превосходством.

Со своей стороны Гоген испытывал некоторое недоверие и презрение к "теоретикам-златоустам". Все эти школы и теории - детские игрушки, считал он. "Художник должен быть свободным, иначе он не художник...". На керамической вазе, подаренной Филижеру, он написал: "Да здравствует синтез!" - исказив слово "синтез" таким образом, чтобы оно рифмовалось со словом "foutaise", что означает "вздор". И теперь он посмеивался, слыша, как Верлен кричит: "Ну их, этих цимбалистов, надоели!" Но поскольку эти господа старались угодить Гогену - бог с ними, - "символизм так символизм!"

Тем не менее Гоген по-настоящему сдружился кое с кем из символистов, в частности с Шарлем Морисом, который сразу же начал восхищаться Гогеном. За два года до этого Морис в своем интересном очерке провозгласил гениальность Верлена, теперь он превозносил гений Гогена. Это была драгоценная поддержка, потому что с мнением пылкого эстета Мориса, от которого ждали крупных произведений, считались. Удивительная личность был этот литератор с пламенным слогом, который, в буквальном смысле слова, пьянел от собственного красноречия, больше чем от спиртного! "С головой пианиста-романтика на долговязом, изможденном теле" он ходил в кафе и в другие места, где собирались литераторы и художники, и неутомимо излагал им бесчисленные проекты, которыми поочередно загорался, выставляя перед аудиторией все их достоинства, причем, хотя все они так и оставались мечтами, ему начинало казаться, что он их уже осуществил. На

---

198 Верлен, Поль (1844-1896) - французский поэт.

199 Камиль Моклер.

200 Мореас, Жан (настоящее имя Пападиамантопулос (1856-1910) - грек по происхождению, французский поэт-символист.

201 Ренье, Анри де (1864-1936) - французский поэт и писатель.

202 Мерилл, Стюарт (1863-1915) - французский поэт американского происхождения.

203 Долан, Жан (настоящее имя Жан-Антуан Фурнье) (1835-1909) французский писатель.

204 Морис, Шарль (1861-1919) - французский поэт-символист, друг Гогена.

205 Таде Натансон.

эти дискуссии Морис тратил немногие свободные часы, которые оставались у него от платной работы, помогавшей ему кое-как сводить концы с концами и удовлетворять ненасытную любовь к женщинам.

Морис, которому Гоген рассказал о своем желании уехать из Франции, посоветовал художнику - поскольку на Шарлопена рассчитывать было нечего устроить выставку своих произведений с последующей продажей. Он обещал привести на нее покупателей - политических деятелей вроде Клемансо или бывшего директора Департамента изящных искусств, друга Мане, - Антонена Пруста. Гоген предпринял попытки сговориться с какой-нибудь галереей, но тщетно. Преемник Тео у Буссо и Валадона, Морис Жуаян, ценил живопись Гогена и пообещал ему свою поддержку, но, поскольку владельцы галереи враждебно относились к неофициальной живописи, ему было трудно взять на себя ответственность за подобную демонстрацию[206].

То, что символисты так благосклонно отнеслись к Гогену, что они избрали его "главой" символизма в живописи, вызвало враждебные чувства к нему со стороны некоторых людей. В частности, как это ни покажется странным на первый взгляд, со стороны Бернара, который как будто должен был бы радоваться возрастающей славе Гогена.

Когда недовольный собой Бернар впервые почувствовал мучительную тревогу за свое будущее, он изливался Гогену, забрасывая художника патетическими признаниями. Но теперь Гоген пошел в гору, и трагическое чувство собственного "бессилия" (как выражался сам Бернар) понемногу осложнилось или, если угодно, вытеснилось ревнивым недоверием к другу. Приветствуя в Гогене мэтра новой живописи, символисты не проявляли ни малейшего интереса к Бернару. Он негодовал, требуя своей доли успеха. Гогена, который хлопотал о выставке только собственных произведений, он считал предателем. "Чем больше я стараюсь написать что-то законченное, проработанное, тем больше я увязаю в чем-то антиутверждающем, прихожу к выхолощенности, к пустоте", - писал Бернар Гогену за год до этого. Теперь он пытался приуменьшить значение творческого краха, в котором признавался прежде[207], и компенсировать его, возвеличивая - как бы в противовес формуле Гёте, который говорил: "Твори образы, художник, не суесловь" - значение идей, слов, теорий. Вспоминая о своих с Гогеном ссорах в 1888 году в Понт-Авене и о том, с каким интересом отнесся Гоген к его "Бретонкам на лугу", Бернар совершенно забывал, как он сам восхищался Гогеном, с каким изумлением и почти что страхом признавал превосходство своего друга, и теперь заявлял, что все те заслуги, за которые символисты превозносят Гогена, принадлежат ему, Бернару. До знакомства с ним Гоген-де ничего не знал, был второсортным импрессионистом: "Мелкая фактура ткала цвет и напоминала Писсарро, а стиля почти никакого". Между тем, когда Гоген в 1888 году встретился с Бернаром, прошел уже год, как на Мартинике он написал свои первые полотна крупными цветовыми пятнами, по меньшей мере года два, как он делился с друзьями своими синтетическими поисками, три года, как в письме к Шуффу из Копенгагена он изложил основные принципы своего будущего искусства. Ничего не значит! Именно он, Бернар, несколькими словами, словно по волшебству, мгновенно и в корне изменил живопись Гогена. Когда биржевой маклер в 1881 году работал в Понтуазе рядом с Сезанном, Бернару было тринадцать лет. Ничего не значит! Именно он, Бернар, открыл Гогену глаза на достоинства живописи Сезанна. Гоген ему обязан всем. II Гоген ущемил его и ограбил.

Что можно было ответить на эти жалкие обвинения? Гоген пожимал плечами. В свою очередь он забывал, что когда-то говорил о Бернаре: "Обратите внимание на молодого Бернара, это личность", забывал о своих похвалах, о том, как по-братски поддерживал и

---

206 О Жуаяне см.: Жизнь Тулуз-Лотрека. Он был близким другом монмартрского художника.

207 В 1892-1893 годах Бернар, однако, написал еще несколько хороших картин, чаще всего вдохновленных бретонскими мотивами. "Это была его лебединая песня как художника-новатора", - писал Джон Ревалд.

ласково ободрял молодого художника. Он даже не признавал теперь, что мнение Бернара было ему не безразлично. Их дружбе конец. На Таити они вместе не поедут. Придется Гогену смириться с этим - если он поедет, он поедет один, потому что и Мейер де Хаан не сможет быть его спутником: он заболел и должен вернуться в Голландию[208].

Был человек, весьма сочувственно прислушивавшийся к жалобам Бернара, Шуффенекер. И в самом деле, Шуффу становилось все труднее выносить тираническую и оскорбительную дружбу Гогена. Еще весной, в конце своего пребывания в Париже, Гогену пришлось перебраться в средней руки гостиницу на улице Деламбр. А вернувшись в Париж, он поселился в доме академии Коларосси, на улице Гранд-Шомьер, 10, хотя работал по-прежнему в мастерской Шуффа. Шуфф терпел его бесцеремонность - он терпел ее всегда, всегда мирился с тем, что Гоген ведет себя у него, как хозяин, которому все всё должны. Но он затаил на Гогена обиду. Однажды, придя в мастерскую на улице Дюран-Клея, Жан Долан похвалил картину добряка Шуффа. Гоген посмотрел на писателя так, что тот подумал: "Кажется, я совершил непоправимую бестактность"[209].

Обиженный Шуфф находил, что Бернар прав - не в своих притязаниях на первенство в искусстве, которые Шуфф считал ребячеством, но в своих личных обидах на. Гогена. Гоген - чудовищно неблагодарный и эгоистичный человек. Он не хочет помочь Шуффу составить имя, так же как не помог в этом Бернару. Брюссельская "Группа двадцати" снова пригласила Гогена принять участие в выставке. Разве не мог он порекомендовать своего старого приятеля по бирже создателям этой группы. Написал же он рекомендательное письмо Филижеру! Гоген отвечал, что написал письмо, потому что Филижер прямо его об этом попросил, а Шуфф ни о чем таком не заикался, как, впрочем, и Бернар. Произошла ссора... Повод к ней был ничтожный, но ему предшествовало столько оскорблений и невысказанных обид, Шуфф так часто молча страдал от грубости Гогена, что этой пустячной стычки было довольно, чтобы дело дошло до разрыва, хотя и не окончательного. Шуфф просто пришел к выводу, что рядом им жить невозможно. "Вы созданы для того, чтобы повелевать, - написал он позже Гогену, - я, чтобы оставаться равнодушным". В январе 1891 года Гогену пришлось окончательно покинуть улицу Дюран-Клея. "Когда-нибудь вы поймете истинную цену друзьям, которые вас окружали", - сказал он Шуффу.

Гоген метал громы и молнии против Бернара. "Бедняга Шуфф помешался на этом сопляке, а все шишки на меня!" И все-таки они, наверное, не поссорились бы, если бы Шуфф, художник-неудачник, не оказался бы таким же неудачником в семейной жизни и оставался бы прежним веселым и пылким оптимистом. Но теперь он всегда был погружен в уныние. Разлад с женой Гоген прозвал ее "занудой" - все углублялся. Луиза не упускала случая унизить мужа. В последнее время она увивалась вокруг Гогена и при этом держалась так двусмысленно, что Шуфф даже ее одернул.

Это не укрылось от знакомых Шуффа, которые начали над ним подшучивать, и нашлись среди них и такие, кто из неприязни к Шуффу или к Гогену и желая показать, как далеко может зайти один в своей глупости, другой в своей гнусности, стали распускать слухи о супружеской измене.

Быть может, они не решились бы утверждать это с такой уверенностью, знай они лучше, что происходило в личной жизни Гогена. Почти сразу после возвращения художника в Париж в его жизни появилась женщина двадцатичетырехлетняя Жюльетта Юэ. Иногда по вечерам Гоген провожал Жоржа-Даниеля Монфреда до дверей швейной мастерской на Монпарнасе. У Монфреда так же не сложилась семейная жизнь, как и у Шуффа, и утешения от своих семейных неурядиц он искал у швеи, в которую влюбился. У швеи была подружка,

---

208 Де Хаан оставил в Ле Пульдю беременную Мари Куклу. В июне 1891 года она родила дочь Иду. Голландец умер в Амстердаме 24 октября 1895 года.

209 Со слов Ротоншана.

работавшая в этой же мастерской, - это и была Жюльетта.

Малообразованная дикарка, она была простой и доброй девушкой, и Гогену, перед которым она робела, она принесла ту нежность, которой он всегда был лишен. Она отдалась ему совершенно бескорыстно.

Таким образом, в биографии бездомного художника впервые появилась женщина с именем и лицом[210]. Между Метте и Жюльеттой Юэ были только тени: проститутки, служанки гостиниц - тело, которое берут и тут же забывают. Когда в эти дни молодой датский художник Могенс Баллин пришел к Гогену от имени его жены, Гоген уже много месяцев не получал писем от Метте и даже не знал ее нового адреса. "Твое молчание было для меня тяжелым испытанием, писал он ей, - и большим горем, чем мои денежные неудачи. Но польза от него та, что я ожесточился и стал все презирать". Переносясь мыслями в прошлое, художник теперь иногда сожалел о том, что в молодости вел себя слишком целомудренно и держал в узде свои инстинкты. Таитянский рай был также краем великой свободы чувственности...

Бывают такие минуты в жизни человека, которые, точно горная цепь, служат в ней водоразделом. К такому моменту и пришел Гоген. Кончился один период его жизни, начинался следующий.

Старые дружеские связи рвались и ослабевали, но крепла дружба с Морисом и Монфредом. Неблагоприятное впечатление, которое Гоген произвел на Монфреда при первой встрече, совершенно рассеялось. Теперь Монфред понимал в Гогене и художника и человека. Гоген, со своей стороны, уважал этого породистого гугенота, душа и повадки которого выдавали аристократа. Сблизило их и знание моря. Монфред (его прозвали Капитаном) владел, последовательно их меняя, яхтами, кораблями водоизмещением в семь и в тридцать тонн, на которых он не раз плавал вдоль берегов Франции, Испании и Алжира. Капитан умел быть настоящим другом. Он всегда готов был оказать услугу, прийти на помощь, пожертвовать собой для другого. Конечно, он не мог предвидеть, каким требовательным окажется в своей дружбе Гоген, но можно было заранее сказать, что он никогда ни о чем не пожалеет. Он сразу же предоставил в распоряжение художника свою мастерскую на улице Шато, чтобы вознаградить его за потерянную мастерскую Шуффа.

В общем, захоти Гоген, он мог бы использовать преимущества, которых уже добился, и в короткий срок достигнуть того, что, как он уверял, было целью его усилий - то есть стать признанным художником, живущим продажей своих произведений. Он уже стал главой целой группы учеников, и эта группа все росла, его поддерживали поэты и критики. Со времени Мане ни один художник не воплощал в такой мере надежды целого поколения[211]. Будь у Гогена немного терпения, ловкости, расчетливости, он окончательно утвердил бы свое положение. Но ему был уготован иной путь. Вопреки своим представлениям, люди не свободны в своих поступках - они действуют согласно своей натуре. То, что он был принят в парижских литературно-художественных кругах, и то, что слава его начала шириться и влияние усиливаться, не могло удержать Гогена, помешать ему откликнуться на зов тропиков. Он должен был уехать.

Так как его переговоры с директорами галерей увенчались не большим успехом, чем сделка с Шарлопеном, Гоген решил сыграть ва-банк и устроить распродажу своих тридцати картин на аукционе в Отеле Друо. На этот раз за дело взялись всерьез.

---

[210] Гоген написал с Жюльетты "символистскую" картину: "Потеря невинности" (ее иногда эвфемистически называют "Пробуждение весны"). Жюльетта лежит на фоне бретонской равнины, по которой проходит свадебное шествие. На ее плече лисица - "индейский символ порочности". Эта картина не удовлетворяла Гогена, и после неудачных попыток ее улучшить он написал другую обнаженную - копию "Олимпии" Мане, недавно ставшую собственностью Люксембургского музея.

[211] Позже Морис Дени подтвердил это такими словами: "То, чем Мане был для поколения семидесятых годов, Гоген был для поколения девяностых".

Надо было обеспечить рекламу, а для этой цели в какой-нибудь крупной газете должна была появиться статья, подписанная знаменитым именем. Морис, который несколько раз водил Гогена на "среды" Стефана Малларме, попросил у него совета. "Поговорите с Мирбо"[212], - ответил поэт. Совет был превосходен. Писатель, которого боялись, рьяный полемист, зачастую впадавший в крайности и не знавший середины между негодованием и восторгом, Октав Мирбо завоевал широкую аудиторию своей запальчивостью памфлетиста, своей искренностью и природным великодушием, которые водили его рукой. Его статьи в "Эко де Пари" и "Фигаро" вызывали широкий отклик. Малларме обратился к нему 15 января 1891 года"[213].

Через несколько дней Мирбо сообщил, что готов поддержать художника, некоторые произведения которого были ему знакомы. Они его "крайне" интересуют, заявил он Малларме. Мирбо пригласил Гогена и Мориса пообедать у него в имении в Дам, возле Пон-де-л'Арш. Встреча была сердечной. Художник окончательно покорил Мирбо. "Симпатичная натура, воистину терзаемая муками искусства, - писал он Клоду Моне. - И при этом какая восхитительная голова. Он мне очень понравился". Мирбо обещал, что, не откладывая, приедет в Париж посмотреть те картины и керамические произведения, которых он не видел, и освежить в памяти те, что были ему уже знакомы, чтобы затем обратить на их автора внимание широкой публики - за год до этого он таким образом поддержал бельгийского поэта Мориса Метерлинка[214], имя которого в ту пору было никому не известно.

Гоген постарался привлечь на свою сторону всех, кого мог. Он призвал на помощь друзей, обратился даже к Писсарро, который согласился ему помочь, хотя и с большой неохотой.

"Нам приходится бороться с гениями, на редкость честолюбивыми, которые хотят одного - подавить все, что попадается им на пути, - писал шестидесятилетний художник сыну Люсьену. - Это отвратительно. Если бы ты только знал, как пошло и при этом как ловко действовал Гоген, чтобы заставить выбрать себя (именно выбрать) гением! Не оставалось ничего иного, как помочь ему в его восхождении. Всякий другой на его месте усовестился бы и отступился! "

Продажа должна была состояться 23 февраля. До этого предполагалось устроить выставку - в субботу у Буссо и Валадона, в воскресенье в Отеле Друо. Кроме Мирбо, которому не без труда удалось добиться согласия редакции "Фигаро" на опубликование передовой статьи о Гогене, еще два критика Гюстав Жоффруа[215] и Роже Маркс[216] - обещали поддержать художника. Что до Орье, он спешил закончить большую статью о Гогене, над которой уже давно работал. "Все тщательно подготовлено", - писал Гоген жене. Он рассчитывал, если на его картины найдутся покупатели, которые не постоят за ценой, приехать в Данию, чтобы перед отъездом в Океанию проститься со своими. Он уже предупредил об этом Метте.

"Могу ли я приехать в Копенгаген обнять своих детей, и чтобы ты и твое семейство не

---

[212] Мирбо, Октав (1850-1917) - французский писатель, выступал как художественный критик, с интересом и сочувствием относился к импрессионистам. Дружил с Моне, Писсарро, Роденом.

[213] В благодарность Стефану Малларме Гоген исполнил портрет поэта в офорте.

[214] Метерлинк, Морис (1862-1949) - бельгийский поэт и драматург; символист.

[215] Жеффруа, Гюстав (1855-1926) - французский писатель и художественный критик.

[216] Маркс, Роже (1869-1913) - французский художественный критик, занимал пост инспектора Департамента изящных искусств, а затем генерального инспектора провинциальных музеев.

заклеймили меня при этом как человека несерьезного? Не беспокойся, я тебе не причиню хлопот - несколько дней, что я инкогнито пробуду в Копенгагене, я проживу в гостинице". Метте согласилась и поручила Гогену привезти ей из Парижа корсеты.

Приближался день распродажи. Гоген признавался, что "очень волнуется". За неделю до аукциона, в понедельник 16 февраля, прогремел первый звук трубы Мирбо - он опубликовал в "Эко де Пари" статью, которая должна была стать предисловием к каталогу выставки Гогена.

"Мне стало известно, - писал Мирбо в этой статье, где подробно излагал творческий путь художника, - что господин Поль Гоген собирается уехать на Таити. Он намерен прожить там несколько лет в одиночестве, построить хижину и вновь начать работать над тем, что постоянно занимает его мысли. Меня заинтересовал и растрогал этот человек, стремящийся прочь от цивилизации, сознательно ищущий забвения и тишины, чтобы глубже почувствовать самого себя, явственнее услышать внутренние голоса, которые заглушает шум наших страстей и споров. Господин Поль Гоген - художник на редкость незаурядный, волнующий... Мечты не дают покоя этому пламенному мозгу. Они ширятся и становятся все более пылкими по мере того, как он приходит ко все более полному выражению самого себя. И вот его охватила тоска по тем странам, где выкристаллизовывались его первые грезы... Та же потребность в тишине, в сосредоточенности, в полном уединении, что гнала его на Мартинику, гонит его теперь еще дальше, на Таити, где природа больше соответствует его мечте, где он надеется, что Тихий океан приберег для него еще более нежные ласки - старая, верная, обретенная вновь любовь предков. Но куда бы ни уехал Поль Гоген, он может быть уверен в том, что увезет с собой наше глубокое почтение".

За этой статьей последовали другие. В среду 18 февраля в "Фигаро" появилась статья Мирбо, где он объявлял, правда, ошибочно, что "государство поспешило еще до распродажи оставить за собой одну картину". В пятницу Роже Маркс опубликовал свою статью в "Вольтер". В воскресенье Гюстав Жеффруа оповестил о распродаже читателей "Голуа" и "Жюстис". Накануне, в субботу, когда состоялась выставка у Буссо и Валадона, журналист Жюль Юре из "Эко де Пари", безусловно посланный Мирбо, задал несколько вопросов Гогену. Отчет об этой беседе появился в понедельник, в самый день распродажи. Кончался он фразой, якобы услышанной Жюлем Юре от одного из посетителей галереи: "Видели эти картины? Так вот, помяните мое слово, - через двадцать лет они будут стоить двадцать тысяч франков!"

Многообещающее предсказание. Пресса пробудила живой интерес к Гогену среди любителей живописи. Довольно большая толпа наводнила зал номер 7 Отеля Друо, где происходила распродажа. Среди посетителей были румынский доктор де Беллио[217], известный собиратель картин импрессионистов, граф Антуан де Ларошфуко[218], сотрудник Буссо и Валадона Манци[219], братья Натансон[220], торговец картинами Тома, Роже Маркс. Продажа прошла с большим успехом. Ни одна картина не была оценена дешевле двухсот сорока франков, а "Видение после проповеди" под аплодисменты публики поднялось до внушительной суммы - девятьсот франков.

---

[217] Беллио, Жорж де (1828-1894) - румынский врач, друг импрессионистов и один из первых собирателей их картин.

[218] Ларошфуко, Антуан де - французский граф, покровительствовал художникам (в частности, группе "Роза и крест").

[219] Манци, Мишель (1849-1915) - владелец мастерской хромолитографии, маршан и коллекционер.

[220] Натансон, братья - старший, Александр, - директор журнала "Ревю бланш", средний, Таде, - известный французский литератор и художественный критик, младший, - театральный критик.

Монфред купил одно из арльских полотен, подруга Малларме, Мери Лоран[221], - бретонский пейзаж, цена на который достигла трехсот пятидесяти франков, а Дега приобрел за четыреста пятьдесят франков "Прекрасную Анжелу". Всего за свои тридцать картин Гоген выручил за вычетом расходов на каталог и стоимости картины, которую он выкупил сам, потому что она была продана дешевле всех других и Гоген посчитал, что это слишком дешево больше девяти тысяч франков, то есть почти вдвое больше того, чего он ждал от Шарлопена. Это была победа!

Но победа эта не всем оказалась по нраву. Шум вокруг Гогена приводил в ярость Бернара. Он явился в Отель Друо вместе с сестрой Мадлен разнюхать об успехах своего бывшего друга. Мадлен подошла к Гогену. "Вы предатель, господин Гоген. Вы нарушили ваши обязательства и причинили величайший ущерб моему брату - он истинный вдохновитель того искусства, которым вы кичитесь". Гоген отошел от нее, ничего не ответив.

Ярость Бернара дошла до пароксизма, когда в марте в "Меркюр" появилась статья Орье о Гогене и символизме в живописи - статья, которая была написана по его просьбе, которую он вдохновил и где не был даже упомянут. Несомненно, Орье сделал это сознательно. Поведение Бернара восстановило против него большинство друзей Гогена. Морис называл его "наглым и наивным выскочкой", Монфред "жалким глупцом". Орье заявил, что будет писать о Бернаре тогда, когда его творчество "в котором чувствуются самые разные влияния, сложится и приобретет индивидуальность". "Орье придется долго ждать", - смеялся Гоген. Художник из Ле Пульдю, который прежде, как и Ван Гог, критиковал Бернара, однако всячески его щадя, теперь уже не стеснялся в выражениях по адресу своего недруга: "Увидите, он пойдет по стопам Бенжамена Констана"[222] - в устах Гогена это сравнение с академическим художником было самым большим оскорблением[223].

Статья Орье явилась подлинным манифестом символизма в живописи, который критик решительно противопоставлял импрессионизму - "этой разновидности реализма".

"Произведение искусства, - писал Орье, - должно быть:

1) идейным, поскольку его единственной целью должно быть выражение Идеи;

2) символическим, поскольку оно должно выражать эту идею посредством определенных форм;

3) синтетическим, поскольку эти формы, эти знаки должны носить обобщенный характер;

4) субъективным, поскольку объект в искусстве никогда не должен рассматриваться как объект, а как знак Идеи, через него выраженной;

5) и следовательно, декоративным, потому что собственно декоративное искусство, как его понимали египтяне и, весьма вероятно, греки и примитивные народы, есть не что иное, как искусство, одновременно субъективное, синтетическое, символическое и идейное.

Но художник, наделенный перечисленными талантами, останется всего лишь ученым, если он не будет обладать даром эмоциональности... Той великой, драгоценной и трансцендентальной эмоциональности, которая пробуждает в душе трепет перед зыбкой драмой абстракций".

Этот манифест навлек на Гогена открытую и на сей раз бесповоротную вражду Писсарро. Художник-социалист упрекал своего бывшего ученика в том, что он не прилагает свой синтез к современной философии, которая, по мнению Писсарро, была насквозь

---

[221] Лоран, Мери (ум. 1900) - французская актриса, позировала Эдуарду Мане.

[222] Констан, Бенжамен (1845-1902) - художник академического толка.

[223] "Господин Бернар в точности выполнил обещание, данное от его имени", - писал тринадцать лет спустя Шарль Морис ("Меркюр де Франс", февраль 1904 года).

"социальной, антиавторитарной и антимистической". Он разоблачал Гогена как "ловкача, почуявшего возврат реакционной буржуазии". "Уже давно я вижу, как наступает этот ярый враг бедняка и труженика,- в негодовании писал Писсарро сыну Люсьену. - Но этот возврат всего лишь последний, предсмертный хрип! Импрессионисты на верном пути, их искусство здоровое, оно основано на ощущениях и оно честное".

*

В новой квартире Метте на улице Виммельскафтет, 47 Гоген молча разглядывает своих детей.

Волосы Метте начали седеть. Время бежит быстро. Прошло почти шесть лет, с тех пор как Гоген в 1885 году уехал из Копенгагена. Маленький Пола был тогда крошкой - теперь ему семь лет. Эмилю шестнадцать с половиной, Алине четырнадцать, Кловису около двенадцати, Жану десять...

Дети тоже молча смотрят на Гогена. На этого чужака, которого называют их отцом, - его облик, повадки, речь кажутся им странными. Самые младшие кроме "здравствуй" не знают по-французски ни слова.

Художник приехал в Копенгаген утром 7 марта. Метте встречала его на вокзале вместе с Эмилем и Алиной.

Приезд мужа нарушил покой датчанки. После их последней встречи, перед отъездом Гогена в Панаму, Метте полностью ушла в свою собственную жизнь. Она безоговорочно вычеркнула из нее Гогена. "Я так редко пишу ему, а думаю о нем еще реже". И вот Поль должен был приехать. Она заранее испытывала смятение, тем более что мать настойчиво предостерегала ее: "Что будет с тобой, дорогое мое дитя, если господь вдруг снова благословит твой союз?" Метте мечтала только об одном, чтобы недельное пребывание Гогена в Копенгагене кончилось как можно скорее и прошло спокойно.

На другой день после распродажи картин Гоген поспешил сообщить Метте: "Моральный успех огромный, и думаю, что он скоро принесет плоды". На гребне этого успеха Гоген и поехал в Копенгаген.

Вопреки тому, что ему говорила Метте, их жизни не разбиты, считал Гоген. Его жена ведет себя с ним очень сдержанно, она холодна, но он не теряет надежды ее вернуть. "Я любил тебя одну, люблю и сейчас, хотя и безответно". Он послушно, как обещал и как она просила, остановился в гостинице - отеле Дагмар, на Хальмторвет, 12. Таким образом, поцелуи не будут "грозить" супругам "опасностью". Общими у них будут только трапезы. "Напрасно твоя семья восстанавливает тебя против меня". Гоген догадывался обо всем, что говорилось на его счет в семье Гад - он читал это в глазах своих детей. Их отец "психопат", "преступный эгоист", впоследствии им придется за него "краснеть".

Гоген защищался. "Я понимаю, что ты несешь тяжелое бремя, но надеюсь, что в один прекрасный день я полностью возложу его на себя. Наступит день, когда твои дети смогут где угодно и перед кем угодно назвать имя своего отца, которое послужит им к чести и поддержке". Метте должна верить в него. Наметившийся успех скоро утвердится окончательно, в особенности после того, как он три года проживет в Океании. Последняя продажа принесла ему вдвое больше денег, чем все холсты, рисунки и керамические работы, которые он продал за предшествующие годы. Разве это не показательно? Гоген знает, что говорит, он подвел баланс. "Живопись - это наш якорь спасения и, как тебе известно, другого я не вижу, да и не хочу". Статья Мирбо вовсе не "смехотворное преувеличение", как утверждает семья Гад. "Увидишь, через три года я выиграю битву, и это позволит нам с тобой зажить, не зная лишений. Ты будешь отдыхать, а я работать. И, может, когда-нибудь ты поймешь, какого отца ты дала своим детям... А когда мы оба поседеем, пусть страсть будет уже не для нас, но мы вступим в полосу покоя и духовного счастья". Метте не должна терять терпения. "Я горжусь моим именем и надеюсь - даже уверен, что ты не запятнаешь его...". Гогену смутно почудилась рядом с женой фигура мужчины. О, само собой, с этим "блестящим" капитаном Метте могла "согрешить только в мыслях". "Я могу ревновать, но не имею права говорить об этом... Я понимаю, что молодая женщина, которая проводит годы

молодости вдали от мужа, может испытывать минуты влечения, и плотского и сердечного. Но чего ты хочешь? Не моя вина, что я родился в эпоху, столь неблагоприятную для художников...".

Художник катался по городу в ландо с Эмилем - тот носил форму своего коллежа с золочеными пуговицами - и Алиной. Только с этими двумя своими старшими детьми Гоген и мог разговаривать, хотя и они объяснялись на ломаном французском языке. Остальные, как он опасался, стали датчанами даже Кловис, его любимый Кловис. Не питая склонности к учению, он бросил школу и поступил на фабрику учиться кузнечному ремеслу; домой он возвращался только к вечеру.

Гогена больше всего тянуло к дочери. Алина, с ее длинными светлыми косами, бледной кожей и голубыми мечтательными глазами была на редкость хорошенькой, несмотря на переходный возраст. Она все больше походила на отца, физически и морально. Гоген чувствовал, что из всех его детей она одна страдает оттого, что он живет вдали от них и что его бранит материнская родня. "Когда-нибудь я стану твоей женой", - сказала она отцу. Художник растроганно улыбнулся наивным словам невинной девочки. Впоследствии в своем таитянском одиночестве он время от времени будет вспоминать об этих словах - простодушном выражении любви.

Метте выслушивала мужа и отвечала ему ничего не значащими фразами. Горечь переполняла ее сердце, но она таила обиду - она хотела избежать конфликтов. "Господи боже, не будь у меня преданных друзей, что бы со мной стало!"

Гоген смотрел на Метте, смотрел на Алину, на других своих детей. Через три года он вернется и они с женой "поженятся снова". А пока он поцеловал Метте "обручальным поцелуем".

Гоген вернулся в Париж. Семью он повидал. Больше ничто не удерживало его в Европе. И теперь он торопился скорее уехать.

Вокруг него кипели страсти. Путешествие на край света возбуждало умы. "Гоген прав, - говорил Морис, - мы попусту теряем время в этом злосчастном Париже". Однако, как ни красноречив был Гоген, никто не решался сопровождать его в дальние страны. Зато друзья всячески старались устранить с его пути все препятствия. 15 марта по их совету он написал письмо в Департамент народного просвещения и изящных искусств с просьбой, чтобы ему поручили на Таити миссию, аналогичную той, которая была поручена художнику Демулену на Дальнем Востоке. Миссия эта не оплачивалась, но могла облегчить Гогену на островах отношения с властями и позволила бы ему получить скидку на билет в Управлении пассажирского пароходства. Гогену помогали пробираться по бюрократическому лабиринту, и дело двигалось. Клемансо, которого Морису удалось растрогать, написал министру несколько рекомендательных слов. Сын Ренана, Ари[224], сам художник, упросивший Гогена выставить несколько керамических работ и панно "Любите..." в Салоне только что организованного Национального общества изящных искусств, в свою очередь хлопотал за него в министерстве.

Все устраивалось и налаживалось с легкостью, к какой Гоген не привык. Его последние дни в Париже протекали в обстановке триумфа. 23 марта в кафе Вольтера символисты устроили ему прощальный банкет, на котором председательствовал Малларме. Присутствовали почти все его друзья Монфред, Орье, Шарль Морис, Жан Долан, Серюзье, Одилон Редон, Жюльен Леклерк, Море-ас, Ари Ренан, Валетт и Рашильд, Леон Фоше, Могенс Баллин, Карьер...[225] Художника чествовали сорок человек. Первым поднял бокал Малларме: "Господа, начнем с самого важного - выпьем за возвращение Поля Гогена, но при

---

224 Ренан, Эрнест (1823-1892) - французский писатель, философ и историк религии. Ренан, Ари (1857-1900) - французский художник, поэт и художественный критик.

225 Карьер, Эжен (1849-1906) - французский художник и график, символист.

этом отдадим дань восхищения великолепной совести художника, которая в расцвете таланта изгоняет его в дальние страны - к самому себе, чтобы он мог почерпнуть там новые силы". Во время банкета символисты решили, что весь сбор от ближайшей премьеры в Театре искусств пойдет в пользу Гогена и Верлена; к постановке был намечен "Херувим" - большая пьеса, о которой Шарль Морис уже давно оповестил своих друзей, и никто не сомневался, что это будет шедевр драматургии символизма. Спектакль даст Гогену не меньше ста пятидесяти франков. Эта сумма прибавится к тем деньгам, которые ему будут высылать, по мере того как будут продаваться его картины, оставленные им на хранение, три торговца картинами - Жуаян, папаша Танги[226] и скромный коммерсант с улицы Лепик Портье. Материальное существование художника было пока что обеспечено.

В эти дни Гоген вместе с Морисом посетил генерального директора Департамента изящных искусств Ларруме в его кабинете на улице Валуа. Ларруме сообщил им, что на Гогена возложат миссию, о которой он ходатайствовал. Приказ должен появиться 26 марта. К тому же помощник министра по делам колоний обещал художнику рекомендательное письмо к губернатору французских поселений в Океании, а Управление пассажирского пароходства тридцатипроцентную скидку. Вдобавок Ларруме посулил Гогену, что после его возвращения, в котором ему всячески помогут, государство купит у него несколько полотен.

Гоген добился всего, чего хотел. 28 марта он возьмет билет в Управлении пароходства[227] и 1 апреля на пароходе "Океания" выедет из Марселя в свой "рай" на Тихом океане[228]. Мечта, которая с детства влекла Поля к его судьбе, воплощалась в жизнь.

"Вот и кончилась твоя мучительная борьба", - сказал Морис Гогену. Полная победа друга радовала писателя. Он ликовал. Ах, если бы он сам мог уехать! Но вдруг Морис умолк. Гоген шел рядом с ним по улице, глядя в одну точку, в лице ни кровинки. Морис дотронулся до его локтя. Гоген вздрогнул.

- Войдем сюда, - сказал он сдавленным голосом, толкнул дверь первого попавшегося кафе, а там опустился на скамью и заплакал. Морис был потрясен. Он не мог понять, чем вызваны эти слезы. И плакал не кто-нибудь, а Гоген, мужественный человек, дерзновенный смельчак в искусстве, сильнейший среди сильных!

- Никогда еще я не был так несчастлив, - пробормотал наконец художник.

- Как! - воскликнул Морис. - Сегодня, сегодня, когда восторжествовала справедливость, когда пришла слава!

- Выслушай меня, - отвечал Гоген. - До сих пор я не мог обеспечить свою семью и свое искусство... И даже только свое искусство. А сегодня, когда передо мной забрезжила надежда, я острее, чем когда бы то ни было, чувствую, какую чудовищную жертву я принес и как это непоправимо.

И Гоген дал волю своим чувствам. Он рассказал Морису о своей жене, о детях, о ране в сердце, которую он скрывал, мучительно и напряженно оберегая свою тайну, маскируясь жестокостью и иронией, безжалостный к другим и к самому себе. В этот миг, когда заканчивалась целая глава его жизни, он, может быть, предчувствовал, что за две недели до этого в Дании в последний раз в жизни видел жену и детей, что его надежда вновь стать мужем и отцом тщетна, что непоправимое совершилось уже давно.

- Я ухожу, - сказал он Морису, вставая. - Мне надо побыть одному. Встретимся не

---

[226] Танги, Жюль (1825-1894) - торговец картинами и красками, поддерживал официально непризнанных художников, особенно Сезанна.

[227] Этот билет обошелся ему немногим больше восьмисот франков (около 2 тысяч новых франков).

[228] Основываясь на словах Жана Ротоншама, всегда писали, что Гоген выехал из Парижа в Марсель 4 апреля. Но это ошибка (см. досье Гогена в отделе изящных искусств Национального архива, "Движение пакетботов" и "Архивы пассажирского пароходства").

раньше, чем через несколько дней.

Он подобрался, выдавил на губах кривую "надрывающую душу" улыбку.

- Не раньше, чем я смогу простить себе, что плакал в твоем присутствии, - добавил он.

Часть третья
МАСТЕРСКАЯ В ТРОПИКАХ
(1891-1898)

I
СМЕРТЬ КОРОЛЯ

Душа наша - корабль, идущий в Эльдорадо
Малейший островок, завиденный дозорным,
Нам чудится землей с плодами янтаря,
Лазоревой водой и с изумрудным дерном.
Базальтовый утес являет нам заря.
Бодлер[229]. Плаванье[230]

7 апреля пароход "Океания" прошел Суэц, 11 апреля Аден, с 16 по 17 апреля сделал остановку в Маэ на Сейшельских островах. Теперь пароход плыл по Индийскому океану в Австралию, куда он должен был прибыть примерно через две недели[231].

Погода стояла отличная. Гоген прогуливался по палубе, глядя на горизонт, на касаток, которые по временам выскакивали из воды. Его длинные волосы, широкополая шляпа в духе Буффалло Билла сразу выделяли его среди других пассажиров, в большинстве своем колониальных чиновников, с которыми он не сближался. Он беспощадно судил этот "никчемный" люд, которому "государство оплачивает дорогостоящие прогулки с женами и детьми и дорожные расходы. А впрочем, - соглашался он, - люди они славные, и единственный их недостаток, кстати, весьма распространенный, это то, что они - самая настоящая посредственность".

Глядя на этих господ в белых воротничках, окруженных семьями, Гоген еще острее чувствовал одиночество, которое охватило его с той минуты, как он в последний раз пожал руки немногочисленным друзьям, провожавшим его на Лионском вокзале. "На палубе нашего корабля я и в самом деле до странности одинок"...

Гоген купил билет второго класса и теперь жалел об этом. Третий класс располагал почти теми же удобствами, а он сэкономил бы несколько сот франков. Между тем он уже сильно поистратился. Заплатил долги, ссудил пятьсот франков Шарлю Морису, наконец перед отъездом снял комнату на первом этаже на улице Буржуа, 9, по соседству с жильем Монфреда, для Жюльетты Юэ и купил ей швейную машину, чтобы она могла работать на дому. Надо же было случиться несчастью: девушка забеременела...

30 апреля пароход прибыл в Австралию. Следуя вдоль южного берега материка он

---

229 Бодлер, Шарль (1821-1867) - французский поэт.

230 Перевод М. Цветаевой.

231 Маршрут Гогена и остановки, которые пароход делал по пути, мне удалось уточнить благодаря сведениям, полученным в архивах Компании пассажирского пароходства и в Архиве истории военно-морского флота.

поочередно останавливался в Олбани, Аделаиде и Мельбурне, потом двинулся к Сиднею. Австралия разочаровала Гогена. Тринадцатиэтажные дома, паровая конка и кебы, как в Лондоне. "Такие же туалеты и вызывающая роскошь. Стоило делать четыре тысячи лье, чтобы это увидеть!" - сокрушался художник.

До Новой Каледонии - конечного пункта маршрута, по которому следовали суда Управления пассажирского пароходства, - от Сиднея было всего три дня плавания. 12 мая "Океания" бросила якорь в порту Нумеа. Гоген уже в Адене начал беспокоиться, каким образом ему удастся добраться от Новой Каледонии до Таити. Сведения, которые ему удалось собрать, не утешали: быть может, придется ждать пересадки три, четыре, а то и пять месяцев. Поэтому, едва только он высадился в Нумеа, он тотчас отправился к губернатору. Это было очень разумно: увидев бумагу, которая подтверждала миссию Гогена, губернатор разрешил художнику отправиться на Таити на военном пароходе "Ла Вир", отплытие которого было назначено на 21 мая.

"Удивительная колония эта Нумеа! - писал Гоген жене. - Хорошенькая и презабавная. Чиновники, их жены. Семейства, которым при пяти тысячах франков жалованья хватает средств разъезжать в карете, дамы в роскошных туалетах! Разгадать эту загадку немыслимо! А всех богаче освободившиеся каторжники[232], они-то в один прекрасный день и возьмут верх. От всего этого так и подмывает начать прожигать жизнь, заняться подделками, - если тебя осудят, ты в скором времени заживешь счастливо. В общем, каждый ищет счастья, где может".

На "Океании" Гоген плавал с чиновниками, на "Ла Вире" ему пришлось плыть с офицерами. Тут были и моряки и армейцы, которые ехали на место службы. Один из них, капитан Сватон, плыл с Гогеном до Таити, где должен был вступить в командование ротой морской пехоты, расквартированной в Папеэте.

На "Ла Вире" Гоген провел три недели.

Ночью 8 июня, на девятнадцатый день плавания, он заметил вдали зигзаги огней у подножия конусообразной зубчатой горы. Корабль обогнул Моореа, остров по соседству с Таити. Показалась земля, о которой так долго мечтал Гоген.

Часы шли. 9 июня рассвет над Тихим океаном озарил фиолетовые вершины двойного вулканического массива, который, поднявшись из воды, образовал Таити и его гористый полуостров Тайярапу. Вдоль берега тянулись тонкие стволы кокосовых пальм. Там и сям среди зелени виднелись хижины. Пройдя ворота кораллового рифа "Ла Вир", вошел в рейд Папеэте и стал медленно подходить к набережной, рдеющей пятнами листвы брахихитонов. По воде скользили пироги местных жителей. "Это не стоит бухты Рио", - думал Гоген.

Во время плавания он сдружился с капитаном Сватоном. Это должно было облегчить ему первые шаги. Лейтенант Жено, офицер, встречавший Сватона, предложил Гогену свою помощь. Гоген с удовольствием ее принял. Вообще у него не было ни малейшего желания держаться в стороне от европейской колонии в Папеэте. Чем больше у него будет знакомых, тем лучше.

В десять часов утра он попросил аудиенции у губернатора Лакаскада[233], уроженца Мартиники, продемонстрировал ему свой мандат, статьи Мирбо, рекомендательные письма. Лакаскад принял художника, "как важное лицо". Гоген был чрезвычайно польщен[234]. Он

---

232 Новая Каледония была в ту пору местом ссылки. Каторжники отбывали срок наказания на острове Ну, напротив Нумеа.

233 Лакаскад, Этьен-Теодор-Мондезир - в 1886-1893 годах губернатор Таити.

234 Позже Гоген писал по поводу этого свидания с губернатором Лакаскадом, которого он называл "негром": "Художественная миссия... В глазах негра эти слова были просто официальным синонимом шпионажа, и как я ни старался его разубедить, все было тщетно. Окружающие разделяли его заблуждение, и когда я говорил, что мне не платят, никто мне не верил". Но так ли уж точен был Гоген в своем рассказе?

был польщен и уважением, с которым его повсюду встречали. Местная чиновная знать приглашала его к обеду, к нему обращались с просьбой написать портрет. На Таити ни одна живая душа не знала, что на самом деле представляет собой Гоген как художник и как человек, но Гоген, всегда легко воодушевлявшийся, в своей наивности ни минуты не сомневался, что все эти любезности обращены именно к нему.

Он был преисполнен оптимизма, просил Жено познакомить его с представителями различных кругов белого населения в Папеэте. Он решил, что найдет заказчиков.

"Думаю, что в самом скором времени получу заказы на портреты за весьма хорошую плату, - писал он Метте на третий день приезда. - Пока что я заставляю себя уламывать (лучший способ набить себе цену). Так или иначе, похоже, что я здесь начну зарабатывать деньги, а я на это не рассчитывал... Вот что значит реклама, как это ни глупо, но в конце концов - почему бы и нет?"

С тех пор как Гоген высадился в Папеэте, в городе не прекращалось необычное оживление. Туземцы толпами прибывали сюда из отдаленных частей острова и с других островов: последний маорийский король, Поммарэ V, лежал при смерти.

Остров Таити был открыт всего около столетия назад, в 1767 году. Западные государства долго оспаривали его друг у друга, не столько даже из-за желания расширить свои колониальные владения, сколько по религиозным соображениям. На островах, которые они хотели обратить в христианство, английские пасторы и французские миссионеры вели между собой жестокую борьбу, требуя от своих правительств поддержки. В 1842 году Франции удалось установить протекторат над землями королевства Таити, но этот протекторат отнюдь не положил конца политической и религиозной борьбе. Поэтому лет за десять перед тем Франция потребовала от короля Поммарэ V, который царствовал с 1877 года, чтобы он отказался от своих прав. В июне 1880 года он на это согласился, и остров Таити был объявлен колонией. Однако Поммарэ V сохранил свой титул и право на все почести и привилегии, с ним связанные. На его дворце по-прежнему развевался таитянский флаг. Но с его смертью положение дел должно было измениться. Поммарэ умер 12 июня. С ним навсегда исчезла туземная монархия.

Похороны Поммарэ V почти совпали по времени с празднованием 14 июля, которое на Таити длится месяц. Вооружившись блокнотом для зарисовок, Гоген переходил от одной группы маорийцев к другой (все ночи напролет, сидя на траве неподалеку от дворца, они пели песни). Эти сменявшие друг друга хоры волновали художника. А коричневые с оливковым оттенком тела, выделявшиеся на фоне темной зелени - и в первую очередь тела мужчин, среди которых многие были сложены как атлеты, - поражали его своей красотой. И, однако, все это далеко не соответствовало тому, о чем он мечтал. Гоген откровенно признавался, что "растерян".

При содействии лейтенанта Жено он снял хижину возле собора, на краю города, в квартале, прилепившемся к горе. Он часто виделся с Жено, который давал ему уроки таитянского языка и которого он пытался писать и лепить. Но память у Гогена была плохая, язык давался ему с трудом. У него не было той редкой способности к языкам, какой отличался Ван Гог, и он не усваивал их на лету, как Метте.

"Я часто думаю, будь Метте здесь, она вскоре заговорила бы по-таитянски". Не удовлетворяла его и творческая работа. Несомненно, Гоген был не из тех, кто легко и быстро приспосабливается к новой обстановке. В общем - к чему скрывать? Остров Таити его разочаровал.

Недоразумение, на основе которого вначале сложились отношения Гогена с белыми, быстро рассеялось. В среде поселенцев, чиновников, коммерсантов, которая отличалась - это подтверждали все, кому случалось побывать на Таити, - удручающей посредственностью, "усугубленной колониальным снобизмом, которому присуща детская, гротескная, почти карикатурная подражательность", он вновь обрел ту Европу, от которой он надеялся "освободиться". Он надеялся убежать от "царства золота", а в Папеэте он нашел то же поклонение золотому тельцу. Ценность человека определялась здесь его богатством.

Вдобавок жизнь в Папеэте была очень дорога, и тем более дорога для Гогена, что, вопреки его надеждам, он не мог питаться добычей охоты: если не считать крыс и нескольких бродящих на свободе свиней, на острове не было никакой дичи. Винчестер и запас патронов, которые он привез на Таити, оказались здесь совершенно бесполезными. Само собой, не было больше и речи о писании портретов. Пусть не рассчитывают, что Гоген станет "малевать картинки", передающие поверхностное сходство. И по Папеэте пополз слушок: похоже, что этот Гоген "маа-маа" - не в своем уме.

Оставались туземцы, которых Гоген, конечно, противопоставлял белым. К ним он относился с доверием. Пытался их понять, увидеть их глазами своей мечты. "Все эти люди, - писал он Метте, - бродят повсюду, не разбирая дороги, заходят в любую деревню, спят в первом попавшемся доме, едят и т. д. и даже не говорят спасибо - но долг платежом красен. И это их называют дикарями? Они поют, никогда не воруют - я никогда не запираю дверей, - не убивают. Их характеризуют два таитянских слова: "иа орана" (здравствуй, до свиданья, спасибо и пр.) и "онату"[235] (плевать, не все ли равно и пр.), и это их называют дикарями?"

Но и туземцы не оправдали ожиданий Гогена. Маорийцы Папеэте все более или менее напоминали женщину по имени Тити, которая изредка навещала Гогена в его хижине. Дочь англичанина, наполовину белая, она "забыла свое племя". Маорийцы деградировали. Но они ли в этом виноваты? - рассуждал Гоген. Миссионеры убили поэзию этого племени. Они вырвали маорийцев из мрака прошлого[236], истребили древние верования, снесли их храмы - "мараэ" и обучили их "протестантскому ханжеству". Вот они блага цивилизации, "не считая сифилиса".

Смерть Поммарэ V Гоген считал "несчастьем" - несчастьем и для себя лично. Теперь окончательно одержит победу цивилизация ("солдатская, коммерческая и чиновничья", - характеризовал ее Гоген). А маорийская традиция навеки исчезнет[237]. "Проделать такой далекий путь, чтобы найти здесь то самое, от чего я бежал". Нет, не ради этого европеизированного, развращенного Таити приехал он в Океанию, а ради Таити своих грез райского, первобытного острова.

Эта очарованная земля давно исчезла. Но она когда-то существовала должно же было что-то уцелеть от нее. Не могла она сгинуть бесследно, твердил себе Гоген, не могло племя маорийцев "нигде ни в чем не сохранить своего былого величия". Он решил больше не задерживаться в Папеэте. Он пустится на поиски Таити прежних времен. Он отправится в глубь веков. Он погрузится в тайны таитянской ночи.

"Ночная тишина на Таити - самая диковинная из всех здешних диковинок. Такая тишина, которую не нарушает даже птичий крик, существует только здесь. То там, то здесь упадет вдруг большой сухой лист - но он не производит шума. Скорее кажется, будто это прошелестел дух. Туземцы часто бродят по ночам, но босиком и молча. И в той же тишине. Я понимаю, почему эти люди могут часами, днями сидеть, не произнося ни слова, и меланхолично созерцать небо. Я чувствую, как это накатывает на меня, и в такие минуты испытываю необыкновенный покой. Мне начинает казаться, что нет больше суетной европейской жизни и что так будет завтра, и всегда, и во веки веков...".

*

В сорока пяти километрах от Папеэте, на южном берегу острова, в районе Матайеа,

---

235 Собственно "ноа ату" (произносится "ноа ту").

236 Таитянское слово "по" означает и мрак и далекие времена, глубину веков.

237 Пьер Лоти в "Женитьбе Лоти", опубликованной в 1880 году, утверждал, что уже с воцарением Поммарэ V пришел конец Таити "в смысле костюмов, местного колорита, очарования, необычности". Еще в середине века де Бови в своей работе "Состояние таитянского общества" писал о маорийцах: "В том, что от них осталось сегодня, почти не сохранилось следов того, чем они были прежде".

Гоген снял хижину у туземца[238].

В этом районе острова прибрежная полоса была шире, чем в других местах. Склон горы начинался в ста пятидесяти метрах от берега. И от ее подножия до самой воды, где - тесно сбившись, где - поодаль друг от друга, под деревьями, стояли хижины. Рядом с домиком Гогена находилось еще три - в одном из них жил его хозяин, Анани. Множество других хижин проглядывали там и сям среди зелени на фоне красной земли, крытые листьями пандануса и почти неотличимые друг от друга. Из домика Гогена видна была гора, покрытая буйной растительностью, которая становилась почти непроходимой по мере приближения к базальтовым кручам, с которых низвергались ручьи. Хлебное дерево, железное дерево, кокосовые пальмы, "бурао", древесина которого идет на постройку хижин, теснились здесь, вперемежку с лианами и древовидными папоротниками выбегая из густой чащи на склоны горы, которая в этом месте образовала глубокую расселину, поросшую манговыми деревьями с оранжевыми плодами.

Узкая зеленая равнина полого спускалась к лагуне, которую коралловый риф, окружающий остров Таити, защищал от морских бурь. Спутанные ветки пандануса, стройные серые стволы кокосовых пальм отражались в спокойной, прозрачной воде, которая в зависимости от глубины, времени дня и освещения окрашивалась в синие, зеленые, розовые или лиловые тона. Плещущиеся о коралловые рифы волны Тихого океана вдали казались зелеными. Теплый, легкий воздух был пронизан сладким, одуряющим ароматом островной гардении королевы таитянских цветов. В лагуне маорийцы в синих и белых набедренных повязках управляли своими пирогами, иногда с помощью весел, иногда просто направляя их движением своего тела. Справа, на горизонте, вырисовывался скалистый, резной массив острова Моореа...

"Мне немного одиноко", - писал Гоген Метте.

Уехав из Папеэте, чтобы "оканачиться", как это с презрением называли европейцы, Гоген не взял с собой Тити, считая, что слишком европеизированная женщина помешает ему открыть подлинную душу Таити. Теперь он порой часто сожалел об этом, чувствуя себя "немного одиноко", "очень одиноко" среди туземцев Матаиеа. В деревушке никто не говорил по-французски, а Гоген пока еще знал по-таитянски только самые элементарные слова.

Впрочем, "оканачиться" оказалось совсем не так легко, как он предполагал. Издали кажется, что в жизни доброго дикаря нет никаких трудностей. Но, увы, повязать набедренную повязку еще недостаточно для того, чтобы в мгновение ока стать "естественным" человеком. Таитянская земля плодородна и щедра, но не каждому дано пользоваться ее щедротами. Плоды принадлежат всем, но чтобы их сорвать, надо взобраться на дерево, а "майоре" (безвкусный плод хлебного дерева, основа местного питания) быстро приедается. Лагуна кишит рыбой и раковинами, но надо уметь нырять, чтобы оторвать раковины от скалы, уметь удить рыбу и, кстати, отличать съедобную от ядовитой.

Гоген снова взялся за кисти и карандаши. Не без труда. "В новом месте мне всегда нелегко пустить машину в ход". И в самом деле, ему не хватало главного - понимания маорийцев, которые наблюдали за ним, более или менее сторонясь его, и отношения с которыми у Гогена налаживались очень медленно. Смущал его и залитый светом пейзаж с его резкими, кричащими красками. Они "ослепляли" Гогена, он не решался перенести их в их подлинном виде на полотно.

Как-то раз одна из соседок отважилась зайти в хижину к Гогену, чтобы посмотреть на картины, приколотые к стенам, - это были репродукции с картин Мане, итальянских примитивистов и японских художников, которые Гоген повесил рядом с фотографиями Метте и детей. Он воспользовался этим визитом, чтобы сделать набросок портрета таитянки. Но она поморщилась, сказала "айта!" (нет!) и исчезла, однако вскоре возвратилась - она

---

[238] Возможно, что прежде чем поселиться здесь, Гоген прожил некоторое время в Паэа, деревушке примерно па полпути между Папеэте и Матайеа. Но на этот счет мы не располагаем никакими точными сведениями.

уходила, чтобы переодеться в нарядное платье и воткнуть в волосы цветок. Женщина согласилась позировать художнику. Наконец-то Гогену представился случай изучить маорийское лицо. Он писал таитянку с такой страстью, что сам признавался: писание такого портрета[239] для него было равнозначно "физическому обладанию". "Я вложил в этот портрет все, что мое сердце позволило увидеть глазам, и в особенности, наверное, то, чего одним глазам не увидеть". Отныне Гогену будет легче работать. Написав этот портрет, он почувствовал себя маорийцем.

Хотя Гоген со дня на день все больше завоевывал доверие туземцев, это не спасало его от чувства одиночества, усугублявшегося тем, что он не получал писем из Европы. Только один раз от Метте пришло письмо. Отказавшись от прежнего решения, Гоген пригласил к себе в Матаиеа Тити. Но эта женщина, которая была уже чужой для своего племени, быстро ему надоела. По тому, как он скучал в ее присутствии, Гоген мог оценить, "сколь велики были его успехи" на пути к "одичанию". Несколько недель спустя он отослал Тити обратно в Папеэте.

Он все больше осваивался с жизнью маорийцев, которые приняли его в свою семью. Он писал различные пейзажи, но чаще всего людей, которые его окружали. Обнаженная женщина, сидящая на пороге хижины, женщины, беседующие в тени большого дерева, трое таитян, сидящих за миской с "попои" (супом) и фруктами, две женщины, остановившиеся поговорить под прибрежными пальмами, молодой тане (мужчина) на берегу валит дерево топором, а его вахина (женщина) с обнаженной грудью склонилась ко дну лодки, готовясь к отплытию в море"[240].

Все это самые простые мотивы. Ни в их выборе, ни в их трактовке Гоген не стремился к экзотике. Она осталась совершенно ему чуждой. Экзотика свидетельствует о том, что человек не прижился в новой для него среде и всегда выделяет все непривычное, странное, незнакомое, неожиданное. Гоген стремился совсем к другому. Он не писал сцен из жизни туземцев, картин их нравов. Он писал маорийцев в повседневности их будничной жизни, самой простой жизни, той, мысль о которой неотвязно владела им, как неотвязно владеют сознанием человека некоторые мифы - миф утраченного детства, потерянного рая. Оба эти мифа как бы слились для Гогена. Они и гнали по дорогам мира этого мятущегося, беспокойного слепца и ясновидца, все главные, самые важные события жизни которого, по сути, разыгрывались не вне его, а в нем самом. Конечно, Гоген писал то, что он видел, но, как он выразился в связи с картиной "Женщина с цветком", в первую очередь он писал то, чего одним глазам не увидеть. Он писал Эдем, он писал время, когда времени не существовало и когда человечество, переживавшее пору своего детства, вечно юное и совершенно невинное, жило в тесном единении с землей и небом.

На стенах своей хижины Гоген развесил фотографии фризов, украшавших яванский храм в Барабудуре, египетской живописи времен XVIII династии, фриза в Парфеноне. Были у него и фотографии татуировки жителей Маркизских островов. Все это и то, что он видел в Матаиеа, смешивалось перед его взором. Перед его внутренним взором. Белые таитянские лошадки напоминали ему лошадей Парфенона. Но Гогену хотелось "дойти до истоков еще более далеких", вернуться "к детской лошадке - к славной деревянной лошадке". Он писал маорийцев не в движении, а в величавых, неподвижных позах - застывших в навеки остановленном движении. Статичные фигуры, запечатленные во всей полноте своих форм. Вневременной мир, ничем не волнуемый, ничем не тревожимый, над которым парит

---

239 Очевидно, речь идет о картине "Женщина с цветком" ("Вахине но те тиаре"), находящейся в настоящее время в Глиптотеке Карлсберга в Копенгагене.

240 Речь идет последовательно о картинах: "Те фаатурума" ("Обнаженная"), которая в настоящее время находится в Ворчестерском музее искусств, "Те раау рахи" ("Большое дерево"), "Трапеза", которая находится в Лувре, "И раро те овири" ("Под пальмами"), которая находится в Институте искусства в Миннеаполисе, и "Мужчина с топором".

безмолвие грезы.

Великий художник Гоген потому и был велик, что этот ясновидец, погруженный в свои мечты, вечно сомневался в том, хороши ли его картины. "Они кажутся мне отвратительными", - писал он Серюзье. "Иногда они начинают мне нравиться,- писал он Монфреду, - и в то же время мне кажется, что они выглядят ужасно". Но по жестокому закону компенсации, будучи ясновидцем, он был также и слепцом, который ощупью двигался в мире реальных вещей и явлений, каждый раз изумляясь, когда ему приходилось сталкиваться с действительностью, которая его ранила, был "отверженным", которого преследовали неудачи. Денег у него почти не осталось, жил он впроголодь, ожидая, что ему пришлют денег из Франции. "Мне начинает казаться, что в Париже все обо мне забыли". Кроме Монфреда и Серюзье, от которых он получил первые письма в ноябре, никто ему не писал. Из газеты "Фигаро" он узнал, что спектакль, данный в Водевиле "Театром искусств" 21 мая в пользу его и Верлена, сбора не дал. О чем же думает Морис, которому он доверил свои незаконченные дела? Ведь Морис должен ему пятьсот франков, да еще триста франков должен был заплатить Жан Долан за картину, хранящуюся у папаши Танги. И не может быть, чтобы ни Жуаян, ни Портье не продали ни одной его картины. А между тем ему не посылают ни гроша, и ни слова от Мориса! "Не скрою, что у меня есть причины для беспокойства, это опрокидывает все мои расчеты". Гоген просил "милого Серюза", чтобы он выяснил у Мориса, в чем дело, и написал ему, "причем подробно, потому что пока письмо дойдет и на него получится ответ, проходит четыре-пять месяцев".

В разгар этих тревог Гогена еще напугал приступ болезни. Художник вдруг ни с того ни с сего "стал харкать кровью". Он бросился в больницу в Папеэте. Ему прописали горчичники к ногам и банки на грудь и в конце концов остановили кровохарканье. "Легкие у вас в порядке,- заявили Гогену врачи,а вот сердце затронуто". "Его немало потрепали, так что удивляться нечему!" - отозвался на это Гоген. Ему прописали курс лечения дигиталисом. Но лечение, увы, стоило денег. Больничное начальство потребовало, чтобы Гоген платил по двенадцать франков в день. Гоген не мог позволить себе такой расход и, несмотря на возражения врача, как только почувствовал себя немного лучше, вернулся в Матаиеа.

Но этот сердечный приступ подействовал на Гогена угнетающе. "С тех пор как я уехал из Парижа, у меня сплошные препятствия и неудачи да вынужденные расходы на поездки и устройство... Не будь это необходимо для моего искусства (в этом я уверен), я бы тотчас уехал".

Писем все нет. Денег тоже. Полное одиночество. Как жаль, что де Хаан не мог составить ему компанию. Или Серюзье. "Мау тера" (возьми женщину)! говорят Гогену старики туземцы, указывая ему на местных вахин.

Но Гогена сковывала робость. Маорийские женщины его смущали. Здесь разница между полами была выражена гораздо менее четко, чем в Европе. Мужской тип был смягчен своеобразной грацией, зато женщина, привыкшая работать наравне с мужчиной, унаследовала в какой-то мере его физическую мощь. Крепко сколоченная, с широкими щиколотками и запястьями, с узкими бедрами и развитыми плечами, по которым рассыпана густая иссиня-черная грива, она двигалась плавной и сильной поступью красивого животного. Любовные отношения между мужчиной и женщиной были предельно откровенны и недвусмысленны - без тени сентиментальности. Все определяло физическое наслаждение. Любовь маорийцев не знала предварительных ухаживаний, как не знала и стыдливости. "Возьми женщину" - следовало понимать в самом прямом смысле этого слова. Взять женщину - значило взять ее молча, грубо, как при насилии, только насилии ожидаемом и желанном. "А я робел перед ними, по крайней мере, перед теми из них, кто не жил со своими тане".

Одиночество. Единственным развлечением Гогена была его мандолина. Вечером он шел на пляж послушать пение туземцев, пока остров Моореа не скрывался в темноте. Тогда пение умолкало, и слышен был только шум моря: две ноты - короткая и высокая и долгая и низкая - это волны набегали на коралловые рифы, разбиваясь о них. В Океании почти не

бывает сумерек. После яркого света дня без перехода наступает мрак ночи - ночи, в которой бродят "тупапау": демоны, злые духи, души умерших. Спустившись с горы, они мучают спящих туземцев. Поэтому острова радости были также островами страха. По ночам в каждой хижине горел ночник, который должен был отгонять злых духов с мерцающими во тьме глазами.

Угнетенный одиночеством, Гоген стал писать с меньшим подъемом. И вдруг, повинуясь какому-то необъяснимому внутреннему побуждению, он решил предпринять поездку по Таити - поездку без определенной цели. Пересекши остров, он направился к его северному побережью и прибыл в Таравао. Там он одолжил лошадь у местного жандарма и решил продолжать путь в сторону Итиа.

"В маленьком местечке Фаоне, расположенном по соседству с районом Итиа, меня окликнул туземец.

- Эй, человек, который делает людей! - Он знал, что я художник. Хаэре маи та маха! (Отведай нашей пищи! - таитянская формула гостеприимства.)

Я не заставил себя просить, такой приветливой и мягкой была улыбка, сопровождавшая эти слова.

Я спешился, хозяин взял мою лошадь и привязал ее к дереву... Мы оба вошли в хижину, где мужчины, женщины и дети, сидя на земле, разговаривали и курили.

- Куда держишь путь? - спросила меня красивая маорийка лет сорока.

- В Итиа.

- Для чего?

Не знаю, что мне пришло в голову, - может, сам того не подозревая, я назвал подлинную цель моей поездки, остававшуюся тайной для меня самого.

- Чтобы найти женщину, - ответил я.

- В Итиа много красивых женщин. Ты хочешь красивую?

- Да.

- Я могу предложить тебе такую. Это моя дочь.

- Она молодая?

-Да.

- Здоровая?

- Да.

- Ну что ж. Приведи ее.

Женщина вышла. А четверть часа спустя, когда подали угощение - плоды хлебного дерева, креветки и рыбу, - она вернулась с рослой девушкой, которая держала в руке маленький сверток. Сквозь платье из совершенно прозрачного розового муслина видна была золотистая кожа ее плеч и рук. Задорно торчали два острых соска. Ее очаровательное лицо ничем не напоминало тот тип, который я до сих пор постоянно встречал на острове, и волосы у нее были совершенно необычные - густые и слегка вьющиеся. В солнечных лучах все это создавало оргию оттенков хрома. Потом я узнал, что она была родом из Тонга. Она села рядом со мной, и я задал ей несколько вопросов:

- Ты не боишься меня?

- Айта (нет).

- Ты согласна навсегда поселиться в моей хижине?

- Эха (да).

- Ты когда-нибудь болела?

- Айта.

И все. Сердце мое билось, а девушка невозмутимо раскладывала передо мной на земле на банановом листе предложенное мне угощение. Я ел с большим аппетитом, но я был смущен, я робел. Эта девушка - ребенок лет тринадцати[241] - и чаровала и пугала меня. Что

241 Маорийские женщины созревают на пять-шесть лет раньше, чем женщины в странах с умеренным климатом.

происходило в ее душе? И я - я, такой старый для нее, - колебался, когда надо было скрепить этот договор, столь поспешно задуманный и заключенный. Быть может, размышлял я, это мать приказала ей, заставила ее. А может, это сделка, которую они обсудили между собой. И, однако, я отчетливо различал в этом большом ребенке черты независимости и гордости, столь характерные для ее расы.

Но в особенности меня успокоило то, что вся ее повадка, весь ее вид неопровержимо свидетельствовали о той ясности духа, которая у очень молодых людей сопутствует честным, достойным похвалы поступкам. А насмешливая складка возле рта, впрочем, доброго, чувственного и нежного, говорила о том, что опасаться надо не ей, а мне...

Не стану утверждать, что, когда я вышел за порог хижины, мое сердце не сжималось от странной тоски, щемящей тревоги, от самого настоящего страха".

В сопровождении семьи Техуры - так звали юную маорийку - Гоген вернулся в Таравао со своей "невестой".

"Я возвратил жандарму его лошадь. Жена жандарма, француженка, бесхитростная, но и бестактная, сказала:

- Как! Вы берете с собой эту потаскушку?

Ненавидящим взглядом она раздевала девушку, а та выдерживала этот экзамен с гордым безразличием. Я на мгновение загляделся на символическое зрелище, какое являли собой эти две женщины: это были распад и юное цветение, закон и вера, искусственность и природа, и первая обдавала вторую нечистым дыханием лжи и злобы. Это было также столкновение двух рас, и я устыдился своей. Мне казалось, что она пятнает чистое небо тучей грязного дыма. И я быстро отвел взгляд от француженки, чтобы успокоить и утешить его блеском живого золота, которое я уже успел полюбить.

Прощание с семьей состоялось в Таравао, в лавчонке у китайца, который торгует всем понемногу - людьми и животными. Сев в почтовую карету, мы с моей невестой проехали двадцать пять километров до моего дома в Матаиеа.

Жена моя была немногословна, задумчива и насмешлива. Мы все время наблюдали друг за другом, но она оставалась для меня непроницаемой, и вскоре я оказался побежденным в этом поединке. Напрасно я давал себе слово следить за собой, держать себя в руках, чтобы не терять наблюдательности. Вопреки моим самым твердым решениям, мои нервы не выдерживали, и вскоре Техура читала во мне как в открытой книге. Таким образом, я познал - в какой-то мере на собственном горьком опыте - огромную разницу между душой островитян и латинской, и в особенности французской душой. Душа маорийки отдается не легко - нужно набраться терпения и долго изучать ее, чтобы ею овладеть. Вначале она ускользает от вас, всеми способами сбивает вас с толку, маскируясь смехом и переменчивостью настроений. И когда вы поддаетесь на эти внешние уловки, принимая их за чистую монету, за глубинную суть, и забываете разыгрывать роль, она изучает вас со спокойной уверенностью, кроющейся за смешливой беспечностью и младенческим легкомыслием.

Прошла неделя, и все это время я "ребячился" так, как сам не ждал от себя. Я любил Техуру и говорил ей об этом, а она улыбалась в ответ - она и без того это знала! Казалось, она тоже меня любит - только она мне этого не говорила. Но иногда ночью по золотистой коже Техуры пробегали вспышки...

На восьмой день - помнится, в этот день мы впервые вместе вошли в хижину - Техура попросила у меня разрешения поехать в Фаоне повидаться с матерью: я ей раньше это обещал. Я грустно смирился с ее отъездом и, положив ей в узелок из носового платка несколько пиастров, чтобы она могла оплатить дорожные расходы и купить рома для отца, проводил ее к почтовой карете. Мне казалось, что я прощаюсь с ней навсегда. Вдруг она не вернется?

Одиночество гнало меня из моей хижины. Работа валилась из рук.

Прошло много дней - и она вернулась. И тут началась безоблачная счастливая жизнь, основанная на уверенности в завтрашнем дне, на обоюдном доверии и взаимной любви.

Я вновь взялся за работу, в моем доме поселилось счастье: я вставал вместе с солнцем, сияя, как оно само. Золотистое лицо Техуры озаряло радостью и светом и мой дом и окрестный пейзаж. Все чувства в нас обоих были так изумительно просты! Как прекрасно было по утрам идти вместе купаться к соседнему ручью - так, наверное, шли в раю первый мужчина с первой женщиной.

Таитянский рай, наве наве фенуа...".

И до появления Техуры Гоген любил, вернее, хотел любить маорийцев. Но как он ни старался, он не мог проникнуть в душу этой расы. Он слушал песни на берегу или в хижинах, как слушают музыку другого мира. Но с тех пор как Техура вошла в его повседневную жизнь, все изменилось. Деревенские старики недаром твердили ему: "Мау тера" - есть порог, который нельзя переступить без физической близости. Любовь к Техуре и любовь к маорийцам слились в одно и равно расцветали в нем. Чувства проникают глубже, чем разум. Девушка была прекрасна, прекрасна своей первобытной красотой, прекрасна своей первобытной младенческой, капризной, но и серьезной, созерцательной душой, полной глубокой вдумчивости, какая присуща именно детям, и сквозь душу Техуры Гогену открывалась душа маорийской расы, она звучала в теле дикарки Техуры, как звучала в песнях на пляже, когда начинало смеркаться и в маленьких хижинах Матаиеа зажигались ночники.

Гоген непрерывно писал девушку. Писал ее вдвоем с подругой на прибрежном песке. Писал ее в кресле, со склоненным, задумчивым лицом[242]. Во весь рост с маорийским мальчуганом на плече, в очень странной, проработанной композиции "Иа Орана Мариа" ("Аве Мария"). Меньше десяти лет назад в биржевой конторе Галишона Гоген писал столбцы цифр. В час, когда с горы спускаются злые духи - "тупапау", элегантный биржевой маклер в цилиндре выходил на улицу Лаффит. Теперь он носил набедренную повязку. Но из-под зеленоватых век струился все тот же чуть косящий взгляд. Еще в те оседлые годы Гоген начал свое великое путешествие. Два года назад в Бретани в своем "Желтом Христе" он воздвиг в корнуоллской деревне грубое деревянное распятие - своего рода христианский тотем. Теперь, в конце 1891 года, он написал "Иа Орана Мариа" - картину, где он перенес в таитянскую обстановку сцену, вдохновленную христианством: две молодые маорийки, сложив руки, молятся деве Марии, которую Техура одарила своим лицом, как два персонажа с барабудурского фриза одарили своими позами молящихся маорийских девушек, как впоследствии фигуры, написанные неизвестным фиванским художником эпохи XVIII династии одарят своими позами сидящих на скамье маорийских женщин в праздничных одеждах на картине "Та матете". Перед взглядом Гогена - чуть косящим взглядом из-под зеленоватых век - все смешивается, перегруппировывается, все возрождается и начинает жить новой жизнью. Долгое путешествие на месте продолжается. Корабль-призрак плывет к раннему утру мира[243].

"Нет, у меня есть цель, - писал Гоген в ответ на одно из писем Метте, - и я все время иду к ней, накапливая материал. Конечно, каждый год что-то меняется, но все эти изменения совершаются в одном направлении".

Метте побывала в Париже. Там она убедилась, что муж ее в самом деле приобрел известность. Неужели за картины Поля и вправду можно выручить деньги? Метте отправилась к Жуаяну и Портье и у каждого взяла по нескольку картин. Она решила

---

242 Две картины, о которых здесь идет речь, это "Таитянки на пляже" (Лувр) и "Грезы" (Нельсоновская галерея искусств в Канзас-Сити).

243 "Иа Орана Мариа" находится в музее Метрополитен в Нью-Йорке, "Та матете" ("Рынок") в Музее искусств в Базеле.

попытаться их продать. И верно - по возвращении в Данию ей удалось за девятьсот франков продать художнику Филипсену "Этюд обнаженной", которую Гоген написал когда-то с их служанки Жюстины. Но во Франции до Метте дошли также слухи, которые в некоторых кругах распространялись о Гогене, - что его путешествие в Океанию затеяно, мол, просто ради рекламы, что он хотел чем-нибудь выделиться и что, как сказал Ренуар, незачем скрываться на Таити - писать можно ничуть не хуже и на бульваре Батиньоль. Метте так и заявила Гогену: уж если он намерен делать карьеру на поприще искусства, пусть спокойно делает ее во Франции.

"Я художник - ты права, ведь ты не глупа, - писал Гоген жене. - Я великий художник, и я это сознаю. Именно потому, что я великий художник, мне пришлось столько выстрадать ради того, чтобы следовать собственным путем. Иначе я считал бы себя преступником, каким, впрочем, меня считают многие. Но не все ли равно! Больше всего меня огорчает не нужда, а постоянные помехи моему творчеству - мне не удается писать так, как я чувствую, как я мог бы писать, если бы нужда не связывала мне руки. Ты говоришь, что я поступаю неправильно, живя вдалеке от центра искусства. Нет. Я поступаю правильно, я давно уже знаю, что я делаю и почему. Центр моего искусства в моем мозгу, и больше нигде, в том и состоит моя сила, что другие не могут сбить меня с пути, ведь я пишу то, что во мне. Бетховен был глух и слеп, он был изолирован от мира, вот почему в его произведениях и чувствуется художник, живущий на своей особой планете".

То, что удалось продать "Этюд обнаженной", обрадовало Гогена.

"Это доказывает мне, что в ту пору у меня был кое-какой талант, да и деньги у меня были. Ты в свое время немало бранилась, что я покупаю картины. Как обычно поступают мужья, в особенности биржевики? Ходят по воскресеньям на бега, или в кафе, или к девкам, потому что мужчине нужно развлечься, иначе работа у него не клеится, да и вообще так уж устроен человек. А я работал - и в этом было мое развлечение".

Поскольку Метте удалось продать картину, пусть попытается продать еще. Гоген уговаривал ее поискать любителей в Дании. "Иногда довольно прихоти какого-нибудь богатого и влиятельного человека, чтобы составить имя художнику. Но эта прихоть часто рождается оттого, что ее подготавливают исподволь, изо дня в день... Чем больше тебе удастся продать, тем больше денег ты выручишь и тем вернее обеспечишь будущее".

Метте получила от Филипсена девятьсот франков. Гоген знал об этом, был очень доволен, но ни гроша не требовал от жены. Но зато он не знал, что в мае, почти год назад, Шарль Морис, который так и не вернул ему пятисот франков, получил у Жуаяна еще восемьсот пятьдесят три франка двадцать пять сантимов. Морис уверил Серюзье, что послал Гогену два письма, причем одно из них ценное. Художник так и не получил этих писем по той простой причине, что они никогда не были отправлены. Представление "Театра искусств" в пользу Гогена и Верлена не только не принесло никаких денег, оно разрушило веру символистской школы в Мориса. "Херувим", о котором автор так восторженно рассказывал друзьям много месяцев подряд, смутил всех тех, кто заранее готов был им восхищаться. Писатель, прожигавший свою жизнь в любовных похождениях, попойках, болтовне в литературных кафе и носившийся с неимоверным количеством разных планов, осуществление которых постоянно откладывал, так и не оправился от этого удара. Он все больше увязал в беспорядочном богемном существовании, вечно искал у кого бы занять лишний франк, порой поступая весьма неблаговидно. Он уже давно растратил тысячу триста франков, которые должен был Гогену. Откуда ему было взять денег, чтобы вернуть долг?

А Гоген в Матаиеа сидел уже почти без гроша. Неужели ему придется вернуться в Европу? Питаясь одними фруктами, корнеплодами и рыбой, он сильно исхудал. Волосы его поседели. Он все не терял надежды, что очередная почта доставит письмо и деньги от Мориса. Но тщетно! Тревога снедала его. Что делать? Просить о возвращении на родину? Он не мог решиться на это, ждал очередной почты, цеплялся за любую призрачную надежду, чтобы отсрочить решение. Такая надежда забрезжила у него, например, когда в мае 1892 года капитан какой-то шхуны пообещал, что через несколько недель закажет ему портрет.

Было бы слишком глупо прервать свое пребывание здесь, когда он еще только на подступах к своему таитянскому творчеству. Силой кипучего воображения ("у меня от него голова лопается") ему только что удалось открыть старую островную религию. Перед ним мало-помалу вставала древняя таитянская страна, та, о которой он мечтал и которую наконец увидел увидел так явственно, что запечатлевал ее на своих полотнах. Куда он идет? Он и сам этого не знал. Его картины "пугают" его, признавался он Серюзье. "То, что я сейчас пишу, уродливо, безумно. Господи, зачем ты создал меня таким? Надо мной тяготеет проклятие".

Адвокат из Папеэте, мэтр Гупиль, дал Гогену почитать книгу "Путешествие на Острова Великого океана", опубликованную за полвека до этого, в 1837 году, в Париже консулом Соединенных Штатов в Полинезии Жаком-Антуаном Моренхаутом[244]. Этот консул сыграл решающую роль в деле колонизации Таити. В частности, он способствовал тому, что некоторые местные вожди согласились на французский протекторат. Уже в его времена древняя страна Таити переживала период агонии. Но искренний и глубокий интерес консула к туземцам позволил ему кое-чему научиться у последнего из таитянских жрецов, "харепо", которые в былые времена "в безмолвии ночного мрака" изустно передавали священную маорийскую традицию своим соплеменникам, которые по врожденной лености и беспечной готовности подчиняться ходу событий, не пытались защитить ее от воли миссионеров.

Туземная религия исчезла с этим последним жрецом. Случилось это полвека назад. Воспоминание о ней сохранилось только в книге Моренхаута. Когда лейтенант Жено рассказал Гогену, что от статуй и священных памятников, которых раньше на острове было великое множество, не осталось почти ничего, что большая часть "мараэ" была разрушена, что, конечно, в джунглях кое-где еще прячутся скульптурные изображения - "тики", но их мало и они неинтересны, художник был горько разочарован. Лишенный своих богов, маорийский народ казался ему увечным, утратившим свои корни и свою душу. Первобытная раса Океании, которую Гоген надеялся найти в неприкосновенности, терялась в бездне времени. Читая Моренхаута, художник испытал то, что в свое время испытал американский консул, впервые познакомившись со священным текстом древних маорийцев. "Это удивительное открытие меня потрясло и мне показалось, что перед моими глазами вдруг поднялась завеса, до той поры скрывавшая прошлое". Эта завеса поднялась и для Гогена. Варварские боги ожили, прошлое воскресло, человек предстал в своей первозданной цельности, врожденной чистоте, невинности, которая позволяла ему вступать в прямой контакт с великими космическими силами. То "обнаженное", "извечное", что так притягивало Гогена, чей зов шел к нему из глубины веков, из недр его памяти, где оживали характерные маски статуэток инков, он нашел в книге Моренхаута. Из книги консула он выписал отрывки иногда переписывая их слово в слово, иногда делая выжимки - в особую тетрадь, которую украсил акварелями и рисунками[245]. Этот атеист, который в Бретани кружил вокруг неуклюжих и трогательных распятий старых арморриканских скульпторов, всегда испытывал тоску по святыням. Теперь для него в горах вновь возродились "мараэ". Гигантские идолы восстали среди зарослей кенафа и "бурао". Страна Таити вновь переживала свое прошлое, прошлое, которое сливалось с настоящим и поглощало его...

Теперь Гоген везде и во всем ощущал душу маорийской расы. Среди туземцев Матаиеа один он - он, европеец, - был посвящен в забытые тайны, и отныне все твердило ему об этих тайнах. Гоген слушал рассказы Техуры. И ему казалось, что все то, что он вычитал у Моренхаута, ему сообщила Техура. Бронза ее тела обретала слово.

"Древние боги нашли прибежище в памяти женщин", - невозмутимо утверждал

---

244 Моренхаут, Жак-Антуан, по происхождению фламандец, французский политический деятель, коммерсант, знаток фольклора Полинезии.

245 Эта тетрадь с заглавием па обложке "Старинный культ маорийцев" принадлежит Лувру. Она была опубликована и очень серьезно прокомментирована Рене Юигом.

художник-ясновидец. Похожая на идола, в которого вселился дух божества, Техура лежала, вытянувшись на кровати, возле которой по ночам зажигался ночник против злых духов "тупапау". "Таароа было имя его (то есть имя главного божества), и покоился он в пустоте"...

Гоген прислушивался к умолкнувшим голосам. Писал то, чего уже не существовало: места жертвоприношений, где высились ступенчатые пирамиды "мараэ", огромных каменных идолов со зловещими лицами, вокруг которых туземцы - сельская идиллия - сходились играть на дудочках ("виво"). На синеватом фоне горы, на котором покачивали желтыми султанами кокосовые пальмы, он писал обнаженную Техуру в образе королевы ареойцев - секты, которая в древние времена устраивала на острове свои ритуальные оргии[246].

Со времени приезда на Таити Гоген написал тридцать две картины. Но сможет ли он прожить дольше в этой стране варварских богов? Без гроша в кармане, он с замиранием сердца ждал приезда капитана, который посулил заказать ему портрет. Если бы Гогену удалось написать этот портрет и получить за него такую плату, на какую он надеялся, он смог бы еще на год остаться в Океании и закончить задуманные картины. "Теперь, когда дело пошло на лад и я на коне, приходится уезжать - есть, от чего взбеситься". В начале мая 1892 года мэтр Гупиль заплатил ему тридцать шесть франков семьдесят пять сантимов "за одиннадцатидневное хранение мебели и разных вещей", принадлежавших обанкротившемуся китайцу из Папеэте. Но этих денег не могло хватить надолго, хотя художник и свел к минимуму расходы на еду. И вскоре, "скрежеща зубами от ярости как безумный", он вынужден был обратиться к губернатору с просьбой о возвращении в Европу. К счастью, у дверей губернаторского двора он встретил некого капитана - из тех не лишенных авантюризма моряков, которые курсировали в прибрежных водах. Художник пожаловался ему на свои затруднения. "И вдруг этот малый, - в восторге рассказывал Гоген, - сует мне в руку четыре сотни франков со словами: "Дадите мне картину, будем в расчете". К губернатору я уже не пошел и теперь снова жду денег из Франции". Но несколько дней спустя, 12 июля, Гоген все-таки направил дирекции Департамента изящных искусств в Париже просьбу о репатриации. Как видно, он считал, что пройдет много месяцев, прежде чем он получит ответ. Так или иначе, предосторожность была разумная.

"Мне сообщили из Парижа, - писал Гоген Метте, - что ты собиралась продать несколько картин в Дании. Если тебе это удалось, постарайся послать мне малую толику того, что ты выручила". Метте и в самом деле, после того как ей удалось продать "Этюд обнаженной", энергично занялась продажей картин - и тех, что были написаны ее мужем, и тех, что составляли его коллекцию. Кстати, и теми и другими весьма интересовался Эдвард Брандес из газеты "Политикен", за которого после развода с Фритсом Тауловым вышла сестра Метте, Ингеборг. Уверяя, что действует так из благотворительности, чтобы помочь несчастной свояченице, Брандес одну за другой приобретал у нее понравившиеся ему картины. За два года он купил у Метте на десять тысяч франков картин.

Гоген узнал об этом гораздо позже. А пока что почтовые пароходы прибывали в Таити, но от Метте не было ни строчки. Когда же она наконец написала мужу, то лишь затем, чтобы попросить его прислать картины, написанные на Таити. Ближайшей весной Метте собиралась устроить выставку в Копенгагене, и организаторы считали полезным, чтобы на выставке были представлены последние работы художника. Метте кратко упомянула, что продала еще четыре картины за полторы тысячи франков. "Вот вам и денежки, скажете вы, - писал Гоген Монфреду. - Но бедная женщина сама в них нуждалась. Ничего, в Дании дела мои идут на лад". Он хорохорился. "В Дании уйма дураков, которые верят газетам, поэтому теперь они считают, что у меня есть талант". До конца года он обещал Метте прислать "несколько хороших картин" для выставки, если только "я не буду вынужден сам их

---

[246] Речь идет последовательно о картинах "Парахи те мараэ" ("Тут находится мараэ"), "Матамуа" ("В былые времена"), "Ареарea" ("Веселые проделки"), принадлежащая Лувру, и "Те аа но ареуа" ("Королева ареойцев").

доставить". Но пересылка стоила дорого. Где взять денег? До сих пор ему удалось - и то благодаря любезности жандарма, возвращавшегося в метрополию, - переправить во Францию только одну картину: "Вахине но те тиаре". Монфред получил ее в июле. В сентябре Жуаян собирался выставить ее у Буссо и Валадона. Монфред нашел картину "великолепной". Тем лучше, отозвался Гоген. "Вы же понимаете, - писал он с иронией, - ее писал я, а не Бернар".

Гоген страдал от нужды, от болезни ("Сердце у меня, как видно, никуда не годится. С каждым днем мне становится хуже. Любая неожиданность, любое волнение совершенно выбивают меня из колеи. Когда я еду верхом, при малейшем рывке я на четыре-пять минут замираю от страха"). И все-таки он продолжал "яростно и упорно" "идти против ветра", и когда у него не было красок, резал по дереву. Теперь он создал уже около пятидесяти картин. "Я затеял свое путешествие с серьезными намерениями, а не ради того, чтобы прогуляться, - писал он Метте. - Его надо довести до конца, чтобы мне сюда больше не возвращаться. И на этом моим странствиям конец", - уверял он жену, хотя тут же оговаривался, что, будь у него тысяча франков, он немедля отправился бы через весь Тихий океан за полторы тысячи километров от Таити, на Маркизский архипелаг, на остров Доминику - "маленький островок, где насчитывается всего трое европейцев и где островитянин не так загублен европейской цивилизацией...". На Маркизах он сможет есть досыта, объяснял Гоген, как всегда стараясь оправдать свои затеи вескими экономическими аргументами. "Там целого быка можно купить за три франка или просто подстрелить его на охоте".

Но в ожидании тех времен, когда ему представится случай пожить несколько месяцев среди татуированных туземцев Маркизских островов, Гоген продолжал писать Таити, царство Техуры. Однажды он уехал в Папеэте и задержался в дороге. Вернулся он в час ночи. В хижине было темно и тихо. Испугавшись, что Техура бросила его, он быстро чиркнул спичкой и увидел, что девушка, голая, неподвижно распласталась на кровати, и глаза ее расширены от страха. Так как Техуре нечем было зажечь ночник, она не могла защититься от "тупапау". Ужас во взгляде девушки, ее потерянность и оцепенение потрясли Гогена, который едва осмеливался шевельнуться. В трепещущем пламени спички девушка не сводила с него неподвижного взгляда. Преображенная первобытным страхом, она была хороша, как никогда, но при этом, как никогда, далекая, чужая. Казалось, перед Гогеном разверзлись ночные бездны маорийской души. Полумрак наполнился зловещими тенями, миражами, живущими в подсознании племен. "В конце концов она очнулась, я делал все, чтобы успокоить ее, ободрить... И ночь была нежна - нежная, страстная ночь, ночь в тропиках".

Эта странная минута породила одно из лучших творений Гогена таитянского периода - "Манао тупапау" ("Дух умерших бодрствует"), где он изобразил Техуру такой, какой увидел ее тогда, - нагую, распростертую на желтом тканевом одеяле. В глубине, на фиолетовом фоне, где поблескивают зеленоватые искры, маячит пугающий силуэт видения. В этой картине, объяснял Гоген, он хотел показать "связь живой души с душами мертвых".

Манао тупапау.

Души мертвых бодрствовали не только вокруг юной маорийки, но и вокруг бывшего биржевика, который ходил в набедренной повязке из ткани "тана".

*

Гоген по-прежнему делал все возможное, чтобы "одолеть невзгоды".

Летом он продал две деревянные скульптуры за триста франков.

Еще триста франков он получил в ноябре от Монфреда, который нашел покупателя на одну из хранившихся у него картин. На эти шестьсот франков, да еще на то, что удалось занять в долг, Гогену пришлось перебиваться много месяцев. Положение его становилось безвыходным. Почти лишенный средств к существованию, он не мог больше оставаться на островах, но не мог и возвратиться в Европу. Его ходатайство о репатриации, переданное Департаментом изящных искусств Министерству колоний, а этим министерством местной администрации французских поселений в Океании, пока еще удовлетворено не было - об

этом ему сообщили в начале декабря. "А пока суд да дело я прозябаю в нищете - этого и следовало ждать, нечего, мол, было сюда соваться". Все эти тревоги тяжело отзывались на здоровье Гогена, еще подорванном недоеданием. "Хотя я не могу сказать, что я по-настоящему болен, все жилы во мне, когда-то такие прочные, натянуты до того, что вот-вот лопнут". Гоген страдал желудком, стал хуже видеть, и вообще, по его собственным словам, "очень постарел, и как-то странно - сразу".

К концу декабря он настолько пал духом, что стал подумывать о том, чтобы по возвращении во Францию бросить живопись, "которая не может меня прокормить". "За полтора года, - писал Гоген Монфреду, - я не получил за свои картины ни гроша, а, стало быть, я стал продавать меньше, чем прежде. Вывод сделать легко". И, однако, в одном Гоген был неправ. Несколько недель спустя, в феврале 1893 года, он с изумлением прочел выписку из счета, которую ему прислал Жуаян, где в разделе "дебет" фигурировала сумма. врученная торговцем Шарлю Морису. "Меня просто сразила весть об этой краже, потому что это самая настоящая кража". С той же почтой пришло письмо от Метте. В начале декабря один артиллерийский офицер, возвращавшийся во Францию, любезно согласился взять с собой восемь таитянских полотен, которые Гоген отобрал для выставки. Теперь Метте собиралась устроить новую выставку, на этот раз в Англии. Кроме того, она сообщала мужу, что ей удалось совершить еще одну сделку - она продала бретонский пейзаж одному шведу за восемьсот пятьдесят франков. "Если бы ты прислала мне денег из вырученных за последнюю картину, ты спасла бы мне жизнь, - ответил ей Гоген. - ...Ты предпочла оставить деньги себе, я тебя не браню, но в этом не было крайней необходимости".

Гоген больше не мог работать. Он написал еще несколько картин: большое полотно с обнаженной фигурой у ручья по мотивам маорийской мифологии "Хина Тефату" ("Луна и Земля")[247], пейзажи с идолом в центре, портрет Техуры с веером, символизирующим древнюю таитянскую знать, великолепный этюд со спины женской фигуры, локтями и коленями упершейся в песок пляжа ("Отахи" "Одинокая"), - и отложил кисть. За время своего пребывания на Таити он написал шестьдесят шесть картин, не считая "нескольких ультрадикарских скульптур". Он устал, теперь он только "наблюдал, размышлял и делал заметки", записывая кое-какие воспоминания о днях, проведенных среди благоухающей таитянской природы - "Ноа Ноа", и занося в тетрадь, которую он стал вести для своей дочери Алины, мысли, рассуждения, "разрозненные, бессвязные заметки, похожие на сны, на жизнь, слагающуюся из отдельных кусочков[248]. На Маркизские острова ему поехать не удастся - тем хуже. Придется вернуться во Францию приводить в порядок свои дела. Монфред сообщил ему о смерти Альбера Орье. Молодой критик, еще в прошлом году снова писавший о Гогене в статье "Символисты", которая появилась в апреле в "Ревю энсиклопедик", в октябре скоропостижно скончался от брюшного тифа в возрасте двадцати семи лет. "Право, нам не везет. Сначала Ван Гог (Тео), потом Орье, единственный критик, который хорошо нас понимал и в один прекрасный день был бы нам очень полезен". Все шло из рук вон плохо. Уже два месяца Гоген не видел другой пищи, кроме плодов хлебного дерева и воды. Он не мог позволить себе даже чашки чая - у него не было денег на сахар. Решено, по возвращении он бросит живопись и будет хлопотать о месте преподавателя рисунка в лицеях. "Это обеспечит нам кусок хлеба на старости лет, дорогая Метте, и мы заживем счастливо вместе с нашими детьми, не зная больше тревоги о будущем".

Гоген попросил Серюзье взять на себя хлопоты о его возвращении. Но неуверенный в том, увенчаются ли эти хлопоты успехом, он попытался найти на Таити кого-нибудь, кто

---

247 В настоящее время находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

248 "Эти размышления, - писал Гоген, - отражения моего "я". Она (Алина) тоже дикарка. Она меня поймет. Сумеет ли она извлечь пользу из моих мыслей? Не все ли равно! Я знаю, что она любит своего отца и уважает его. Так пусть у нее останется память о нем". "Тетрадь для Алины" в настоящее время находится в Библиотеке искусства и археологии в Париже.

ссудил бы ему денег на дорогу под залог нескольких картин. В марте он наконец нашел такого человека. Первого мая из Папеэте в Нумеа отходил сторожевой корабль "Дюранс". Гоген решил, "чего бы это ни стоило", отплыть на этом судне.

В это время в Париже друзья художника тоже не сидели сложа руки. По просьбе Серюзье критик Роже Маркс и жена художника Рансона из группы Наби предприняли кое-какие шаги. 25 февраля Министерство внутренних дел согласилось взять на себя расходы по репатриации "художника, оказавшегося в бедственном положении".

С другой стороны, Шуффенекер, несмотря на свою ссору с Гогеном и дружескую преданность и сострадание, какие он питал к его жене, написал Метте письмо, выговаривая ей, что она не сделала "великодушного жеста" по отношению к мужу и не послала ему части вырученных ею денег. В апреле Гоген был удивлен и обрадован, получив от жены семьсот франков. "Получи я их месяцем или двумя раньше, я поехал бы на Маркизы, чтобы завершить свою работу - самую интересную из всех! - воскликнул он. - Но я устал... Я поставил крест на Маркизах и в ближайшее время явлюсь в Париж".

А вскоре в Папеэте пришло уведомление о его репатриации.

*

Корабль удалялся от берега - Гоген смотрел в бинокль на плачущую на пристани Техуру. Потом Папеэте скрылся из глаз. Остров Таити исчезал вдали. Художник уже забыл все свои разочарования и горести. "Прощай Таити, гостеприимная, прекрасная земля, родина свободы и красоты! Я расстаюсь с тобой, став на два года старше и помолодев на двадцать лет". Ноа Ноа. Райский остров скрылся за горизонтом.

II
ЯВАНКА АННАХ

Для наблюдателя человеческой души самое волнующее в каждой личности это то, каким способом она обманывает самое себя.
Монтерлан

Когда 1 сентября Гоген возвратился в Париж, город был еще погружен в летнюю дремоту. Монфред отдыхал в Лозере, Серюзье в Юэльгоа, в Бретани, Шуффенекер в Дьеппе. Тихое, печальное возвращение - как оно было непохоже на его отъезд на острова два года назад!

Да и само путешествие на родину проходило в довольно неблагоприятных условиях. В Нумеа художнику пришлось двадцать пять дней дожидаться парохода во Францию - только 16 июля "Арман Беик" наконец прибыл в порт. На палубе его теснилось триста человек команды. Гогену отвели так мало места "пятьдесят квадратных сантиметров, где я мог двигаться", - что он в конце концов решил заплатить разницу в четыреста франков и перебраться во второй класс. В Сиднее стояли холода. Плохая погода держалась до самых Сейшельских островов. В Красном море, наоборот, началась невыносимая жара. Три пассажира умерли в пути - их тела сбросили в море. Утомительное, дорогостоящее плавание. Когда 30 августа[249] Гоген сошел на берег в Марселе, в кармане у него оставалось всего четыре франка. К счастью, Монфред и Серюзье соединенными усилиями постарались помочь Гогену. На марсельской почте его ждало письмо от Монфреда, посланное до востребования, в котором тот указывал адрес парижских друзей Серюзье - Гоген должен был отправить им телеграмму. В ответ на эту телеграмму ему тотчас прислали из Парижа немного денег.

Но зато от Метте не было ни слова. Первое письмо Гоген написал ей, еще находясь на борту "Армана Бейка". Второе отправил из Парижа, но опять не получил ответа. Вот уже

---

249 А не 3 августа, как это часто писали.

пять месяцев он не имел никаких вестей от семьи. Он надеялся, что, узнав о его возвращении, Метте или старший сын, Эмиль, приедут в Париж. Он рассчитывал, что на выставке в Копенгагене могли быть проданы некоторые картины и Метте отзовется на его просьбу и немного поможет ему, пока он готовится "нанести решительный удар, от которого зависит будущее", показав свои таитянские работы. Но писем не было. "Скажи по совести, в чем дело?"

Гоген нашел временное пристанище в мастерской Монфреда. Питался он в кредит на улице Гранд-Шомьер, в молочной, владелица которой, мадам Карон, очень хорошо относилась к художникам. Хотя Гогену было почти не во что одеться, он сразу по приезде начал свои деловые хлопоты. У Буссо и Валадона его ждало разочарование: Жуаян не мог столковаться "с этими господами" и ушел из галереи. "Теперь у них не осталось ни одной моей работы". Зато крупнейший торговец картинами импрессионистов Поль Дюран-Рюэль обещал Гогену, которого горячо рекомендовал Дега, устроить выставку его таитянских произведений. Ничего лучшего нельзя было и желать. Решительное сражение Гоген сможет дать в самых благоприятных условиях. Чтобы должным образом принять Дюран-Рюэля, который собирался прийти посмотреть картины, Гоген решил снять мастерскую на улице Гранд-Шомьер, 8. Мадам Карон одолжила ему денег, чтобы он мог внести плату за первые три месяца.

И однако, Гоген был в нерешительности. Выставка повлечет за собой большие расходы. Необходимо купить рамы, оплатить расходы по изданию каталога... Надо также приобрести кое-какую одежду, белье, пару ботинок. Продолжали его тревожить и глаза - он хотел показаться окулисту. Где взять на все это деньги? А ведь он еще не вернул четыреста франков, которые ему ссудили на Таити...

И вдруг все его сомнения разрешились. От Метте пришла телеграмма, в которой она сообщала, что 9 сентября в Орлеане скончался дядя Гогена, Зизи. Гоген и его сестра Мари были единственными прямыми наследниками покойного.

Художник отправился в Орлеан, чтобы присутствовать на похоронах и связаться с нотариусом. Введение в права наследства, которое по предварительным подсчетам составляло двадцать тысяч франков, должно было быть отложено, потому что Мари была замужем за иностранцем и необходимые документы следовало затребовать из Колумбии. Гоген мог получить свою долю наследства не раньше, чем месяца через два-три. Сама по себе эта отсрочка была не так уж страшна. Зная, что ему вскоре предстоит получить наследство, художник мог без опасения взять деньги в долг. Для Гогена это была некоторая разрядка. Тем большая разрядка, что по возвращении из Орлеана он получил "не слишком обнадеживающее" письмо от жены. Письмо было давнее Метте отправила его Шуффенекеру, тот переслал его Монфреду, а Монфред Гогену. В этом письме Метте писала мужу, чтобы он "выпутывался, как знает", что датская выставка в денежном отношении кончилась полным провалом - "ни сантима".

"То, что ты мне сообщаешь, совсем не весело, - тотчас ответил ей Гоген, - и если бы не смерть дяди, наверное, я не мог бы ничего организовать без гроша денег, и вся моя работа оказалась бы втуне. Но оставим это. Благодаря смерти дяди все устроится... А поскольку у тебя есть немного свободного времени, - добавлял Гоген, - почему бы тебе не приехать в Париж с малышом Полем, ты бы здесь немного отдохнула, а я был бы счастлив тебя обнять... Я почти совсем оборудовал мастерскую, так что тут не будет ни затруднений, ни расходов, и вообще полезно во всех отношениях. Если ты раздобудешь денег на поездку, мы сможем их вернуть самое позднее через два месяца. В доме здесь живут две датчанки, твои знакомые, так что найти ночлег для ребенка не составит труда. Мы сделаем кое-какие полезные визиты и впоследствии пожнем плоды этих небольших трат. Не начинай выдвигать всевозможные возражения и делать подсчеты, постарайся устроить все дела и ПРИЕЗЖАЙ как можно скорее".

Гоген напрасно огорчался из-за датской выставки. Она открылась 26 марта - на ней было представлено около пятидесяти его работ.

В тот же самый день в Копенгагене открылась "Мартовская выставка", на которую Метте также дала семь полотен и пять керамических произведений. Благодаря поддержке Эдварда Брандеса и "Политикен", в которой в день вернисажа была опубликована большая статья, выставка имела необычайный успех. (Журналист газеты "Копенгаген" предсказал это еще 25 марта: "Завтра вечером имя Гогена будет у всех на устах"). Ее посетили десять тысяч человек, и вся пресса - и рассыпавшаяся в похвалах и резко критиковавшая выставку - ее обсуждала. "Ни сантима", - утверждала Метте. Неужели она забыла, что в результате двух выставок продала семь картин и пять керамических работ? Нет, она отнюдь не забыла об этом, и в письме от 15 сентября признавалась Шуффенекеру:

"Поль написал мне письмо, в котором спрашивает, не могу ли я прислать ему немного денег. К сожалению, несколько сотен крон, что я выручила - я продала на выставке старые работы, - ушли на разные непредвиденные или, вернее, предвиденные траты. Эмиль кончил коллеж, этому великану нужна была одежда и т. д., и я, конечно, осталась без гроша. ...А он еще просит вдобавок раздобыть денег на поездку в Париж!.. Если ему хочется нас видеть, он знает, где нас найти! Я не ношусь по белу свету, как угорелая!".

После смерти дяди Зизи все мысли Метте были заняты только одним наследством, которое должен получить ее муж. Она писала ему письмо за письмом, требуя половины денег. Тщетно Гоген объяснял ей, что он будет введен в права наследства не раньше, чем через несколько недель, она осаждала его требованиями, чтобы он немедленно выслал ей ее долю, и упрекала, что он не сделал этого до сих пор. Она не хотела слушать никаких разумных доводов.

"Он вернулся таким же, каким уехал, - писала она в письме к Шуффу, закосневший в самом чудовищном, зверином эгоизме, в моих глазах неслыханном, непостижимом. Нет, Шуфф, на него нет никаких надежд! Он всегда будет думать только о себе, о своем благополучии, и в восторге созерцать собственное великодушие!.. Да, на этот раз я возмущена... Можете ли вы представить себе отца, который ничего - Ничегошеньки не чувствует! Уверена, умри мы все на его глазах, это его тоже ничуть не растрогает! Какое счастье, что я окружена любящей семьей и не знаю иных печалей, кроме заботы о завтрашнем дне да еще одной, правда, очень горькой, что отец моих детей не любит меня".

Какое бы чувство ни двигало Метте, она, вероятно, по временам все-таки сознавала, что ее позиция недостаточно убедительна. "Обещайте мне, что не покажете мое письмо ни одной живой душе", - просила она Шуффа в постскриптуме к этому письму.

Гоген попросил Метте вернуть ему таитянские картины, которые были ему нужны для выставки. Датчанка не торопилась исполнить его просьбу. Когда же наконец после многих писем Гоген получил свои картины, он недосчитался двух, причем из самых лучших - Метте продала их Брандесу. "Будь любезна сообщить мне, что с ними сталось", - писал Гоген. В нем пробудилось недоверие к жене - неужели жена "лукавит"?

Гоген вел в эту пору утомительное, напряженное, нервное существование. Вернисаж у Дюран-Рюэля должен был состояться 4 ноября. "Скоро я, наконец, узнаю, - писал Гоген жене, - совершил ли я безумство, поехав на Таити". Он делал все, чтобы обеспечить выставке как можно более широкий отзвук. Октав Мирбо снова обещал ему свою поддержку. Он должен был написать большую статью для "Эко де Пари". Предисловие к каталогу взял на себя Шарль Морис. Гоген встретился с Морисом и простил ему его "небрежность". Художник и писатель снова стали неразлучны. Гоген часто поднимался на Монмартр, в бедную квартирку на улице Абесс, 57. где Морис жил с молодой вдовой, матерью шести-семилетней девочки. Гоген извлек свои заметки, сделанные на Таити, и с помощью Мориса начал перерабатывать их в книгу - "Ноа Ноа", посвященную его пребыванию в Океании. Морис должен был "отредактировать" текст и добавить несколько глав, а также поэмы. Эта книга, утверждал художник, "очень важна для понимания моей живописи".

Гоген был вовсе не прочь, чтобы накануне открытия выставки его талант был признан официально. Поэтому он предложил в дар Люксембургскому музею одну из своих лучших таитянских картин - "Иа Орана Мариа". Но тщетно. Хранитель Люксембургского музея

Леонс Бенедит отверг этот дар, по-видимому, сочтя его неприличным. Так же тщетно просил Гоген дирекцию Департамента изящных искусств, чтобы государство купило у него одну или две картины, как ему было обещано, когда на него возложили его бесплатную миссию. Однако с той поры в Департаменте изящных искусств сменился директор. На место Ларруме пришел Анри Ружон[250], - человек совершенно академических вкусов[251]. Он с решительным видом заявил Гогену:

- Я не стану поощрять ваше искусство, которое меня возмущает и которое я не понимаю. Оно слишком революционно и вызовет скандал в наших изящных искусствах.

- В искусстве, - ответил Гоген, - все те, кто шли другим путем, чем их предшественники, заслужили прозвище революционеров и, однако, только они и были настоящими мастерами.

И так как Гоген продолжал настаивать на своей просьбе, ссылаясь на обещание Ларруме, Ружон оборвал его:

- Вы можете подтвердить это документом?

Письменного обязательства Ларруме у Гогена не было, и на этом беседа закончилась.

В начале ноября в галерее Дюран-Рюэля на улице Лаффит Гоген выставил сорок одну картину, написанную на Таити, а кроме того еще три картины, написанные в Бретани, и две скульптуры. Бретонские картины призваны были как бы напомнить о единой линии его творчества.

В Океании при тамошнем ярком свете да еще из-за своего слабого зрения Гоген находил, что его картины очень "тусклы по цвету". Теперь он, конечно, судил о них совсем по-другому. Он был настолько уверен в значении своих таитянских произведений, считал их настолько выдающимся явлением в современном искусстве, что назначил за каждую из картин довольно высокую цену, а за некоторые, не задумываясь, запросил три тысячи франков. Дюран-Рюэль счел, что цены эти непомерно высоки, и, очевидно, был прав, потому что до той поры еще ни одно из произведений Гогена не было продано дороже, чем за девятьсот франков. Но Гоген, неколебимый в своем высоком мнении о себе и о своем искусстве, не желал слушать никаких разумных советов. Ставка в этой игре была для него слишком важна. Он не хотел ее снижать. Недаром его мать ответила когда-то Эченикве, предложившему ей полюбовно договориться после смерти дона Пио: "Либо все, либо ничего". Ответ, характерный для мечтателей. Они плывут, глядя на звезды, но не замечая мелей и подводных камней.

В том, что его выставка вызовет большой интерес, Гоген не ошибся - он мог убедиться в этом уже в субботу, в день вернисажа. Судьба художника, уехавшего на край света, жившего среди туземцев и по слухам пожертвовавшего ради живописи обеспеченным положением, женой и детьми, возбуждала любопытство публики. Однако, наблюдая за реакцией первых посетителей, Гоген почувствовал сомнение, а вскоре ему пришлось смириться с очевидностью: его таитянские работы вызывали недоумение всех этих мужчин и женщин, которые, покачивая головой и сдерживая смешки, разбирали названия на маорийском языке. Вокруг Гогена толпились его друзья-литераторы - Шарль Морис, Жюльен Леклерк, художники-наби Боннар и Вюйар, они выражали ему свое восхищение. Дега выказал свое, купив одну из картин[252]. Малларме, этот певец белизны, "чистых

---

[250] Ружон, Анри (1853-1914) - французский писатель, с 1891 года занимал пост директора Департамента изящных искусств, отличался реакционными взглядами.

[251] В следующем, 1894 году Анри Ружону вместе с Леонсом Бенедитом пришлось представлять государство в пресловутом деле с даром Кайботта, частичный отказ от которого лишил Францию трех десятков полотен Мане, Писсарро, Ренуара, Сезанна, Сислея, Моне (см.: Жизнь Сезанна). В 1889 году Ружон был избран в Академию художеств, а в 1911 году во Французскую Академию.

[252] Когда Дега уходил с выставки, Гоген, желая выразить ему благодарность за хлопоты у Дюран-Рюэля, снял с карниза резную трость и сказал художнику: "Вы забыли вашу трость, господин Дега".

ледников эстетики", восхищался ясными красками картин: "Непостижимо, - говорил он, - как можно вложить столько тайны в такую яркость". Но, несмотря на эти восторги, Гоген понимал, что провалился. А он-то был уверен, что публика сразу оценит его таитянские картины и он получит наконец признание, которое положит конец его заботам, нищете и горестям, бессмысленной погоне за деньгами, разлуке с семьей. Но он уже понял, что этого не будет. Довольно было прислушаться к разговорам вокруг. Его не понимали. Его не приняли. "Red dog!" в ужасе восклицала какая-то англичанка, показывая на одну из картин. Виданное ли это дело - красные собаки, синие деревья? "Из рук вон плохо и бессмысленно!" - заявил доктор де Беллио.

Жребий был брошен - Гоген проиграл. Появившаяся 14 ноября статья Мирбо уже не могла изменить отношения публики. "Если хотите позабавить ваших детей, сводите их на выставку Гогена, - писали газеты. - Они посмеются, глядя на раскрашенные картинки с изображением четвероруких самок, возлежащих на биллиардной сукне, которые еще расцвечены туземными словечками". Моне и Ренуар не скрывали своего враждебного отношения. Писсарро, посетивший выставку одним из последних, обвинил Гогена в том, что он "ограбил дикарей Океании", и напрямик заявил художнику, что манера, в которой написаны его таитянские картины, ему не принадлежит.

Гоген безмолвно присутствовал при крахе своих мечтаний. Его снедала тоска. Серовато-зеленые глаза ("глаза человека с планеты Марс" - по выражению Ван Гога) все глубже прятались под тяжелыми веками. С болью в сердце смотрел он на свои картины. Насмешки, издевки не могли поколебать его уверенности. Никто, ничто, никакой провал не разубедит его в том, что его произведения хороши, что он "величайший художник нового времени". Он страдал, замыкаясь в горделивой неприступности. Больше чем когда бы то ни было, он требовал всего или ничего. Высокомерно и презрительно он отвергал предложения любителей живописи, которые просили его сделать скидку. Такое поведение возмущало Дюран-Рюэля, оскорбляя в нем не только коммерсанта, но в первую очередь человека. Богатый буржуа, католик, благомыслящий консерватор, сторонник старых традиций ("ваша ужасная Революция" - говорил он о событиях 1789 года), Дюран-Рюэль не мог испытывать к Гогену ничего, кроме неприязни. Дело кончилось тем, что он перестал появляться в своей галерее, когда там находился художник.

А Гоген стал теперь щеголять в весьма эксцентрическом одеянии. На седеющих волосах высокая каракулевая папаха, длинный и широкий синий плащ с галуном накинут на коричневый китель. На руках белые перчатки. Он опирался на резную трость с жемчужиной в набалдашнике. Это причудливое одеяние было как бы вызовом Парижу, который его отверг. Разрыв углублялся. "Мне здесь не на что надеяться", - говорил Гоген.

Невзгоды, перенесенные Гогеном за десять лет со времени жизни в Копенгагене, лежали на нем тяжелым грузом. У него уже не было прежних сил, былого задора. В сорок пять лет, с больным сердцем, он чувствовал себя усталым, "почти стариком", и день ото дня у него оставалось меньше энергии для борьбы, все такой же тщетной. Никогда не добиться Гогену того, к чему он стремится. Никогда не будет у него уверенности в завтрашнем дне. Никогда не сможет он с торжеством объявить жене, что победил, и их совместная жизнь снова наладится. Никогда! "Прошу тебя не забывать, что у тебя есть дети", сухо твердила ему Метте, упорно требуя половины орлеанского наследства, а формальности с его получением затягивались. Гоген потерпел поражение на всех фронтах. Иногда, в гостях у Мориса, глядя на играющую в доме девочку, художник гладил ее светлые волосы и рассказывал о своих собственных детях. Закрыв глаза, он говорил глухим голосом, точно обращаясь к самому себе. Он говорил о них так, как говорят о мертвых. И машинально перебирал локоны девочки. Никогда Гогену не стать снова отцом Алины и четырех сыновей... Никогда! "Дочурка моя",- бормотал он...

"Я не хочу больше видеть европейцев", - признавался Гоген Морису. Будущее было

беспросветным, и поэтому в памяти оживали озаренные светом юга острова Океании. В зелени деревьев сверкали красные цветы кенафа, длинные белые цветы пандanусового дерева, желтые цветы бурао. По лиственной крыше его хижины скользили ящерицы. Дни и ночи Таити. Души живых и души мертвых. Гоген снова вслушивался в безмолвие таитянской ночи, великое таинственное "по"...

Дега привел на вернисаж в галерею Дюран-Рюэля одного из сыновей Руара[253] и в ответ на расспросы Руара о Гогене напомнил ему басню Лафонтена "Волк и Собака". "Гоген, - сказал Дега, - и есть тот самый тощий волк без ошейника", а "тощий волк" спрашивал себя, не правильней ли будет снова уехать подальше от человеческого жилья на свои уединенные острова.

На выставке были проданы лишь немногие картины. Вырученных денег не хватило, чтобы покрыть расходы. Манци, который, не раздумывая, заплатил за "Иа Орана Мариа" две тысячи франков, остался исключением. Но и Манци внес только третью часть суммы в задаток. Метте, куда более ловкая коммерсантка, чем Гоген, предполагала, что выставка принесет гораздо больше денег. Смягчившись, она приглашала мужа в Копенгаген и заставила Алину написать отцу письмо, в котором девочка спрашивала, много ли картин он продал.

"Увы, нет, - отвечал ей Гоген, - иначе я с большим удовольствием послал бы вам какие-нибудь хорошенькие подарки, чтобы они украсили вашу рождественскую елку. Не сердитесь на вашего отца, бедные мои дети, за то, что в доме мало денег; придет время, когда вы, быть может, узнаете, на чьей стороне правда".

Отношения Гогена с женой становились все более натянутыми. В большей части писем, которые он получал из Копенгагена, содержались одни только раздраженные требования денег из наследства дяди Зизи. "Как ты можешь думать, что я получил деньги и не посылаю их вам?". Гоген терпеливо объяснял жене, что выплата наследства задерживается, что придется еще подождать, что сам он кое-как перебивается, делая долги, но все это не производило на Метте ни малейшего впечатления. Гогена начали раздражать эти "бесконечные причитания, от которых толку нет, а вреда много". Тем более что он был в отнюдь не подходящем настроении, чтобы их выслушивать. Его любовь выстояла против всех испытаний, которые ему пришлось пережить за десять лет. Несмотря на резкие слова, которыми они обменивались с Метте, несмотря на обоюдное молчание - а оно было самым горьким, - образ любимой женщины сохранился в сердце Гогена почти без изменений. Теперь этот образ рушился. Гоген увидел Метте не такой, какой он ее любил, а какой она была на самом деле - холодной, черствой, неспособной на душевное движение, не продиктованное личной, причем самой непосредственной, выгодой. С тех пор как Гоген высадился в Марселе, его отношения с женой доказывали ему, как беспочвенны были иллюзии, которыми он тешил себя десять лет. Метте его не любила. Его охватывало чувство одиночества - безысходного одиночества. Действительность снова обманула его мечты. И на этот раз особенно жестоко. Потому что на этот раз он был ранен в самое сердце. Рухнул мир его чувств. Крах был полным.

С каждой неделей тон переписки с женой становился резче. В ответ на очередные вопли Метте он написал: "Поскольку ты недавно заявила мне, что я должен выпутываться сам (мне это слишком хорошо известно), и указала, как с помощью моего товара (а он весь находится у тебя), - я позволю себе принять меры предосторожности, чтобы в будущем со мной не могло случиться то, что случилось по приезде в Марсель". И все же он обещал послать Метте тысячу франков "в свое время", а позже прислать еще. Но он поставил условием, чтобы она "точно" сообщала ему обо всех своих сделках с картинами. До сих пор ему так и не удалось добиться от нее списка произведений, какие она продала, и хотя

[253] Руар, Анри (1833-1912) - французский коллекционер и художник, близкий друг Дега.

недоверие было совершенно не в его характере[254], ему пришлось признаться самому себе, что Метте ведет себя по отношению к нему не только недружелюбно, но и неискренно. Однако датчанка не собиралась ни в чем отчитываться мужу и упрямо, яростно продолжала требовать свое.

"На Таити я едва не умер, - писал ей Гоген. - Из-за лишений и горестей у меня развилась болезнь сердца, и кровохарканье едва удалось остановить. Доктор сказал, что в следующий раз мне не выкарабкаться и надо в будущем быть осторожным. Поэтому, если ты и впредь собираешься писать такие письма, какие писала с моего приезда, я прошу тебя прекратить. Моя работа не кончена и мне надо жить".

*

Владелец дома, где находилась мастерская Гогена, выстроил на старом пустыре, неподалеку от улицы Мэн, большое здание барачного типа - в этом доме, на улице Верцингеторикса, 6, разместились мастерские. Хозяин предложил Гогену занять одну из них.

Здание на улице Верцингеторикса выглядело убого и на первый взгляд довольно необычно, главным образом, вероятно, из-за того, что при строительстве его был использован купленный по дешевке материал, из которого были сооружены павильоны Всемирной выставки 1889 года, - после ее закрытия они пошли на слом. Дом стоял посреди мощеного двора, где росло одно рахитичное деревцо. Двор был обнесен оградой, а вдоль нее громоздились мраморные и каменные глыбы, частью обтесанные, частью еще нетронутые, которые принадлежали скульпторам, работавшим на первом этаже. Мастерская Гогена помещалась наверху. В нее вела наружная лестница, которая переходила в деревянный балкон, идущий вдоль фасада. В конце балкона находилась маленькая дверь в мастерскую-ее стекла Гоген расписал таитянскими мотивами, и на одном из них сделал надпись: "Те фаруру" - "Здесь занимаются любовью"[255]. Открыв дверь, посетитель попадал в темное помещение. Слева находилась узкая комната, где стояла железная кровать. Сделав еще несколько шагов и приподняв портьеру, посетитель оказывался уже в мастерской, которую освещало большое окно, выходившее в садик.

Мастерская, обставленная на скорую руку, но при этом довольно причудливо - большой фотографический аппарат на треножнике соседствовал здесь с мольбертом, пианино с ветхим диванчиком, - производила несколько странное впечатление. На стенах, выкрашенных желтым хромом, Гоген развесил часть своих таитянских работ, рядом с ними рисунки Редона, натюрморт Сезанна, две картины с "Подсолнухами" Ван Гога и его же пейзаж в лиловом, японские эстампы, репродукции с картин Кранаха[256], Гольбейна[257], Боттичелли[258], Мане, а между ними разместил оружие - бумеранги, копья, кастеты - и полинезийские музыкальные инструменты из красноватого, черного или оранжевого дерева. На камине розового мрамора, рядом с обломками таитянских скал, были разложены ракушки из южных морей. Этот художественно-экзотический ансамбль дополнял последний штрих - Гоген жил в мастерской с цветной женщиной, приземистой, похожей на обезьяну мулаткой с острова Ява, по имени Аннах, которая всюду появлялась с маленькой мартышкой,

[254] "Я предпочитаю, - писал он, - быть слишком доверчивым и потом обмануться, чем постоянно не доверять. Потому что в первом случае я страдаю только в тот момент, когда меня обманут, а во втором - все время".

[255] Этот перевод, принадлежащий Гогену, не совсем точен. "Те фаруру" точнее означает "Чувственная радость".

[256] Кранах, Лука (ок. 1472-1553) - немецкий художник.

[257] Ханс Гольбейн Младший (ок. 1497/98-1543) - немецкий художник и график.

[258] Боттичелли, Сандро (1444/45-1510) - итальянский художник.

откликавшейся на кличку Таоа.

Гоген создал вокруг себя эту довольно-таки театральную обстановку по той же причине, по какой вырядился в костюм, в котором, по словам одного из его знакомых[259], он "походил не на величавого мадьяра или Рембрандта, а, скорее, на конферансье из какого-нибудь ревю". Гоген хорохорился, бросал вызов, разыгрывал роль. Он устраивал приемы. У него был свой "день" четверг. Работал ли он? Нет, мало. Написал несколько портретов - яванку Аннах, обнаженную, в кресле, автопортрет и, наконец, по фотографии, портрет матери, воспоминание о которой всегда преследовало его в критические минуты жизни. В эту зиму 1893/94 года Гоген был похож на человека, который оскорблен в своей вере и теперь сыплет богохульствами. Цинична была надпись на двери его мастерской. Цинична связь с яванкой - таким образом он оскорблял то, что прежде любил. Но это был цинизм человека в смятении, человека, у которого отняли смысл жизни и который чувствует, что оборвались все его связи с миром, где он прежде существовал.

На четвергах Гогена собирались Морис, Леклерк, Серюзье. До середины января приходил Монфред, намеревавшийся уехать в Алжир. Заходил Шуффенекер, а также Максим Мофра[260] - художник, с которым Гоген когда-то встречался в Бретани и который теперь жил на Монмартре. Наряду с соседями Гогена, композитором Вильямом Моларом[261] и его женой, скульпторшей Идой Эриксон, здесь бывали художники - молодой Майоль[262] и испанец Пако Дуррио[263], виолончелист Фриц Шнеклюд, портрет которого написал Гоген, более или менее нищие литераторы, вроде Габриэля Рандона, который еще не прославил своего псевдонима - Жеан Риктюс. Время от времени появлялись здесь Дега и Малларме. На этих вечерах, которые обычно затягивались далеко за полночь, яванка Аннах подавала гостям чай с маленькими пирожными. Гости музицировали. Читали стихи. Разыгрывали шарады. Иногда выступала испанская танцовщица. Гоген, продолжавший работать над "Ноа Ноа", читал отрывки из своей книги. Впрочем, ему довольно было любого повода, чтобы начать вспоминать свое пребывание на Таити. Это были воспоминания о безоблачном, ничем не замутненном счастье. Рассказывая, художник все больше воодушевлялся, говорил все более проникновенным голосом. Перед лицом европейского общества, которое он проклинал и громил и которое в его глазах было виновно в том, что в нем нет достойного места художнику, а следовательно, оно "преступно и плохо организованно", Гоген с тоской воскрешал образ счастливых островов...

В начале 1894 года Гоген получил, наконец, от орлеанского нотариуса тринадцать тысяч франков своего наследства. Он расплатился с долгами, которые с каждой неделей росли, послал полторы тысячи франков Метте, и дал также немного денег Жюльетте Юэ. Жюльетта, хотя и родила от Гогена дочь Жермену[264], отказалась жить с художником,

---

259 Л.-Ж. Бруйон. В 1906 году под псевдонимом Жан де Ротопшан он опубликовал первый биографический очерк о Гогене.

260 Мофра, Максим (1861-1918) - французский художник, был близок к художникам понт-авенской группы и к импрессионистам.

261 Молар, Вильям (ум. 1936) - французский композитор.

262 Майоль, Аристид (1861-1944) - французский скульптор, начинал как живописец, член группы Наби.

263 Дуррио, Франсиско, прозванный Пако (1876-1940) - испанский скульптор и керамист, последователь Гогена.

264 Жермена Юэ родилась через несколько месяцев после отъезда художника на Таити - 13 августа 1891 года.

опасаясь, в простоте душевной, что он по праву отца отберет у нее дочь. Это также оскорбило Гогена, и, возможно, мулатка никогда не появилась бы на улице Верцингеторикса, если бы не поведение Жюльетты, которая, кстати сказать, ревновала Гогена к яванке. Однажды, когда маленькой швейке пришлось зайти в мастерскую Гогена, она не выдержала и стала осыпать Аннах оскорблениями. "Будь у меня под рукой мои ножницы!" - кричала она.

"Скопидомничать нам нечего", - писал Гоген Монфреду. Жизненный опыт ничему его не научил. Он сорил деньгами, помогал всем, кому мог, Леклерку, Морису, чете Молар. Когда бельгийская группа "Свободной эстетики"[265], сменившая в этом году "Группу двадцати", пригласила его участвовать в февральской выставке в Брюсселе, Гоген повез на ее открытие в королевском Музее изящных искусств 17 февраля Жюльена Леклерка и провел с ним в Бельгии шесть дней. Они побывали в Брюгге, чтобы посмотреть картины Мемлинга[266] ("Какое чудо!") в Антверпене, чтобы посмотреть Рубенса[267]. Разыгрывая роль непризнанного, непонятого гения, Гоген у картин, выставленных группой "Свободной эстетики", изрекал категорические суждения, негодуя против "хитрецов", которые ремесленной ловкостью, поверхностным изяществом вводят публику в заблуждение относительно своих подлинных достоинств. "Выходит, эти люди знают все и не могут создать произведение искусства?" - удивленно спрашивали его. "Нет, - отвечал Гоген, - эти люди не знают всего, вернее, они не знают ничего, раз они не могут создать произведение искусства".

Гоген никогда не отличался покладистым нравом. Теперь его характер стал еще трудней, подозрительность росла. Некоторые друзья, в частности Серюзье, жаловались на его резкое обхождение.

Гоген бродил по Парижу. Он прожил в нем уже около восьми месяцев, и столичная среда, которая никогда ему не нравилась, начала его утомлять. Он вообще с трудом привыкал к ней заново. Ему все время было не по себе, он чувствовал себя выбитым из колеи. Каждую минуту он уносился мыслью далеко от этих улиц и домов. Он написал одну из лучших картин своей таитянской серии - сцену с громадным идолом - "Махана но атуа" ("День божества")[268]. А для издания "Оригинальный эстамп" выполнил литографию с "Манао тупапау"[269]. "Побывать бы нам еще раз на семнадцатой параллели...".

В апреле, прекратив свои приемы, Гоген уехал в Бретань с Аннах и ее обезьянкой. Он надеялся, что "страна печали", как когда-то, по-братски приютит его.

*

Прошло почти четыре года с тех пор, как Гоген в последний раз жил в Бретани. За эти четыре года произошло много перемен. Дела Мари-Жанны Глоанек процветали, и она выстроила на центральной площади Понт-Авена большую комфортабельную гостиницу[270]. Сатр с прекрасной Анжелой переехал в Конкарно. Из группы художников, когда-то окружавших Гогена, в Понт-Авене остался один Журдан - он женился на трактирной

---

265 "Свободная эстетика" - художественное объединение, основанное в 1894 году в Брюсселе и просуществовавшее до 1914 года. Главной целью его членов было распространение "нового искусства".

266 Мемлинг, Ханс (1430/40-1494) - нидерландский художник.

267 Рубенс, Петер-Пауль (1577-1640) - фламандский художник.

268 Эта картина принадлежит Институту искусства в Чикаго.

269 Она появилась в выпуске за апрель - июнь.

270 Теперь отель "Золотой утесник".

служанке, с которой прижил ребенка, а в Ле Пульдю - Филижер и Море.

Гоген рассчитывал остановиться в Ле Пульдю у Мари Куклы. Но она в минувшем ноябре, покинув Гран-Сабль, перебралась со своим очередным дружком в поселок Моэлан, на дороге в Понт-Авен. Это не просто нарушило планы Гогена, но и нанесло ему жестокий удар. Он мечтал снова поселиться в стоящем на отлете трактире, который он расписал и украсил своими работами. Впрочем, он решил непременно вернуть себе работы, которые остались у Мари Анри.

Гоген ненадолго воспользовался гостеприимством польского художника Слевинского, с которым подружился перед отъездом на Таити, когда жил на улице Гранд-Шомьер. Слевинский приютил Гогена на вилле в Нижнем Ле Пульдю. Потом Гоген снова вернулся в Понт-Авен к Мари-Жанне Глоанек и в то же время снял мастерскую в Лезавене.

Он снова начал работать, писать пейзажи. Но Бретань не вызывала в нем былого вдохновения. Его бретонские пейзажи[271] пылали экзотическими красками. В Понт-Авене угадывалась Матаиеа. Более того, как и в Париже, Гоген отворачивался от местных сюжетов, чтобы по памяти писать сцены таитянской жизни[272].

В гостинице Глоанек Гоген познакомился с двадцатипятилетним художником Арманом Сегеном[273], о котором ему рассказывал Серюзье. Мягкий, робкий, несколько даже женственный, Сеген был болен костным туберкулезом - должно быть, из-за этого он и прихрамывал. Изящная простота сочеталась в нем с поэтичной и деликатной душой. Сеген с первой минуты подпал под влияние Гогена. Он полностью подчинялся его наставлениям, буквально следовал его советам, хотя изредка еще все-таки уступал своей склонности к сопоставлению дополнительных цветов, которую Гоген безоговорочно осуждал. Гоген никогда не критиковал Сегена, не повторял ему лишний раз, что дополнительные цвета создают "не гармонию, а столкновение". Он просто вынимал из кармана револьвер и, взведя курок, клал его рядом с собой - Сеген отказывался от дополнительных цветов.

Как-то в мае Гоген решил посмотреть с друзьями Конкарно - порт и старинные городские укрепления. С этой целью он даже специально побывал в Ле Пульдю, чтобы пригласить на эту прогулку Филижера, но эльзасец, который жил теперь на ферме в деревушке Керселлек и стал еще большим нелюдимом, чем прежде, уклонился от приглашения. В пятницу 25 мая Гоген, Журдан, Сеген и ирландский художник О'Коннор[274] отправились в Конкарно в сопровождении своих законных и незаконных спутниц, среди которых была и Аннах.

Из-за Аннах и ее обезьянки прогулка закончилась весьма плачевно. На улицах Конкарно за мулаткой увязались мальчишки, которые передразнивали ее и осыпали насмешками. На набережной Пенерофф[275] у художников произошла первая стычка с матросами. Позднее, когда художники вновь должны были выйти на эту набережную, Журдан предложил пойти другой дорогой. Но Гоген, указав ему на улицу, ведущую в противоположную сторону, заявил: "Если вы боитесь, Журдан, ступайте туда!" А тем временем мальчишки осмелели, стали даже бросаться камнями. Сеген поймал одного из сорванцов и надрал ему уши. И тут же из кафе на набережной до художников донеслись

---

271 Как, например, "Мельница", хранящаяся в Лувре.

272 Как, например, "Ареареа но варуа ино" ("Под властью привидения"), которая находится в Глиптотеке Карлсберга в Копенгагене.

273 Сеген, Арман (1869-1903) - французский художник, был близок понт-авенской группе.

274 О'Коннор, Родерик (1860-1940) - ирландский художник, работал в Понт-Авене.

275 Теперь авеню Доктора Пьера Никола.

крики, угрозы. Моряк лет сорока - потом выяснилось, что это отец мальчишки, лоцман Рене Собан, налетел на Сегена и с силой ударил его кулаком в лицо. Гоген кинулся на помощь Сегену и одним ударом отшвырнул лоцмана на землю. Пока лоцман вставал на ноги, подбежали еще трое матросов, выскочивших из кафе. Женщины подняли крик. Потерявший голову от страха, Сеген пустился бежать и одетый бросился в бассейн. Гоген, сокрушая своих врагов, яростно молотил кулаками направо и налево. Но удар, нанесенный Собаном, заставил его покачнуться. Оступившись, он упал, а матросы стали топтать его деревянными башмаками. О'Коннор еще некоторое время отбивался от матросов, и в конце концов они разбежались.

С помощью Журдана Гогену кое-как удалось встать. Он не мог шевельнуть правой ногой. Она была сломана. Впоследствии доктор определил открытый перелом лодыжки и вывих ступни. Увечье получил не один Гоген. У любовницы Гогена было сломано ребро. Собрался народ. Подоспели жандармы. У Гогена не было при себе никаких документов и он потребовал, чтобы вызвали Сатра - тот дал художнику самые лучшие рекомендации и, кроме того, предоставил в его распоряжение двуколку, чтобы Гоген мог вернуться в Понт-Авен...

*

Два месяца Гоген был прикован к постели. Нога сильно болела. Чтобы успокоить боль и хотя бы ночью на несколько часов забыться сном, он вынужден был прибегать к морфию. История в Конкарно сильно на него подействовала. С тех пор как он вернулся "в эту гнусную Европу", его преследовали неудачи и унижения. Судьба ни разу не улыбнулась ему. Ни разу не забрезжила надежда, не появился просвет. Гоген предполагал, что, узнав про его беду, Метте напишет ему хотя бы ко дню его рождения, 7 июня, но писем из Копенгагена не было. 2 июня в Отеле Друо была распродана коллекция папаши Танги, который умер в феврале. В этой коллекции было шесть картин Гогена. Жалкий аукцион! Ни одна из картин не была оценена выше ста десяти франков. Гоген неоднократно просил Мари Куклу вернуть ему его произведения, в частности бюст Мейера де Хаана, который он вырезал из дуба. Но она каждый раз отказывалась.

Томясь в вынужденном безделье, "отупевший" от морфия, уставая даже от писания писем и видя, как тают его деньги, уходящие на врачей и лекарства, Гоген признавался, что совершенно пал духом. Он поручил брату Шамайара, адвокату, защищать его интересы, когда дело о драке в Конкарно будет передано в уголовный суд Кемпера. Он решил предъявить гражданский иск, чтобы ему возместили материальный ущерб, а, кроме того, подать жалобу на Мари Куклу мировому судье в Понт-Авене.

Гоген принял еще и другое решение, гораздо более важное: вернуться в Океанию и на сей раз "навсегда". Он отрекался от былых надежд. Шуффенекеру, который прислал ему длинное, жалобное письмо - письмо уязвленного нытика, который дожил до сорока лет и не добившись того, к чему стремился, преисполнился разочарования и мизантропии, он написал в ответ:

"Цель, достигнутая мною, какой бы высокой она ни казалась... гораздо ниже той, о какой я мечтал, и я страдаю от этого, хотя и молчу. Мне не хватило времени и живописного образования: это отчасти и помешало мне осуществить мою мечту! Слава! Ничтожное слово, ничтожная награда! С тех пор как я узнал простую жизнь в Океании, я мечтаю об одном - жить вдали от людей, а стало быть, вдали от славы. Как только смогу, я зарою свой талант среди дикарей и никто обо мне больше не услышит. В глазах многих это будет преступлением. Пусть так! Преступление очень часто сродни добродетели. Жить просто, без суетности. Вот этого я добьюсь любой ценой..."

Гоген строил планы. В начале зимы он вернется в Париж, продаст "за любую цену все свое барахло" - целиком или частями. А в феврале уже сможет уложить чемоданы. Сеген и О'Коннор, которых он посвятил в свои намерения, поедут с ним на два-три года. А он не возвратится никогда. "Бегство, уединение" - для него единственно разумный выход. "Европейцы не дают мне передышки, добрые дикари меня поймут". Он надеялся, что в конце концов забудет обо всем. Он будет жить, любить, отдыхать, ходить в лес и там "вырезать на

деревьях существа, созданные воображением". Так он и окончит свои дни - "свободный, безмятежный, избавленный от забот о завтрашнем дне и вечной борьбы с глупцами", в блаженстве нирваны. "И никакой живописи разве что иногда ради развлечения. Мой дом будет весь украшен деревянной резьбой".

В первых числах августа Гоген начал подниматься и делать несколько шагов по комнате, опираясь на палку. С каждым днем он ходил все уверенней. А в конце месяца понемногу стал браться за кисть. Но этот конец месяца принес ему много огорчений.

21 августа дело Мари Анри первый раз слушалось у мирового судьи, который отложил его на неделю. А два дня спустя Гоген отправился на заседание уголовного суда в Кемпере. Собан явился туда вместе с другим моряком - Монфором, которому тоже было предъявлено обвинение в участии в драке. Но суд полностью оправдал Монфора, а потом, к удивлению и возмущению Гогена, который предъявил Собану иск о возмещении десяти тысяч франков убытка, присудил Собана, "хотя злодейский ущерб, причиненный им, был доказан", к "смехотворному", на взгляд Гогена, наказанию - недельному заключению и шестистам франков штрафа. Гоген был в ярости. "Его обязали уплатить мне шестьсот франков. А я должен четыреста семьдесят пять франков врачу, сто франков адвокату, плюс все расходы, которые влечет за собой болезнь в гостинице, - писал он Молару... - И несмотря на это, противная сторона подала апелляцию, чтобы дело рассматривалось в суде Ренна. Впрочем, для меня это гораздо выгодней. Надо будет, чтобы Леклерк повидал Долана и они дошли бы до Жеффруа, а тот поместил статью в "Журналь" или в "Эко де Пари" - резкую статью о правосудии в Кемпере, где было бы рассказано о моем деле. Говорят, судьи в Ренне очень прислушиваются к подобным статьям. Выходит, можно убить или покалечить ни в чем не повинного человека только потому, что он чужак в Конкарно, и то, что он заболел, мучился, потерял даром время, ничего не значит, потому что бандиты из Конкарно - местные избиратели, а мой обидчик друг республиканских властей".

Может быть, гнев ослеплял художника, внушая ему навязчивые идеи? Однако, выходивший в Кемпере еженедельник "Финистер" и в самом деле на другой день после драки, в номере от 29 мая, с возмущением писал о "грубом, беспричинном нападении", "о смехотворной, возмутительной" драке и о дикарях, которые были ее зачинщиками, а на другой день после суда, в номере от 25 августа, уже просто коротко упоминал о "какой-то довольно туманной сцене" на набережной Пенерофф. Дело в том, что "Финистер" принадлежал депутату парламента Луи Эмону, а лоцман Собан был "доверенным лицом и корреспондентом"[276] этого депутата в Конкарно. Собан, по-видимому, довольно скоро раздумал подавать апелляцию. А шестисот франков, которые Гогену должны были заплатить в возмещение убытков, художник так и не дождался. Предусмотрительный Собан продал свое судно.

28 августа в мэрии Понт-Авена художника ждало новое разочарование. По требованию адвоката Мари Анри, на том основании, что мировой суд не может рассматривать дела, где речь идет о "предметах", стоимость которых в точности не установлена, а стоимость "предметов", которые требовал художник, в первоначальном иске указана не была, мировой судья заявил о своей некомпетентности[277]. Гоген просил мэтра Шамайара возбудить дело в уголовном суде Кемпера.

В это время Гоген и Аннах разошлись - очевидно, по материальным соображениям. К 15 сентября мулатка вернулась в Париж, чтобы подыскать себе работу. Обезьянки с ней уже не было - маленькая Таоа, к которой привязался Гоген, умерла, съев ядовитый цветок.

"Я и в самом деле почти никому не пишу, и все на это жалуются, - писал Гоген Монфреду 20 сентября. - Это потому, что страдания, особенно по ночам, когда я совсем не

---

276 Карей в "Фюртер бретон" от ноября - декабря 1919 года.

277 Выписка из протокола заседания мирового суда Понт-авенского округа.

сплю, окончательно лишили меня мужества". В ожидании лучших времен художник продолжал "искать прибежища" в таитянских воспоминаниях. Вооружившись иглой и стамеской, он вырезал на кусках самшита сцены из жизни маорийцев. Возможно, он предназначал эти гравюры для иллюстрации "Ноа Ноа".

Дело против Мари Куклы должно было слушаться в ноябре. После суда Гоген рассчитывал вернуться в Париж. Но художник дело проиграл. Мари Анри заявила, что ей предъявлено ложное обвинение, что, в частности, бюст де Хаана ей подарил сам де Хаан. Вдобавок она сослалась на статью уголовного кодекса, согласно которой мебель считается принадлежащей тому, кто ею владеет. 14 ноября суд в Кемпере на основании того, что истец совершил ошибку, не заручившись распиской в том, что он дал свои произведения на временное хранение и что в данном деле свидетельские показания не могут быть приняты во внимание, отказал Гогену в иске и приговорил его к уплате судебных издержек[278].

По документам, обнаруженным М. Маленгом, который ссылается на них в своей статье в "Ей" (июль-август 1959 года), у Мари Анри кроме бюста Мейера де Хаана было еще восемнадцать живописных произведений Гогена (в том числе автопортрет с нимбом и портрет Мейера де Хаана), одна гуашь ("Часовня Сен-Моде" в Ле Пульдю), крашеная гипсовая скульптура, резные сабо и т. д. Некоторые из этих работ, очевидно, были ею проданы Амбруазу Воллару и галерее Барбазанж.

В 1959 году наследники Мари Анри устроили две распродажи в Отеле Друо. На первом аукционе 16 марта гуашь Гогена "Часовня Сен-Моде" была оценена в 3600 тысяч франков, бочонок, украшенный резьбой, в 2001 тысяч франков, расписная подставка для блюд в 1700 тысяч франков. В тот же день были проданы в разные руки восемь произведений де Хаана. На втором аукционе, 24 июня, тетрадь с набросками Гогена была оценена в 1050 тысяч франков, а бюст Мейера де Хаана в 9600 тысяч франков.

Мари Анри не могла увезти с собой из трактира в Ле Пульдю стенные росписи. Некоторые из них были в 1924 году обнаружены двумя американскими художниками.

По-видимому, исчезли навсегда роспись плафона и фриз со словами Вагнера: "Я верую в Страшный суд, который осудит на страшные муки всех тех, кто в этом мире осмелился торговать высоким и непорочным искусством..."

Художник немедленно выехал в Париж. На улице Верцингеторикса его ждала неприятная неожиданность. Воспользовавшись отсутствием Гогена, яванка Аннах распродала все, что ей казалось мало-мальски ценным в мастерской. От разграбления уцелели только картины. Как видно, мулатка разделяла мнение Сатра, сказавшего Гогену, когда тот в благодарность за все добро, которое Сатр сделал ему после драки в Конкарно, хотел подарить бретонцу свои картины: "На что мне твоя мазня!"

*

22 ноября Шарль Морис с несколькими друзьями устроил в кафе "Варьете" небольшой банкет в честь возвращения Гогена. На другой день в газете "Суар" Морис, описывая этот банкет, снова восторженно писал о замечательном художнике и возмущался тем, как несправедливо к нему продолжают относиться.

"У Поля Гогена есть основания жаловаться на своих соотечественников. Те из них, кто много лет назад удивлялись, что он избрал солнечное Таити местом своего прекрасного изгнания, где он мог спокойно работать, должны были бы понять, что причина его отъезда - в их несправедливом отношении к человеку, чьи произведения и имя должны быть причислены к нашим величайшим сокровищам. Но, впрочем, не будем преувеличивать... Даже самые дерзкие из его вчерашних хулителей уже не решаются не признавать его и как бы они ни тщились быть ироничными, заявляя, что не понимают этого "гения", они все же вынуждены употреблять именно это слово, когда говорят об этом художнике".

---

278 Выписка из протокола канцелярии суда высшей инстанции в Кемпере. Сведения о том, будто бы Гогену отказали в иске на том основании, что он не заплатил Мари Анри за пансион, неверны. Во всяком случае, в судебном решении ни о чем подобном не упоминается.

Через несколько дней Гоген устроил в своей мастерской недельную - с 3 по 9 декабря - выставку своих гравюр и рисунков. Но эта выставка, как и банкет, несмотря на статьи Мориса и Жюльена Леклерка, не вызвала большого интереса. Правда, в 1894 году обстоятельства не слишком благоприятствовали искусству. Покушения анархистов, убийство в июне президента Республики Сади Карно и полицейские меры взбудоражили все умы - людям было не до живописи и не до художников. "Любители живописи так растерялись от всех событий, что не хотят и слышать об искусстве", - писал в июле Писсарро своему сыну Люсьену.

Гоген, которому поступок Аннах нанес еще более жестокий удар, чем дело в Конкарно, и которого отныне ничто не могло удержать от намерения "похоронить себя на островах Тихого океана", поступил бы разумно, прими он предложение одного торговца картинами. Тот предложил, что будет регулярно покупать у него по "приличной", но зато "раз и навсегда установленной"[279] цене все его картины. Но Гоген отказался - друзья убеждали его, что таким образом он отрежет для себя все пути в будущем, что новая распродажа в Отеле Друо даст ему гораздо больше средств для осуществления его планов, чем в 1891 году. И Гоген тотчас в это уверовал. Он всегда верил в то, что подкрепляло его надежды и его веру в самого себя, не столько даже гордую, сколько наивную.

Художник часто простуживался, все хуже переносил холода ("Я, в буквальном смысле слова, оживаю только на солнце") и почти не выходил из мастерской, где возобновил свои приемы по четвергам. Однако иногда он все-таки добирался до Монмартра, чтобы повидать Мориса или Сегена, который также вернулся из Бретани и поселился на улице Лепик. В феврале 1895 года Сеген собирался выставить свои произведения у Ле Барка де Бутвиля[280], скромного торговца с улицы Ле Пелетье, который уже несколько лет поддерживал художников-новаторов[281]. Гоген написал предисловие к каталогу дружеское и резкое предисловие, в котором художник высказывал свое нелицеприятное мнение о другом художнике. "Акт разумного дружелюбия - вот в чем, по-моему, смысл предисловия", - писал Гоген и так отзывался о работах Сегена: "Сеген не принадлежит к числу мастеров. Его недостатки выражены пока еще слишком нечетко для того, чтобы он мог заслужить этот титул. Но он умеет читать в Книге тайн и говорить языком этой Книги".

Гоген охотно соглашался, чтобы и с ним самим говорили так же прямо и откровенно. Отобрав сорок девять полотен, рисунков и гравюр, которые он собирался представить на аукцион в Отель Друо, он попросил одного из посетителей своих четвергов, шведского писателя Августа Стриндберга[282], написать предисловие к каталогу. Почти сверстник Гогена, поэт, романист, драматург, эссеист и памфлетист, Стриндберг был человек необычайных дарований, наделенный бурным темпераментом, беспокойным умом и склонный к крайностям и преувеличениям. Ярый антиконформист, он в своих произведениях страстно выступал против всевозможных предрассудков и социальной лжи. Однажды январским вечером Гоген заметил, как внимательно рассматривает Стриндберг картины, развешанные на стенах его мастерской. "У меня возникло словно бы предчувствие взрыва - настоящей сшибки между вашей цивилизацией и моим варварством". И он решил обратиться к Стриндбергу.

"В ответ на Вашу просьбу я сразу же говорю: "Не могу", или даже более грубо: "Не хочу", - написал швед Гогену в длинном письме, в котором объяснял свой отказ. - Я не могу

---

[279] Шарль Морис.

[280] Ле Барк де Бутвиль - маршан, был связан с художниками группы Наби и неоимпрессионистами.

[281] О Ле Барке де Бутвиле см.: Жизнь Тулуз-Лотрека, ч. 2, гл. 2.

[282] Стриндберг, Август (1849-1912) - шведский писатель.

понять Ваше искусство и не могу его любить... Я всерьез пытался классифицировать Вас, увидеть в Вас звено единой цепи, уяснить историю Вашего развития - но тщетно... Вчера вечером под южные звуки мандолины и гитары мысль моя влеклась к Пюви де Шаванну: я видел на Ваших стенах сумятицу солнечных картин, которые ночью преследовали меня во сне. Видел деревья, которых не определит ни один ботаник, животных, о существовании которых не подозревал Кювье, и людей, которых могли создать только Вы один... Сударь, - говорил я Вам во сне, - Вы создали новую землю и новое небо, но мне неуютно в сотворенном Вами мире. Для меня, любящего светотень, он слишком залит солнцем. И Ева, живущая в Вашем раю, не отвечает моему идеалу...

Право, мне кажется, - писал в конце Стриндберг, - что, пока я сочинял письмо, я увлекся и начал немного понимать искусство Гогена. Одного современного автора упрекали в том, что он не описывает реальных людей, а просто-напросто сам их создает. Просто-напросто! Счастливого пути, мэтр, но, вернувшись, придите ко мне еще раз. Быть может, к тому времени я лучше пойму Ваше искусство, и это позволит мне написать настоящее предисловие к новому каталогу для нового аукциона в Отеле Друо, потому что я тоже начинаю испытывать огромную потребность стать дикарем и создать новый мир".

Гоген счел, что это искреннее письмо отлично выполнит роль предисловия. И он предпослал его каталогу вместе со своим ответом Стриндбергу.

"Моя избранница Ева, написанная мной в формах и гармониях иного мира, быть может, пробудила в Вас особые личные воспоминания о мучительном прошлом. Ева, созданная Вашим цивилизованным представлением, почти всегда превращает Вас, превращает всех нас, в женоненавистников. Древняя Ева, которая пугает Вас в моей мастерской, быть может, однажды улыбнулась бы Вам не такой горькой улыбкой. А мир, который не опознают ни Кювье, ни ботаник, мог бы стать раем, эскиз которого я едва наметил. От эскиза до осуществления мечты очень далеко. Но что из того! Разве предвидение счастья не есть предвкушение нирваны?"

После выставки в мастерской 16 февраля и публичной выставки 17 февраля в понедельник 18-го в том же самом зале номер 7 Отеля Друо, где происходил аукцион 1891 года, вновь состоялась распродажа. Началась она в три часа. Несмотря на присутствие многочисленных друзей, Монфреда, Сегена, Шуффа, Мофра, Слевинского, О'Коннора, обстановка была тяжелой. Если не считать Дега, который с самого начала купил "Вахине но те ви" ("Женщина с плодом манго") за четыреста пятьдесят франков, любители живописи и торговцы очень вяло участвовали в торгах. Чтобы не дать ценам упасть слишком низко, Гогену пришлось самому выкупить те произведения, за которые было предложено слишком мало денег. Увы, ему пришлось выкупить почти все картины. Результаты распродажи были катастрофическими. Когда Мофра после аукциона пригласил Гогена пообедать к себе в мастерскую на бульваре Клиши и увел его с собой, тот "плакал как ребенок"[283]. При назначенной общей сумме около семнадцати тысяч пятисот франков фактически распродажа принесла около трех тысяч. Когда художник выплатил 7 процентов за выкупленные им картины, у него осталось меньше двух тысяч, из которых он еще должен был покрыть кое-какие расходы, связанные с организацией аукциона[284]. Провал этот нанес Гогену не только материальный, но, главное, моральный ущерб. Писсарро, внимательно следивший за всем происходящим, тотчас отметил его как признак серьезного, резкого поворота: "Символисты у нас обречены, - с удовлетворением писал он... - Не будь Дега, который купил несколько работ, дело кончилось бы еще хуже"[285].

---

283 Арсен Александр. Максим Мофра, автор морских и сельских пейзажей.

284 В письме к Метте Гоген подвел итоги аукциона, свидетельствовавшие о явном убытке. Но эти итоги неточны. Мы приводим данные официального протокола распродажи.

285 Дега и в самом деле был одним из тех, кто все время набавлял цены. Он купил две картины и несколько

Гоген был растерян, убит. В эти тяжелые дни его постигла еще одна беда, заставившая еще сильнее возненавидеть холодную, враждебную, пагубную Европу, к которой он испытывал все более глубокое отвращение. Как-то вечером в январе он отправился с Сегеном на танцы на авеню Мен. Там к нему привязалась какая-то проститутка. Полицейский предупредил Гогена, что с этой девицей иметь дело опасно, но Гоген пожал плечами: "В моем возрасте уже ничего не подцепишь". Теперь он жестоко расплачивался за свою неуместную браваду - у него обнаружился сифилис. В начале марта Гоген поехал на несколько дней в Бретань, как видно, чтобы уладить неотложные дела. Сеген, который оказался там одновременно с ним, 7 марта писал О'Коннору: "Бедняга очень болен. Все его тело покрыто сифилитическими язвами, особенно раны на ноге".

И в самом деле, лодыжка Гогена заживала очень медленно. Раны не зарубцовывались.

*

Как только Метте прослышала об аукционе в Отеле Друо, она написала мужу, чтобы "напомнить, что у него пятеро детей".

"Я уже давно ждал твоего письма",- язвительно ответил ей Гоген. И поспешил сообщить жене о "подлинных" итогах распродажи. Что до прибыли, то он потерял около пятисот франков. Трудно сказать, сознательно ли Гоген сообщал ей эти неверные данные или ошибался - потому что бывшему маклеру нередко случалось путать цифры[286]. Но так или иначе цифры, которые Гоген раздраженно бросил в лицо Метте, были нужны ему не столько для того, чтобы оправдаться, сколько как повод излить свои обиды. "Любой человек, окажись он на моем месте после моего возвращения, пришел бы к печальным выводам о жизни, семье и обо всем прочем". Пусть Метте не заблуждается. Она больше ничего от него не получит. "В сорок семь лет я не хочу впасть в нищету, а я почти нищий. Рухни я, никто не протянет мне руки. Твои слова "выпутывайся, как знаешь" - полны глубокой мудрости. Я ее и придерживаюсь".

Это письмо, которым фактически заканчивается переписка супругов, очень характерно для настроения Гогена весной 1895 года. Истерзанный, настороженный, раздраженный, он больше ни во что не верил - верил только, что сможет насладиться покоем, когда ему удастся наконец уехать в Океанию, подальше от Европы и европейцев, среди которых его преследуют несчастья. В печи у Шапле Гоген обжег статуэтку, изображающую Овири - туземную Диану. Он представил статуэтку в Салон Национального общества изящных искусств. Ее не приняли. Тогда Шапле выставил статуэтку в своей собственной витрине. От керамиста требовали, чтобы он ее убрал. Шапле проявил стойкость, и статуэтка осталась в витрине, но Гогену эта история нанесла еще одну обиду. Он реагировал на эти удары с яростью раненого животного. В двух своих статьях, которые газета "Суар" опубликовала 23 апреля и 1 мая, он обрушился на ассоциации художников, которые заправляют Салонами, на чиновников, на дирекцию Департамента изящных искусств - "ярчайшее воплощение общественной бесполезности", - как он выражался. В это же самое время ему нанес удар еще и Эмиль Бернар.

В марте 1893 года Бернар уехал из Франции в Италию, а потом на Восток. Теперь он обосновался в Каире. Пережитый им кризис разрешился неожиданным образом. Отказавшись от поисков своей молодости, Бернар пошел по пути, противоположному тому, куда они вели, и стал последователем византийской школы и старых итальянских мастеров.

рисунков на 965 франков - сумму, которая составляла треть реальной выручки.

286 И даты. В декабре 1893 года он писал дочери: "Дорогая моя Алина, ты уже совсем большая, тебе шестнадцать лет... Мне даже казалось, что семнадцать, ведь ты родилась 25 декабря 1876 года?" Эта дата неверна вдвойне, потому что Алина родилась 24 декабря 1877 года. Гоген существовал в весьма зыбком мире. К тому же у него была на редкость плохая память. Например, он не мог сказать, сколько времени прожил в Арле с Ван Гогом. Площадь Ламартина в Арле превратилась в его воспоминаниях в площадь Виктора Гюго и т. п.

Свою новую позицию он мотивировал эстетическими, философскими и даже религиозными доводами.

"То, что нравится душе, идет от бога", - утверждал Бернар. Позже он писал: "Я часто исповедовался и причащался и вел жизнь, настолько благочестивую, что никогда не принимался за работу, не выстояв мессы и не помолившись со скрещенными руками у алтаря святого Франциска Ассизского. Я стал терциарием ордена францисканцев, мечтал писать одни только церкви и жить, предав забвению все остальное".

Тем не менее Гогена Бернар не забывал, он преследовал его своей ненавистью и не упускал случая письменно на него обрушиться. В февральском номере "Меркюр де Франс" среди художников, "которые не постеснялись копировать" Сезанна, Бернар назвал Гогена и - как это ни странно и ни нелепо - Писсарро, который был учителем художника из Экса. А в конце апреля Бернар написал Шуффу письмо, которое глубоко взволновало последнего.

"Бернар, - сообщал Шуфф Гогену, - выдвинул против Вас чудовищное обвинение, основанное на признании, которое Вы якобы сами ему сделали, и утверждает это с такой уверенностью, что я в полном замешательстве. Подобного рода слухи доходили до меня после нашей ссоры, но так как они исходили от моего брата, я не придавал им значения, считая их досужими и глупыми сплетнями. На этот раз дело обстоит по-другому... К тому же поведение моей жены с Вами в ту пору тоже не прошло для меня незамеченным".

Словом, как писал Шуффенекер, "все вместе взятое не могло меня не смутить".

Гоген, которого он просил объясниться[287], ответил, еле сдерживая гнев. "Еще до моего отъезда, - писал он Шуффу, - Вы, как дурак, подпали под влияние этого змееныша. Сегодня дело обстоит куда серьезнее. Что я могу ответить Вам на эту клевету? Ничего. Если бы меня просил об этом другой человек, я высмеял бы его и послал к черту, но, поскольку речь идет о Вас, я страдаю, потому что страдаете Вы". Однако эти слова не могли полностью успокоить Шуффа. "Одно обстоятельство в этом деле остается для меня неясным. Как бы ни свихнулся Бернар, как бы ни обезумел от ненависти к Вам, откуда ему могло прийти в голову такое чудовищное обвинение? Если Вы не против, мы с Вами поговорим об этом при встрече"[288].

Гогена глубоко задело обвинение Бернара[289]. Он был в ярости на "очаровательного юнца". "Я встречал в своей жизни многих сволочей, но худший из всех маленький Бернар. Шагу нельзя сделать, чтобы не наступить в оставленное им дерьмо. Он... на всех углах". А в июне Бернар опубликовал в "Меркюр" новую статью, в которой неистовствовал против Гогена: "Факты неоспоримо подтвердили мне, что Гоген воспользовался частью, притом наибольшей, моих усилий, так что я не могу это отрицать".

Тут Гоген не выдержал и разразился язвительной статьей, в которой начертал творческий путь своего бывшего бретонского друга.

"В чем состоят его пресловутые поиски в искусстве, - спрашивал он. - В чем они выразились?.. Эх, господин Бернар, чем писать статьи, пытаясь создать себе индивидуальность, какой у Вас никогда не будет, пишите-ка лучше картины с последовательностью во взглядах и не давайте повода целому поколению художников, следящих за Вами с Ваших первых шагов в Понт-Авене, считать Вас шарлатаном. И в особенности не нападайте на Вашего наставника. А что Вы его таковым считали, свидетельствует посвящение: "Полю Гогену, мужественному и безупречному наставнику и пр. Бернар". Тем более, что тот не дает себе труда Вам отвечать, разве что своими

---

287 Эти письма опубликованы Урсулой-Франс Маркс-Ванденброук в ее диссертации о Гогене.

288 Он сам вспоминал об этом инциденте несколько лет спустя в "Прежде и потом".

289 "Со стороны человека, обладающего Вашим характером, Вашей жестокостью, никакой безжалостный поступок меня не удивит, но я никогда бы не поверил, что человек Вашего таланта способен совершить низость", - писал Шуфф в неопубликованном черновике письма к Гогену.

произведениями, всегда имеющими между собой нечто общее, несмотря на незначительные вариации, которые художник, стремящийся к совершенствованию, всегда вносит в каждое произведение".

Эти мстительные заметки по неизвестным причинам остались неизданными"[290].

В разгар всех этих огорчений Гоген упорно искал возможности осуществить свой план и уехать на острова. Он хлопотал о должности резидента в Океании, но безуспешно. Рассчитывать приходилось только на свою живопись.

Гоген продал несколько картин владельцу кафе "Варьете" Огюсту Боши, большому другу художников и страстному коллекционеру. 20 июля Боши должен был заплатить ему две тысячи шестьсот франков. Кроме того, небогатый торговец картинами Тальбум, с которым Гогена познакомил Морис, должен был через год, в мае, выплатить ему восемьсот франков за картину, которую он выбрал. Со своей стороны Мофра уверял, что сможет продать одну картину знакомому врачу. Это должно было дать еще триста франков. Наконец окантовщик Добур обещал, как только получит деньги, выплатить художнику шестьсот франков, которые он ему был должен за старую покупку. Гоген делал подсчеты. Пункт первый: денег, которыми он располагал, должно было хватить на дорогу и обзаведение. Пункт второй: в Океании ему хватит двухсот франков в месяц, чтобы существовать безбедно. С четырьмя тысячами тремястами франков, которые ему должны выплатить, он сможет продержаться почти два года. Остается проблема будущего. Гоген хотел иметь некоторые гарантии.

В конце концов он получил их от двух торговцев картинами - Леви с улицы Сен-Лазар и Шоде с улицы Родье. Хотя они признавали, что живопись Гогена не так-то легко "заставить проглотить", оба считали, что в довольно короткий срок смогут продать его картины. Это был "вопрос времени". "Можете спокойно уезжать, - объявили они ему, - мы не бросим вас в затруднительном положении".

Гоген только этого и ждал. Он разместил у торговцев свои картины и скульптуры, потом занялся последними приготовлениями к отъезду, теперь уже близкому и более чем когда-либо одинокому, потому что ни Сеген, ни О'Коннор с ним ехать не собирались. Он роздал друзьям сувениры и сложил чемоданы.

28 июня Морис объявил в "Суар", что назавтра Гоген навсегда покидает Францию. Гоген уезжал без шума, почти украдкой. Он не хотел "прощаний на вокзале, которые волнуют и утомляют" и поэтому просил друзей не провожать его. В последний момент супруги Молар и Пако Дуррио все-таки настояли, что они его проводят. На перроне они единственные и пожали ему руку на прощание...

3 июля на борту "Австралийца", уходившего из Марселя, Гоген покинул Европу. "Там в тишине среди цветов мне остается вырезать себе гробницу", сказал он Морису.

III
АЛИНА

И, венчая шкаф мой книжный,
неподвижный, неподвижный...
Восседает Ворон черный,
несменяемый дозорный,
Давит взор его упорный, давит,
будто глыба льда.
И мой дух оцепенелый из-под
мертвой глыбы льда

---

290 Впоследствии они были опубликованы Анри Дорра в "Газет де боз-ар" в апреле 1955 года.

Не восстанет никогда!

Э. По. Ворон[291]

На борту парохода, вперив безжизненный взгляд в морские просторы, Гоген продолжал бесконечный спор с самим собой. Правильно ли он поступил, бросив все, примирившись со своей участью, отказавшись надеяться наперекор всему? В его памяти вставало нежное и печальное лицо Алины, ее задумчивые глаза, и сердце его сжималось. Никогда!.. Никогда!..

Гоген даже не сообщил Метте о своем отъезде. Он был уверен - его бегство расценят как "преступление". "Совершенно верно, я великий преступник. Ну и что? Микеланджело[292] тоже был преступником, да только я не Микеланджело". Но знают ли те, кто его обвиняет, "какая мука - неудачный брак? Развестись - легко сказать, но как? И почему нельзя разойтись попросту, без всяких судейских?" На борту "Австралийца", а потом на борту парохода, который доставил его из Новой Зеландии на Таити, Гоген думал одну и ту же думу и приходил все к тем же выводам. Он умрет здесь. Он построит себе хижину, будет разводить птиц, выращивать овощи, а также ваниль и кофе и будет их продавать. "А мое семейство - уж если без меня им помочь некому - пусть выкручивается как знает!"

Никогда! Никогда!..

В Порт-Саиде Гоген накупил порнографических открыток. А приехав на Таити, где уже не мог вернуть Техуру, которая вышла замуж, пустился в разгул с местными женщинами. "Все ночи напролет отчаянные девчонки не вылезают из моей постели. Вчера у меня их было сразу три".

Сначала он подумывал, не перебраться ли ему на Маркизские острова. Но в конце концов арендовал клочок земли в Пунаауиа, сравнительно недалеко от Папеэте, по дороге, идущей вдоль моря к Матаиеа.

Пожалуй, это был самый красивый район Таити. Широкая долина спускалась с холмистого берега в глубь острова и тянулась до горы Орофена - самой высокой вершины острова, достигавшей двух тысяч двухсот метров. Хижины туземцев прятались среди кокосовых и банановых деревьев, гуав, красного жасмина и брахихитонов. Вдоль лагуны, переливавшейся всеми мыслимыми оттенками, на много километров тянулся белый пляж. Напротив вздымался остров Моореа, фантастически выделявшийся на фоне волн в ореоле заката.

В этом волшебном уголке художник выстроил просторную хижину из двух комнат, крытую листьями кокосовой пальмы. В спальне всегда царил полумрак и было прохладно, мастерская была залита светом. На полу Гоген расстелил циновки, старый персидский ковер, стены увешал рисунками, тканями, расставив повсюду безделушки. Рядом с хижиной находился сарай-конюшня, где Гоген держал купленные им лошадь и двуколку.

"Как видите, особенно жалеть меня не приходится", - писал Гоген Монфреду в ноябре и, шутливо упомянув о своей разгульной жизни в первые недели пребывания на Таити, добавлял: "Но теперь я хочу покончить с распутством, взять в дом серьезную женщину и работать не покладая рук, тем более что я чувствую себя в ударе и думаю, что буду писать лучше, чем прежде".

И, однако, его не покидала тревога. Кроме письма Монфреда и еще одного от Мориса из Парижа не было ни строчки. Его должники, и в частности Боши, который еще в июле должен был выслать ему две тысячи шестьсот франков, не торопились с ним расплатиться. А деньги таяли. Постройка хижины обошлась дорого. И к тому же он признавался сам: "Как всегда, когда у меня заводятся деньги и появляются надежды, я трачу, не считая". Но если

---

291 Пер. М. Донского.

292 Микеланджело Буонаротти (1475-1564) - итальянский скульптор, художник, архитектор и поэт.

ему теперь не пришлют денег, он вскоре окажется на мели.

Отныне, как только приходила почта, Гоген бросался к почтовому окошку, с каждым разом все больше торопясь и волнуясь. Но тщетно. Ни писем, ни переводов не было. Как и четыре года назад, во время его первой поездки, началось бесконечное ожидание, и снова его охватывало чувство неуверенности - мучительной, тягостной неуверенности, "а это самое худшее в моем положении". Хоть бы ему написали, чтобы он знал, как обстоят дела! Даже дурные новости он предпочел бы неизвестности. Ждать, ждать в бездействии и мучительной тревоге - вот все, что ему оставалось.

Эта тревога, которую отягчало сознание собственного бессилия, лишала Гогена мужества и сил в борьбе с физическими недугами. В размягчающем климате Таити снова открылись раны на его ноге. Лодыжка болела, он не спал ночами. Печальной была для него зима 1895/96 года, когда красота Пунаауиа, пылавшей под солнцем яркими красками своих бесчисленных цветов, только еще усугубляла его страдания. Когда боли в ноге немного отпускали, он писал. Он продолжал петь свою песню. На его полотне возлежала маорийская Олимпия варварская Венера, которой он поклонялся. Его новая вахина Пахура, девушка тринадцати с половиной лет, несомненно позировала для этой картины "Женщина под деревом манго" ("Те арии вахине")[293]. Холст пронизан безмятежной чувственностью. "Мне кажется, что мне еще никогда не удавалось добиться такой величавой и глубокой звучности в цвете". Гоген достиг вершин мастерства. Но как велик был контраст между художником, для , которого настал момент создания шедевров, и человеком, который в ту же пору горестно жаловался, что "исчерпал не только все свои деньги, но и все свои силы".

Месяцы шли, а из Франции по-прежнему ничего не было. Должники точно воды в рот набрали. Гогену пришлось занять пятьсот франков, чтобы прокормиться. "С пятьюстами франков, что я должен за дом, это составляет тысячу франков долга, - писал он в апреле 1896 года Монфреду. - А меня не назовешь неблагоразумным - я живу на сто франков в месяц со своей вахиной... сами видите, это не много, а тут еще табак для меня и мыло, и платье для малышки - итого десять франков уходят на туалетные нужды". В довершение беды из письма Монфреда Гоген узнал, что Леви отказался заниматься продажей его картин. Это был жестокий удар. Теперь будущее Гогена зависело от одного Шоде. "Все рушится... Чем дальше я иду, тем глубже увязаю".

Он узнал также, что Метте потребовала, чтобы Шуфф передал ей картины мужа, и Шуфф послал ей несколько картин. "Бедняга Шуфф считал, что поступает правильно, я не могу на него за это сердиться. Он всегда питал к ней слабость и считал ее несчастной. ...Моя жена продаст картины и на эти деньги купит хлеба с маслом. Так-то!"[294].

Художник приходил в отчаяние. Он взывал о помощи, просил Шуффа обратиться к графу де Ларошфуко, который выплачивал Филижеру и Бернару годовую ренту в тысячу двести франков, чтобы получить от него вспомоществование в обмен на картины. Гогену были тягостны эти просьбы. Но что еще ему оставалось? "Домье, который был никак не хуже меня, без стеснения принял ренту от Коро". И у него вырвалась жалоба: "Мне никогда никто не помогал, потому что меня считают сильным, и я был слишком горд. Но теперь я повержен, я слаб, я почти обессилен беспощадной борьбой, которую я вел, я стою на коленях, отбросив всякую гордость. Я самый настоящий неудачник".

Самоубийство он считал "нелепым поступком", но, как знать, не вынудят ли его в

---

293 В настоящее время находится в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

294 Метте писала Шуффу 31 января: "Чудовищный эгоизм Поля превосходит всякое человеческое воображение, и больше всего меня раздражает, что он считает себя "мучеником искусства". А в общем, пусть носится, где хочет, я счастлива, что Вы сохранили обо мне такую теплую память, что готовы позаботиться обо мне. Поэтому, если Вы можете получить картины, пожалуйста, пришлите их мне, я попытаюсь их продать и, само собой, Полю денег не пошлю".

конце концов покончить с собой. Хотя это было бы слишком глупо. Лежа на своей постели с перевязанной ногой, Гоген ломал себе голову, изыскивая способ выбраться из затруднений и строя "уйму комбинаций". Одна из них, о которой он в июне сообщил Монфреду и Мофра, казалась ему великолепной. Речь шла о том, чтобы пятнадцать любителей, сложившись, выплачивали ему две тысячи четыреста франков ежегодной ренты, то есть по сто шестьдесят франков каждый. А он взамен будет посылать им пятнадцать картин, которые будут разыгрываться по жребию.

"Совершенно очевидно, что такая цена за мои картины не слишком велика[295] и что через некоторое - и довольно короткое - время покупатели увидят, что не остались в проигрыше... Руки у меня не загребущие, черт побери! Зарабатывать двести франков в месяц (меньше, чем рабочий) на пороге пятидесяти лет, при довольно известном имени! Излишне говорить, что хламом я не торговал никогда и сейчас не собираюсь... И если я готов жить в бедности, то потому, что не хочу заниматься ничем, кроме искусства".

Письмо Мофра, в котором тот сообщал, что в июле вышлет триста франков, как видно, немного успокоило Гогена, и он решился наконец лечь в больницу в Папеэте, чтобы подлечить ногу, которая мучила его все сильнее. Но, к сожалению, в июле деньги не пришли ни от Мофра, ни от кого другого. Как же он сможет расплатиться с врачами по выходе из больницы?

Гоген поддерживал довольно регулярные отношения с офицерами сторожевого судна "Дюранс". Иногда он обедал в их кают-компании. Офицеры в свою очередь приходили к Гогену в Пунаауиа, причем приносили с собой кое-что из съестного. Младший офицер Ревель должен был в этом месяце вернуться во Францию. Художник вручил ему для передачи Монфреду девять картин. Гоген так плохо себя чувствовал, что ошибся в адресе - перепутал номер дома на бульваре Араго, где теперь жил его друг. За месяц до этого, снова вспоминая о полотнах, которые Шуфф послал Метте, Гоген подчеркнул в письме к Монфреду, что отныне его жене не следует посылать ни одной картины, не получив с нее предварительно денег. "Я хочу иметь треть от продажи моих картин, а так как я ей больше не доверяю, я хочу получать деньги вперед. Коротко и ясно!"

Когда в августе Гоген вышел из больницы, его дела оставались в прежнем положении. Мофра долга не вернул. Не посылали денег ни Боши, ни Добур, ни Тальбум. "Представляете, какой у меня был вид, когда мне пришлось признаться, что я смогу заплатить сто сорок франков только позднее!"

Раны на ноге не зарубцевались, но по крайней мере не причиняли ему страданий. Однако разве он мог поправиться? "Как мне восстановить силы, когда мне нечего пить кроме воды, а вся моя еда - немного отваренного на воде риса". Но в конце концов и с этим можно было бы смириться, если бы его поддерживала хоть какая-нибудь надежда. Увы!.. Было совершенно очевидно, что во Франции никто не представлял себе толком, в каком он очутился положении. Это объяснялось, конечно, эгоизмом. Когда речь идет о другом, все быстро успокаиваются. Гоген преувеличивает, он не так бедствует, как уверяет[296]. Но была в этом и неспособность людей выйти за пределы собственных представлений, мысленно пережить судьбу другого. Каждый человек замкнут в своем обособленном мире, отделенном Великой китайской стеной некоммуникабельности от других людей. Люди говорят друг с другом, но друг друга не понимают. Шуффенекер, который в феврале - марте выставил свои живописные работы и пастели в книжном магазине "Независимое искусство", жаловался в письме к Гогену, что выставка потерпела "полный провал". Он считал себя куда более обиженным судьбой, чем Гоген, у которого, по мнению Шуффа, было все: "слава, сила,

---

[295] 160 франков, которые любители платили бы за каждую картину, составляют около 400 новых франков.

[296] "На мой взгляд все это сильно преувеличено, - писал Сеген О'Коннору 18 июня. - Не забудьте, что ответа придется ждать не меньше полугода, и Гоген, наверное, принял какие-то меры предосторожности".

здоровье!" "Будь Вы более осторожны и предусмотрительны, Вы теперь жили бы в достатке, а если бы при этой предусмотрительности, у Вас было бы еще немного больше доброжелательности и терпимости по отношению к Вашим современникам, Вы были бы счастливым человеком". Несмотря на горечь, которая проскальзывает в этих словах, Шуфф, конечно, не имел в виду ничего дурного. Он просто поддался своему мрачному настроению[297]. Ни на одно мгновение он не задумался о том, какое впечатление так некстати вырвавшиеся у него завистливые слова и неуместные рассуждения произведут на отчаявшегося человека, который прочтет их на берегу Тихого океана. Жестокая бестактность, вызванная непониманием. По совету критика Роже Маркса Шуфф - с самыми добрыми намерениями - стал собирать подписи под прошением, чтобы государство оказало помощь Гогену. Художник пришел в ярость. "Я никогда не собирался просить подаяния у государства. Вся моя борьба вне рамок официальщины, достоинство, которое я старался соблюсти всю жизнь, отныне теряют свой смысл... Эх, вот еще одно горе, которого я не ждал"[298].

Шуфф исполнил просьбу Гогена и пошел к графу де Ларошфуко. Но о чем он говорил с графом? Уж не просил ли милостыни для Гогена? Так или иначе, граф вручил ему двести франков. Продолжая сбор пожертвований, Шуфф получил еще двести франков от одного из своих коллег. Эти четыре сотни франков дошли до Гогена в сентябре. "Было бы более пристойно купить у меня что-нибудь, чем подавать мне милостыню", - отозвался на это художник. Бедняга Шуфф и в самом деле не чувствовал оттенков.

Морис со своей стороны тоже хлопотал о Гогене. Он не побоялся испросить аудиенции у директора Департамента изящных искусств Ружона, чтобы рассказать ему, в каком положении находится художник, и убедить его переменить прежнее решение и не отказываться от обязательства, которое Ларруме дал Гогену. "Купите у Гогена картину или закажите ему роспись". Ружон - аудиенция состоялась 10 июля - резко забарабанил по подлокотникам своего кресла. "Никогда, сударь! - закричал он. - Пока я сижу на этом месте, господин Гоген не получит государственного заказа! Ни одного квадратного сантиметра!" И, видя, что Морис встал, он, несколько смягчившись, добавил: "Но кое-что я для него сделаю, это я вам обещаю". И Гоген одновременно с четырьмя сотнями франков от Шуффа получил двести франков от дирекции Департамента изящных искусств "в качестве поощрения". В ярости он тут же отослал их обратно.

"Не знаю, чем все это кончится, - писал Гоген Шуффу. - Я молю бога поскорее меня доконать".

К счастью, вдруг объявился Шоде. Он послал Гогену двести франков. Расплатившись с самыми неотложными долгами, Гоген даже оставил себе небольшую сумму. С грехом пополам ему удавалось перебиваться. В декабре ему пришлось снова занять сто франков. Несмотря на эту беспорядочную, полную тревоги о завтрашнем дне жизнь, Гоген снова почувствовал прилив энергии. К тому же он немного окреп. С шести часов утра он принимался за работу, писал картины, лепил.

"Я повсюду на траве расставляю скульптуры. Это глина, покрытая воском. Во-первых, обнаженная женская фигура, потом великолепный фантастический лев, играющий со своим львенком. Туземцы, которые никогда не видели хищников, совершенно ошеломлены. Кюре приложил все старания, чтобы заставить меня убрать женскую фигуру... Полицейские

---

[297] Несколько месяцев спустя, в январе 1897 года, Шуфф писал в своем дневнике: "Мне сорок пять лет, но я старее любого патриарха, я устал, я пуст и мрачен, как могила. Годы накапливали над моей головой разочарования и горести. Жизнь постоянно унижала и оскорбляла меня. Если бы кто-нибудь захотел дать мне прозвище со значением, он должен был бы назвать меня "раненое сердце".

[298] Это прошение было подписано Пюви де Шаванном, Дега, Малларме, Мирбо, Каррьером, Арсеном Александром, Роже Марксом... К удовольствию Гогена, торговец Шоде убедил Шуффа отказаться от этой затеи.

подняли его на смех, а я попросту послал его... Ах, если бы только я получил то, что мне должны, я жил бы совершенно спокойно и счастливо".

"Наве наве махана" ("Счастливые дни") озаглавил Гоген одну из картин, написанных в эту пору[299]. Никогда еще он не выражал так полно, как в этой картине, где несколько маорийцев неподвижно стоят под деревьями, гармонию, сладость таитянского мира. Безмятежное видение. Но этому образу его грез противостоит другой образ - суровый и горький образ действительности. Гоген написал поясной автопортрет. Он изображен на нем в белой таитянской рубашке с открытым воротом. Можно подумать - осужденный который приготовился идти на казнь. "У Голгофы" - значится в левом углу этого автопортрета"[300]. "Если бы здоровье мое не стало намного лучше, поверьте, я размозжил бы себе голову, - признавался Гоген Монфреду. - Но теперь, после того как я так долго ждал и каждый месяц надеюсь, что все разрешится, это было бы бессмысленно!"

Но вскоре у Гогена опять разболелась нога и, несмотря на всю свою стойкость, он вынужден был прервать работу. Правда, на этот раз ненадолго. В январе 1897 года он получил тысячу двести франков от Шоде, и это настолько утешило и обрадовало его, что подействовало лучше всех лекарств. Кроме того, Боши обязался ежемесячно выплачивать Шоде сто пятьдесят франков для Гогена. Горизонт прояснялся. Гоген решил вернуться в больницу, но так как он не мог оплачивать пребывание в ней по полной стоимости (деньги, присланные Шоде, ушли на покрытие девятисот франков долга), его после долгих препирательств согласились поместить, да и то все-таки за пять франков в день, только в одну из палат для туземцев. Задетый, Гоген отказался. Удивительный все-таки народ эти колониальные чиновники!

Отношения Гогена с обитателями Папеэте все больше обострялись. Когда Гоген являлся в город, многие белые смотрели на него с жалостью и презрением. Отощавший от голода, плохо одетый, этот несчастный мазила не принадлежал к их кругу. "В этой стране, дети мои, - заявил один из губернаторов Таити, - деньги валяются на земле, их надо только подбирать"[301]. А Гоген денег не подбирал. Он якшался с туземцами. Жалкая личность! Физические и моральные страдания последних месяцев отнюдь не смягчили характер Гогена, и он болезненно ощущал это презрение. Остро на него реагируя, он, не переставая, высмеивал необразованность и бездарность колониальной среды и разоблачал злоупотребления администрации. Губернатора он называл "чучелом", членов департаментского совета "мошенниками". Ах, с каким удовольствием он высказал бы в лицо этим ничтожествам всю правду о них! По соседству с Таити взбунтовались Подветренные острова. Французское правительство 1 января начало проводить там военные операции. Художник писал Морису:

"Ты мог бы написать недурную информационную статейку, которая содержала бы (эта мысль кажется мне оригинальной) интервью П. Гогена с туземцем перед боевыми действиями. Если тебе удастся поместить статью в какой-нибудь газете, пришли мне несколько экземпляров - я был бы рад показать кое-кому из здешних хамов, что я кусаюсь".

В связи с этой кампанией, окончившейся 17 февраля, в водах архипелага[302] появился крейсер "Дюге-Труэн". Гоген, как всегда друживший с морскими офицерами, продал за сто франков маленькую картину судовому врачу Гузе. "Дюге-Труэн" зашел в порт Папеэте в

---

299 В настоящее время в Музее изящных искусств в Лионе.

300 В настоящее время в Музее Сан-Паулу.

301 Приведено Гогеном в "Прежде и потом".

302 Остров Таити входит в состав Наветренных островов, которые вместе с Подветренными островами составляют Острова общества.

середине февраля и должен был через некоторое время снова вернуться сюда. Художник решил, что передаст Гузе, который собирался вскоре выйти в отставку и получить назначение в какой-нибудь военный госпиталь во Франции или в Алжире, несколько своих картин. Шоде прислал Гогену еще тысячу тридцать пять франков. "Я на пути к выздоровлению", - удовлетворенно писал Гоген. Он работал с увлечением, хотя и "рывками", и хотел во чтобы то ни стало добавить к картинам, которые посылал с Гузе, еще одну - изображение обнаженной женщины. В этой картине он хотел бы дать представление о "своеобразной варварской роскоши былых времен".

Эта обнаженная - еще одна маорийская Олимпия. На богатом ложе возлежит туземка, тело которой мощно моделировано и написано "умышленно темными и печальными", но роскошными красками. Женщина отдыхает, глаза ее открыты. Позади нее птица, которая наблюдает за ней. "Называется картина "Nevermore"[303]; это не ворон Эдгара По - это сатанинская птица, которая всегда настороже" - "глупая" птица судьбы, символ остающихся без ответа вопросов и непостижимости человеческой участи. Обнаженная на картине "Nevermore" и в самом деле вызывает ощущение не столько сладострастия, сколько тайны и тревоги. Искусство Гогена с каждым годом набирало силу. У художника уже не было нужды прибегать к полинезийскому пантеону, к каменным идолам, чтобы прикоснуться ко всеобщему. Ему достаточно изобразить женское тело в его плотском расцвете, распростертое среди варварского великолепия декора, над которым царит птица - "Никогда", чтобы выразить ту изначальную муку, то смятение, которое вызывает у человека загадка его существования. Выразить, а вернее, дать почувствовать, потому что, как говорил Гоген, "главное в произведении это именно то, что не высказано". Живопись - это музыка, часто твердил он. "Еще прежде, чем понять, что изображено на картине... вы захвачены магическим аккордом".

Оказалось, что крейсер "Дюге-Труэн" возвратится на Таити не раньше 25 февраля. Гоген воспользовался этим, чтобы написать еще одну картину - "Те рериоа" ("Грезы") и отдать ее доктору Гузе. В хижине, украшенной фризами и резными панно, маорийская женщина склонилась над колыбелью, в которой спит ребенок. Другая женщина, сидящая рядом с ней, заслонила часть двери, в которую видна таитянская деревня, деревья, горы, поросшая травой тропинка и всадник. Несомненно, здесь изображена хижина художника.

Как и "Наве наве махана", это полотно - образ счастья, которое, может быть, Гоген и вкушал теперь в своей новой семье: в конце года Пахура родила ему ребенка. Может быть... "В этой картине все греза, - писал Гоген о "Те рериоа". - Что это - ребенок, мать, всадник на тропинке или это тоже греза художника?..". С тех пор как Шоде прислал ему денег, дни его текли в покое. Здоровье его окрепло. Расплатившись с долгами, он чувствовал, что на несколько месяцев избавлен от материальных забот. Тем более что Шоде обещал вскоре прислать еще денег. Гоген пользовался этим обретенным покоем, он писал с радостным подъемом, писал образы счастья, которые, может быть, и не отвечали полностью действительности, но были как бы грезой, которая, накладываясь на действительность, преображала ее. Греза!.. Она стала теперь почти недостижимой, что бы ни говорил и ни делал Гоген. Разве болезнь и нищета, которые он пережил в последние месяцы, подействовали бы на него так, если бы вся его жизнь не оказалась крахом, если бы его отъезд на Таити не был бегством побежденного? Никогда! Прошлой весной он писал Шуффу о своих детях: "Я уже давно стал для них ничем, отныне они для меня ничто. Этим все сказано..." Да. этим все сказано. Но Гоген тщетно изображал равнодушие, безразличие, разыгрывал из себя циника, которого ничто не трогает, насмешничал и богохульствовал, он сам сознавал, что в душе у него рана куда более тяжкая, чем раны на ноге, и она неизлечима. Греза!.. Пять лет тому назад Гоген искал рай на Таити. Но по ту сторону великого таитянского сумрака, великого таитянского "по" он обнаружил не рай, а сумрак вопросов без

303 "Никогда" (англ.).

ответа, бездонную пропасть, у края которой измученный, изумленный, он тщетно задавал себе вопросы о судьбе человека и о своей собственной судьбе, "вопрошал себя, что все это означает". Глупая птица "Nevermore".

3 марта "Дюге-Труэн" вышел из Папеэте. Гоген писал, а если чувствовал себя очень уставшим, рисовал или резал гравюры по дереву. "Сейчас я чувствую себя в рабочем настроении, - весело сообщил он Монфреду 12 марта. - Я наверстаю потерянное время, и вам грозит лавина моих работ". Спокойная, трудовая жизнь. Она длилась недолго. Волей внезапно изменившихся обстоятельств художник снова был ввергнут в пучину тревог и забот.

Хозяин того земельного участка, на котором построил свою хижину Гоген, умер, оставив свои дела в весьма запутанном состоянии. Землю решили продать, хижину снести. Гогену пришлось искать другой клочок земли, где он мог бы построить жилье, а это сразу вновь подорвало его бюджет. Ему нужна была тысяча франков. Но где их взять? "С ума можно сойти! - отчаивался он. - Шоде пишет мне только тогда, когда у него есть деньги, и хотя он пообещал их высылать, я ничего не получил. Стало быть, снова придется залезать в долги".

В разгар этих хлопот прибыла апрельская почта. От Шоде не было никаких вестей. Зато пришло два письма - одно от Монфреда и второе - совершенно неожиданное - с почтовым штемпелем Дании. Что понадобилось Метте? Картины? Гоген разорвал конверт и вынул листок, на котором было только несколько слов: "19 января, проболев всего три дня пневмонией, которую она подхватила при выходе с бала, умерла Алина".

Гоген прочитал это письмо спокойно, как человек, который, обжегшись, сначала не чувствует боли. Слез не было. Настало отупение. А потом его охватила ярость - он сыпал проклятиями, неистово хохотал. Да, хохотал. Он не понимал, ни что делает, ни что думает. Он хохотал, проклинал, бредил. Потом мало-помалу он ощутил боль, ту настоящую муку, которую чувствуешь физически, которая не дает сомкнуть глаз по ночам. "О, эти долгие бессонные ночи! Как от них стареешь!".

С каждым днем, с каждой неделей боль когтила его все сильнее. Жестокий удар! Глупая птица, которая подстерегает во мраке.

Сначала Гоген не ответил Метте. К чему? Но через некоторое время, охваченный потребностью выкричать свою боль, он послал жене письмо, в котором каждое слово пронизано воспоминанием о прошлом, страданием и непрощенной обидой - последнее письмо Гогена Метте-Софии Гад.

"Я читаю через плечо друга, а он пишет:

"Мадам!

Я просил Вас, чтобы в день моего рождения, 7 июня, дети писали мне: "Дорогой папа" и ставили свою подпись. Вы ответили мне: "У Вас нет денег, не надейтесь на это".

Я напишу Вам: не "Да хранит вас бог", а более прозаично: "Да не пробудится Ваша совесть, чтобы Вам не пришлось ждать смерти, как избавления".

Ваш муж

И этот же друг написал мне: "Я только что потерял дочь, я разлюбил бога. Ее звали Алина, как мою мать. Каждый любит на свой лад: у одних любовь воспламеняется над гробом, у других... не знаю.

Ее тамошняя могила, цветы - одна только видимость. Ее могила здесь, возле меня. И живые цветы - мои слезы".

IV
ИДОЛ С ПОДНЯТЫМИ РУКАМИ

Страдать стоя, стоя, страдать минута за минутой. И наступит мгновенье, когда тебе больше нечем дышать, ты не выдерживаешь, ты молишь: "Господи! У меня нет больше сил, дай

мне пасть на колени!" Но он не дает, он хочет, чтобы мы, живые, стояли на этой земле, минута за минутой, не зная передышки.

Пиранделло[304]*. Жизнь, которую я тебе дал (слова Донны Анны)*

Гоген пытался взять себя в руки. Он был почти рад, что у него столько забот. Пока он бегал по округе в поисках свободного участка земли, пока хлопотал о ссуде в Земледельческой кассе Папеэте, он по крайней мере не думал.

Единственный свободный участок земли в Пунаауиа оказался расположен неподалеку от прежнего жилья Гогена. Он растянулся на сто тридцать метров вдоль дороги, ведущей к кладбищу. Это было многовато. Но делать нечего! Гоген решил купить его. Участок обойдется в семьсот франков[305], подсчитывал Гоген, но на нем растет не меньше сотни кокосовых пальм, а это может принести пятьсот франков в год. Смирив свою гордость, Гоген просил, умолял правление Земледельческой кассы дать ему на год ссуду в тысячу франков. В конце концов ему дали такую ссуду из 10 процентов годовых.

Гоген начал строить новую хижину. С одной стороны в ней было оборудовано жилое помещение, а с другой - расположенная чуть ниже мастерская в шесть метров длиной. Перед хижиной художник разбил маленький сад. "Ах, если бы нас было двое!" - восклицал он, тоскуя о каком-нибудь друге. Он еще в начале года звал к себе Монфреда и Сегена. Временами, в особенности когда на землю низвергались тяжелые и теплые тропические ливни, окрашивавшие хижины Пунаауиа в серый цвет, Гогена угнетало одиночество. Одиночество и отчаяние.

"Плачешь? А что же ты сделал?
Вспомни скорей.
Что, непутевый, ты сделал
С жизнью своей?"[306]

В таком безвыходном положении Гоген не был еще никогда. Ни Шоде, никто другой денег не присылали. Здоровье его снова пошатнулось. В июне ему пришлось лечиться от конъюнктивита в обоих глазах. Теперь у него болели и отекали ноги. Гогена мучила экзема. Он принимал мышьяк, но это мало помогало. К болям в щиколотках, зачастую невыносимым, прибавились головокружения, приступы лихорадки. В иные дни он мог оставаться на ногах не больше четырех часов.

"Переводы Шоде очень меня поддержали, - писал Гоген Монфреду в июле, но потом все эти последние горести доконали меня". Он задолжал теперь полторы тысячи франков и исчерпал весь кредит - торговец-китаец не отпускал ему в долг даже хлеба. Когда Гоген получит деньги - если он вообще их получит! - "они уйдут на то, чтобы заткнуть кое-какие дыры и продержаться два-три месяца, а потом опять все сначала. Так дальше жить нельзя".

В январе Гоген выслал доверенность Монфреду, чтобы взыскать долг с Добура. Но "каналья" Добур оспорил требование. Гоген обратился к другим своим должникам - к Мофра, которому в сентябре отправил резкое письмо. Но чего ждать? Если Шоде с февраля хранит молчание, стало быть, он отказался от Гогена, как Леви. "Безумная, жалкая и злополучная затея, моя поездка на Таити!.. Я вижу один исход - смерть, которая от всего избавляет".

Мысль о смерти преследовала Гогена. Не только мысль о добровольной смерти, на которую он в один прекрасный день, несомненно, должен будет решиться, хотя она внушала ему отвращение, потому что он считал, что, убив себя, он уклонится от исполнения долга, но

---

[304] Пиранделло, Луиджи (1867-1931) - итальянский писатель и драматург.

[305] Акт о продаже участка поступил к нотариусу Папеэте, мэтру Венсану, 11 мая 1897 года.

[306] Пер. В. Портнова.

и мысль о смерти вообще, хотя она и была для него связана с мыслью о самоубийстве. С уходом из жизни Алины перед Гогеном разверзлись таинственные врата. Гоген, который слал Монфреду письма, пестрившие одними только цифрами, который из месяца в месяц вел все те же бесполезные подсчеты, на самом деле был человеком, который глядит в бездну. Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем? В чем смысл нашей бесцельной истории? Все в этом мире лишь хаос, беспорядочное размножение, абсурд...

Со времени приезда на Таити Гоген переписывал на больших переплетенных в кожу листах бумаги текст "Ноа Ноа", отредактированный Морисом. Он проиллюстрировал этот текст, в котором все еще не хватало многих поэм Мориса, акварелями, гравюрами на дереве и фотографиями. Закончив переписку - в рукописи оказалось двести четыре страницы, - он добавил в конце кое-какие размышления и воспоминания под общим названием "Разное". В частности, он посвятил страницу картине, которую собирался написать, монументальной композиции, "торжественной как религиозное заклинание", в центре которой должна была быть фигура маорийской женщины, превращенной как бы в идола и стоящей перед группой деревьев, "какие растут не на земле, а только в раю". Гоген, без сомнения, еще не очень ясно представлял себе, что это будет за картина и какое значение она приобретет для пего под влиянием всех событий и тоски, которая его снедала. Но он чувствовал, угадывал, что эта картина будет "шедевром".

Художник непрерывно думал о смерти, о потустороннем мире и о боге. Он снова взялся за рукопись "Ноа Ноа" и начал вписывать в нее длинный и довольно сумбурный очерк, который назвал "Католическая церковь и современность". Отталкиваясь от брошюры "Исторический Христос", опубликованной в Сан-Франциско, автор "Желтого Христа" выступал против влияния католицизма. "Разить надо не легендарного Христа, надо метить выше, идти в глубь истории... Надо убить бога" - церковного бога, бога всех культов, ибо в глазах Гогена все они равно "идолопоклонство".

"Перед лицом великой тайны, ты горделиво восклицаешь: "Я нашел!" И заменяешь непостижимое, столь дорогое поэтам и другим восприимчивым сердцам, совершенно определенным существам, созданным по твоему подобию, жалким, мелочным, злым и несправедливым, готовым заглядывать в задний проход каждому из своих ничтожных творений. Этот бог внемлет твоим молитвам, у него свои прихоти. Он часто гневается, но успокаивается в ответ на мольбы жалкого создания, которое он сотворил...".

Гоген отнюдь не исповедовал атеизма. "Я любил бога, - писал он, - не ведая его, не пытаясь определить, не понимая". Но хоть Гоген и интересовался буддизмом и находил в евангелиях "мудрость, возвышенную мысль в ее самом благородном виде", в вере, как и в науке, он не нашел ответа на мучившие его вопросы.

"Непостижимая тайна останется такой, какой была всегда, есть и будет, - непостижимой. Бог не принадлежит ни ученым, ни логикам. Он принадлежит поэтам, миру Грезы. Он символ Красоты, сама Красота".

Быть может, следует верить в своего рода метемпсихоз - переселение душ, в постепенное и непрерывное развитие души в ее последовательных превращениях - "вплоть до окончательного расцвета".

Пока Гоген писал эти заметки, состояние его здоровья резко ухудшилось. Болезнь сердца вызывала непрерывные удушья, почти каждый день он харкал кровью. "Каркас еще сопротивляется, но в конце концов треснет", - с горьким удовлетворением замечал Гоген. Обострение болезни и в самом деле успокаивало его: ему не придется наложить на себя руки, природа сама позаботится о нем. "Таким образом, я умру, не испытывая укоров совести".

В ноябре Гоген получил сто двадцать шесть франков от Монфреда остаток от пятисот франков, выплаченных Шоде, которые Монфред потратил на краски, рамы, ботинки - все то, что Гоген просил купить за этот год. Эта сумма была так ничтожна, что не могла ничего изменить в положении Гогена, она дала ему только маленькую передышку. Но к чему она? Монфреду, который сообщил Гогену, что один из друзей-литераторов хочет посвятить ему очерк, Гоген ответил:

"На мой взгляд, обо мне уже сказано все, что надо было сказать, и все, что не надо. Я хочу одного - молчания, молчания и еще раз молчания. Пусть мне дадут умереть спокойно, в забвении, а если мне суждено жить, тем более пусть оставят меня в покое и в забвении. Не все ли равно, называют меня учеником Бернара или Серюзье! Если мои произведения хороши, их ничто не унизит, а если они дерьмо, не стоит их золотить и втирать людям очки насчет качества товара. Так или иначе, общество не может упрекнуть меня, что я обманом выманил много денег из его кармана".

За шестьдесят лет до этого, в других, хотя и не менее драматических обстоятельствах, другой человек тоже просил не говорить о нем. "Когда все кончится, забудьте меня, это мое последнее желание", - писал в 1838 году дед Гогена, Андре Шазаль, когда его распри с женой, Флорой Тристан, уже почти подошли к концу. Кто мы? Откуда мы пришли? Голос Гогена сливался теперь с голосом Андре Шазаля, как накануне он сливался и еще сольется в будущем с голосом Флоры Тристан или с другими, более далекими, безымянными, доносящимися из глубины времен голосами. В нас звучат мертвые, но вечно живые голоса. "Тупапау" не спускаются с гор. Они живут и действуют в нас самих. Это в нас самих бодрствует дух умерших.

В том же самом письме к Монфреду Гоген написал: "Кто знает, что может случиться. Если я внезапно умру, возьмите себе на память обо мне все хранящиеся у вас картины - для моей семьи они всегда будут обузой".

Почта в декабре, как всегда, была скудной. Кроме обычного коротенького письма от Монфреда она принесла только номер "Ревю бланш" от 15 октября, в котором Шарль Морис, как он уже сообщил Гогену, опубликовал начало "Ноа Ноа".

"Вы советуете мне лечь в дрейф, - писал художник Монфреду. - Но вы сами отчасти моряк и, стало быть, знаете, что без фока и бизани в дрейф не ляжешь, даже при сухих парусах. А я тщетно искал в своем трюме хоть клочок парусины - его там нет. Здоровье мое из рук вон плохо, а у меня нет ни минуты покоя, ни даже куска хлеба, чтобы восстановить силы. Поддерживаю себя водой, иногда плодами гуавы и манго, которые сейчас поспели, да еще пресноводными креветками, когда моей вахине удается их раздобыть".

Гоген надеялся, что ему скоро придет конец, что сердце не выдержит. И вдруг в декабре нежданно-негаданно он почувствовал себя лучше. Нет, не суждено ему "умереть естественной смертью". Тем хуже, больше он увиливать не станет. Его решение бесповоротно: если ближайшая почта в январе 1898 года не принесет ему денег ни от Шоде, ни от других кредиторов, он покончит с собой.

А неожиданно вернувшиеся силы он употребит на то, чтобы перед смертью написать большую картину, которую он обдумывал уже много месяцев, композицию с идолом, которая, как он сказал, должна стать его шедевром. Но зачем ему писать эту картину? Жизнь от него уходит, мечты погибли, все рухнуло. Что для него теперь успех или неуспех, что для него сама жизнь? Зачем же создавать еще одну картину и какое значение имеют шедевры? В самом деле, Гоген мог бездеятельно ждать в лагуне Пунаауиа избавительной смерти, конца своей судьбы. Но Гоген не был бы Гогеном, если бы то, что сделало его таким, каким он был, не бросило его навстречу этой судьбе, не определило ее неизбежность. Да, прав был Шуффенекер - будь Гоген другим человеком, осторожным и предусмотрительным, мудрецом или ловкачом, он не был бы несчастным, загнанным в трагический тупик, но он не был бы и ясновидцем, одержимым своей мечтой и наделенным особым даром, не был бы художником, который создал свои прежние творения и в ожидании конца развертывал в своей мастерской холст размером полтора метра на четыре, который он хотел написать, прежде чем покончить с собой. Ради кого? Ни ради кого. Перед этой картиной - самой большой, какую он когда-либо написал, он просто отдавался потребности уступить силам, которые создали его таким, каким он был, которые определили его творения и его судьбу. Отдавался потребности еще один раз быть самим собой, причем по самому большому счету.

На поверхности грубого холста - неровной, узловатой мешковине - Гоген развернул историю человеческой жизни от рождения до смерти, расположив ее вокруг идола, поднятые

руки которого тянутся к созревшим плодам. Художник работал в таком азарте, с такой страстью, что не ощущал ни усталости, ни голода, и так отчетливо видел перед собой будущее произведение, что писал в один присест, сразу кистью, без предварительных эскизов и поправок. Он, всегда утверждавший, что надо освобождаться от всяких правил, на этот раз отбросил их с такой решимостью, как никогда прежде. Он был теперь просто человеком, который, оказавшись один на один со смертью, вел разговор с самим собой, повторяя три вопроса, которые он потом написал в левом углу картины: "Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?"

В роще, на берегу ручья, оранжевые фигуры выделяются на синем и зеленом фоне. Спящий младенец я три туземные женщины символизируют нарождающуюся жизнь, счастливую жизнь, расцвет которой воплощает своим телом красавица маорийка с поднятыми руками. Для этого идола плоти позировала Пахура. Какой волшебной простотой могла бы быть исполнена жизнь людей, если бы они могли вновь найти путь к потерянному раю! Но позади Пахуры, в сумраке, ведут спор две зловещие, одетые в пурпур фигуры. Они олицетворяют беспокойство человека, который не может не думать о своей судьбе и терзается тоской и) болью. Двум фигурам в правой части картины отвечает каменный идол слева - он высится там, умиротворяющий, призывающий человека погрузиться в лоно природы, принять свою участь. Слева, с самого края, покорная фигура старой женщины - женщина думает о смерти. Рядом с ней птица "Nevermore" прижимает лапой ящерицу. Глупая птица "завершает поэму", она воплощает "тщету бесполезных слов".

Гоген закончил картину[307] как раз к тому сроку, который он назначил себе для самоубийства. Ничего не получив с январской почтой, он взял мышьяк, прописанный ему против экземы, и поднялся на гору, в поисках убежища, где он мог бы покончить счеты с жизнью. Был вечер. Ночь принесет Гогену покой. Завтра муравьи будут пожирать его труп...

В пятнадцати тысячах километров от Пунаауиа, во Франции, люди интриговали, строили козни, старались оттеснить друг друга. "Вы великий мастер действовать неумело", - сказал однажды Дега Гогену. В этот час, когда доведенный до отчаяния художник с Таити принял мышьяк, во всем мире едва ли набралось бы пять человек, которые беспокоились о нем. Но разве тех, кто думал о старом Сезанне было больше? Экс-ан-Прованс был так же, как Пунаауиа, удален от сцены, где состязались самолюбия, где, действуя локтями, оспаривали друг у друга то, что Гоген называл "побрякушками людского тщеславия", сонмы ничтожеств, которые считают себя солью земли, в то время как они всего лишь ее прах. Но как жалка была вся эта суета, эта беспринципная возня, как мелочны эти происки! Они ничего не могли изменить - отшельник из Пунаауиа, как и отшельник из Экс-ан-Прованса, все равно оставались двумя величайшими из всех живых художников. Только творчество говорит само за себя. Гоген оставил последнюю картину на том месте, где он ее закончил. В правом углу еще не просохла его подпись. И в те минуты, когда под действием мышьяка у него начались схватки и рвоты, его произведение, покоившееся в сумраке мастерской, уже зажило жизнью, выпадающей на долю лишь тех произведений, в которые их создатель вложил свою душу и которым суждено бессмертие.

Гоген принял такую большую дозу мышьяка, что у него не прекращалась рвота. Это его и спасло. Корчась в судорогах, он всю ночь напролет "жестоко страдал", а на рассвете понял, что смерть его отвергла. Еле держась на ногах, он поплелся к своей хижине.

Целый месяц Гогена мучили приступы тошноты, головокружения, спазмы и сердцебиения. Он был словно оглушен. Огромное напряжение, какого ему стоила картина, а потом встряска, которую перенес его организм, притупили его жизненную энергию. Но это состояние полупрострации было вызвано не одними только физическими причинами. Кризис, пережитый им, подготавливался месяцами и годами. Это был кризис человека, который шаг за шагом терял все то, что составляло для него смысл жизни, и у которого

[307] В настоящее время она находится в Бостонском музее.

остались силы только на то, чтобы выкричать свою боль. Но дойдя до высшей точки, кризис этим разрешился и исчерпал себя. В душе Гогена вдруг воцарился великий покой. Покой примирения со своей участью.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ДОМ НАСЛАЖДЕНИЙ
(1898-1903)

I
УЛЫБКА

Кончающий с собой гонится за тем своим образом, который создал в собственном воображении: с собой кончают лишь во имя того, чтобы жить.

Мальро[308]. Триумфальный путь (слова Перкена)

С январской почтой 1898 года Гоген не получил ничего, кроме обычного письма Монфреда, и, захватив с собой пузырек с мышьяком, поднялся на склон горы, чтобы покончить с собой. С февральской почтой - о, ирония судьбы Гоген получил письмо от Шоде и Мофра; в первом лежал чек на семьсот франков, во втором - почтовый перевод на сто пятьдесят.

Четыре страницы, написанные Шоде его неровным почерком, сбивчиво, невнятно, с полным пренебрежением к правилам синтаксиса и орфографии, были полны сердечных ободрений. "Я по-прежнему Вам друг, я Вас не брошу". Торговец не писал Гогену "очень давно" - целый год. Человек добрый, но поверхностный и вечно занятый погоней за наслаждениями, он упоминал о своем молчании вскользь. По беспечности и небрежности, от которых страдали его собственные дела, - в них царил полный беспорядок, - он и не подозревал, что внес свою лепту в разыгравшуюся вдали драму и что из-за отсутствия писем и хотя бы небольшой суммы денег Гоген едва не погиб. Впрочем, у Шоде было столько уважительных причин не писать! Во-первых, он болел, потом "современная живопись переживает страшный кризис", и к тому же у Боши умер ребенок.

Зато восемь страниц письма, написанные Мофра, были оскорбительными и раздраженными. Мофра не удалось продать картину, которую он взялся продать. Поскольку Гоген осаждает его требованиями денег - так и быть, он купит ее сам по условленной цене в триста франков. Половину суммы он высылает переводом, "вторую половину вышлю в ближайшие дни". Мофра тоже был далек от мысли, что он участвует в драме. "Поступок" Гогена, который осмелился послать Мофра свое последнее письмо через Шоде - а торговец, как видно, показывал его во всех кафе на Монмартре, - взорвал Мофра.

"Восхищаясь Вашим талантом художника, я, к сожалению, не могу испытывать тех же чувств к Вам, как к человеку... Эх, дорогой Гоген, досадно, право, видеть, как у Вас, судя по всему, портится характер... Тех, кто должны были бы быть Вашими искренними и преданными друзьями... Вы вызываете на какой-то вздорный "поединок", недостойный Вас... Обращайтесь же впредь к тем, кого Вы считаете своими настоящими друзьями, и забудьте одного из тех, кто принадлежал к их числу - только подтвердите официально получение этого письма".

Полученными восьмьюстами франков Гоген расплатился с самыми рьяными кредиторами. А теперь, - писал он Монфреду, "опять начнется прежняя жизнь в нужде и позоре, до мая месяца, когда банк наложит арест и продаст за гроши все мое имущество, в

308 Мальро, Андре (род. 1901) - французский писатель и политический деятель.

том числе картины". И в самом деле, в мае Гоген должен был вернуть ссуду Земледельческой кассе. "Посмотрим, - вздыхал Гоген. Может, к этому времени удастся придумать что-то другое". Так или иначе, Гоген был "осужден жить".

Монфред, который, читая последние письма друга, испытывал "леденящую грусть", советовал художнику вернуться во Францию. Но Гоген отвергал такой выход. Что ему делать в Европе? Пытаться устроиться на службе в финансовом мире, как советует Монфред? Смешно! От всего того, что пятнадцать лет подряд, день за днем, поддерживало Гогена в его борьбе, у него осталось одно - высокое мнение о себе как о художнике. Больше у него не было ничего и сам он был ничем, но это мнение у него сохранилось, оно оправдывало Гогена в его собственных глазах, придавало смысл пятнадцати годам неудач. Если он не сможет больше опираться на это мнение, жизнь его потеряет смысл. Он будет вынужден себя презирать. И ему советуют вернуться во Францию и там выпрашивать жалкую, наемную работенку, чтобы в довершение краха, который он потерпел, отречься от пройденного пути! Иначе говоря, во имя того, чтобы жить, ему предлагают лишить жизнь ее последнего смысла. Но тогда получится, что он страдал понапрасну. Бессмысленно. Нелепо. Он станет отступником и будет обречен на отвращение к самому себе. Нет, уж лучше любая нищета. Лучше страдать, но знать, что ты страдаешь не зря, в разгар страданий испытывать уверенность, которая, точно железный корсет, заставляет тебя держаться прямо и не сгибаясь. До конца оставаться тем, кем ты сам себя считаешь, чего бы это ни стоило - хоть мученического венца. Слово "мученичество" завораживало Гогена. Вскоре он написал бывшему судовому врачу с крейсера "Дюге-Труэн" доктору Гузе, который, как и Монфред, убеждал его вернуться во Францию.

"Нет, об этом не может быть и речи! К тому же мученичество зачастую необходимо для революции! Мое творчество, если его рассматривать с точки зрения его непосредственного и чисто живописного результата, имеет куда меньше значения, чем если подходить к нему с точки зрения конечного и нравственного результата: то есть освобождения живописи, отныне вырвавшейся из всех пут, из подлой сети, сплетенной всеми школами, академиями и в особенности бездарностями. Посмотрите сами, на что художники дерзают сегодня и сравните с робостью, царившей десять лет назад".

Великий Гоген наложил печать на свою эпоху.

Художник все время возвращался к своей картине, написанной в декабре: "Ей богу, признаюсь Вам, она меня восхищает... Будут говорить, что она не доработана, не закончена. Правда, о самом себе судить трудно, но все же я думаю, что эта картина не только превосходит все мои предыдущие, но что я никогда не напишу ничего лучшего и ничего похожего".

Несмотря на слабость и недомогание, Гоген пытался продолжать работу. Он повторил отдельные части большого полотна - например, "Раве те хити рама" ("Присутствие злого чудовища"), где каменного идола заменил отталкивающей фигурой божества. Это один из последних написанных им идолов. "Откуда мы?" и то, что вдохновило эту тему, отныне принадлежало прошлому. Гоген хотел верить в свой "рай" и в самого себя. Колдовское наваждение исчезало. Его искусство менялось, освобождалось от намеков на древние старинные культы. Мир, который он теперь изображал, был миром умиротворенным - пасторальным миром, как на картине "Фаа ихейхе" ("Подготовка к празднику"[309]), где мужчины и женщины, изображенные среди цветов и животных, невинны, как эти животные, и прекрасны, как эти цветы. "Читая "Телемаха", - разъяснял Гоген Морису, - можно отдаленно представить себе, что общего у Греции с Таити и вообще с маорийскими островами". Окружающий его сад художник пишет все более "произвольным" цветом. Изобразив лошадь, пьющую из ручья, и двух туземцев верхами[310], он пишет лошадь на

309 В настоящее время находится в Галерее Тейт в Лондоне.

310 Речь идет о "Белой лошади", которая в настоящее время находится в Лувре.

переднем плане зеленовато-серым, одну из лошадей в глубине красным, а на ручей цвета индиго кладет ярко-оранжевые рефлексы. "Я не пишу с натуры - и теперь еще меньше, чем прежде. Все происходит в моем необузданном воображении".

Но опять началось тоскливое ожидание почты, приносившее одни разочарования. Ни в марте, ни в апреле Гоген денег не получил. Мофра слова не сдержал. Шоде был по-прежнему неаккуратен. По мере того как приближался май, а с ним истечение срока ссуды, беспокойство художника росло. У него не оставалось ни сантима. "Катастрофа" казалась неизбежной. Надо было во что бы то ни стало принять какое-то решение. Гоген не мог без конца брать в долг. "Подавив в себе стыд", он решился на мучительный для него шаг отправился в Папеэте "поклониться" губернатору, чтобы тот дал ему какую-нибудь работу. Гогена взяли в Управление общественных работ и недвижимых имуществ делопроизводителем и чертежником. Получать он должен был шесть франков за день присутствия.

Гоген дал себе слово оставаться в Папеэте до тех пор, пока не расплатится со всеми долгами и не отложит тысячу франков. Он снял в городе хижину. Было очевидно, что за мольберт он снова встанет нескоро.

Но оставался еще долг Земледельческой кассе. Что-то принесет ему майская почта? Почта опоздала, опоздала на десять дней - "десять дней смертельного ожидания". Наконец пароход прибыл. От Шоде и Мофра не было ничего, но зато, к счастью, Монфред прислал пятьсот семьдесят пять франков, вырученных от продажи двух картин. Эта сумма помогла Гогену избежать наложения ареста на имущество, которого он так боялся. Он уплатил Земледельческой кассе четыреста франков, а на уплату оставшегося долга ему после настоятельных просьб и весьма неохотно дали отсрочку на пять месяцев. После этого Гоген частично рассчитался с лавочником-китайцем в Пунаауиа. А вскоре он окончательно упорядочил свои взаимоотношения с Земледельческой кассой. Заложив свой участок в Пунаауиа, он подписал нотариальное обязательство каждые полгода погашать двенадцатую часть долга и платить шесть процентов годовых от общей его суммы, вплоть до последнего взноса[311].

То в конторе, то на дорогах, где велось строительство, Гоген выполнял поручения своего начальника, пунктуального, методичного чиновника, всегда подтянутого и безукоризненно одетого - в белоснежном костюме и колониальном шлеме. В молодости начальник конторы в течение года посещал Академию художеств. Время от времени он затевал с Гогеном споры о живописи. "Я люблю правильность", - твердил он, Гоген не пытался его переубедить. Знакомые в Папеэте смотрели на художника с жалостью и презрением. Он молча отворачивался. "Вы как будто опасаетесь, - писал он Монфреду, - что я буду недоволен тем, что Вы продаете мои картины по дешевке. Повторяю Вам, нет: как бы Вы ни поступили, я все одобрю... Ах, если бы я был уверен, что могу продать все мои картины по две сотни франков!.. Так что продавайте без страха, по любой цене, мы успеем запросить дороже, когда толпа будет их добиваться".

К Монфреду Гоген испытывал благодарность, которая росла день ото дня. Монфред был его единственным настоящим другом. Без него, без его писем, без его помощи, что сталось бы с Гогеном?

Униженный Гоген сидел в конторе, писал бумаги и делал чертежи. "Служащий толковый, но не очень старательный", - отзывался о нем начальник конторы. Художник подарил ему один или два своих рисунка. Тот отдал их своим детям, а те поиграли ими и разорвали.

---

[311] В обязательстве, подписанном Гогеном в Папеэте 27 июня 1898 года в конторе мэтра Венсана, общая сумма долга исчисляется одной тысячей франков, что не соответствует сумме, которую Гоген указывал в письмах Монфреду, но, может быть, предыдущее соглашение было аннулировано и художнику пришлось выплатить только старые проценты.

В июле, воспользовавшись отъездом морского офицера Вермена, Гоген послал с ним Монфреду двенадцать своих картин, в том числе "Откуда мы?". Если Шоде и Монфреду удастся осуществить их намерение и организовать "хорошую маленькую выставку" его работ, написанных во время второго пребывания на Таити, как знать - может, это приведет к ощутимым результатам. Хотя у Гогена по-прежнему болела нога, а "нелепая и мало умственная" жизнь в Папеэте тяготила его, он спокойнее смотрел в будущее. В августе он получил около тысячи франков - семьсот от Шоде, двести двадцать пять от Монфреда - и полностью расплатился с долгами частным лицам. У него гора свалилась с плеч! Гогену, в течение пятнадцати лет вынужденному постоянно делать долги, была невыносима сама мысль о том, что он кому-то должен. "Вы знаете мою слабость - платить, как только у меня появляются деньги", - писал он за десять лет до этого из Бретани Шуффенекеру. Он всегда старался как можно скорее рассчитаться с кредиторами, и так, чтобы по его вине никто не потерял ни франка. Его щепетильность по отношению к другим была сродни его щепетильности в искусстве - Гогену ничего не стоило бы писать "в манере более коммерческой", но даже мысль об этом наполняла его "ужасом" и "отвращением": "Это было бы недостойно меня и моего пути в искусстве, который, на мой взгляд, я прошел благородно", - с гордостью говорил Гоген. Одну из посланных им в последний раз во Францию картин он предназначил для Мориса, который, уступая своей обычной слабости, присвоил себе все деньги, выплаченные ежемесячником "Ревю бланш" за "Ноа Ноа". "Я поступил так, - писал Гоген Монфреду, - чтобы показать ему и другим, как мало меня интересуют денежные расчеты и насколько я выше всех тех, кто поступает несправедливо". Гордость, в которую забронировался Гоген, была ему особенно необходима в Папеэте, где ему приходилось сносить обиды или то, что он принимал за обиды. Болезнь, которая снова стала его мучить, еще обостряла его раздражительность. В сентябре он три месяца провел в больнице, но лечение помогло только на короткое время. Правда, денежные заботы отступили. Дега и Руар через посредство Монфреда купили у Гогена на шестьсот франков картин. Шестьсот франков прислал Шоде. Вскоре Гоген сможет вернуть себе свободу. Но болезнь так упорно не отпускала его, что, упав духом, он спрашивал себя, выздоровеет ли он вообще когда-нибудь и сможет ли писать. "А только это одно мне и дорого! Ни женщины, ни дети - сердце мое пусто". Несмотря на гордость, в Гогене опять пробуждалось отвращение к самому себе.

Гоген задыхался в Папеэте. Служба приносила все меньше денег, потому что из-за больной ноги он часто не являлся в присутствие; в декабре, например, он работал всего две недели. Служить дальше не имело смысла. Получив в январе 1899 года от Монфреда тысячу франков[312], Гоген уволился из Управления. Он скопил небольшую сумму, и к тому же надеялся, что выставка, организованная Шоде и Монфредом, поправит его дела.

Выставка Гогена открылась в Париже 17 ноября и продолжалась до 10 декабря в помещении, принадлежавшем Амбруазу Воллару[313], молодому торговцу картинами, который за несколько лет перед тем обосновался на улице Лаффит. Гоген познакомился с Волларом в Париже во время последнего приезда во Францию. Он не слишком уважал торговца, а главное, не доверял ему. "Очковтиратель!" - отзывался он о Волларе.

Воллар и в самом деле был человеком, не лишенным странностей. Родившийся на острове Реюньон, в семье нотариуса, он приехал во Францию изучать право, сначала в Монпелье, потом в Париже. Но законы и указы увлекали его куда меньше, чем прогулки вдоль набережных Сены, где расположились лавочки букинистов и продавцов эстампов.

---

312 Вернее, 1066,60 франка. Монфред всегда был исключительно точен в своих расчетах. Так, на этот раз он продал картин на 1100 франков. Из этой суммы он вычел 23,40 франка - стоимость почтового перевода, и 10 франков за доставку картин.

313 Воллар, Амбруаз (1868-1939) - французский маршан и издатель, друг многих художников.

Воллар приобрел несколько гравюр, завязал знакомство с художниками и в конце концов, бросив свою юридическую диссертацию, поступил на службу в "Художественный союз" торговый дом, который продавал произведения художников только академического толка. Было это в 1890 году. Обстановка "Художественного союза" очень скоро стала тяготить Воллара, и он решил основать собственное дело. У него было слишком мало денег, чтобы снять помещение для магазина, и он рыскал в поисках любителей Живописи, подхватывая на лету любые сведения, которые могли быть ему полезны. Ему удалось продать гравюры и рисунки Ропса[314], Стейнлена[315], Виллета[316], Форена[317]. Эти сделки, как видно, принесли ему изрядный барыш, так как немного позже, в 1893 году, он открыл маленькую галерею на улице Лаффит. В 1895 году он стал продавать картины Сезанна и организовал первую выставку его произведений.

Верил ли Воллар в тех художников, картины которых продавал? Еще в начале его поприща одним из его клиентов был человек слепой от рождения. "Характерно для любителя искусства", - с небрежным видом замечал Воллар. У себя в магазине Воллар часто бывал очень мрачен. Отчасти потому, что таков был его характер, но отчасти из коммерческого расчета. Он уверял, будто из-за своего креольского происхождения он склонен к сонливости. Но он сильно преувеличивал - сонливость стала для него отличным тактическим приемом. Воллар отнюдь не торопился сбыть картину, он следил за покупателем, дожидаясь, пока его аппетиты разгорятся, чтобы тогда уже продать ему - и подороже - предмет его вожделений. Он никогда не соглашался уступить. Наоборот, стоило покупателю начать торговаться, как он набавлял цену.

Вкрадчивые манеры Воллара были не по нутру прямолинейному Гогену. Произведения художника с января 1894 года стали появляться в магазине Воллара. Тем не менее Воллар никогда не пытался обхаживать Гогена. Казалось, он им не интересуется. Потом время от времени Гоген стал получать письма от этого "разбойника" с "медоточивой повадкой" или стороной узнавать о том, что он приобрел ту или иную картину. В 1896 году Воллар вдруг попросил Гогена сделать для него гравюру и отпечатать ее в четырехстах экземплярах, чего Гоген сделать никак не мог, потому что у него не было ни станка, ни бумаги. В том же году Воллар купил у Шоде три картины Гогена за четыреста франков. В январе 1897 года Воллар снова обратился к Гогену, на этот раз прося, чтобы тот сделал "скульптурные модели для отливки в бронзе" и прислал "старые" рисунки. Предложение было довольно странным, и художник отнесся к нему иронически. Наконец в октябре Монфред продал Воллару четыре картины. Шестьсот франков, вырученных от этой продажи, и составляли большую часть суммы, которую он в последний раз выслал Гогену. И теперь Воллар, продолжая делать круги вокруг Гогена, предоставил свое помещение для его выставки...

По возвращении в Пунаауиа Гогена ждала неприятная неожиданность хижина его оказалась в плачевном состоянии. Крысы разворошили крышу, она стала протекать. А тут еще тараканы попортили рисунки, бумаги и даже одну из больших картин. Но все это были мелкие огорчения по сравнению с разочарованием, какое Гогену в феврале принесли новости из Франции.

Выставка Гогена привлекла многочисленную публику, вызвала споры в критике. Однако кроме монументального полотна "Откуда мы?" продавать было нечего - Воллар

---

[314] Ропс, Фелисьен (1833-1898) - бельгийский художник, гравер и рисовальщик, иллюстрировал произведения символистов.

[315] Стейнлен, Теофиль (1859-1923) - французский художник и иллюстратор, мастер политической карикатуры.

[316] Виллет, Вильям (1868-1921) - американский художник по стеклу.

[317] Форен, Жан-Луи (1852-1931) - французский художник и график, по манере рисунка был близок Дега.

оптом купил остальные девять картин. Монфред долго колебался, прежде чем уступить их торговцу за предложенную тем незначительную сумму - тысячу франков. Но потом решил, что, наверное, лучше согласиться и тотчас выслать эти деньги Гогену, чем ждать, может быть, не один месяц других возможностей продать - ведь еще неизвестно, представятся ли они.

Гоген так и взвился. Как! Воллар прибрал к рукам все его картины в среднем по сто десять франков за каждую! Стало быть, торговец и в самом деле оказался тем, за кого он его принимал - "кайманом худшего сорта". И продавать больше нечего!

"Теперь Воллару, с тем что он приобрел, хватит дела на целый год. А это означает, что все клиенты, которые могли бы купить мои картины, оказались в руках Воллара, - писал Гоген Монфреду. - Ах, если бы партия старых картин была продана по дешевке какому-нибудь частному лицу, никакой беды не было бы, но все новые Воллару - это настоящая катастрофа. Он бессовестный человек, готовый ради нескольких су поживиться на чужой нужде. В следующий раз, одобренный своим успехом, он предложит Вам половинную цену".

Художник "страшно волновался". Он рассчитывал на свою выставку, "чтобы окончательно встать на ноги", а торговец обвел его вокруг пальца. Гоген по-прежнему болен - когда он сможет взять в руки кисть и снова отправить во Францию партию картин? Через год, а то и через полтора? А до тех пор, что ему продавать? "Страшный удар, который мне нанес Воллар, сверлит мне мозг, не дает мне спать... Почему я не умер в прошлом году!" В июне Гогену исполнится пятьдесят один год. Он устал. Бороться, снова и снова бороться... Увы, для этого нужна энергия, а у него ее больше нет. Человек, который пять лет назад уже начал сдавать, но вступил в рукопашную с забияками из Конкарно, был колоссом по сравнению с нынешним Гогеном, "измученным, беспросветно усталым", который, старея, с грустью отмечал, как день ото дня убывают его силы, гаснет жизненный задор. Зрение его непрерывно ухудшалось, боли в ноге, не успев прекратиться, начинались снова, его мучила одышка, а порой схватки в животе, напоминавшие ему о "вылазке" в горы.

"Черный сон мои дни
Затопил по края:
Спи, желанье, усни,
Спи, надежда моя!"[318]

Прозябая в этом унылом мраке, Гоген пытался ему противостоять, найти какой-то просвет. По его просьбе Монфред прислал ему цветочные семена. Гоген следил, как они прорастают. В его саду теперь цвели ирисы, гладиолусы, георгины. "В сочетании с многочисленными цветущими таитянскими кустарниками они создадут вокруг моей хижины настоящий райский сад... Это очень меня радует". А тут еще Пахура вновь забеременела. Гоген заранее радовался рождению ребенка. "Быть может, он снова привяжет меня к жизни".

Цветы, ребенок... С помощью скудных средств, какими он располагал, Гоген пытался воскресить утраченный мир привязанностей. В январском номере "Меркюр де Франс" Гоген прочел отзыв о своей выставке, написанный критиком Андре Фонтена[319], который, по мнению Гогена, "ничего не понимает, но полон добрых намерений". Гоген написал Фонтена, чтобы защититься, разъяснить, растолковать свои замыслы, свою цель, связь между своим творчеством, своей личностью и обстановкой, где протекает его жизнь:

"Здесь, вблизи моей хижины, в полной тишине, опьяняясь запахами природы, я мечтаю о неистовых гармониях. Я черпаю отраду из своего рода священного ужаса, который угадываю в незапамятном прошлом. Былое - это запах радости, который я вдыхаю в настоящем. Скульптурная важность фигур животных: есть что-то древнее, величавое,

---

318 Пер. А. Гелескула.

319 Фонтена, Андре (1865-1948) - французский писатель, поэт, критик.

священное в ритме их движений, в их необычайной неподвижности. В глазах мечтателя под тем, что на поверхности, трепещет непостижимая загадка. И вот наступает ночь - все отдыхает. Я смежаю веки, чтобы видеть, не понимая, мечту, ускользающую от меня в бесконечном пространстве, и я чувствую скорбную поступь моих надежд".

Гоген снова обрел рай вокруг себя - и в своей душе. Вновь взявшись за кисти, он писал картины, композиция которых была ритмически организована устойчивыми вертикалями, - картины, от которых исходило чувство безмятежной гармонии и покоя, чувство счастья. 19 апреля Пахура родила сына, Эмиля. Гоген написал картину "Материнство" - поэму вечно возрождающейся жизни, неувядающей молодости мира, символом которой могли быть две таитянки с обнаженной грудью на другой картине ("Две таитянки"[320]).

Но Гогену приходилось вести будничную борьбу за существование. Он продавал ежегодно на сто пятьдесят - двести франков копры. Пытаясь изыскать еще какие-нибудь средства, чтобы прокормить себя и семью, он хотел развести на своем клочке земли огород. Для этого надо было вырыть колодец. Работы уже начались, но их пришлось прервать, так как не хватило денег. Эти вечные неудачи, боли, лишавшие Гогена сна, вечный страх перед долгами отражались на настроении художника. Он сердился, брюзжал. Когда Монфред сообщил ему, что жена Шуффа потребовала развода, он раздраженно высказался о браке: "Почему бы раз и навсегда не сказать правду, что это только вопрос денег, самая худшая проституция". Морису Дени, который предложил ему участвовать в групповой выставке, он сухо ответил отказом. Монфреда без околичностей спросил, не знает ли тот какого-нибудь анархиста, который мог бы взорвать динамитом директора Департамента изящных искусств Ружона: "Если знаете, не церемоньтесь, потому что, когда ему на смену придет, например, Жеффруа, мне станет лучше". Гоген становился все более обидчивым; на презрение жителей Папеэте, интерес которых к своей особе он, по-видимому, преувеличивал, отвечал вспышками гнева. Впрочем, отсутствие интереса тоже его оскорбляло. Кто снисходил до разговоров с ним? Какой-нибудь отверженный, вроде кладбищенского сторожа Леонора, бедняка, которому Гоген пытался объяснить, что такое хорошая живопись (довольно нелепая затея), и в присутствии которого иногда начинал вспоминать о своей супружеской жизни, рассказывать о Метте, об умершей дочери, о сыновьях, а потом внезапно умолкал, глядя в пространство...

Пережевывая свои обиды на поселенцев и чиновников Папеэте, он изображал себя жертвой их махинаций. Однажды он явился к прокурору Эдуару Шарлье, который в прошлом несколько раз оказывал ему поддержку, и рассказал странную историю. Как-то ночью Гоген якобы застал на своей территории туземца, который "подметал в рощице метелкой, которой подметают пол". Прокурор, решив, как видно, что история эта не вполне ясна, отказался сделать то, о чем просил Гоген, то есть обвинить туземца в нарушении неприкосновенности жилья и попытке воровства. Разгорелся спор. Гоген в ярости вернулся в Пунаауиа. Через несколько дней Гоген заявил, что тот же самый туземец перехватывает его письма по дороге из Папеэте[321]. Потом он принес жалобу на то, что его "два раза обсчитали, злоупотребив его доверием". В возбуждении, в каком он находился, он раздувал все эти дела, не стоившие выеденного яйца. Его права попирают. Его "достоинство" унижают. К нему придираются, его преследуют. "В округе всем известно, - негодовал он, - что меня можно обворовать, на меня можно напасть, и каждый день кто-нибудь использует эту

---

320 "Материнство" находится в Музее изобразительных искусств в Москве. "Две таитянки" в музее Метрополитен в Нью-Йорке. "Материнство", трактованное примерно так же, как на картине, находящейся в Москве, принадлежит одному американскому коллекционеру. Художник не датировал ее, и обычно ее относят к произведениям, написанным в 1896 году, - мне это представляется ошибкой. Скорее всего, она тоже была написана в 1899 году.

321 Эта история несомненно послужила толчком для написания картины "Те тиаи на ое ите рата" ("Ты ждешь письма?"), где на обочине дороги стоит туземец.

безнаказанность; завтра власти меня изобьют, и мне же придется платить штраф".

Но Гоген не позволит этому "прокурорчику" и иже с ним глядеть на него свысока. Он заставит себя уважать. В Папеэте, начиная с марта, 12 числа каждого месяца, выходила маленькая сатирическая газета "Осы". Сам ли Гоген обратился в редакцию этого органа или редакция "Ос" предоставила художнику страницы своего издания, считая, что его гнев можно использовать в своих политических целях? Так или иначе, 12 апреля Гоген опубликовал в этом листке письмо прокурору Шарлье, где с полным пренебрежением к возможным последствиям, в самых резких, почти оскорбительных выражениях напал на чиновника. Изложив свое дело, Гоген прямо заявил:

"У Вас нет власти сударь, а только обязанности... Я попросил бы Вас сообщить мне, чем вызвано Ваше поведение по отношению ко мне - может быть, неудержимым желанием наступить мне на ногу (а ноги у меня больные), иными словами, посмеяться надо мной. Тогда я буду иметь честь послать Вам своих секундантов. А может быть, и это более вероятно, Вы признаетесь, что Вам просто не по плечу заседать в суде, и даже подтирать в нем полы, что Вы всегда ведете себя тщеславно и глупо, чтобы хоть на минуту почувствовать себя важной шишкой, уверенный в том, что Ваши покровители выручат Вас, если по своей бестактности Вы сядете в лужу. Тогда я буду просить правительство, чтобы Вас отправили обратно во Францию, где Вы смогли бы заново изучить азы своего ремесла".

Последняя бесплодная угроза была особенно смешна. Разве Гоген пользовался хоть каким-нибудь влиянием? Но этот выпад - характерная реакция гордыни, которая в ответ на оскорбления всегда еще выше поднимает разгневанную голову.

Гоген был страшно горд своим памфлетом. Он поспешил сообщить о нем Монфреду. "Если этот невежа не станет со мной драться, - писал он о Шарлье, - то, наверное, притянет меня к суду, и я отделаюсь несколькими днями тюрьмы, что меня ни мало не трогает, но вот штраф нанес бы мне жестокий удар". Художник сам себя взвинчивал. Воображение уже рисовало ему жандармов, которые приходят за ним, зал суда, перед которым ему придется предстать. Вот он встает, чтобы ответить на обвинения, доказать свою правоту: "Господа судьи, господа присяжные..." Гоген лихорадочно строчил оправдательную речь, которую собирался прочитать в суде - она заняла семь листов бумаги для прошений. "Осудив меня, господа, вам, может быть, удастся убедить честного человека в одном - что ему не следует обращаться к прокурору, и в особенности пускаться с ним в объяснения..."

Шарлье со своей стороны, вероятно, считал, что бесполезно "пускаться в объяснения" с несчастным художником из Пунаауиа. Хотя он рвал и метал против Гогена, называл его "неблагодарным" и "чудовищем" (в гневе он уничтожил принадлежавшие ему три картины Гогена), он из благоразумия, а может, и из осторожности предпочел отмолчаться. В результате - никакой дуэли, никаких преследований. "Как прогнило все в наших колониях!" негодовал Гоген в письме, которое месяц спустя, в июле, отправил Монфреду. Молчание прокурора не только не успокоило, но еще больше подстрекнуло его: "Теперь меня если не уважают, то, по крайней мере, боятся".

Художник всегда хватался за любую возможность напечатать свою прозу. Он охотно писал, любил вспоминать, что его бабкой была "занятная бабенка" Флора Тристан. Пригретый редакцией "Ос", он с удовольствием рассыпал на ее страницах всевозможные разоблачения, сводя мелкие личные счеты, что, по сути, соответствовало политике этой газеты: душой ее был бывший матрос, который стал коммерсантом в Папеэте, - вольнодумец, примкнувший к католической партии. На полинезийских островах политическая борьба всегда принимала обличье религиозных распрей. Со времени появления первых пасторов и миссионеров, протестанты и католики в борьбе за влияние на местное население поливали друг друга грязью. Гоген этого не понимал. Для него главным было найти трибуну, с которой он мог бы поносить и тех и других, полностью войти в роль полемиста, которая позволяла ему излить свои обиды, льстила ему и укрепляла его гордость. В "Осах" от 12 июля он опубликовал сразу две статьи. В одной он нападал на журналиста - адвоката Бро, в другой, резко критикуя администрацию (он именовал ее "врагом колонизации"), бранил

членов департаментного совета Таити, некоторых указывая поименно - в том числе уже упомянутого Бро и мэтра Гупиля, у которого, как и у прокурора Шарлье, он когда-то бывал.

Прибегая к сарказмам, иронии и остротам сомнительного свойства, не жалея звонких эпитетов и восклицательных знаков, Гоген с удовольствием погружался в эту трясину. Ему и прежде нравилось разыгрывать писателя, философа. А теперь он не без самодовольства обнаружил в себе талант памфлетиста. "Я и не подозревал, что у меня такое воображение". Вскоре страницы "Ос" уже перестали его удовлетворять. В августе он основал свой собственный орган - "серьезную газету" "Улыбка", первый номер которой вышел 21 августа.

Название "газета" слишком громко для этих четырех тетрадочных страниц, которые Гоген размножал на модном тогда лимеографе Эдисона тиражом меньше тридцати экземпляров. Написанную от руки и иллюстрированную рисунками "газету" украшал эпиграф: "Серьезные люди, улыбнитесь, название призывает вас к этому".

Из номера в номер, из месяца в месяц Гоген продолжал свою стрельбу по мишеням, которую он параллельно вел и в "Осах". Он направлял свои стрелы то в Шарлье и Гупиля, то в губернатора Галле - "административное пугало", "жестокого деспота", который "несет по улицам свое дородное тело и глупое лицо, направляясь в храм, как подобает доброму протестанту, знающему себе цену", то в торговца ромом, президента торговой палаты Дролле, то в миссионеров. Он задавал щекотливые вопросы: "Почему подряды на строительные работы в Хитиа и Моту-Ута были не проданы с торгов, а отданы тайному советнику г. Поруа и члену департаментского совета г. Темарии?", и все с тем же фанфаронством продолжал угрожать, что будет жаловаться министрам и дойдет до президента Республики. Некоторые рисунки, а потом и гравюры на дереве, которыми он с ноября стал украшать "Улыбку", были карикатурами на его жертвы. Многие его статьи были подписаны псевдонимом "Тит-Ойль" словом, имевшим на маорийском языке непристойный смысл. Поджигательская "Улыбка", которая из "серьезной газеты" стала "газетой злой", как он писал Монфреду в декабре, "производила фурор", - однако, по собственному признанию Гогена, читателей у него было всего двадцать один.

Ободренный своей деятельностью сатирика, Гоген даже отвлекся от своих болезней. Он прибавил в весе, окреп, а главное, воспрял духом. К сентябрю оп снова взялся за кисти, стал резать по дереву. Журналистская деятельность обладала еще одним преимуществом: она давала ему заработок. Гоген получал около пятидесяти франков в месяц - сумма ничтожная, но она помогала ему кое-как сводить концы с концами, потому что за десять месяцев, протекших со времени пагубной февральской сделки с Волларом, Монфред не продал ни одной картины. Шоде снова умолк, как и Мофра. Гоген опять начал обивать пороги заимодавцев, но при этом будущее тревожило его еще больше, чем настоящее: Монфред, который и так большую часть года проводил в своем имении в Корнейа-де-Конфлан, неподалеку от Прад, против Канигу, намеревался зажить там почти безвыездно. А тогда у Гогена не останется в Париже никого, кто занимался бы его картинами и нелегким делом их продажи, кроме Шоде, настолько "легкомысленного", что он писал Гогену раз в год.

Шоде не суждено было больше писать Гогену. Он умер. Гоген узнал эту ошеломляющую новость в январе 1900 года. Но с той же почтой он получил письмо от Воллара. На сей раз креол вышел из своей обычной апатии и проявил большую прыть. Он предлагал Гогену, что будет покупать все его произведения и сразу по получении расплачиваться наличными. Он обещал Гогену снабжать его красками и холстом. Единственным вопросом, который еще надлежало обсудить, был вопрос оплаты. "Если я настаиваю на вопросе о цене, - писал Воллар, - то лишь потому, что ваши произведения так непохожи на все то, что люди привыкли видеть, что их никто не хочет покупать".

Гоген почувствовал, что на сей раз достиг цели. Конечно, Воллар "разбойник почище Картуша", но ловкости у него не отнимешь. Он убедительно доказал, что знает, как взяться за дело, на примере с Сезанном, "на которого теперь клюнули", как писал сам Воллар в своем письме. Хотя мнение Гогена о Волларе ничуть не изменилось, колебаться он не стал.

Пусть даже торговец хочет на нем нажиться. "Пусть Воллар или кто-нибудь другой наживет кучу денег моим горбом: если таким способом я поправлю свои дела - мне все равно: потом я успею его прижать. Но, впрочем, с таким молодцом надо действовать твердо и хитро".

Гоген тотчас ответил Воллару. Не преминув мимоходом выразить удивление, что Воллар хочет заключить с ним договор, хотя на его живопись нет охотников, художник, находившийся в крайности, тем не менее выдвинул свои условия: он будет поставлять Воллару каждый год по двадцать пять картин, за которые тот должен ему платить по двести франков, а за рисунки по тридцать.

"Несколько моих маленьких рисунков, которые Ван Гог (Тео) продал через Гупиля (Буссо и Валадон), стоили в среднем по шестьдесят франков. А за живопись платили не ниже трехсот. Но при Ван Гоге меня хотели покупать. Так вот это мое формальное предложение. А я Вам обещаю (гарантией - мое честное слово художника), что буду Вам посылать только произведения настоящего Искусства, а не товар для наживы. Иначе нам не о чем разговаривать.

И еще одно условие sine qua non[322], которое Вы легко поймете.

Если у меня не будет денег, мне придется... искать заработка на Таити, а тогда я не смогу заниматься искусством и удовлетворить Вас. Следовательно, если Вы согласны, Вы должны посылать мне триста франков ежемесячно, в счет расчетов за картины, которые я буду посылать Вам, но только время от времени, с очередной оказией. Впрочем, у меня достаточно картин, отданных на хранение, чтобы гарантировать выплаченный аванс. Вот мое условие sine qua non, которое, может быть, Вас отпугнет, но как Вы сами понимаете, без него не обойдешься, ибо, как однажды было сказано, человеку надо есть. А поскольку Вы торговец, я не думаю, чтобы Вы предлагали сделку, которую не обдумали со всех сторон...

Я посылаю это письмо Даниэлю, который передаст его Вам и который является поверенным во всех моих делах на все случаи жизни. За десять минут разговора с ним Вы легче придете к соглашению, чем за два года переписки с Таити. Тем более что за два года я вполне могу умереть, принимая во внимание, что я очень болен".

Переправляя это письмо Монфреду[323], Гоген сопроводил его множеством наставлений о том, как Монфред должен вести себя с торговцем. И прежде всего он должен подчеркивать "полное безразличие".

"Я чувствую, - писал Гоген, - что вести дело с таким уклончивым и продувным типом, как он, далеко не просто, и оно выгорит (если выгорит) лишь в том случае, если он почувствует, что заинтересован в нем он, а не я. (Хотя, видит бог, оно мне позарез необходимо!) И еще, чтобы он понял, что решать надо немедленно (да или нет) и выплатить аванс. У вас остается возможность снизить ежемесячную плату с трехсот франков до двухсот, но это, если не будет другого выхода. А также цену каждой картины с двухсот до ста семидесяти пяти франков. Если он захочет взять гравюры, то, само собой, только за отдельную плату. И еще - на те картины, что находятся у вас и у Шоде, цены этого нового договора не распространяются".

К тому же договор должен был быть заключен на неопределенный срок.

Когда Гоген уже собирался отправить написанные письма, ему вручили еще одно письмо, в которое были вложены сто пятьдесят франков банкнотами. Письмо было от парижского коллекционера с улицы Курсель, Эманюэля Бибеско[324], который просил

---

322 Непременное (латин.). - Примеч. пер.

323 В сборнике "Письма Гогена" ответ Воллару ошибочно назван письмом Эмманюэлю Бибеско, о котором речь пойдет ниже. Датировка этого ответа, опубликованного к тому же неполностью, маем 1900 года, также должна быть исправлена.

324 Бибеско, Эманюэль - румынский князь, коллекционер.

прислать за эти деньги маленькую картину. Художник не знал, кто такой Бибеско. По письму он решил, что это "небогатый" и "бескорыстный" собиратель. Он тотчас исполнил его просьбу, предложив коллекционеру, если посланная картина ему не понравится, обратиться к Монфреду.

Сто пятьдесят франков, посланные Бибеско, пришли как нельзя более кстати. Снедаемый тревогой о будущем, Гоген, хотя и продолжал писать статью за статьей, больше всего был занят мыслями о том, чем кончатся переговоры Монфреда с Волларом. Он просто не представлял себе, как выпутается из затруднений, если они не увенчаются успехом. Шоде остался должен Гогену, но его счета оказались в таком запутанном состоянии, что в них было невозможно разобраться. В довершение всего Боши в марте заверил Гогена, что вот уже два года, как он полностью выплатил свой долг Шоде. Стало быть, кроме Воллара надеяться было не на кого! С каждой почтой нетерпение Гогена росло. Он давно уже забросил живопись. У него не было ни возможности писать, потому что болезнь снова его одолела, ни, впрочем, и охоты. В апреле он выпустил девятый - и последний номер "Улыбки". И, не находя себе места от нетерпения, ждал.

Наконец, в мае он узнал, что одержал победу. 9 марта Воллар согласился на все его требования и в тот же день выслал первую ежемесячную плату триста франков. Теперь, избавленный от нужды, Гоген мог "работать спокойно"[325]. Но это было еще не все. Накануне, 8 марта, Монфред уступил Бибеско пять картин по сто пятьдесят франков каждая. Семьсот пятьдесят франков, вырученных от этой продажи, Гоген получил той же майской почтой. Теперь он мог расплатиться со всеми своими долгами.

В 1895 году у Гогена не было никаких поступлений. В 1896 году он получил 750 франков, в 1897 - 2361,25 франка, в 1898 - 3600, в 1899 2175,60 франка, в январе 1900 года 150 франков, итого 9036,85 франка. К этим суммам следует добавить то, что художник заработал, когда служил в Управлении общественных работ, небольшой доход от продажи копры и гонорары за журналистскую работу. Общую сумму этих заработков определить трудно, но можно считать, что, даже с учетом этих денег, общий доход художника не превышал 10 тысяч франков. Если вычесть из этой суммы деньги, потраченные на строительство двух хижин, стоимость участка и проценты, выплаченные Земледельческой кассе, то есть около тысячи франков (а эта сумма несомненно занижена, ведь Гоген еще выплачивал долг Земледельческой кассе), на жизнь у него оставалось самое большее 9 тысяч франков, то есть в среднем 140 франков в месяц (около 375 новых франков). Не приходится удивляться, что Монфреду, который однажды упрекнул его, что он не очень "щедро" покрывает свои холсты краской, Гоген ответил, что ему приходится учитывать "расход на краски". Ему приходилось учитывать и расходы на его многочисленные болезни. Плата по полной стоимости за пребывание в больнице Папеэте была 12 франков в день.

Рента, которую собирался выплачивать Воллар, должна была в корне изменить условия жизни Гогена, которые были особенно тяжелыми из-за отнюдь не реалистического подхода бывшего биржевика к деньгам. Отныне доходы Гогена должны были удвоиться и даже утроиться.

Занятная фигура был этот Бибеско! И отнюдь не то, что предполагал Гоген. Под скромным собирателем скрывался весьма состоятельный румынский князь, который в данный момент предлагал Гогену ни больше ни меньше как взять на себя обязательства Воллара. "Я позволю себе, мсье, вернуться к моему последнему письму, которое было недостаточно ясным и неполным", писал он Гогену. Узнав от Монфреда, что Воллар платит Гогену по двести франков за картину, Бибеско 28 марта по собственному почину доплатил Монфреду по пятьдесят франков за каждую из купленных им пяти картин. К тому же он выразил готовность платить в будущем за все картины художника по двести пятьдесят

---

[325] Так как материальное положение Гогена на Таити часто вызывало споры, я считаю целесообразным вкратце подвести здесь итог его доходам за пять лет. При этом я опираюсь на различные финансовые документы, которые мне удалось разыскать, в частности, с помощью архивов фонда Монфреда.

франков, то есть на пятьдесят франков больше, чем Воллар, а также принять все прочие условия Гогена, какие принял торговец, который, по словам Бибеско, действовал "из одной только алчности и жажды наживы". В случае необходимости Бибеско готов был возместить Воллару аванс, который тот уже выслал Гогену.

Это предложение застигло Гогена врасплох и не внушило ему доверия. К тому же у него не было ни малейшего желания аннулировать договор с Волларом. Однако он не мог пренебречь "восторженным расположением" Бибеско. Оно могло весьма пригодиться ему в будущем, если бы Воллар стал уклоняться от честного выполнения договора.

Гоген вздохнул с облегчением. Теперь все было бы превосходно, если бы его здоровье окрепло и он мог бы "всерьез" взяться за живопись. Поселенец Орсини, уехавший во Францию, захватил с собой десяток его картин, набранных, "как говорится, с бору да с сосенки". Гогена удручало бездействие, но он надеялся, что вскоре все изменится к лучшему. Он заказал Монфреду "маленькую гомеопатическую аптечку" против сыпи, астмы, а также сифилиса. Быть может, гомеопатия, которую когда-то так расхваливал Писсарро, поможет ему одолеть болезни.

За три года до этого, в 1897 году, у третьего из детей Гогена, Кловиса, того, кто после возвращения из Дании делил с отцом его нищенское существование в Париже, в результате несчастного случая парализовало бедро. Метте не сочла нужным известить об этом мужа.

В начале мая молодого человека оперировали. 16 мая, на двенадцатый день после операции, Кловис умер от сепсиса - ему исполнился двадцать один год.

Гоген так и не узнал об этой смерти. Метте могла бы написать мужу, но она не сделала такой попытки. А Шуффенекер, единственный из друзей, кого датчанка известила о несчастье, тоже скрыл его от Гогена...

II
ВИДЕНИЕ

Бежать? Куда? И вклочь какую ночь порву я
Презренью этому отчаянному в дар?[326]
Малларме. Лазурь

"Со здоровьем моим дело из рук вон плохо", - писал Гоген в августе. Гомеопатия помогла ему не больше, чем другие способы лечения. А меж тем Гоген "только и делал, что лечился".

Договор с Волларом избавил его от денежных забот, но он с беспокойством думал о том, как он сможет выполнить свои обязательства, если раны на ногах - рассадник гноя и инфекции - еще долго будут ему помехой в работе. Он сделал только несколько рисунков, отложив их для Воллара. Гоген тем больше горевал из-за вынужденного безделья, что чувствовал, как растет интерес к его произведениям.

Монфред сообщил ему, что его работы имели большой успех у коллекционеров Безье, которые учредили Общество любителей изящных искусств. Один из этих коллекционеров, богатый виноградарь Гюстав Фейе, заплатил тысячу франков за две картины Гогена. Воллар в свою очередь явно старался "скупить как можно больше" его работ. В сентябре он осведомился у художника, сколько тот хочет за картину "Откуда мы?". "Полторы тысячи", ответил Гоген. По-прежнему не доверяя торговцу, он требовал, чтобы с Воллара "не спускали глаз". Правда и то, что Воллар очень нерегулярно высылал ему ежемесячную плату. "Пожалуй, я жалею, что не договорился с Бибеско, - писал Гоген в ноябре. - ...Если Воллар будет продолжать водить меня за нос, я возьму да и развяжусь с ним... Я хотел лечь в больницу, но это дополнительный расход в триста франков, а мне до сих пор не удалось их

---

[326] Пер. С. Петрова.

выкроить".

Воллар грешил скорее по небрежности, чем по злой воле или из хитрости, как считал Гоген. Но внешние обстоятельства свидетельствовали против него. К тому же почтовая связь между Францией и Таити работала медленно и плохо, и от этого его переводы еще запаздывали. Гоген, вынужденный откладывать свое устройство в больницу (а его физические страдания дошли "до предела"), бранил Воллара на чем свет стоит. Он считал, что все мысли и поступки торговца продиктованы гнусной корыстью. В декабре он узнал, что Воллар решил отныне платить ему по двести пятьдесят франков за каждую картину, то есть по самой высокой ставке, предложенной Бибеско, чтобы у художника не было такого чувства, что сделка с Волларом для него убыточна. А ежемесячную выплату он решил увеличить до трехсот пятидесяти франков. Но Гоген не испытывал ни малейшей благодарности Воллару за эту надбавку. "Это только еще раз доказывает, - гневно писал он, - как он заинтересован в моих холстах и как в свое время на них будет легко поднять цены. Ах, если бы у меня были деньги!" Будь у Гогена деньги, он тотчас бы написал Воллару: "Мсье, вы выплатили мне авансом такую-то сумму, вот она, наш договор расторгнут".

Во второй половине декабря Гоген мог наконец устроиться в больницу Гюстав Фейе выслал ему тысячу двести франков за две купленные им картины.

Гоген пролежал в больнице несколько недель - до февраля 1901 года. Он вышел оттуда, "если не вылечившись, то, по крайней мере, подлечившись". За это время Воллар выслал ему все, что задолжал за истекшие месяцы. "По-моему, он теперь просто боится как бы я его не бросил". Фейе, со своей стороны, выразил желание приобрести деревянную скульптуру Гогена. "Мне кажется, в будущем у Фейе для меня найдется неплохое пристанище", - писал художник.

Он не ошибался. Фейе, которому в эту пору было около тридцати лет, вырос в семье, где всегда почитали искусство. Его отец, тоже виноградарь, был художником-любителем и часто писал рядом с Монтичелли. Фейе и сам занимался живописью, но навсегда отложил в сторону кисти, после того как он, провинциал, до того времени совершенно незнакомый с передовыми течениями в искусстве, увидел произведения Сезанна, Ван Гога, Гогена, ставшие для него откровением. Вдохновитель Общества любителей изящных искусств в Безье, хранитель местного городского музея, он энергично пополнял свою личную коллекцию, где работы Монтичелли, Мане и Дега соседствовали с работами Сезанна, Ренуара и Ван Гога. Но любимым его художником стал Гоген. Фейе считал его "самым замечательным художником нашего времени".

Обратись к нему Фейе несколькими месяцами раньше, Гоген мог бы легко исполнить его просьбу. Но в октябре он предложил Монфреду принять "в знак дружбы" все деревянные скульптуры, созданные им на Таити. Поэтому Монфред советовал Гогену сделать для Фейе новую работу. Как только Гоген вернулся из больницы в Пунаауиа (где - новая нежданная беда - за время его отсутствия крысы сожрали двадцать три рисунка, предназначенные для Воллара), он принялся за дело. Он вырезал двойное панно "Война и мир" и в мае отправил его в Безье.

Но несмотря на то, что Гоген чувствовал себя лучше, он не брался за кисти. Вот уже полтора года он не писал картин. В глубине души это его тревожило. Если бы только он мог рассчитаться с Волларом своими старыми работами. Черт бы побрал "проклятого" торговца! Гоген не стал бы с ним церемониться, будь он вполне уверен в своих правах! Но Гогена грызли еще и другие сомнения. Само собой, болезнь мешала ему работать, но в ней ли одной крылась причина его бездействия? Мимоходом, в нескольких словах, он в конце концов признался Монфреду, что его воображение "начинает остывать" на Таити.

Не было бы ничего удивительного, если бы причиной этому была "преждевременная старость", на которую жаловался Гоген. Враг, гложущий червь смерти, гнездился в нем самом. И хотя художник об этом умалчивал - на такие темы люди не любят рассуждать даже наедине с собой, - он, вероятно, с мучительной горечью наблюдал, как слабеет, оскудевает его творческий дар.

Как некоторые пытаются подстегнуть вянущую мужскую силу с помощью искусственных возбудителей, так и он искал способов раздуть гаснущее пламя творчества. Таитянский рай стал теперь в его глазах землей, лишившейся своего очарования, отравленной присутствием ненавистных ему "чиновников". Гоген считал, что возродиться он может только в тех краях, где варварство сохранилось почти нетронутым и где никто не будет знать о его неудачах. Еще со времени первого приезда в Океанию он мечтал о Маркизских островах. В апреле он объявил Монфреду, что намерен продать свою землю и дом в Пунаауиа, "ликвидировать все, по возможности без особого убытка", чтобы перебраться на эти острова, "почти что еще людоедские". Гоген надеялся, что перед смертью обретет там "последнюю вспышку энтузиазма, которая омолодит его воображение и увенчает его творчество".

"Хотя я потеряю время, по существу, это будет разумный шаг", - писал он Монфреду. На Таити жизнь непрерывно дорожает из-за эпидемии бубонной чумы, свирепствующей в Сан-Франциско, а там "жизнь легкая и очень дешевая". Там легче, чем на Таити, раздобыть модели, а кроме того, Гоген сможет "использовать новые элементы, более дикие", и по контрасту, полотна, написанные на Маркизах, помогут лучше понять его прежние произведения, написанные в Океании. "После Таити мои бретонские работы стали казаться розовой водицей, после Маркизских островов Таити станет казаться одеколоном". Наконец, еще одно преимущество - возможно, некоторые коллекционеры захотят купить "маркизские полотна", чтобы пополнить свои коллекции. "Может, я, конечно, и ошибаюсь - поживем, увидим".

Гоген решил обосноваться на самом большом острове архипелага Хива-Оа, или Доминика. В мае он сообщил Монфреду и Воллару свой будущий адрес. Однако он слишком поторопился, потому что, хотя он без труда нашел покупателя на свою землю, ему объявили, что по закону муж без разрешения жены не имеет права распоряжаться тем, что считается общим имуществом супругов. Гоген бушевал против "дурацкого" закона. Что ему было делать? Бросить все и уехать? Он просил Монфреда безотлагательно раздобыть у Метте необходимую для продажи доверенность.

"Если моя жена откажется подписать такую доверенность, подумайте, нет ли способа заставить ее это сделать, принимая во внимание, что все имущество супругов находится в ее руках (хотя нажито мной). Я женился на условиях совместного владения имуществом без всякого контракта".

Пока Гоген, сгорая от нетерпения, пытался преодолеть это неожиданное препятствие (сама мысль о предстоящем отъезде, казалось, придала ему сил), он в июле получил письмо от Мориса, который в начале мая на свой счет издал поэму "Ноа Ноа". Гоген только плечами пожал. Издание это казалось ему "совершенно не ко времени". Морису, который обещал ему выслать сто экземпляров книги, он довольно грубо ответил, что на Таити эти экземпляры "годны только на растопку". Зато другое предложение писателя привело его в восторг. Морис задумал открыть общественную подписку, чтобы преподнести в дар Люксембургскому музею картину "Откуда мы?", как за одиннадцать лет до этого была преподнесена "Олимпия" Мане. Можно себе представить, какое впечатление произведет такой почин на любителей живописи и на широкую публику! Морис утверждал, что по подписке удастся собрать десять тысяч франков, которые должны быть переданы художнику. Гоген возражал против такой суммы - "чрезмерной для живого художника". Пяти тысяч было бы за глаза довольно. Гоген страстно увлекся этой идеей (Воллар, "зная деликатность" Мориса, отнесся к ней куда прохладнее - он видел в ней обыкновенную "плутню") и, чтобы "облегчить сбор подписей", счел своим долгом объяснить писателю в подробном комментарии смысл своей картины и составить список лиц, к которым следовало обратиться, - в первую очередь к Гюставу Фейе, которого он называл "архимиллионером".

Гогену не понадобилось ждать доверенности от Метте - оказалось, что он может обойтись без нее.

"Какая бредовая гнусность все эти ваши законы! - негодовал он. - В первый раз меня

ткнули в них носом, и я тотчас убедился, что все в них наперекор здравому смыслу, а главное, устроено так, чтобы поощрять надувательство за счет честных людей. По счастью, я упрям, я стал разузнавать, расспрашивать и т. д. и таким образом выяснил, что право жены на общее имущество более чем спорно, и кроме того, что его можно аннулировать чудовищным способом, то есть, сделав объявление через регистрационную контору. И тогда, если по истечении месячного срока никто не явится, чтобы наложить запрет на имущество, ваша собственность освобождается от этого ипотечного права. Если считать, что жена и в самом деле обладает этим правом, то она его лишается просто потому, что не приняла необходимых мер. А как она может их принять в течение этого месяца, если она ни о чем не подозревает и не в состоянии себя защитить? Вот каким образом я смог продать свое владение за четыре с половиной тысячи франков, а следовательно, уладить здесь все свои дела да еще отложить деньги, чтобы как следует устроиться на Маркизах"[327].

Гоген ждал прибытия августовской почты, чтобы погрузиться на одну из шхун Коммерческого общества Океании, имевшего свою контору на Доминике. 7 августа он рассчитался с долгом Земледельческой кассы и отправил Воллару пять остававшихся у него картин. Все его вещи были сложены, чемоданы упакованы. В последнем письме к Монфреду он дал ему целый ряд наставлений, не преминув пригрозить по адресу Воллара ("господина, который нарочно заставил меня долго прозябать в нищете, чтобы потом скупить мои картины по дешевке") и обругать критиков ("сборище глупцов, которые пытаются анализировать наши наслаждения, или, еще чего доброго, - воображают, что мы обязаны их услаждать"[328]).

По этим угрозам и брани чувствуется, что Гоген вновь обрел вкус к жизни. На расстоянии двухсот пятидесяти морских миль от Таити, на краю Океании, перед бесконечными просторами Тихого океана, в восторге последнего обновления Гоген собирался завершить последний этап своего путешествия к "Варварскому Раю".

На Таити он оставил Пахуру. Маорийка отказалась ехать с ним. Она заявила, что не намерена жить с "дикарями"...

*

В отличие от Таити вблизи Маркизских островов нет кораллового рифа, который защищал бы берег. На острове Хива-Оа в Бухте Предателей океан выбрасывает черные валуны на берег, вдоль которого тянется широкая кромка кокосовой рощи. Образованные застывшей лавой гигантские горы венчают этот печальный и величественный пейзаж. Слева самая высокая точка острова, вершина горы Хеани, достигает тысячи двухсот шестидесяти метров в высоту.

Название Хива-Оа на туземном языке означает "Длинный гребень". Остров был образован вулканом с тройным кратером, склоны которого за долгие века постепенно источила эрозия. Мрачные уступы, отвесные кручи нависли над узкими ущельями, поросшими буйной растительностью. При выходе из одного такого ущелья, в трехстах метрах от берега, и стояли немногочисленные дома деревни Атуона, куда Гоген приехал в сентябре.

Здесь было жарче, чем на Таити. Хива-Оа расположена на десятой параллели, почти на той же широте, что и Лима, от которой остров отделяют тысяча триста - тысяча четыреста миль океанской пустыни.

На острове, сравнительно небольшом - около сорока километров с востока на запад и

---

327 Хотя и с опозданием - 7 сентября - Метте оформила доверенность и выслала ее Монфреду, "не написав ни слова" в сопровождение.

328 Гоген никогда не был особенно благосклонен к критикам. "Критик! Господин, который лезет в то, что его не касается!" - писал он в 1899 году в письме к Фонтена.

около двадцати с севера на восток, - Атуона[329] была самым крупным населенным пунктом. Среди зарослей хлебного дерева, кокосовых пальм, банановых деревьев и кенафа стояли хижины, несколько лавок, а кроме них здание жандармерии и здания, принадлежавшие двум враждующим религиям: храм протестантской миссии с одной стороны, а с другой - церковь, резиденция епископа, школы братьев и сестер католической церкви, а в северной части деревни, на выступе горы, расположилось католическое кладбище, где Конгрегация Сердца Иисуса и Девы Марии, так называемая Конгрегация Пикпюс, водрузила громадный белый крест.

Как только Гоген прибыл на остров, он явился в жандармерию, чтобы получить там сведения, которые помогли бы ему при устройстве. Его принял сержант Шарпийе, с которым Гоген встречался в больнице в Папеэте и в Пунаауиа. Шарпийе не скрыл от Гогена, что если он намерен купить участок земли и построить жилье, ему придется обратиться в католическую миссию и заручиться поддержкой ее главы - апостолического наместника на Маркизах, епископа Мартена. И в самом деле, миссии принадлежала большая часть земли в Атуона. Гоген и глазом не моргнул: он весьма кстати припомнил, что на Таити выступал в печати против протестантов. Чтобы понравиться монсеньеру Мартену, он даже готов был исправно ходить к обедне вместе с милейшим сержантом Шарпийе. И чтобы, не теряя времени, завязать добрые отношения с епархиальным начальством, он тотчас отправился в католическую миссию за учебником туземного языка.

В ожидании пока ему удастся купить землю - в самом центре деревни как раз оказался свободный участок - Гоген поселился у туземца Матикауа, который был наполовину китайцем, а столовался у другого китайца Аиу, который держал ресторан и булочную. И с тем и с другим его познакомил уроженец Индокитая Нгуен Ван Кам, с которым Гоген завязал тесную дружбу. Молодой поэт с очень рано проснувшимся дарованием, зажигавший сердца простых людей у себя на родине, за несколько лет до этого считался в Тонкине "дитятей чуда", которое явилось на свет, чтобы освободить страну от французского владычества. Окончив лицей в Алжире, где он учился на правительственную стипендию, он в 1896 году вернулся в Тонкин и, уверенный в сверхъестественных силах, которые ему приписывали, поднял восстание. Оно было плохо подготовлено и закончилось неудачей. "Дитя чуда", высланный в Океанию, работал на Хива-Оа санитаром. С этим политическим ссыльным у Гогена было куда больше общего, чем с сержантом Шарпийе, дружбу с которым он до поры до времени старательно поддерживал.

По воскресеньям художник и жандарм вместе шли в церковь. У них были там свои постоянные места. Гоген задыхался в церкви - туземные женщины питали пристрастие к дешевым духам, мускусу и пачулям, которые покупали в фактории Коммерческого общества или в магазине американца Варни. В глазах Гогена это был единственный недостаток местных жителей - от остального он был в восторге. "Уверяю вас, что в смысле живописи это изумительно. А модели - чудо!" - вскоре написал он Монфреду.

Он с восхищением любовался стройными женщинами с золотистой кожей и огромными глазами, могучего сложения мужчинами, украшенными татуировкой, некоторые из них еще помнили отменное лакомство - человечье мясо ("Ах, как вкусно!" - кротко приговаривали они). Долго остававшиеся в стороне от цивилизации, жители Маркизских островов не приспособились к нравам европейцев, к их запретам. Хотя людоедство исчезало уже почти повсеместно[330], древние варварские обычаи сохранялись. В каждой деревне девушку, еще не достигшую половой зрелости, в определенный день отдавали всему

---

[329] А не Атуана, как писал Гоген. Гогену случалось, правда, путать в своих письмах и воспоминаниях остров Хива-Оа с соседним островом Фату-Хива. Гогена нередко подводила память, отчасти и потому, что он некоторым обстоятельствам не придавал значения.

[330] Последние официально зарегистрированные случаи относятся как раз к 1901 году.

мужскому населению деревни. И чем многочисленней были эти однодневные любовники, превратившие ее в женщину, тем больше чести это ей приносило. Торговля алкогольными напитками была запрещена на Маркизах, но туземцы гнали самогон из кокосовых орехов и апельсинов и распивали его сообща. А потом, раздевшись догола, танцевали, пели и в пьяном виде спаривались без разбору. Попытки европейцев бороться с этими обычаями приводили иногда к комическим результатам. В церковных школах, например, туземцев заставляли учить наизусть сентенции вроде: "Ты болен, потому что пьешь сок кокосового ореха". И туземцы во время своих оргий произносили эти сентенции, точно молитвы, на ритм собственного изобретения, а иногда им больше нравилось петь церковные гимны или тянуть нараспев список французских департаментов и их главных городов.

На самом деле туземцы не столько выиграли, сколько пострадали от общения с белыми. Не научившись от них ничему хорошему - возможно, этого и не следовало ждать, - они приобрели только дополнительные пороки. Моряки приохотили их к разгулу, открыли для них опиум и не знакомые им спиртные напитки, как, например, ром, который они теперь обожали. Когда им не удавалось раздобыть его каким-нибудь незаконным способом, они довольствовались лавандовой водой. Их принудили носить одежду - из стыдливости (чувства, совершенно им не знакомого), но от этого их организм утратил прежнюю сопротивляемость, они стали восприимчивы к болезням, и в особенности к туберкулезу - "покопоко", - тем более что у них, привыкших жить в изоляции, не было иммунитета против болезнетворных микробов. Малейшая эпидемия косила жителей островов. Особенно пагубным оказался завезенный на остров сифилис - он вызывал бесплодие. Вчера еще народ суровых воинов стал теперь вялым и робким и, выбитый из колеи привычного примитивного существования, влачил жалкие дни. В 1840 году на одиннадцати островах архипелага насчитывалось двадцать тысяч туземцев, теперь их осталось меньше трех с половиной тысяч[331]. В глубине души Гоген негодовал против урона, нанесенного этой расе. В эпоху своего могущества она небезуспешно проявила себя в скульптуре и в декоративном искусстве. Но искусство это исчезло вместе с местной религией. "Заниматься скульптурой, декоративным искусством - означало предаваться фетишизму, оскорблять христианского бога", - замечал художник. Даже когда местная девушка "искусно" украшала себя цветами, "монсеньер гневался".

Но Гоген держал свои мысли при себе. "Лицемерие приносит пользу", и он был у цели. Монсеньер Мартен согласился уступить художнику свободный участок земли - полгектара заросшего кустарником пространства - за шестьсот пятьдесят франков. 27 сентября была подписана купчая. С тех пор епископу не пришлось больше видеть художника в атуонской церкви, отравленной запахами мускуса и пачулей.

Гоген тотчас занялся постройкой своего дома. Шхуна Коммерческого общества доставила ему с Таити бревна и доски. Помогали ему туземцы, среди них Тиока, которому предстояло стать ближайшим соседом Гогена. Участок был расположен против магазина Варни, за которым возвышалась церковь, а чуть выше проходила скверная, запущенная дорога. Гоген отвел место для дома в самой глубине участка, в конце аллеи.

Несмотря на отеки ног, на то, что вокруг раны на его правой ноге все время вились зеленые мухи, Гоген был полон сил и энергии. Переезд на Маркизские острова оправдал его ожидания и подействовал на него благотворно. Хотя туземцы, по натуре очень сдержанные, как правило, медленно привыкали к вновь прибывшим европейцам, Гоген покорил их почти сразу своим бескорыстным расположением и щедростью - он угощал их чаем, пирожными и спиртным. Еще в сентябре он купил девятнадцать литров рома[332]. Туземцы, называвшие его

---

331 Численность маркизского населения к 1926 году сократилась до 2 тысяч. С тех пор она довольно регулярно возрастает.

332 Он постоянно пополнял этот запас. С сентября 1901 по апрель 1903 года, то есть за двадцать месяцев, он купил в Коммерческом обществе сто литров рома, сто пятьдесят литров абсента и три бутылки виски.

Коке, всячески проявляли свою к нему симпатию. Старик туземец, когда-то осужденный за людоедство, которого Гоген снабжал табаком, объявил его табу. Тиока, по старинному обычаю, обменялся с ним именами и отказался от какой бы то ни было платы за свою плотничью работу.

Дом рос не по дням, а по часам. В конце октября он был готов. Двенадцать метров в длину на пять с половиной в ширину, он стоял на сваях на высоте двух метров сорока сантиметров от земли. В первом этаже помещались кухня, столовая, маленькая скульптурная мастерская и еще одна комната, временно служившая столярной. На второй этаж вела довольно крутая наружная лестница. Дверь наверху лестницы открывалась прямо в спальню, маленькую и затененную, а из нее можно было попасть в просторную и ярко освещенную мастерскую. Крыша была из пальмовых листьев, стенки верхнего этажа из бамбуковой плетенки.

Гоген украсил мастерскую полинезийским оружием, автопортретом "У Голгофы" и репродукциями; поставил мольберт, два стола, два комода, два плетеных кресла, фисгармонию и арфу. Вся меблировка спальни состояла из деревянной кровати, покрытой сеткой от москитов, и многочисленных этажерок, но зато комната была щедро покрыта росписью и резьбой, не оставлявшими сомнений в "язычестве" того, кто поселился на бывшей земле епархии. Полихромная резьба на деревянных панелях изображала пышные формы обнаженных маориек. На другом барельефе с изображением трех женских голов была вырезана надпись: "Любите и будете счастливы!" На стенах висели порнографические открытки, купленные в Порт-Саиде. Даже деревянную кровать Гоген украсил эротической сценой. В довершение всего он украсил резьбой балку над дверью. Две женские головы, птица и узор из листьев служили рамкой надписи: "Дом наслаждений" - так Гоген назвал свой дом[333].

"Как видите, чем старше я становлюсь, тем меньше цивилизуюсь". Перед входом в мастерскую он поставил глиняного идола, у ног которого на дощечке, украшенной резным орнаментом с изображениями животных, была выведена надпись: "Те атуа" ("Боги"), а на маленьком листке бумаги переписал стихи Шарля Мориса из "Ноа Ноа":

"Боги умерли, и с их смертью умирает Атуона[334].
Солнце, которым она когда-то пламенела, теперь навевает ей
Печальный сон, и кратки в нем пробуждения мечты.
И тогда древо сожаления прорастает во взгляде Евы,
Которая задумчиво улыбается, глядя на свою грудь,
Бесплодное золото, опечатанное божественным промыслом..."

Жизнь Гогена налаживалась. Материальную сторону его существования обеспечивало Коммерческое общество, в котором Гоген держал свои деньги. Эта немецкая компания, у которой было много отделений в Океании, без труда обосновалась на Маркизах по соседству с американскими и китайскими торговцами, так как французы совершенно не занимались ни банковскими операциями, ни коммерцией на этом архипелаге. Коммерческое общество должно было кредитовать Гогена по чекам, которые его французские корреспонденты посылали ему через гамбургский банк "Шарф и Кайзер", и записывать на его счет то, что он получал натурой и деньгами в фактории Атуоны. Часть своих закупок Гоген делал в лавке Варни. Коммерческое общество и Варни продали ему примерно на две тысячи франков материалов для постройки жилья.

Гоген нанял двух слуг - один из них, племянник Тиоки, Кахуи, должен был готовить

---

333 Четыре из этих деревянных панно в настоящее время находятся в Лувре, который приобрел их в 1952 году.

334 Гоген изменил здесь текст Мориса - там речь шла не об Атуоне, а о Таити.

пищу. Хотя Гоген так превозносил примитивное существование, он, однако, предпочитал консервы местной пище и дюжинами заказывал банки с говядиной, консервированные рубцы, спаржу, горошек, сардины и разные соленья. Чтобы разнообразить свой стол, он покупал у туземцев птицу и молочных поросят. Впрочем, они охотно приносили ему в подарок фрукты, яйца и рыбу, а он вознаграждал их щедрой рукой, угощая ромом. Кроме того, Гоген иногда ходил на берег стрелять морских птиц.

Это был один из постоянных маршрутов его прогулок. Вообще-то больные ноги мешали ему ходить. Но иногда, вечерами, облачившись в свою маорийскую рубашку, в набедренной повязке, в зеленом берете с серебряной пряжкой и в сандалиях, он с трудом поднимался, ковыляя и опираясь на одну из своих резных палок, до самой вершины горы, которая метров на сто возвышалась над Бухтой Предателей. Блики света трепетали на поверхности океана, из которого вздымались скалистые громады соседних островов - справа Тахуата, напротив Мотане и чуть поодаль Фату-Хива. За его спиной шумели пальмы, низвергались водопады. "Мы исчерпали все, что можно выразить словами, и теперь храним молчание. Я смотрю на цветы, недвижные, как и мы. Слушаю огромных птиц, замерших в воздухе, и мне открывается великая истина". Напоив взгляд вечным и бескрайним, Гоген спускался в Атуону. На набалдашнике одной из своих палок, он вырезал мужчину и женщину в любовной борьбе, на набалдашнике другой - фаллос.

Он снова начал писать. Почти без усилий. "Здесь, - сообщал он Монфреду, - поэзия присутствует во всем, чтобы вызвать ее к жизни, когда пишешь картину, надо лишь следовать своей мечте. Если бы мне удалось прожить два года, не зная болезней и слишком больших денежных забот, которые теперь особенно плохо отражаются на моих нервах, я добился бы определенной зрелости в моем искусстве". Влияние новой обстановки внесло свежую, более терпкую струю в его живопись, как, например, в картине, которую он написал в конце года, "И золото их тел"[335], на которой две обнаженные маркизские женщины сидят на фиолетовой земле на фоне зелени и оранжевых цветов.

"Мау тера!". Давно канули в прошлые времена, когда Гоген боялся последовать совету стариков Матаиеа. Кроме его официальной вахины, четырнадцатилетней Мари-Роз Ваэохо, которую он в ноябре увел из католической школы для девочек и которой в том же месяце подарил швейную машину и тридцать метров ткани, многие туземки - кто в качестве модели, кто как кратковременные любовницы - посещали Дом наслаждений. Среди них были рыжая, зеленоглазая Тохо, одна из самых известных островных красавиц Тауатоатоа, ради которой капитаны меняли маршруты своих кораблей, Тетуа, Апохоро Техи и маленькая Вайтауни, которая обладала способностью пробуждать чувственность Гогена, когда он ощущал себя "выдохшимся"... Часто эти женщины приводили в Дом наслаждений своих "тане", чтобы покутить в компании Коке, куда не допускались европейцы. Когда в Доме появлялась незнакомая ему девушка, Гоген, ощупывая ее тело, заявлял: "Надо будет тебя написать".

В общении с этими женщинами Гоген, цивилизованный человек, порвавший со своей расой, постигал истину обнаженных инстинктов, не подвергшихся никакому или почти никакому воздействию культуры, первобытную животную сущность человеческой натуры. "Чертовы греки, которые все понимали, недаром выдумали Антея, который восстанавливал свои силы, прикоснувшись к Земле. Земля это наша животная суть, верьте мне", - писал он Монфреду. Он добрался до "начала начал" и, жадно припав к источнику, пил от его темной струи. Он проделал в своих путешествиях тысячи и тысячи километров, но в поисках утерянных тайн свое самое долгое и плодотворное путешествие он совершил в глубь времен - долгое путешествие в недра души, к сумеркам человечества, к сумеркам неосознанного, к сумеркам великой тайны.

Все вокруг Гогена было наполнено голосами, все становилось знамением.

Однажды вечером, когда, утомившись, он отошел всего на несколько шагов от своего

---

[335] В настоящее время находится в Лувре.

участка и присел на скале, любуясь сумерками, заросли вдруг раздвинулись и из них вышло и медленно, ощупью двинулось к нему, волоча скрюченные ноги и опираясь на палку, бесформенное существо неопределенного возраста. Похолодев от ужаса, Гоген вскочил и, издав предостерегающий возглас, придержал рукой палку, на которую опиралось чудовище. В полумраке он разглядел высохшее и сморщенное, как у мумии, тело, сплошь покрытое татуировкой и совершенно голое, если не считать цветочной гирлянды на шее. Видение остановилось и, дотронувшись до художника холодной рукой "холодной, как пресмыкающиеся", - ощупало его плечи, лицо, грудь. "Жуткое и мерзкое ощущение". Потом рука спустилась к пупку, проникла под набедренную повязку. "Пупа" (европеец), - проворчало существо (туземцы подвергались обрезанию). И медленно, отступив, исчезло в кустах. На утро Гогену объяснили, что это убогая старуха, слепая и безумная, которая бродит в зарослях, питаясь отбросами. Но волнение, пережитое художником, потрясло его до глубины души. Он не мог отделаться от воспоминаний о безумной старухе, возникшей из сумерек. Целые недели она преследовала его и, что бы он ни писал, между ним и его холстом всегда стояло видение, придававшее окружающему "варварский, дикий, свирепый" облик. "Отталкивающее своей грубостью искусство папуаса" - прочел Гоген однажды в отзыве на свои картины в одном из номеров "Меркюр де Франс". Он ухмылялся, вспоминая об этом высказывании одного из своих хулителей[336], которое его задело и которого он не забыл, а на своем теле он все еще ощущал прикосновение холодной руки обнаженной слепой старухи с гирляндой на шее: "Пупа!"

Несомненно, этой встречей навеяна картина, так и названная "Видение", на которой молодая девушка остановилась под деревьями и, потрясенная, глядит на проходящее мимо странное, загадочное существо. "С этими людьми надо говорить загадками, потому что они смотрят и не видят...", - любил повторять Гоген. Он выражал себя средствами, которые должны были казаться все более непонятными тем, кто не улавливал нити его неповторимой судьбы. В самом деле, какой смысл могли иметь в глазах подобных людей картины, которые Гоген написал в 1902 году, хотя бы, например, "Призыв". В этой большой композиции, с поразительной виртуозностью используя могущественное воздействие цвета, сочетая сиреневые и розовые, оранжевые и пурпурные тона, Гоген изобразил две женские фигуры - одна из них спокойным, неторопливым движением куда-то указывает другой, словно предлагает ей следовать за собой. Эта картина залита светом, который так и хочется назвать сверхъестественным. Кажется, что время в ней остановилось. И что, как не вечность, символически сулит туземка своей подруге?[337]

Возвратившись к тексту своей рукописи "Католическая церковь и современность", Гоген переписал ее, отредактировал и назвал этот новый текст "Дух современности и католицизм"[338]. По-прежнему одержимый тремя вопросами, в которых воплощено недоумение человека перед космическими силами, Гоген вновь нападал здесь на церковь, которая, с его точки зрения, лишила Евангелие его "подлинного, естественного и разумного смысла", превратив его "в свою противоположность", и "высокомерно" насаждает свой собственный "религиозный дух". По-видимому, Гоген не мог забыть дискуссий, которые велись в Ле Пульдю перед огромной Библией Мейера де Хаана. Во всяком случае, в картине,

---

336 Камиля Моклера, который был одним из самых гнусных критиков своего поколения. Он отмерял свои похвалы и брань в зависимости от репутации, которой пользовался тот или иной художник, глумился над побежденными, превозносил победителей и всегда готов был переменить мнение, как только ветер успеха менял направление. В 1919 году "Папуас" под его пером превратился "в подлинно великого колориста, непонятого, несчастного", в создателя картин "великолепного декоративного стиля, абсолютно оригинальной хроматической сочности и неоспоримого искусства композиции".

337 "Призыв" в настоящее время находится в Музее Кливленда.

338 Эта рукопись в настоящее время находится в Музее искусств Сент-Луиса.

которую он назвал "Варварские сказания"[339], он поместил де Хаана позади двух сидящих туземцев - юноши и девушки, по словам Мориса, прекрасной, как женщины Боттичелли.

В эти первые месяцы 1902 года Гоген был счастлив. Здоровье его заметно окрепло, денежные дела упорядочились, чем он был очень горд: "А Шуффенекер уверял, что я непредусмотрителен. Хотел бы я видеть его на моем месте". Несмотря на кризис в виноторговле, Фейе, который, по словам Монфреда, "любит считать и даже слишком", заплатил полторы тысячи франков за деревянную скульптуру, выполненную для него Гогеном. Со своей стороны, Воллар за такую же сумму купил композицию "Откуда мы?" и перепродал ее любителю из Бордо[340]. Хотя торговец по-прежнему высылал деньги не очень аккуратно, Гоген не знал теперь материальных забот[341]. В своем доме, стоявшем среди хлебных, кокосовых и банановых деревьев, он вкушал безмятежный покой. Он ни в чем не нуждался. Туземцы оборудовали ему ванну на открытом воздухе, возле самого дома. В тени деревьев он подвесил гамак, где мог отдыхать днем в самые жаркие часы. Колодец, вырытый под окнами мастерской, обеспечивал его холодной водой. Кувшин и бутылка абсента, постоянно погруженные в колодец, были привязаны к приспособлению, напоминавшему удочку, и когда Гогену хотелось пить, он в любую минуту мог достать их оттуда, не выходя из мастерской. "Это отдых, а в нем я и нуждался". При этом Гоген много работал и вскоре мог послать Воллару около двадцати полотен. Каждый день он радовался тому, что расстался с Таити и его чиновниками.

Однако администрация простирала свою докучную опеку и на Маркизские острова. Гоген убедился в этом, когда в марте от него потребовали уплаты шестидесяти франков - подушной подати и налога на содержание дорог. Налог на содержание дорог в стране, где никто никогда не проложил ни одной дороги! Интересно, куда идут эти деньги? На пополнение кассы Таити! Так они не дождутся от него ни гроша! Гоген тотчас уведомил управителя Маркизскими островами, господина Сен-Бриссона, резиденция которого находилась в Таихоаэ, на острове Нука-Ива, что он категорически отказывается платить упомянутый налог и его повар Кахуи тоже не будет платить двенадцать франков подушной подати. Перед тем как отправить письмо, Гоген дал его прочитать сержанту Шарпийе - тот пришел в ужас. "Не станете же вы подстрекать канаков не платить налоги! " - воскликнул жандарм. Гоген иронически ответил, что у него "есть дела поважнее", но "знай туземцы, как обстоят дела, они поступили бы, как я. Бояться им нечего - у большинства из них ничего нет".

3 апреля де Сен-Бриссон ответил художнику, что передал его протест губернатору французских поселений в Океании, но пока последний не сообщит свое решение, он, де Сен-Бриссон, обязан "неукоснительно выполнять закон, не вдаваясь в его обсуждение".

Эта переписка доставила большое удовольствие тем из поселенцев и коммерсантов на острове, которые относились к властям не лучше, чем Нгуен Ван Кам, и они поддерживали Гогена в его упорстве. Почти еженедельно в Дом наслаждений приходил баск по имени Гийету. Этот бывший сержант морской пехоты двадцать лет назад был освобожден от службы как раз на острове Хива-Оа. Сначала он стал торговцем в Хакеани, а теперь разводил быков в районе Ханаиапа. Какое-то темное дело в свое время привело его за решетку. С тех пор он пользовался каждым случаем, чтобы с уголовным кодексом в руке разоблачать злоупотребления властей или полиции. Сидя с Гогеном за стаканом абсента или рома, он был

---

339 Находится в Музее Фольькванг в Эссене.

340 Габриэлю Фризо, другу Жида, Клоделя, Франсиса Жамма.

341 С мая 1900 года, когда он получил первую ежемесячную плату от Воллара, по май 1903 года, Гоген получил 15220 франков (в 1900 году - 4270 франков, в 1901 - 4350, в 1902 - 6100, в 1903 - 500 (то есть в среднем за три года по 422 франка в месяц, немногим более тысячи новых франков).

неистощим в рассказах о лихоимстве и других преступлениях, свидетелем которых он был на Хива-Оа. Да и вообще управляется колония из рук вон плохо. Те немногие товары, которые разрешается вывозить - скот, копру, ваниль или кофе, - облагают слишком большой пошлиной, и ее к тому же надо платить заранее. Вдобавок большая часть земель сосредоточена в руках кучки привилегированных лиц, которые разными неправдами выманили ее у туземцев. Пусть художник не удивляется, что владения католической миссии так обширны. Каждый год она отбирает землю у туземцев, большинство которых не умеют ни читать, ни писать и к тому же не разбираются во французском законодательстве - их ничего не стоит обмануть. Миссия иногда вместо всякой платы сулит им за отобранный участок земли "куда лучший - на том свете". Предшественник Шарпийе, сержант Франсуа Гийо, решительно возражал против действий священников и в минувшие годы подал несколько рапортов о "кражах земель, совершенных миссией в ущерб туземцам". Он даже заставил монсеньера Мартена вернуть некоторые из этих участков их прежним владельцам, и во Франции, кажется, даже вырабатывают указ в защиту туземцев от присвоителей их добра[342].

Гоген возмущался. С весны у него возобновились боли в ногах, и он снова стал нетерпеливым и вспыльчивым, как во время "Ос". Экзема зудела, раны гноились. Чтобы облегчить свои страдания, он стал прибегать к уколам морфия, но ему было настолько трудно передвигаться, что в мае он купил у Варни лошадь и двуколку и отныне совершал в ней свои прогулки. Он не скрывал, что стал "крайне впечатлительным". Монфред не писал ему несколько месяцев - Гоген извелся из-за этого молчания. Наконец он получил письмо от друга. "С каким восторгом я узнал Ваш почерк, с какой жадностью прочел письмо, - писал художник... - Ведь я уже не прежний Гоген", - пояснял он. И это была правда. Хотя физически он все еще был очень крепок, в пятьдесят четыре года он выглядел стариком. Кожа его сморщилась, волосы поседели, зрение все ухудшалось, и взгляд за стеклами очков в железной оправе потух. Но в особенности он изменился морально. Возмущаясь тем, как ничтожны те немногие европейцы, которые жили с ним по соседству и с которыми было невозможно говорить ни о чем серьезном - все их разговоры вертелись вокруг местных сплетен и сальных анекдотов, - Гоген тяжело переносил интеллектуальное и душевное одиночество. "Нет никого, кто бы поддержал меня и утешил", - жаловался он. Красота Атуоны быстро поблекла в его глазах.

Любая мелочь выводила Гогена из себя. С конца мая он впал в мрачное отчаяние: из-за того, что потерпел кораблекрушение "Южный крест", корабль Коммерческого общества, осуществлявший связь Маркизских островов с Таити, перестала приходить почта и не доставляли продуктов. Недопустимо, негодовал Гоген, что власти, если уж они не могут снарядить военный корабль, не посылают шхуну, чтобы доставить на архипелаг рис, муку, соль и картофель. "Можно утверждать с уверенностью, не боясь ошибиться, что будь здешняя колония местом ссылки, нас не посмели бы оставить без пропитания".

Тем временем сержанту Шарпийе пришла в голову трогательная мысль предложить Гогену стать председателем Комитета по празднованию 14 июля. В этом качестве художник должен был распределять певческие награды ученикам религиозных школ. Миссия предполагала, что бывший памфлетист "Ос", хоть он и не появляется в церкви, сохранил "добрые христианские" чувства и, поскольку он не любит протестантов, поддержит католические школы. В самом деле, миссия жестоко боролась с конкуренцией маленькой протестантской школы, которую открыл в Атуоне приехавший сюда в 1898 году молодой пастор Поль-Луи Вернье. Гоген то ли в насмешку, то ли из чувства справедливости, а может быть, по безразличию поделил первую премию между маленькими туземцами школы братьев, исполнившими "Гимн Жанне д'Арк", и учениками пастора, исполнившими "Марсельезу". Раздосадованные католики заявили, что это несправедливо, что это

---

342 Этот указ и в самом деле был опубликован 9 сентября 1902 года.

сектантство. Вскоре монсеньер Мартен запретил своей пастве посещать Гогена, который "выставляет напоказ опасную свободу нравов". Запрещение касалось в первую очередь женской половины населения.

Гоген хохотал. "Как! Мне хотят навязать обет целомудрия! Э, нет, шалишь!" Он отлично знал, что рассказывают об апостолическом наместнике на Маркизах. С одной стороны, епископ публично высказывал сожаление, что в нарушение закона многие женщины купаются голыми, и это, де, оскорбляет его стыдливость и стыдливость его монахов. Но это, однако, не мешало ему поддерживать любовные отношения со своей экономкой, молодой туземкой, получившей при крещении христианское имя Тереза. За два или три года до этого пасхальное богослужение в атуонской церкви было прервано самым неожиданным образом. Когда монсеньер Мартен служил мессу, другая юная туземка, по имени Анриетта, только что окончившая школу сестер, которую Мартен взял к себе в качестве второй экономки, в припадке ревности набросилась на Терезу: "Это потому, что ты спишь с епископом чаще, чем я, он подарил тебе шелковое платье, а мне из простого ситца!" Все эти сплетни забавляли художника. Раздобыв "два великолепных куска розового дерева", он вырезал из одного рогатого дьявола и назвал его "Отец Распутник"[343], из второго девушку с венком на распущенных волосах - "Святую Терезу" и поставил их по обе стороны лестницы, куда на них приходили полюбоваться и потешиться туземцы и европейцы. "Если это легенда, то не я ее сочинил", говорил Гоген. Что до Анриетты, Гоген не придумал ничего лучшего, как сманить ее от епископа и поселить у себя. Она заменила Мари-Роз Ваэохо, которая, забеременев, отправилась в родную деревню, чтобы там родить в кругу семьи[344].

Сержант Шарпийе, которого его друзья-католики несомненно не поблагодарили за его затею, в один прекрасный вечер составил протокол, довольно смешной в условиях острова, обвиняя Гогена в том, что на его коляске нет фонаря. Воинственный пыл Гогена от этого разгорелся еще пуще. Художнику всегда было необходимо бороться. Но не те глубокие причины, которые побуждали его к борьбе в течение всей жизни, определяли его поведение теперь. Он действовал словно бы по инерции, затевая ссоры по поводам, которые в другие времена оставили бы его равнодушным. Он почти не писал - писал "мало и плохо". Его мучила экзема, а Гийету и некоторые другие соседи вроде отставного жандарма Рейнера, владельца кокосовой плантации, который непрестанно шельмовал своих прежних сослуживцев, разжигали его мстительный гнев. Гоген занимался теперь не столько живописью, сколько тем, что выслушивал жалобы и обвинения, иногда справедливые, иногда клеветнические, и брал на заметку все злоупотребления властей, которые обнаруживал сам или о которых ему сообщали. Подобно Флоре Тристан, которая когда-то защищала рабочих, он взял под защиту туземцев. Критикуя колонизацию в ее существующем виде, осуждая ее методы и результаты, он пытался мешать деятельности двух властей на архипелаге: жандарма, который исполнял множество обязанностей - был сборщиком налогов, таможенником, нотариусом, судебным исполнителем, начальником порта и пр., и миссионера. Его отношения с Шарпийе портились с каждой неделей. Гоген не только призывал туземцев не платить налоги, но и уговаривал их забрать детей из миссионерских школ, где их не учат ничему, кроме катехизиса, да внушают страх перед священниками. "Хватит с них и того, что они знают", ответил однажды директор школы мальчиков сержанту Гийо, которого это возмутило.

Шарпийе не разделял взглядов своего предшественника и составлял протоколы на родителей, виновных в том, что они послушались Гогена. Он посылал одно за другим донесения новому управителю Маркизских островов Пикено о "действиях господина

---

343 В настоящее время находится в собрании Честер Дейл в Нью-Йорке. В Музее французских заморских территорий в Париже находится деревянная скульптура на сходную тему - "Святой Оранг".

344 Она родила дочь 14 сентября.

Гогена". 28 августа он составил длительный перечень своих на него обид, описывая, как тот тащится на своих больных ногах к берегу, чтобы там проповедовать туземцам. Все больше учеников бросают католические школы, писал жандарм. Налоги поступают чрезвычайно медленно, ибо туземцы заявляют, что "будут платить, если заплатит Гоген". "Кроме этих неудобств господин Гоген причиняет еще и другие, второстепенные, в частности, благодаря своим нравам - нравам ученика Эпикура, каковых туземцам вовсе не следовало бы знать".

Пикено, человек порядочный, пытался поступать по справедливости - эти свары ему досаждали. К тому же он был только временным управителем острова, и он призывал сержанта соблюдать осторожность по отношению к ученикам миссии. Зная, что но закону нельзя принудить главу семьи отдать детей в школу конгрегации, если она расположена дальше, чем в четырех километрах от их дома, он конфиденциально предупреждал Шарпийе, что вынужден будет положить его рапорты под сукно. "Надо энергично убеждать родителей... не признаваясь в нашем бессилии", - наставлял его он.

Число учащихся в школах миссии сократилось вдвое. Но зато Гогена заставили уплатить налоги. Шарпийе получил приказ конфисковать кое-что из имущества художника и продать с торгов.

В день распродажи в Дом наслаждений слетелись все друзья Гогена. Со стаканами рома и шампанского в руках Гийету, Рейнер и Нгуен Ван Кам веселились вовсю, видя смущение жандарма, на которого Гоген не обращал ни малейшего внимания. Он даже не удостоил сержанта ответом, когда тот призвал его уплатить налоги, к которым прибавились еще судебные издержки, - всего шестьдесят пять франков. Тогда Шарпийе объявил, что с торгов будут проданы две туземные скульптуры и карабин. За столом никто и бровью не повел гости и хозяин продолжали пить и разглагольствовать, громко смеясь. Только через некоторое время Гоген наконец решился прекратить этот унизительный фарс. Он поручил Кахуи заплатить жандарму шестьдесят пять франков и просить его убраться подобру-поздорову.

*

20 августа, после восьмидесятидневного перерыва, связь с Таити была восстановлена и на Маркизские острова прибыла шхуна Коммерческого общества. Гоген получил радостные известия из Франции. Монфред твердо надеялся "устроить так, чтобы "Белую лошадь" купили за шестьсот франков[345], а Фейе намеревался ближайшей весной организовать большую выставку его произведений в Безье. "Как знать, не приеду ли и я сам туда к этому времени!" - мечтал художник.

Устав от физических страданий, он начал строить планы возвращения в Европу. Перемена воздуха, более здоровый климат, без сомнения, пойдут ему на пользу. Да и разве его путешествие, долгое путешествие, которое привело его на край света, к "последним дикарям"[346], не подошло к концу?

Как и его собрат Ван Гог, который, осуществив свое страстное желание вырваться на юг и проведя много месяцев в Арле и Сен-Реми, в Провансе, мечтал об одном - вернуться на север, поближе к родным краям, Гоген тоже почувствовал смутную тоску по родным местам. Но он мечтал вернуться не в Париж или вообще во Францию, он мечтал о другой стране - стране, которую никогда не видел, об Испании, где более века назад драгунский полковник, кавалер ордена св. Иакова, дон Мариане де Тристан Москосо, сошелся с молодой француженкой-эмигранткой. Гоген решил сначала обосноваться на юге Франции, по соседству с Монфредом, а потом отправиться на иберийский полуостров искать "новые

---

[345] Монфред так никогда и не признался художнику, что это полотно купил он сам.

[346] Выражение принадлежит Максу Радиге. Прикомандированный в качестве секретаря к генеральному штабу адмирала Дюнети-Туара, он с 1842 по 1845 год провел на Маркизских островах и запечатлел свои наблюдения в очень живой книге воспоминаний.

элементы": "Быки и испанки с волосами, смазанными свиным салом, писаны тысячу раз, но удивительно, как по-иному я все это себе представляю!"

"Семья наша - самые чистокровные испанцы", - утверждала Флора Тристан, которая в своих химерических мечтах никогда не вспоминала о легендарных предках - инках, голоса которых Гоген слышал в своей душе.

Некоторые привилегированные посетители Дома наслаждений не без удивления обнаруживали в атуонском "строптивце" Гогене потомка инков, прислушивающегося к таинственным голосам. Одним из таких посетителей был поселенец из Фату-Хива, по национальности швейцарец, Греле, человек по-настоящему интеллигентный, чья семья в свое время была связана дружбой с Курбе. Хотя Гоген и ставил его порой в тупик, он быстро оценил неповторимое дарование автора "Варварских сказаний", в котором большинство европейских жителей острова видели просто "тронутого". Сложная личность художника увлекла Греле. Этот одинокий человек признавался ему, как он ненавидит одиночество, этот истовый служитель чувственности комментировал ему, как художник, серию непристойных эстампов Утамаро[347] ("Японцы - вот у кого мы все должны учиться") и исполнял на фисгармонии произведения Баха, этот циник трепещущим голосом говорил о своей семье, от которой годами не имел известий. "Наверное, с отцом, который был бы на каторге, не посмели бы так обойтись", - писал Гоген Монфреду. А Варни он как-то вечером сказал: "Может быть, я слишком любил живопись..."

Но, пожалуй, больше всего Греле поражала в художнике его тяга к необычайному, к фантасмагорическому, к невидимому миру, с которым он, казалось, запросто вступал в связь. Силы этого мира были не столько благотворными, сколько пагубными; их колдовское влияние, несомненно, объясняло и очарование творчества художника и неудачи его личной жизни - и то и другое, нерасторжимо связанное между собой. Не было ли в этом творце, в котором слишком громко говорил человечек, рокового стремления портить свою жизнь, какого-то призвания к несчастью? Победа великих мастеров часто оплачивается их личными поражениями. "У меня дурной глаз", - вздыхал иногда художник с серовато-зелеными глазами.

III
ГЛУПАЯ ПТИЦА ЗАВЕРШАЕТ ПОЭМУ

...Смеясь вечным смехом, застывшим смехом Тупапау...
Лоти[348]. Женитьба Лоти

В эти недели 1902 года Гоген часто возвращался мыслью в прошлое, оценивая и переоценивая самого себя. Он размышлял о том, как велико значение произведений, которые он после себя оставит, и заметным ли будет его влияние.

Казалось, одна мысль особенно неотвязно преследовала его - время от времени он повторял, точно оправдываясь перед собой: "Я исполнил свой долг". Более чем когда-либо, он был убежден, что избрал в искусстве единственно правильную дорогу. Конечно, в силу обстоятельств, препятствий, которые ему пришлось преодолеть, созданное им лишь "относительно удачно". Но зато он не сомневался, что его более чем двадцатилетняя борьба была не только полезна, но и необходима. "Пусть от моих произведений ничего не останется, но останется воспоминание о художнике, который освободил живопись от былых академических изъянов и от изъянов символистских...".

В сентябре Гоген написал большую статью - "Россказни мазилы", в которой излил свой

---

347 Утамаро (1753-1806) - японский художник и гравер.

348 Лоти, Пьер (настоящее имя Жюльен Вью, 1850-1923) - французский писатель.

"подспудный гнев", но которая заканчивается торжествующей нотой. Эту статью он отправил Фонтена, чтобы тот передал ее в "Меркюр де Франс". Не называя себя, Гоген показывает в ней значение того, что он совершил. Как он написал в октябре Монфреду, он хотел "утвердить право на любую смелость". Отныне искусство не должно быть ничем стеснено. Огромные, безграничные возможности открыты перед художниками в будущем. Перечисляя в конце статьи художников, которые вместе с ним способствовали живописному возрождению только что истекшего столетия, от Мане до Ван Гога, от Писсарро ("Это был один из моих учителей, я этого не отрицаю") до Сезанна и Тулуз-Лотрека, Гоген восклицал: "Мне кажется, это должно вполне утешить нас в потере двух провинций[349], потому что тут мы покорили всю Европу и, главное, в последнее время утвердили свободу пластических искусств".

Теперь Гоген вообще чаще брал в руки перо, чем кисть. В декабре, измученный своей экземой, он вообще почти перестал подходить к мольберту. Страдая бессонницей, он по ночам писал. Он работал над книгой, сборником разнородных заметок - "Прежде и потом". Передав "не прямо, а через третьи лица" рукопись "Дух современности и католицизм" епископу Мартену, он получил от него в ответ толстый том истории церкви и теперь пытался опровергнуть этот труд по многим пунктам. И одновременно, само собой разумеется, он продолжал бороться за права туземцев.

15 октября на Маркизский архипелаг на борту канонерки "Усердная" в инспекционных целях прибыл губернатор французских поселений в Океании Эдуард Пети. Гоген от имени туземцев направил ему письмо, содержавшее требования и протесты. Он требовал, например, предоставить жителям Маркизских островов "право пить, какое предоставлено неграм и китайцам", возражал против злоупотребления протоколами, в несметном количестве составляемыми жандармерией.

Но губернатор Пети, которого сопровождал прокурор Шарлье - одна из жертв "Ос" и "Улыбки", отнесся к этому ходатайству с полным пренебрежением. Проходя с сержантом Шарпийе мимо дома Гогена, он заявил: "Вы ведь знаете, что это отъявленный негодяй!"

Губернатор приложил все старания, чтобы избежать общения с населением. Он ограничился только официальными визитами в жандармерию и епископство. Так, во всяком случае, считал Гоген, и это совершенно вывело его из себя. После отъезда Пети, в ноябре он отправил ему резкое письмо, в котором ядовито критиковал его равнодушие ("Мы не конюхи с вашей конюшни"), и подробно перечислял то, что губернатору довелось бы узнать, если бы он соизволил сбросить с себя свою "спесь". Гоген предупреждал его, что взбудоражит общественное мнение в метрополии. И в самом деле, художник отправил копию своего письма редактору "Меркюр де Франс", специализировавшемуся по колониальным вопросам, чтобы тот привлек внимание общественности к "жестоким фантазиям глупой администрации"[350].

Гнев Гогена не остывал. Он то и дело ввязывался в туземные дела. Стоило сообщить ему о каком-нибудь нарушении закона, он немедля писал Пикено, взывая к его "чувству справедливости". Управитель должен был признать, что его неугомонный корреспондент часто бывает прав. 4 декабря в Атуону прибыл новый жандарм, сержант Жан-Пьер Клавери, который 16 декабря заменил в должности Шарпийе. Хотя Клавери был не слишком склонен поддерживать миссию, и это должно было примирить с ним Гогена, художник почти сразу же затеял с ним борьбу. Было совершено преступление, а Клавери занимался расследованием менее усердно, чем хотелось бы Гогену, - из трусости, боязни ответственности, как

---

[349] Речь несомненно идет об Эльзасе и Лотарингии, которые Франция после поражения 1870 года вынуждена была отдать Германии.

[350] В ту пору редактор "Меркюр" не придал значения этому сообщению. Но два года спустя, после смерти Гогена, опубликовал это письмо на страницах журнала в отделе "Разное".

утверждал художник. "Но что же тогда будет с нашей безопасностью?" - негодовал Гоген.

В ожидании пока ему удастся высказать все, что он думает о таких, как Шарпийе и Клавери, судье, который должен был в ближайшее время явиться в Атуону, Гоген увлеченно работал над рукописью "Прежде и потом", включая в нее, по прихоти своих настроений, вперемежку воспоминания и размышления. К первой половине января 1903 года он написал уже довольно много страниц, когда на Маркизы обрушился циклон.

Циклону предшествовала двухдневная буря. А на второй день около восьми часов вечера вдруг поднялся шквал. Гоген был один у себя в мастерской. Ему никак не удавалось справиться с лампой- он ее зажигал, но очередной порыв ветра, яростно сотрясавшего крышу дома, тотчас ее гасил. И вдруг художник услышал "необычный глухой, непрерывный шум". Он вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице, но оказался по колено в воде. В темноте, в бледном свете затуманенной луны, он увидел, как бурные потоки воды окружают его дом и, вихрясь водоворотами вокруг свайных столбов, крутят камни и вырванные с корнем деревья. Это разлилась река Атуоны, затопившая узкую прибрежную полосу. Всю ночь напролет Гоген со страхом ждал, что течение вот-вот снесет его дом, а с ним и; лари из камфарного дерева[351], где были сложены рисунки, начиная с самых ранних его работ. Но его на совесть сколоченное, надежно укрепленное на сваях жилье устояло. Когда рассвело, взгляду Гогена предстала страшная картина. Медленно отступившая вода затопила все вокруг, перерезала дороги, разрушила мосты, снесла хижины многих туземцев. Повсюду виднелись поваленные деревья[352].

На другой день маркизцы горько жаловались на разрушения. Многим из них вода причинила большой ущерб. Циклон, погубивший побеги хлебного дерева, должен был отразиться на будущем урожае. Другу художника, Тиоке, участок которого был совершенно опустошен, пришлось заново отстраивать хижину. Желая ему помочь, Гоген подарил ему без всякого нотариального оформления часть своей земли. В то же время он написал ходатайство о том, чтобы двадцати двум туземцам с острова Тахуата выплата налога была отсрочена, пока они не соберут урожай, на что не соглашалась жандармерия, - несмотря на убытки, причиненные циклоном, от туземцев требовали немедленной уплаты налога, угрожая им штрафами.

Клавери, человек не менее раздражительный, чем Гоген, к тому же весьма ревниво относившийся к своим прерогативам и скорый на угрозы, все с большим трудом переносил постоянное вмешательство художника в вопросы, входившие в его, Клавери, компетенцию. Но ему нелегко было заткнуть рот Гогену. В начале февраля Рейнер рассказал художнику, что два американских китобойных судна во время циклона бросили якорь у острова Тахуата и, не заплатив пошлины, при пособничестве местного жандарма Этьена Гишене продали туземцам разные товары - мыло, ножи, часы, ткани... Гоген не мог пропустить подобное дело. За несколько недель до этого он считал (и писал об этом в "Прежде и потом"), что китобои поступают правильно, продавая контрабанду туземцам. "А что тут плохого? Чем тут возмущаться? Когда, наконец, люди поймут, что такое Человечество?". Но поскольку в дело оказался замешан жандарм, картина менялась. Гоген тотчас подал жалобу Пикено, побуждая его начать следствие.

Управитель, следуя "специальным инструкциям, против которых он неустанно протестует" (как утверждал он сам), сообщил о жалобе обвиненному жандарму. И вскоре проездом через Атуону дал знать художнику, что за это время таможенные декларации были оформлены. "Эти прохвосты умеют замести следы", - добавил Пикено, говоря о

---

351 Камфарное дерево благодаря своему запаху отгоняет москитов.

352 От этого циклона, в результате которого погибли пятьсот пятнадцать туземцев, особенно пострадали острова Туамоту. Остров Хива-Оа остался в стороне от наиболее опасной зоны циклона.

жандармах[353]. Гоген уведомил управителя, что в таком случае его жалоба теряет смысл и он берет ее обратно.

С февральской почтой Гоген получил много писем, которые пришли с запозданием из-за циклона. Как он и предполагал, "Меркюр де Франс" отверг "Россказни мазилы". Но Гоген не придал этому значения. Он только что закончил "Прежде и потом", и ему теперь больше всего хотелось как можно скорее издать эту книгу "ненависти" и "мести" (он не боялся употреблять эти слова), где он написал "ужасающие вещи", в частности, о своей жене и о датчанах. Он поручил Фонтена, которому переслал рукопись, позаботиться об ее издании. "Читая ее, Вы между строк поймете мою личную злую заинтересованность в том, чтобы книга была издана. Я хочу ее издать". Одновременно он просил Монфреда любой ценой найти средства, необходимые для ее издания. "Можно продать все мои картины, написанные во время первой поездки на Таити, - валите все подряд, по любой цене". Рукопись "Россказней мазилы" он отдал Монфреду, рукопись "Прежде и потом" - Фонтена.

"Я буду вам очень признателен, - писал он Фонтена, - если Вы, что бы ни случилось, сохраните на память обо мне, в каком-нибудь укромном уголке, где придется, как дикарскую безделушку, а не на витрине с диковинками, эту рукопись с ее набросками. Это не плата, не "я тебе - ты мне". Мы, маркизские туземцы, такого не признаем. Мы только иногда дружески протягиваем руку. И на нашей руке не бывает перчаток".

Гогену вручили два письма от Монфреда. Существенным в них было только одно: Монфред, в согласии с Фейе, решительно отговаривал Гогена возвращаться на Запад. "Натужное" европейское существование погубит "и без того уже разрушенное здоровье" Гогена.

"А главное, - писал далекий друг Гогена, - как бы Ваше возвращение не помешало тому процессу, который совершается в общественном мнении, тому инкубационному периоду, который оно переживает по отношению к Вам: в настоящее время на Вас смотрят как на удивительного, легендарного художника, который из далекой Океании посылает странные, неподражаемые произведения - итоговые произведения великого человека, так сказать, исчезнувшего из мира. Ваши враги (а их у Вас много, как у всех, кто мешает посредственности) молчат, не смея выступить против Вас, и даже не помышляют об этом - Вы ведь так далеко!.. Вы не должны возвращаться... Вы пользуетесь неприкосновенностью великих покойников, Вы вошли в историю искусства. А тем временем публика воспитывается; кто сознательно, кто невольно распространяет Вашу известность. Этому способствует мало-помалу даже сам Воллар. Может, он уже учуял Вашу бесспорную всемирную славу. Так вот, дайте этому процессу завершиться: он еще только начался. Нужен еще год, может быть, два, чтобы он принес свои плоды. Наберитесь терпения и ждите - другие трудятся для Вас".

Как ни лестно было для него это мнение Монфреда, Гоген не соглашался с другом. Он считал, что для его здоровья полезнее жить в Европе. Зудящая экзема почти не давала ему передышки. К тому же он боялся ослепнуть. "И вот я спрашиваю себя, что со мной будет, если Воллар, даст тягу?" На Маркизах он чувствовал себя под угрозой, считал, что его подстерегают опасности. При любой оплошности, при малейшем проявлении слабости его "раздавят", считал Гоген. "А во Франции можно скрыть свою беду, да и тебя могут пожалеть", писал он.

Странно слышать это слово "пожалеть" в устах художника-бунтаря, который непрестанно донимал местную власть. Судья, уже несколько дней заседавший в Атуоне, все время видел Гогена в зале суда. Заседания протекали бурно, между сторонами то и дело вспыхивали перебранки. Несколько раз судья отдавал приказ жандармам вывести художника. "Горе жандармам, если они посмеют до меня дотронуться!" - гремел Гоген, потрясая своей палкой.

---

[353] Так, по крайней мере, утверждал Гоген.

Он выходил, но возвращался снова и возобновлял свои нападки. В особенности доставалось от него жандарму из Ханаиапа. Этот жандарм, преданный миссии, попытался запретить туземцам-протестантам петь песни по их собственному выбору. Дело кончилось тем, что он составил против них протоколы. "По какому праву этот жандарм вздумал дискредитировать чью-то веру и почтенного, всеми уважаемого пастора?" - вопрошал Гоген. Судья был вынужден оправдать туземцев.

Этот же самый жандарм с помощью местного вождя подстроил ловушку туземцам Ханаиапа. Через его посредство он подбил их устроить оргию, напиться кокосового сока, а потом составил протокол.

Судья разрешил Гогену выступить в суде по этому делу, но за недостатком улик Гогену не удалось добиться решения в пользу своих подзащитных. Однако при выходе из зала суда Гоген в присутствии Рейнера и Варни уличил вождя в даче ложных показаний. Гоген отправился в жандармерию, и там у него произошла такая жестокая стычка с сержантом Клавери, что по возвращении домой у него началось кровохарканье - пришлось лечь в постель. Это не помешало ему написать судье подробное письмо, в котором, сообщив о признании местного вождя, он с иронией описывал свой разговор с сержантом:

"Г. сержант заявил довольно сердитым тоном и с угрожающими жестами, которые нагнали на меня страху, что когда, мол, он выйдет в отставку и станет штатским, он мне еще покажет.

А так как все знают, что я человек робкий да вдобавок я болен, подобные сцены могут причинить мне вред. Так что, буду Вам премного обязан, господин судья, если Вы будете считать меня, как человека трусоватого, всегда покорным властям".

Пока Гоген, харкая кровью, продолжал выступать в суде, ему сообщили, что в марте на Маркизы явится колониальная инспекция. Он тотчас составил для этой комиссии длинный доклад о поведении островных жандармов, которые пользуются слишком большой и "бесконтрольной" властью и действуют по произволу. Они терроризируют туземцев ради того, чтобы добиться от них каких-нибудь услуг или выманить у них съестное и даже редкие старинные скульптуры, которые еще можно найти у маркизцев. А тех, кто оказывает сопротивление, они душат штрафами. Треть эти штрафов еще до недавнего времени они взимали в свою пользу. "Право на эту третью часть, - писал Гоген, - было недавно упразднено, но в отместку жандармы стали чаще составлять протоколы, несомненно, чтобы доказать, что они всегда исполняли и продолжают исполнять то, что они именуют своим долгом". Короче, эти "цивилизаторы" преуспели в одном - внушили туземцам ненависть к европейцам. "Чего же мы, собственно, добиваемся? Чтобы правосудие было правосудием не на словах, а на деле"[354].

Гоген показал этот обвинительный документ пастору Вернье, которого уважал за внутреннее достоинство и либеральные взгляды. Вернье осторожно посоветовал ему: "Подождите". Но Гоген ждать не стал. И как он уже поступил прежде с письмом к губернатору, он отправил копию своего текста в Париж, на сей раз Шарлю Морису. "Прошу тебя со всем присущим тебе талантом поднять побольше шума в прессе... В твоих руках, благородное дело, поторопись же, поторопись".

Попытки Гогена увидеться с главой инспекционной комиссии, Андре Салем, успехом не увенчались - Саля настроили против художника. В своем докладе Министерству по делам колоний Саль даже не упомянул о том, что так волновало Гогена, зато упомянул о художнике и выразил сожаление, что он причинил столько вреда школам миссии, которым, с

[354] По документам, собранным доктором Марселем Потье, которые Жан Луаз цитирует в "Газетт де боз-ар" за январь - апрель 1956 года, на 1 августа 1903 года среди сумм, предназначенных "ко взиманию" в Атуоне, было названо 2380 франков торгово-промышленного налога и 20075,74 франка штрафов. "Все это должно быть истребовано, - гласят официальные инструкции, - а неподчинившиеся должны быть незамедлительно подвергнуты преследованию. Специальный уполномоченный (сержант Клавери) имеет, таким образом, возможность пополнить свой сейф...".

другой стороны, с сожалением отмечал Саль, урезали субсидии.

Поскольку представители администрации его избегали, Гоген попытался еще раз воззвать к Парижу. Инспектор Саль прибыл на Маркизы на канонерке "Усердная". Один из офицеров ее команды был сыном депутата Дени Кошена, большого ценителя искусства. Художник принял офицера в Доме наслаждений и вручил ему письмо к отцу. Гоген надеялся, что его настойчивость заставит прислушаться к его голосу. Между тем здоровье Гогена становилось все хуже, но подобно Флоре Тристан, которая, и больная, продолжала выступать перед рабочими, Гоген не переставал защищать туземцев. Если он одержит победу, "многие несправедливости будут отменены, а ради этого стоит пострадать", твердил он с той же страстной убежденностью, что и агитаторша 1844 года.

"Поторопись же, поторопись", - писал Гоген Морису, добавляя: "Меня вот-вот выдворят отсюда". Гоген ошибался только отчасти. Губернатор Пети, пересылая донесение Саля министру, сделал на нем пометку: "Я высказал инспектору все, что думаю о мошенниках, которые своим дурным примером сеют смуту на наших самых отдаленных архипелагах. Их французское подданство мешает мне применить к ним право выдворения, о чем я ежедневно сожалею".

Во время ссоры с Гогеном Клавери в ярости извлек откуда-то письмо художника к Пикено по поводу американских китобоев: "Я заставлю вас ответить за это письмо", - закричал он. Гоген написал Пикено, выражая удивление, каким образом его жалоба на Гишене попала к Клавери. В своем ответе от 17 марта управитель объяснил Гогену, что его жалоба шла обычным бюрократическим путем - от Гишене к Клавери, от Клавери к нему, Пикено, но что он удивлен, как это Клавери решился угрожать художнику преследованием "на основании письма, которое случайно попало к нему в руки".

Пикено удивился бы еще больше, знай то, что затеял Клавери. Не поставив в известность Пикено, сержант переправил в Папеэте лейтенанту жандармерии копию жалобы Гогена, ни словом не упомянув, что художник взял ее назад и она не имела последствий, а, наоборот, заявив, что расследование, произведенное управителем, "доказало ее облыжность". Таким образом жалоба превращалась в диффамацию. Клавери сопроводил свое послание всевозможными материалами, чтобы представить Гогена в самом невыгодном свете - в частности, рапортом, составленным Шарпийе в августе минувшего года. По наущению Клавери Гишене потребовал возбуждения дела. Лейтенант жандармерии, убежденный, что Гоген нанес оскорбление "достоинству корпорации", передал материалы губернатору, чтобы привлечь Гогена к суду. Он без труда добился на это разрешения. Дело повели с необычайной скоропалительностью.

В пятницу 27 марта жандарм, исполнявший обязанности судебного исполнителя, вручил Гогену повестку в суд - Гоген должен был явиться туда через четыре дня, во вторник 31 марта, в половине девятого утра, чтобы "предстать перед мировым судьей с расширенными полномочиями, заседающим в Атуоне".

Художник, не ожидавший ничего подобного, не успел ни попросить Пикено выступить свидетелем, ни посоветоваться с адвокатом в Папеэте. Он сразу понял, что его хотят засудить. Во вторник, во время заседания суда, законные формы были едва-едва соблюдены. Судья, вопреки новому указу, назначил общественного обвинителя и, точно в издевку, поручил эту роль Клавери. Художник не снизошел до того, чтобы явиться в суд. Но безжалостный приговор был вынесен: Гогена присудили к трем месяцам тюремного заключения и пятистам франков штрафа.

Гоген пришел в ярость[355]. Он подаст апелляцию на Таити, и тогда его оправдают и все убедятся в скандальных злоупотреблениях, которые он разоблачил и жертвой которых

---

355 Этот процесс и приговор с тех пор много раз подвергались осуждению. Приведу лишь мнение Луи-Жозефа Бужа, который был одним из губернаторов французских поселений в Океании после Эдуарда Пети. "Нарушения закона, имевшие место в 1903 году в целях осуждения Гогена в Атуоне на тюремное заключение и штраф, сами по себе достаточны, чтобы его оправдать".

теперь стал. А если его апелляцию не удовлетворят, он подаст кассацию в Париж. Он заранее сообщил об этом Морису, чтобы тот обратился к некоторым парижским адвокатам.

"Я повержен, но еще не побежден, - писал он другу. - Разве побежден индеец, который улыбается под пытками? Право, дикари лучше нас. Ты был неправ, сказав мне однажды, что я ошибаюсь и я не дикарь. Нет, это так и есть: я дикарь. Цивилизованные это чувствуют, потому что в моих произведениях удивляет, озадачивает именно это "невольное дикарство". Вот почему мне и нельзя подражать".

Едва Гоген узнал о вынесенном приговоре, он написал Пикено, прося его как можно скорее сообщить правосудию о том, что он взял назад свою жалобу. Свою защиту Гоген поручил мэтру Бро, адвокату, на которого когда-то нападал в "Осах". Впрочем, он решил сам отправиться в Папеэте. Но для всего этого ему нужны были деньги. А он с января ничего не получал от Воллара. Воллар вообще задолжал ему уже много денег. Гоген опасался, что Коммерческое общество не согласится авансировать ему сумму, необходимую для поездки на Таити. Кратко сообщив Монфреду о том, что его осудили "послушный губернатор, бандит-судья и прокурорчик", он объявил, что посылает непосредственно Фейе три картины, чтобы виноторговец срочно выслал ему полторы тысячи франков. "Речь идет о моем спасении". Очевидно, чтобы разжалобить своих корреспондентов, Гоген преувеличил размер своего штрафа, сообщив что его оштрафовали на тысячу франков.

Весь апрель Гоген провел в необычайном возбуждении. "Единственная причина, по которой в самые зловещие минуты я не пустил себе пулю в лоб, это то, что я пытаюсь достойно завершить начатое мною дело", - писал он в феврале Фонтена. Он работал теперь с большими перерывами. За последнее время он написал нечто вроде повторения центральной части полотна "Откуда мы...", где позади идола с поднятыми руками наметил очертания двух женских фигур с картины "Призыв". Набросал вид долины Атуоны с женскими фигурами и белой лошадью - и над этим пейзажем крест католического кладбища[356]. Написал он также свой поразительный автопортрет[357]: крепкая шея, крупная голова еще напоминают былого силача Гогена, но больше всего в этом портрете привлекает внимание изможденное лицо художника, печать смерти, наложенная на него перенесенными испытаниями. Гоген просил у Воллара прислать краски и холсты. Но суждено ли ему было еще писать картины? В начале апреля он обратился за помощью к сведущему в медицине пастору Вернье. Его состояние все ухудшалось. "Я больше не могу ходить", - написал он Вернье. "Все эти заботы убивают меня", - писал он в то же время Монфреду.

Как ни мучила Гогена распространявшаяся все шире экзема, гораздо опаснее была обострившаяся болезнь сердца. Но художник этого не понимал. Он лихорадочно подготавливал материалы для защиты в суде: уличал своих обвинителей и в свою очередь обвинял Клавери в диффамации на том основании, что тот предал гласности рапорт Шарпийе. "Даже осужденный на тюремное заключение, - писал Гоген на клочке бумаги, - я буду высоко держать голову, гордясь именем, которое я приобрел по заслугам, и за пределами суда не позволю никому, даже лицам, занимающим самое высокое положение, говорить что-либо наносящее урон моей чести". Каждый день из Дома наслаждений рассылались письма. Гоген обращался ко всем, в ком видел своих возможных союзников: к капитану одной из шхун Коммерческого общества, к сыну Дени Кошена, к островным торговцам, которых он уговаривал выступить против незаконной конкуренции американских китобоев.

После осуждения Гогена туземцы, за исключением преданного Тиоки, боялись заходить в Дом наслаждений. Власти доказали, что они сильнее художника. Запуганным маркизцам (они еще помнили, "как стреляли из пушек") казалось опасным выказывать Коке

---

356 В настоящее время находится в Музее в Бостоне.

357 В настоящее время - в музее в Базеле.

слишком большую дружбу. Тем не менее, несмотря на собственные неприятности, Гоген продолжал выступать в защиту их интересов. Двадцать девять туземцев на острове были присуждены к крупным штрафам - они должны были уплатить больше трех тысяч франков. Художник "молил", чтобы им оказали "снисхождение", указывая, между прочим, на несоответствие между суммой штрафа и доходами туземцев, которые "в самые лучшие годы" зарабатывают "едва ли четыре тысячи франков".

Это было последнее обращение Гогена к властям - больше он им не досаждал. Энергия его иссякала. Пастор Вернье, приходивший в эти апрельские дни в Дом наслаждений, чаще всего заставал Гогена в постели - тот "лежал и стонал". Однако он тотчас брал себя в руки. Забывая о своих болезнях, он начинал говорить, и пастор слушал, взволнованный тем, что рассказывает этот человек, от которого многое должно было его отталкивать. Гоген говорил о старых друзьях, об Орье и Малларме, и в особенности об искусстве, о своем искусстве. Его творчество пока еще не признано, просто говорил он, но оно гениально. "Я исполнил свой долг".

В пятницу 8 мая утром Гоген два раза подряд терял сознание. Оглушенный, он лежал на кровати, не зная, день сейчас или ночь. Еще не вполне очнувшись, он послал Тиоку за пастором. Когда пастор явился, Гоген пожаловался ему на "боли во всем теле". Пастор осмотрел его и обнаружил внизу позвоночника огромный нарыв.

Пастор вскрыл нарыв - Гогену стало немного лучше. Он пришел в себя, выразил некоторую тревогу по поводу двух своих обмороков, но голова его была ясной, и он даже заговорил с пастором о "Саламбо". Вернье ушел от него успокоенный.

Тиока тоже ушел к себе. Кахуи был занят на кухне. В комнате воцарилось молчание. Гоген был один.

Один, как всю свою жизнь, - один перед лицом смерти.

Один на один с привычными призраками.

...Около одиннадцати Тиока, пришедший узнать о самочувствии больного, окликнул его снизу. Ответа не было. Он поднялся по лестнице. Гоген был мертв. Он скончался скоропостижно от сердечного приступа.

Кахуи бросился за пастором, а Тиока пытался оживить друга, по обычаю маркизцев кусая его в голову. Прибежал Вернье. Но, как он ни торопился, его опередили: войдя в комнату, Вернье с изумлением увидел, что епископ Мартен и другие члены католической миссии уже расположились у изголовья художника, который лежал "еще теплый, свесив одну ногу с кровати". Пастор попытался сделать Гогену искусственное дыхание, но это помогло не больше, чем укусы Тиоки[358].

Не исключено, однако, что Гоген несколько ускорил свой конец, впрыснув себе 8 мая слишком большую дозу морфия. За некоторое время до этого он перестал делать себе уколы. А у его изголовья была обнаружена "пустая ампула". Отсюда возникла другая версия, судя по всему, не менее фантастическая,- о самоубийстве художника.

Епископ Мартен объявил пастору, что собираемся похоронить Гогена на католическом кладбище. Вернье был возмущен. Всем известно, заявил он, как относился Гоген "к этим господам". По мнению Вернье, художника следовало хоронить без церковного обряда. Но он был вынужден уступить. Гоген был крещен - стало быть, считался католиком. Тем не менее

---

[358] После смерти Гогена по Маркизам поползли слухи, что он, возможно, был отравлен. Этот вопрос несколько раз поднимался и позже. Но, по-видимому, на него приходится ответить отрицательно. Версия об убийстве противоречит важнейшим свидетельствам, в частности пастора Вернье и Виктора Сегалана, молодого врача с "Дюранс", страстного почитателя Гогена. Сегалан писал Монфреду 28 марта 1904 года: "Я совершенно официально могу опровергнуть слухи, которые приписывают смерть Гогена прямым козням его врагов. Хотя были люди, откровенно ненавидевшие его за его воинственность, я знаю других - и таких много, - которые поддерживали его, помогали ему, защищали до конца и охраняли его и не допустили бы подобных действий. Некоторые штрихи, которыми во Франции расцвечивают смерть бедного изгнанника, чистейший мираж экзотики... Я объясняю его смерть разрывом аневризма, и это мнение разделяет мой коллега - врач с другого тихоокеанского военного корабля, который видел его за три месяца до рокового исхода".

пастор решил присутствовать при выносе тела, который епископ назначил на другой день, на два часа пополудни.

Вернье ушел. Ушел и Мартен. Тиока умастил тело Гогена, украсил его цветами. "Коке умер, не стало у нас защитника, горе нам!", - причитал он. Подручные епископа охраняли покойника в Доме наслаждений...

В мастерской оставалось немного полотен - не больше десяти. На мольберте стояла картина на сюжет, неожиданный для Тихоокеанского архипелага - "Бретонская деревня под снегом"[359]. Зато в ларях из камфарного дерева все еще хранились рисунки, о которых Гоген тревожился во время циклона.

Эти рисунки - "скверные картинки" - никому не суждено было больше увидеть. Они исчезли, как и многие скульптуры и пресловутые японские эстампы.

У останков великого "дикаря" сидели подручные епископа. Наутро под предлогом, что тело начало разлагаться, они ускорили похороны. Когда пастор Вернье в два часа явился в Дом наслаждений - он был пуст. В церкви Атуоны уже началось отпевание.

На могиле Гогена Тиока установил базальтовую глыбу, на которой выгравировал имя своего друга и год его смерти[360].

Три недели спустя была составлена опись имущества художника, которое было продано с молотка. Первая распродажа состоялась в Атуоне 20 июля. Продавалась только домашняя утварь - в роли оценщика выступал Клавери. В августе сторожевое судно "Дюранс" перевезло на Таити мебель, картины, предметы искусства, книги, принадлежавшие Гогену. "Эксперт" из Папеэте в последний раз разобрал рисунки и акварели художника и "изрядную часть", по его собственным словам, "отправил на помойку, где им и место".

Вторая распродажа состоялась 2 сентября. Многие офицеры с "Дюранс" и канонерки "Усердная" оспаривали па аукционе реликвии, оставшиеся после художника. Наиболее дорого (сто пятьдесят франков) была оценена картина "Материнство", которую лейтенант Кошен перехватил у губернатора Пети. Судовой врач с "Дюранс", Виктор Сегалан, купил за шестнадцать франков четыре скульптуры, украшавшие Дом наслаждений, за два франка палитру художника и за восемьдесят пять франков семь картин, среди них автопортрет "У Голгофы" и "Бретонскую деревню под снегом", которую оценщик демонстрировал вверх ногами, дав ей неожиданное название "Ниагарский водопад".

От Гогена ничего не осталось. Приобретенный Варни Дом наслаждений стоял необитаемый, на запоре, пока вскоре его не снесли. Ванну на открытом воздухе разрушили, колодец засыпали.

От Гогена не осталось ничего, кроме воспоминания. Неотвязного, как некоторые мечты...

МАНАО ТУПАПАУ!
ПОСМЕРТНАЯ СУДЬБА

После смерти Гогена по Таити и Маркизским островам поползли беспокойные слухи.

Люди выражали удивление "поспешностью", с какой разбазарили имущество художника, говорили о "розданных рисунках", об "исчезнувших рукописях"[361]. Как только Монфред узнал об этом, он немедленно обратился в Министерство колоний, и оно в начале 1904 года приказало провести расследование и вернуть во Францию рукописи и

---

359 В настоящее время находится в Лувре.

360 В 1957 году эта глыба исчезла с могилы. Что с ней случилось, неизвестно.

361 Письма королевы Маротаару Сальмон жене бывшего губернатора, мадам Папино, от 15 декабря 1903 года и от 1 апреля 1904 года.

произведения, которые не были проданы.

Среди рукописей, о судьбе которых тревожился Монфред, была "Ноа Ноа".

"Я хочу успокоить Вас, - писал ему в марте 1904 года Виктор Сегалан, ...г-н Пети намеревался перелистать эту книгу, которую ему доверил сборщик налогов. Но потом губернатор тяжело заболел и поспешно уехал. Рукопись по недосмотру оказалась среди его багажа, и губернатор, которому это стало известно и который в настоящее время почти что при смерти, заявил, что по приезде во Францию немедля вернет рукопись по принадлежности".

Но Эдуар Пети так и не вернулся в Европу. Когда Сегалан сообщал эти сведения Монфреду, губернатор уже умер в Австралии. Его семья передала "Ноа Ноа" в Министерство колоний, куда несколько позже из Папеэте доставили "пачку писем и бумаг из наследства Гогена".

А тем временем Пикено успел потребовать у губернатора Пети, чтобы сержант Клавери был отозван из Атуоны - "за плохое исполнение административных обязанностей, - писал Пикено, - и за то, что без моего ведома поддержал судебное преследование против господина Гогена". Управитель нарядил следствие, из которого, "со всей очевидностью, выяснилось, что ряд фактов, на которые указывал покойный, подтвердился".

Пети удовлетворил просьбу своего подчиненного и сместил Клавери. Вскоре Пикено сложил с себя временные обязанности управителя. А на место Пети назначили другого губернатора. И в апреле 1904 года, к удивлению и негодованию Пикено, сержант Клавери вновь водворился в Атуоне. И тут, казалось, дух Гогена ожил в бывшем управителе Маркизских островов.

"Я нахожу, что меня незаслуженно дезавуировали, и почтительно, но решительно против этого возражаю, - тотчас написал он новому губернатору. Имею честь, господин губернатор, просить Вас довести мой протест до сведения господина министра колоний, к высшему правосудию которого я и взываю. Если, однако, глава нашего департамента посчитает, что я неправ, я буду признателен ему, если он позволит мне воспользоваться моими правами на отставку и пенсию. Свободный от всяких административных обязательств, я смогу тогда, господин губернатор, опираясь на доказательства, объявить во всеуслышание обо всех притеснениях и злоупотреблениях, в которых повинны жандармы наших поселений, в частности, на Маркизах".

Губернатор немедля ответил Пикено:

"Имею честь сообщить Вам, что должен призвать Вас не выходить за рамки тех обязанностей, которые возложены на Вас в местной администрации. Полгода назад освобожденный по служебной надобности от должности управителя Маркизского архипелага, которую вы временно исполняли, Вы в настоящее время не должны иметь никакого касательства к делам этого архипелага и в особенности Вам надлежит воздерживаться от замечаний по поводу решений, которые я нахожу нужным принимать в интересах службы. Прошу Вас в дальнейшем соблюдать большую осмотрительность. С другой стороны, считаю своим долгом уведомить Вас, что с ближайшей же почтой буду просить о Вашем выходе в отставку, как только Вы будете иметь на нее право".

Три недели спустя Клавери дали чин унтер-офицера.

Маркизским жандармам не суждено было забыть Гогена. Но отношение их к нему с годами полностью переменилось. Выйдя в отставку и поселившись в департаменте Верхняя Сона, Шарпийе с умилением вспоминал "мэтра Поля Гогена", "выдающегося человека", "несчастного великого художника", с которым он имел счастье встречаться на Маркизах. "Это был человек, каких я в жизни не видывал, - рассказывал он. - Прозорливец".

Клавери чтил память художника еще более пылко. Выйдя в отставку, он держал табачную лавчонку в Монгайаре, в Верхних Пиренеях, и благоговейно показывал покупателям маленькую витрину, где хранились деревянные скульптуры того, кого он

когда-то преследовал и кто теперь сделался его кумиром"[362].

Однако на островных миссионеров эта запоздалая благодать не снизошла. Один из них, когда-то знавший художника, писал в 1934 году преподобному отцу Анри де Лаборду: "Какую бы ценность ни представляли его произведения, я хотел бы, чтобы имя этого жалкого человека было предано забвению. Как видите, я не сторонник того, чтобы делать различие между автором и его произведениями. Должно быть, я слишком долго жил поблизости от этого господина"[363].

Жестокие слова. Впрочем, не более жестокие, чем официальный отчет о деятельности миссионеров на Маркизах, который всего лишь год спустя после смерти художника был послан во Францию. Администрация островов сменилась, и теперь точка зрения властей совпадала с точкой зрения Гогена.

"Конгрегация Пикпюс, - говорилось в одном из этих донесений, занималась единственно тем, чтобы утвердить на Маркизах свою власть, приобретая земные богатства с помощью религиозной пропаганды под предлогом воспитания, утверждения морали и насаждения французского влияния... Присутствие конгрегации на Маркизских островах - помеха материальному, интеллектуальному и моральному прогрессу архипелага".

Один из управителей архипелага отмечал также: "Туземцы прежде всего привыкли бояться миссионеров и жандармов, причем страх перед одними подкрепляется страхом перед другими". Гоген несомненно безоговорочно подписался бы под этими донесениями"[364].

Бывают, однако, странные причуды судьбы. Несколько лет назад среди самых прилежных учениц в школе сестер в Атуоне числились правнучки Гогена и Мари-Роз Ваэохо.

И в Папеэте именем художника названа не только одна из улиц, но и один из коллежей.

*

Возвратимся в Европу. Только 23 августа 1903 года из письма Пикено Монфред узнал о кончине Гогена. Сначала он сообщил об этом Воллару и Фейе, потом написал Метте.

Воллар поспешил ответить Монфреду:

"Если случайно у Вас есть произведения Гогена, предназначенные им для продажи, я буду Вам чрезвычайно обязан, если Вы окажете предпочтение мне. И еще одно: я говорил Вам, что по моему договору с Гогеном была установлена плата двести франков за каждую картину. Позднее в одном из моих писем я высказал Гогену готовность платить по двести пятьдесят франков за полотно. Но в письме, еще более позднем, копия которого у меня сохранилась, я сообщил ему, что, принимая во внимание нынешнее состояние дел, я вынужден придерживаться нашей взаимной договоренности о двухстах франках".

Нет никаких сомнений, что Гоген этого письма никогда не получал. В противном случае, можно себе представить, каким яростным посланием обогатилось бы его эпистолярное наследие! Письма Воллара к Гогену были пересланы во Францию вместе с остальными бумагами художника. Того, на которое ссылается Воллар, среди них нет. Да и судя по последним денежным переводам Воллара, его договоренность с Гогеном осталась в силе. "Что касается платы по двести франков за картину, - снова писал Воллар Монфреду 8 октября, - я надеюсь, Вы не думаете, что я объявил это задним числом".

Не будем в это углубляться. Воллару вскоре пришлось платить за картины Гогена куда дороже.

Между Монфредом и Метте завязалась оживленная переписка.

---

[362] Бернар Вилларе.

[363] Письмо, опубликованное в каталоге выставки Гогена в Оранжери де Тюильри в 1949 году.

[364] Архивы Министерства по делам заморских территорий. Тексты цитировались Урсулой-Франс Маркс-Ванденброук в ее диссертации, защищенной в Сорбонне.

"Мой бедный Поль умер в обстоятельствах на редкость печальных, писала датчанка 23 сентября. - Когда я год тому назад в последний раз была в Париже, мой друг Шуффенекер говорил, что Поль болен и несчастлив, но я не предполагала, что конец так близок!"

Метте выслала Монфреду доверенность, чтобы он мог сосредоточить в своих руках наследие "великого художника", "необычайного человека, который был моим мужем". Две публичные распродажи принесли: первая - 1 077,15 франка, вторая - 1 056,95 франка. К моменту своей кончины Гоген должен был Коммерческому обществу 1 389,09 франка. Но вскоре пришли два чека от Воллара, а потом полторы тысячи франков, которые Фейе выслал Гогену, едва только получил отчаянный призыв художника, и на счету Гогена оказалось 1567,15 франка. Монфред обеспечил возвращение семье всех этих денег - общая сумма которых составила 4151,25 франка.

Кроме того, Монфред передал Метте произведения Гогена, которые у него хранились. Он взял на себя продажу некоторых из них- некоторые картины приобрел Фейе, который поспешил пополнить свою коллекцию.

"Мне все равно, - говорил Фейе, - будут ли эти полотна когда-нибудь стоить пятьдесят сантимов или сто тысяч франков. Они хороши, мне этого довольно". Цены на них, однако, не замедлили подняться, и виноградарь на это сетовал. "Ясное дело, если буржуа начнут покупать Гогена, то подорожанию конца не будет!". В коллекции Фейе оказалось двадцать картин Гогена, среди них такие шедевры, как "Желтый Христос", "Две таитянки" и "Те арии вахине".

Несколько лет спустя Монфред, посетивший Фейе, был удивлен, не увидев последней картины на ее обычном месте.

- Ох, понимаете, - сказал Фейе, - я так не хотел ее продавать... Вы же знаете, как я ею дорожил... Но что вы хотите? Пришел такой-то. Он во что бы то ни стало желал ее купить и предложил мне пятнадцать тысяч. Само собой, я отказался. - Пятнадцать тысяч! За "Те арии вахине!.. Да вы что! Я не собираюсь ее продавать... Конечно, если вы предложите из ряда вон выходящую цену, тогда дело другое. - Сколько же? - Ну хотя бы тридцать тысяч. Тридцать тысяч? Вот они. - Ах, дорогой друг, вы знаете, как мне не хотелось ее продавать, но подумайте сами: теперь, выходит, моя коллекция не стоит мне ни гроша"[365].

Зато у Метте не было ни малейшей склонности к коллекционированию. Как пишет Рене Пюи, "Мадам Гоген, как только смогла, "реализовала" все, что досталось ей после мужа".

Весной 1907 года она провела две или три недели во Франции. Она привезла из Дании много полотен, которые у нее приобрел Воллар. Во Франции ей удалось получить от Фонтена рукопись "Прежде и потом", которая впоследствии была приобретена одним немцем.

Виктор Сегалан[366], которому случилось обедать в обществе Метте, вспоминал:

"Поль", - говорила она. - Странно слышать, как эта женщина называет его "Полем". Она признает его величие, но считает его глубоко развращенным. Она, мол, выходила замуж за человека, благородного и честного, а на поверку оказалось, что это порочный и лживый дикарь. И тут, в особенности когда она начинает гадать, какая из женщин, грудями и животами которых увешаны стены у Фейе и Монфреда, заменила и вытеснила ее, она не знает, какими еще словами и гримасами выразить свое высокомерное отвращение. Она негодующе тычет во все стороны салфеткой, бичуя и сокрушая воображаемых ненавистных

---

365 Со слов доктора Рене Пюи.

366 Сегалан начиная с июня 1904 года публиковал в "Меркюр де Франс" статью "Гоген на фоне своей последней обстановки". Позднее он написал работу "Памяти Гогена", которая была опубликована в качестве предисловия к переписке художника с Монфредом. В своей книге "Давным-давно" (1907) он хотел показать маорийцев такими, какими Гоген "видел их и изображал". От него осталась также незаконченная рукопись "Хозяин Наслаждений", герой которой - Гоген Маркизских островов.

ей вахин. Но при этом она уверяет, что не ревнует: "Муж всегда говорил, что предпочитает меня всем остальным". Сомнительно, чтобы она понимала искусство Гогена. А теперь она ненавидит в нем мужчину... Она готова отвергнуть даже его имя..."[367]

В 1911 году, когда "все вопросы, связанные с наследством, были улажены"[368], Метте перестала писать Монфреду. В последнем письме от 7 декабря 1910 года она поднимала вопрос об издании "Ноа Ноа", которое собирался осуществить один немецкий издатель: "Принимая во внимание значение моего мужа в искусстве, я полагаю, что запросить две тысячи франков это совсем немного".

Монфред хотел, чтобы рукопись "Ноа Ноа" осталась во Франции. По словам Жана Луаза, ему пришлось "выдержать решительную борьбу - писать письма, протестовать, доказывать, чтобы ее сохранить". На "категорическое письмо"[369] одного из сыновей Гогена он ответил 22 декабря 1913 года:

"Ни в коей мере не желая вмешиваться в семейные разногласия Гогена и Вашей матери, я счел своим долгом возвратить мадам Гоген все, что находилось у меня из работ Вашего отца, кроме тех, что он подарил мне лично, или тех, что я купил у него на свои собственные деньги... Я воспользовался своим официальным правом в отношении только одного произведения - рукописи "Ноа Ноа"... Если бы я строго придерживался того, что он писал мне в письмах, я избавил бы себя от труда вступать в какие бы то ни было отношения с мадам Гоген и ее сыновьями. Но я не только не забыл, что у Гогена осталась семья, но и приложил все старания, чтобы Вы могли воспользоваться и тем, что составляет его материальное наследство, и славой его имени".

Дело тянулось еще долго после смерти Метте (27 сентября 1920 года). Старший из сыновей Гогена, Эмиль, работавший инженером в Соединенных Штатах, принял сторону Монфреда:

"Я считаю, что было бы недостойно Вашей дружбы к Полю Гогену, благородно писал он ему 24 ноября 1921 года, - если бы Вы отдали "Ноа Ноа" именно тем людям, кому он не хотел ее оставлять... После его смерти я не раз на вопросы посторонних людей отвечал, что я не сын великого Гогена. Я никогда не пытался извлечь деньги, никогда ничего не требовал на том основании, что я сын Гогена, и вообще считал всегда, что это, скорее, проклятье, потому что в сравнении с ним только очевидней становится моя собственная заурядность".

В 1927 году история с "Ноа Ноа" закончилась - благодаря стараниям Монфреда рукопись была приобретена Лувром, а за год до этого было осуществлено ее первое факсимильное издание.

Многие потомки Гогена посвятили себя искусству - сын Жан, скульптор, умерший в 1961 году, Пола, умерший тоже в 1961 году, и его сын, гравер и литограф Поль-Рене Гоген.

Художественное призвание проявилось и у дочери Гогена и Жюльетты Юэ Жермены (художница Жермена Шардон).

Жюльетта Юэ была глубоко потрясена смертью художника. В ней что-то надломилось. Она уничтожила все, что у нее хранилось на память о Гогене, печально бродила без цели, начала пить. Рассудок ее помрачился. Превратившись в тень, ищущую другую тень, она угасла в январе 1935 года.

Монфред до конца своих дней продолжал восславлять гений Гогена. В 1926 году немецкий коллекционер уговаривал его продать "Белую лошадь" за 350 тысяч франков. "Нет, - ответил Монфред. - Место "Белой лошади" в Лувре". И в самом деле, он предложил ее музею за 180 тысяч франков. 7 февраля 1927 года Комитет хранителей музея принял

---

367 Письмо Сегалана жене от 8 мая 1907 года, цитированное Жаном Луазом.

368 Рене Пюи.

369 Жан Луаз.

предложение Монфреда, хотя и не без сопротивления со стороны некоторых его членов. "Я никогда не подам свой голос за то, чтобы на подобную мерзость истратили хотя бы грош", - заявил Саломон Рейнак[370]. Решение было принято восемью голосами против четырех при одном воздержавшемся.

Дочь Монфреда, Аньес Юк де Монфред, сводная сестра мореплавателя Анри де Монфреда, в настоящее время сохраняет в имении своего покойного отца (он умер, упав с дерева, 26 ноября 1929 года) произведения искусства, письма и сотни документов, связанных с Гогеном, которые достались ей в наследство. Архив Монфреда содержит неисчислимые сокровища, в работе над которыми я однажды летом провел много отрадных часов, укрывшись в прохладной тени комнат. Меня окружали произведения Гогена, многие из его таитянских деревянных скульптур, трогательная "Техура", "Идол с жемчужиной", "Идол с раковиной", "Хина"... Автопортрет "Другу Даниэлю" висел на стене рядом с "Желтыми мельницами" и пастелью - "Маленькая свинопаска". Движимая теми же великодушными побуждениями, что и ее отец, Аньес Юк де Монфред в 1951 году подарила все эти произведения Лувру с сохранением права пользования.

В 1925 году Монфред написал картину "Прославление Гогена". Вскоре после смерти художника, в 1903-1905 годах пастель "Прославление Гогена" была написана Одилоном Редоном, который тогда же по памяти написал портрет покойного[371].

Остальные друзья также способствовали посмертной славе Гогена. Шарль Морис, продолжавший свою рассеянную богемную жизнь, не раз выступал в защиту Гогена. Незадолго до смерти (он умер в Ментоне в марте 1919 года) он написал о нем пылкую статью, которая появилась в 1920 году. Славе Гогена способствовал и Амбруаз Воллар. Правда, он был в этом заинтересован как коммерсант. Тем не менее в 1929 году он совершил поступок, который нельзя не отметить. Робер Рей хотел показать своим ученикам в Школе Лувра "Прекрасную Анжелу" и попросил картину у Воллара, который немедленно согласился ее одолжить. Окончив курс, Рей намеревался вернуть картину владельцу, но Воллар написал письмо, в котором говорилось: "Поскольку "Прекрасная Анжела" проникла в Лувр, если хранители не возражают, чтобы она нашла там свои окончательный приют, я ничего лучшего не желаю, как оставить ее там"[372].

Одним из наиболее трогательных в своей верности Гогену оказался Пако Дуррио. Несмотря на нищету, испанец долго отказывался продать произведения кисти своего знаменитого друга. "Денег у меня нет. Но на что нужны деньги? Чтобы покупать прекрасные вещи. А у меня и есть прекрасные вещи", - говорил он. После того, как он все-таки оказался вынужден расстаться с картинами Гогена, жизнь как бы потеряла для него смысл, и вскоре (в 1940 году) он умер.

Шуффенекеру тоже пришлось продать картины Гогена. Развод и другие разочарования омрачили его жизнь. В лицее Мишле, в Ванве, он был мишенью насмешек для своих учеников, которые прозвали его "Буддой". Безответный, грустный, он проявлял по отношению к ним неистощимое терпение. Но однажды он вышел из себя. Один из его учеников, будущий чиновник Департамента изящных искусств, Робер Рей, простодушно сказал ему: "А здорово, наверно, быть преподавателем в таком большом лицее, правда, мсье Шуффенекер, здорово ведь?.." Шуфф вдруг побледнел как полотно. "Ах ты, глупый сопляк, дрянной маленький буржуа, - пробормотал он. - Так ты полагаешь, что для того, кто надеялся стать Сезанном, Ван Гогом, Гогеном, это великое счастье быть вынужденным исправлять ваше дерьмо!"

---

370 Рейнак, Саломон (1858-1932) - французский археолог и филолог.

371 В настоящее время находится в Лувре.

372 Рассказано Робером Рейем.

"И не в силах больше сдерживаться, - рассказывает Рей, - он разорвал пополам мой рисунок... Мне было неловко и стыдно. Я начал смутно что-то угадывать. Имена Сезанна, Ван Гога, Гогена ничего мне не говорили. (Как, впрочем, и большинству французов - не забудьте, это был 1900 год!) Почему Будда не назвал Бонна, Жан-Поля Лорана или Каролюса-Дюрана? Эти имена не сходили с языка у моей сестры после каждого очередного Салона. По крайней мере, это были люди известные. Но не их славе завидовал Шуффенекер, а художникам, о которых никто не упоминал. И тем не менее я чувствовал, что, ссылаясь на Сезанна и Ван Гога, Шуффенекер проявлял больше честолюбия, чем если бы он назвал Бонна или Каролюса-Дюрана. Когда позже я узнал и увидел, я вспомнил. И чувство стыда за то, что я в тот день сказал папаше Шуффенекеру, так никогда и не изгладилось у меня до конца".

Конечно, Эмиль Бернар никогда в жизни не произнес бы этих слов Шуффа. Он стойко ненавидел Гогена и упорствовал в своих обвинениях: понт-авенский мэтр его "обокрал". По существу, эта давняя ссора не должна была бы уже волновать Бернара, ведь он давно отказался от исканий своей молодости. Весной 1902 года выставка его египетских произведений была организована представителем сугубо официального искусства, хранителем Люксембургского музея Леонсом Бенедитом. А на следующий год пребывание в Венеции еще ускорило эволюцию Бернара в сторону своего рода неоклассицизма, который он пытался противопоставить искусству выдающихся мастеров, с кем ему выпало счастье встречаться. Бернар, по его утверждению, намеревался "приостановить упадок" французской живописи. Для защиты этого неоклассицизма он основал в 1905 году журнал "Эстетическое обновление", в подзаголовке которого значилось "Журнал самого лучшего искусства", а в эпиграфе: "Нет ни древнего, ни современного искусства, есть просто искусство, иначе говоря, проявление вечного Идеала". Таким образом, Бернар полностью отрекся от того, чем когда-то восхищался. Он ополчился против Сезанна и его "гибельного искусства". Ван Гог стал в его глазах "очень несовершенным художником... неспособным создать ничего выдающегося". А говоря о Гогене, он разоблачал его "невежественное ребячество".

Джон Ревалд[373], несомненно, прав, называя "трагической" судьбу этого художника, который с упорством работал до самой своей смерти, в возрасте семидесяти трех лет, в апреле 1941 года, но в наследии которого интерес представляют лишь работы, написанные им в юные годы, "грехи молодости", "рожденные - как говорил сам Бернар - моей пылкой натурой, наделенной слишком живым воображением"[374].

С лета 1960 года именами Гогена и Бернара названы две улицы в Понт-Авене. Еще в 1939 году на доме, где когда-то находился пансион Мари-Жанны Глоанек, установлена мемориальная доска. Позже в Ле Пульдю установлен памятник Гогену и его друзьям.

Можно держать пари, что нет такого уголка в мире, где память о художниках хранили бы так живо, как в этом уголке Бретани. Здесь к живописи питают настоящую страсть. В одном из кафе я слышал, как трое крестьян за столиком спорили о сравнительных достоинствах работ Анри Море и Шамайара. Картины здесь висят повсюду. В некоторых домах стены увешаны ими от пола до потолка. Гоген ценится, конечно, превыше всего. И многие усердно перерывают свои чердаки и подвалы в надежде обнаружить какую-нибудь затерявшуюся картину Гогена, за которую на мировом рынке можно получить миллион новых франков звонкой монетой. Но, увы, где те картины, которые Гоген оставил в Понт-Авене?

Художник подарил одной из служанок Мари-Жанны Глоанек картину, на которой изобразил сборщицу лаванды в красном платье. Как! Красное платье нарядное платье на

---

373 Ревалд, Джон - американский историк искусства, исследователь импрессионизма и постимпрессионизма.

374 Письмо Эмиля Бернара, цитируемое Полем Шалю в "Газетт де боз-ар" от 1 ноября 1912 года.

сборщице лаванды! И картина была брошена в воды Авена. Многие другие картины, подаренные Гогеном, постигла та же участь. Некоторыми его холстами пользовались как циновками. Другие пошли на починку обуви. Сафьян стоил так дорого! Ах, если бы знать!

*

Хулители Гогена не сдавались еще долго. 18 октября 1919 года Андре Сальмон[375] писал в статье, опубликованной в "Эроп Нувель": "Что до славы Гогена, то уже давно пришла пора ее разрушить... Находится все меньше и меньше "просвещенных" любителей, которые имели бы наивную смелость ставить на одну доску Сезанна и Гогена".

Рискованные слова! Интерес к Гогену увеличивался год от года. Ему посвящали статьи и исследования. Музеи и крупные собрания приобретали его картины, и "рыночная цена" на него все росла.

Цена эта особенно резко подскочила в декабре 1942 года, когда картина Гогена "Две фигуры на скале", написанная в 1889 году, была продана за 1100 тысяч франков, а в 1956 году "Крестьянина с собакой" оценили в 18 500 тысяч франков.

До этого времени ни одной картине, проданной с аукциона, не удалось достичь рубежа в сто миллионов франков. Но 14 июня 1957 года "Натюрморт с яблоками" Гогена перешел этот рубеж - греческий судовладелец Василий Гуландрис приобрел его за 104 миллиона франков.

Впоследствии, 25 ноября 1959 года, таитянская картина "Ты ждешь письма?" была оценена в Лондоне в 130 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около ста восьмидесяти миллионов франков.

Таким образом, Гоген наряду с Сезанном и Ван Гогом стал одним из трех наиболее "высоко котирующихся" художников мира. Любой его набросок рвут друг у друга из рук. В июне 1957 года в Отеле Друо за 600 тысяч франков было продано одно из его писем. Что же было написано в этом письме? А вот что: "Теперь я повержен, побежден нищетой..."

КОММЕНТАРИЙ

1

Делакруа, Эжен (1796-1863) - французский художник, один из главных представителей романтизма. Автор множества произведений на исторические, литературные, мифологические сюжеты. Живопись Делакруа, яркая по колориту, сочетаниям дополнительных цветов, исполненная энергичными, смелыми мазками, оказала огромное влияние на развитие французских художников прошлого века.

2

Коро, Камиль (1796-1875) - французский художник. Так называемые "пейзажи настроения" Коро были одним из источников живописи импрессионистов, его учеником считал себя Камиль Писсарро, с которым Гоген познакомился в семье Ароза.

3

Домье, Оноре (1808-1879) - французский график и живописец, выдающийся мастер политической карикатуры.

4

[375] Сальмон, Андре (1881-1969) - французский писатель и критик, автор книг об искусстве.

Йонкинд, Иоганн Бартольд (1818-1891) - голландский художник-пейзажист, большую часть жизни прожил во Франции. Живопись Йонкинда оказала большое влияние на сложение импрессионизма.

5

Курбе, Гюстав (1819-1977) - французский художник, один из основоположников реализма в живописи.

6

Сведенборг, Эманюэль (1688-1772) - шведский философ-мистик.

7

По, Эдгар (1809-1849) - американский писатель-романтик, поэт, критик, очень популярный во Франции во второй половине XIX века.

8

Барбе д'Орвельи, Жюль (1808-1889) - французский писатель и литературный критик.

9

Энгр, Жан-Доминик (1780-1867) - французский художник, глава неоклассицизма во французской живописи XIX века. Его картины изучали не только Гоген, но и такие художники, как Дега, Ренуар, Пюви де Шаванн.

10

Веласкес, Диего (1599-1660) - великий испанский художник-реалист.

11

Таулов, Фритс (1847-1906) - норвежский живописец.

12

Шуффенекер, Эмиль (1851-1934) - французский художник, получил известность в основном благодаря дружбе с Гогеном, который писал о нем в 1893 году следующее: "В живописи темперамент у него (Шуффенекера) был ниже нуля. Сперва он был поклонником Бодри и иже с ним, потом из духа противоречия или из коммерческих соображений (Салон не пожелал открыть для него свои двери) переменил курс. Тогда он... пожелал идти за мной и опередить меня..." (Цит. по кн.: Поль Гоген. Письма. Ноа Ноа. Из книги "Прежде и потом". Л., 1972, с. 67).

13

Бодри, Поль (1828-1867) - французский художник, мастер парадных портретов.

14

Каролюс-Дюран, Эмиль (1838-1917) - французский художник, мастер парадных портретов.

15

Бонна, Леон (1833-1922) - французский художник, отличался склонностью к натуралистической точности в изображении модели.

16

Мане, Эдуард (1832-1883) - французский художник, в 1876 году жюри Салона отвергло две его картины - "Белье" и "Художник" (портрет Марселена Дебутена). Тогда Мане выставил их для публичного обозрения в своей мастерской. Новаторское творчество Мане еще с начала 1860-х годов вызывало бурное обсуждение. Мане первым обратился в живописи к тем проблемам, которые затем развивались в творчестве импрессионистов, он был их другом, но никогда не участвовал в их выставках.

17

Писсарро, Камиль (1830-1903) - французский художник-импрессионист. Постоянный участник всех выставок импрессионистов. Благодаря ему Гоген также стал их участником.

18

Картина Мане "Олимпия" (1863, Лувр), изображавшая лежащую обнаженную куртизанку, была выставлена в Салоне 1865 года и вызвала бурное негодование публики. В картине содержался протест против традиционной идеализации наготы, скрытая насмешка над Салоном и академизмом. "Олимпия" стала знаменем новой французской живописи.

19

Клод Моне, (1840-1926), Эдгар Дега (1834-1917), Огюст Ренуар (18411919), Альфред Сислей (1839-1899), Поль Сезанн (1839-1906), Берта Моризо (1841-1895) - французские художники. Все они, за исключением Сезанна, были активными участниками выставок импрессионистов.

20

Мельбюэ, Фритс (1826-1896) - датский маринист и пейзажист.

21

Гийомен, Арман (1841-1927) - французский художник, участник выставок импрессионистов, друг Сезанна и Писсарро.

22

Дюре, Теодор (1838-1927) - французский художественный критик и журналист, коллекционер, друг импрессионистов.

23

Кассат, Мэри (1845-1926) - американская художница французского происхождения. Долго жила во Франции, участвовала в выставках импрессионистов.

24

Леви-Браун, Джон-Льюис (1829-1890) - французский художник, писал жанровые, батальные и охотничьи сцены.

25

Гюисманс, Жорис-Карл (1848-1907) - французский писатель и художественный критик, принадлежал к натуралистической школе, затем перешел в лагерь символистов.

26

Золя, Эмиль (1840-1902) - французский писатель, глава натуралистической школы, выступал как художественный критик, пропагандировал произведения Э. Мане.

27

Малларме, Стефан (1842-1898) - французский поэт, дружил с художниками.

28

Пюви де Шаванн, Пьер (1824-1898) - французский художник, в живописи стремился возродить традицию классического искусства, своими панно и стенными росписями оказал влияние на сложение живописи стиля модерн.

29

Кайботт, Гюстав (1848-1894) - французский художник и коллекционер. Кайботт был состоятельным человеком и потому имел возможность помогать своим товарищам, покупая их картины и активно занимаясь устройством выставок, в которых принимал участие с 1876 года.

30

Раффаэлли, Жан-Франсуа (1850-1924) - художник и гравер. Эдгару Дега живопись Раффаэлли импонировала своей сюжетной тематикой, другие импрессионисты отвергали Раффаэлли как художника, лишь поверхностно усвоившего импрессионистическую манеру.

31

Дюран-Рюэль, Поль (1831-1922) - крупный торговец картинами, известный главным образом тем, что устраивал выставки импрессионистов и покупал их произведения.

32

Мюрер, Эжен (настоящее имя Огюст Менье, 1845-1906) - школьный друг Гийомена,

через которого он познакомился со многими художниками, стал коллекционировать их картины.

33

Новалис (настоящее имя Фридрих фон Харденберг, 1772-1801) немецкий поэт и философ, представитель романтизма.

34

Де Ниттис, Джузеппе (1846-1884) - художник и рисовальщик, итальянец по происхождению.

35

Бастьен-Лепаж, Жюль (1848-1884) - французский художник, пользовавшийся большим успехом в Салоне.

36

Филипсен, Теодор Эсбьерн (1840-1920) - датский живописец, скульптор и керамист.

37

Бланш, Жак-Эмиль (1861-1942) - художник и литератор.

38

Уистлер, Джеймс Мак-Нейл (1834-1903) - американский художник; был тесно связан с художественной жизнью Парижа.

39

Сиккерт, Уолтер Ричард (1860-1942) - художник, сын англичанки и датчанина, был учеником Уистлера.

40

Эллё, Поль-Сезар (1859-1927) - французский художник и гравер.

41

Сёра, Жорж (1859-1891) - французский художник, глава неоимпрессионизма. Влияние неоимпрессионизма, испытали многие художники (Синьяк, Камиль и Люсьен Писсарро, Ван Гог, Максимилиан Люс, отчасти Гоген).

42

Шеврейль, Эжен (1786-1889) - французский ученый-химик, много времени посвятил изучению законов красочных сочетаний, так как возглавлял производство гобеленов, в которых оттенки цвета складываются из многих различно окрашенных нитей.

43

Руд, Огден Н. - американский профессор-физик, его книга "Научная теория цветов" была переведена на французский язык в 1881 г. Обращаясь к художникам, он призывал их использовать научные открытия в искусстве.

44

Гельмгольц, Герман (1834-1894) - немецкий ученый, автор ряда работ по физиологии зрения.

45

Синьяк, Поль (1863-1935) - французский художник, неоимпрессионист.

46

Писсарро, Люсьен (1863-1944) - французский художник, старший сын Камиля Писсарро. Получил известность как график, оформитель книг.

47

Редон, Одилон (1840-1916) - французский художник. Крупнейший представитель символизма в живописи Франции 1880-х годов.

48

Бракмон, Феликс (1833-1914) - французский художник и гравер, увлекался декоративным искусством, японской гравюрой, участвовал в выставках импрессионистов.

49

Салон отверженных 1863 года - выставка, устроенная по требованию тех художников, картины которых не были приняты в 1863 году в официальный Салон. В Салоне отверженных участвовали многие известные впоследствии художники.

50

Хэвиланд, Чарлз - американец по происхождению, владелец керамической мастерской во Франции. Этой мастерской в 1873-1882 годах руководил художник Феликс Бракмон.

51

Шапле, Эрнест (1835-1909) - французский керамист и живописец.

52

Весной 1884 года была устроена Первая выставка Общества независимых художников, чьи произведения не были приняты в официальный Салон.

53

Лаваль, Шарль (1862-1894) - французский художник, последователь Гогена.

54

Кормон, Фернан (1845-1924) - французский художник-академист, автор картин на сюжеты из жизни первобытных людей.

55

Академия Жюлиана - художественные мастерские, основанные бывшим борцом и натурщиком в 1880-е годы. Из академии Жюлиана вышли многие художники, в том числе будущие последователи Гогена, которые составили группу Наби, - Поль Серюзье, Морис Дени, Пьер Боннар.

56

Бернар, Эмиль (1868-1941) - французский художник, испытавший влияние Гогена, автор статей по искусству.

57

Ван Гог, Винсент (1853-1890) - голландский художник, постимпрессионист; с середины 1880-х годов жил во Франции. Испытал влияние импрессионизма, но затем перешел к более красочной и экспрессивной манере живописи.

58

Ван Гог, Тео (1857-1891) - брат Винсента Ван Гога, стремился поддерживать импрессионистов и других еще непризнанных художников.

59

Тулуз-Лотрек, Анри де (1864-1901) - французский художник и график.

60

Анкетен, Луи (1861-1932) - французский художник и рисовальщик.

61

Орье, Альбер (1865-1892) - французский литератор-символист, художественный критик.

62

Намек на библейскую историю Иосифа Прекрасного, которого пыталась соблазнить жена Пентефрия, у которого он был в услужении.

63

Манфред, Жорж-Даниэль (1856-1929) - французский художник, скульптор и гравер; в прошлом моряк.

64

Хокусаи, Кацусика (1760-1849), Хиросиге, Андо (1797-1858) японские художники. Серии гравюр Хокусаи и Хиросиге вызывали большой интерес у французских художников.

65

Мопассан, Гюстав де - художник, отец писателя Ги де Мопассана.

66

Море, Анри (1856-1913) - французский художник, работал в Понт-Авене.

67

"Группа двадцати" (1883-1893) - художественное объединение в Брюсселе, целью которого было устройство совместных выставок без жюри. "Группа двадцати" объединяла двадцать художников, каждый из которых мог приглашать для участия в выставке одного иностранца. На выставках "Группы двадцати" были показаны работы импрессионистов и других французских художников.

68

Дюжарден, Эдуард (1861-1949) - французский поэт-символист, художественный критик.

69

Серюзье, Поль (1863-1927) - французский художник, один из основных участников группы Наби.

70

Дени, Морис (1870-1943), Боннар, Пьер (1867-1944), Рансон Поль (1864-1909), Ибельс, Анри-Габриэль (1867-1936) и др. - французские художники, назвавшие свой кружок группой Наби (от древнееврейского слова пророки), так как считали себя пророками искусства будущего. Все они испытали влияние Гогена.

71

Бугро, Адольф (1825-1905) - французский художник, представитель салонного искусства.

72

"Ревю индепандант" - символический журнал, основанный в 1884 году. В 1886-1888 годах его директором был Э. Дюжарден, в нем сотрудничали многие поэты. По словам Ф. Фенеона, он нашел читателей "среди идущих к упадку натуралистов и возвышающихся

символистов".

73

Фенеон, Феликс (1861-1944) - французский художественный и литературный критик. До 1894 года сочетал литературную деятельность со службой в Военном министерстве. Был связан с анархистами, в критике выступал глашатаем идей неоимпрессионистов.

74

Монтичелли, Адольф (1824-1886) - французский художник, писал яркими красками и пастозным мазком. Его произведения очень нравились Ван Гогу.

75

Жером, Жан-Леон (1824-1904) - французский художник салонно-академического толка; прославился как автор картин на античные сюжеты.

76

Кутюр, Тома (1815-1879) - французский художник. У него учились Эдуард Мане и Пьер Пюви де Шаванн.

77

Кабанель, Александр (1824-1889) - французский художник, профессор Школы изящных искусств, автор помпезных портретов.

78

Мейссонье, Эрнест (1815-1891) - французский художник, автор исторических и жанровых картин.

79

Мейер де Хаан (1852-1895) - голландский художник, работал в Понт-Авене; считается учеником Гогена.

80

Рембо, Артюр (1854-1891) - французский поэт.

81

Филижер, Шарль (1863-1928) - французский художник, швейцарец по происхождению; работал в Понт-Авене.

82

Чимабуэ - итальянский художник XIII века.

83

Леклерк, Жюльен (ум. 1901) - французский литератор и художественный критик.

84

Верлен, Поль (1844-1896) - французский поэт.

85

Мореас, Жан (настоящее имя Пападиамантопулос (1856-1910) - грек по происхождению, французский поэт-символист.

86

Ренье, Анри де (1864-1936) - французский поэт и писатель.

87

Мерилл, Стюарт (1863-1915) - французский поэт американского происхождения.

88

Долан, Жан (настоящее имя Жан-Антуан Фурнье) (1835-1909) французский писатель.

89

Морис, Шарль (1861-1919) - французский поэт-символист, друг Гогена.

90

Мирбо, Октав (1850-1917) - французский писатель, выступал как художественный критик, с интересом и сочувствием относился к импрессионистам. Дружил с Моне, Писсарро, Роденом.

91

Метерлинк, Морис (1862-1949) - бельгийский поэт и драматург; символист.

92

Жеффруа, Гюстав (1855-1926) - французский писатель и художественный критик.

93

Маркс, Роже (1869-1913) - французский художественный критик, занимал пост инспектора Департамента изящных искусств, а затем генерального инспектора провинциальных музеев.

94

Беллио, Жорж де (1828-1894) - румынский врач, друг импрессионистов и один из первых собирателей их картин.

95

Ларошфуко, Антуан де - французский граф, покровительствовал художникам (в частности, группе "Роза и крест").

96

Манци, Мишель (1849-1915) - владелец мастерской хромолитографии, маршан и коллекционер.

97

Натансон, братья - старший, Александр, - директор журнала "Ревю бланш", средний, Таде, - известный французский литератор и художественный критик, младший, - театральный критик.

98

Лоран, Мери (ум. 1900) - французская актриса, позировала Эдуарду Мане.

99

Констан, Бенжамен (1845-1902) - художник академического толка.

100

Ренан, Эрнест (1823-1892) - французский писатель, философ и историк религии. Ренан, Ари (1857-1900) - французский художник, поэт и художественный критик.

101

Карьер, Эжен (1849-1906) - французский художник и график, символист.

102

Танги, Жюль (1825-1894) - торговец картинами и красками, поддерживал официально непризнанных художников, особенно Сезанна.

103

Бодлер, Шарль (1821-1867) - французский поэт.

104

Лакаскад, Этьен-Теодор-Мондезир - в 1886-1893 годах губернатор Таити.

105

Моренхаут, Жак-Антуан, по происхождению фламандец, французский политический деятель, коммерсант, знаток фольклора Полинезии.

106

Ружон, Анри (1853-1914) - французский писатель, с 1891 года занимал пост директора Департамента изящных искусств, отличался реакционными взглядами.

107

Руар, Анри (1833-1912) - французский коллекционер и художник, близкий друг Дега.

108

Кранах, Лука (ок. 1472-1553) - немецкий художник.

109

Ханс Гольбейн Младший (ок. 1497/98-1543) - немецкий художник и график.

110

Боттичелли, Сандро (1444/45-1510) - итальянский художник.

111

Мофра, Максим (1861-1918) - французский художник, был близок к художникам понт-авенской группы и к импрессионистам.

112

Молар, Вильям (ум. 1936) - французский композитор.

113

Майоль, Аристид (1861-1944) - французский скульптор, начинал как живописец, член группы Наби.

114

Дуррио, Франсиско, прозванный Пако (1876-1940) - испанский скульптор и керамист, последователь Гогена.

115

"Свободная эстетика" - художественное объединение, основанное в 1894 году в Брюсселе и просуществовавшее до 1914 года. Главной целью его членов было распространение "нового искусства".

116

Мемлинг, Ханс (1430/40-1494) - нидерландский художник.

117

Рубенс, Петер-Пауль (1577-1640) - фламандский художник.

118

Сеген, Арман (1869-1903) - французский художник, был близок понт-авенской группе.

119

О'Коннор, Родерик (1860-1940) - ирландский художник, работал в Понт-Авене.

120

Ле Барк де Бутвиль - маршан, был связан с художниками группы Наби и неоимпрессионистами.

121

Стриндберг, Август (1849-1912) - шведский писатель.

122

Микеланджело Буонаротти (1475-1564) - итальянский скульптор, художник, архитектор и поэт.

123

Пиранделло, Луиджи (1867-1931) - итальянский писатель и драматург.

124

Мальро, Андре (род. 1901) - французский писатель и политический деятель.

125

Воллар, Амбруаз (1868-1939) - французский маршан и издатель, друг многих художников.

126

Ропс, Фелисьен (1833-1898) - бельгийский художник, гравер и рисовальщик, иллюстрировал произведения символистов.

127

Стейнлен, Теофиль (1859-1923) - французский художник и иллюстратор, мастер политической карикатуры.

128

Виллет, Вильям (1868-1921) - американский художник по стеклу.

129

Форен, Жан-Луи (1852-1931) - французский художник и график, по манере рисунка был близок Дега.

130

Фонтена, Андре (1865-1948) - французский писатель, поэт, критик.

131

Бибеско, Эманюэль - румынский князь, коллекционер.

132

Утамаро (1753-1806) - японский художник и гравер.

133

Лоти, Пьер (настоящее имя Жюльен Вью, 1850-1923) - французский писатель.

134

Рейнак, Саломон (1858-1932) - французский археолог и филолог.

135

Ревалд, Джон - американский историк искусства, исследователь импрессионизма и постимпрессионизма.

136

Сальмон, Андре (1881-1969) - французский писатель и критик, автор книг об искусстве.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Автор этой книги, французский писатель Анри Перрюшо, создал целый цикл романизированных биографий художников прошлого столетия. Он уже известен советскому читателю переведенными на русский язык работами о Сезанне, Ван Гоге, Лотреке, Мане. Перрюшо - блестящий знаток художественной жизни второй половины XIX века. Его романы о художниках занимают особое место среди исследований, посвященных истории искусства этого периода. Начатая в середине 1950-х годов серия биографий Перрюшо как бы подводит итог многочисленной мемуарной литературе, выходившей до того времени, и отчасти спорит и соперничает с только еще складывающейся "академической" наукой, изучающей импрессионизм и постимпрессионизм. Создавая свои книги, Перрюшо

использовал все доступные источники, в том числе и архивные документы, поэтому факты, изложенные в его книгах, обладают большой достоверностью. У Перрюшо, как и у многих других французских литераторов, на первом плане всегда стояла незаурядная личность - будь то сам художник или кто-то из его предков. Увлеченный поисками всего того, что могло бы прославить интересующего его мастера, Перрюшо гораздо меньше внимания уделял характеристике эпохи, общих проблем развития искусства. Живо и ярко написанные романы Перрюшо, в том числе и о жизни Гогена, конечно, не обладают большим научным весом, зато беллетризованная форма изложения помогает их автору легко и непринужденно ввести читателя и в обстановку детства Гогена, и в обстоятельства его взаимоотношений с женой, и в коллизии творческого развития художника.

Работая над жизнеописанием Гогена, писателю не пришлось прибегать к особым литературным приемам, чтобы создать увлекательное повествование, поскольку биография живописца была так насыщена и полна событиями, что ее могло бы хватить на несколько романов. Главное, к чему стремится Перрюшо, это вызвать у читателя чувство не только сопереживания художнику, но и сопричастности жизни великого человека. Поэтому Перрюшо порой даже злоупотребляет пафосом точности, достоверности, когда, например, скрупулезно, до последнего франка, вычисляет расходы и доходы Гогена или сообщает читателю любые факты о Гогене, которые ему известны, независимо от того, раскрывает ли это что-то в облике художника или нет. Перрюшо в этом отношении подобен коллекционеру, для которого счет в кафе, записанный рукой поэта, столь же ценен, как автограф его стихотворения. Произведения Гогена описаны в книге Перрюшо как вехи его жизни, но они не рассматриваются с точки зрения искусствоведческой, ведь автору важно было не столько истолковать его творчество, сколько рассказать о жизни художника. Чтобы дать читателю более полное впечатление о Гогене как о живописце, рассмотрим важнейшие художественные проблемы его искусства.

Жизнь Гогена-человека была столь необыкновенной, что, изучая ее, можно, казалось бы, понять и яркий, своеобразный характер творчества Гогена-художника. Но в действительности, наоборот, лишь из анализа художественных задач, которые ставил перед собой Поль Гоген, можно уяснить его поступки, его странную жизнь, в которой он представляется то упрямцем, то фантазером.

В 1883 году, бросив службу в банке, Гоген начинает профессионально заниматься живописью, создавать свой стиль и лепить свое "я". Мотивы искусства Гогена, как в зеркале, отражаются в его поведении, внешнем облике. В тот период, когда он создает свои первые, непритязательные пейзажи Парижа, он бродит по улицам этого города в качестве расклейщика афиш, зарабатывая гроши, чтобы не умереть с голоду. В патриархальной Бретани Гоген - художник-мастеровой, который ввязывается в драку с местными жителями, расписывает стены харчевни и хочет подарить соседней церкви свое произведение. И одновременно, в глазах колонии начинающих живописцев, приехавших на лето в Бретань из Парижа, Гоген - мэтр, пророк, который любит изъясняться парадоксами. "Талисманом" назвал художник Поль Серюзье маленький пейзаж, написанный им в Бретани под руководством Гогена.

Гоген создает свой образ как актер, сознательно, а порой и непроизвольно, повинуясь своему таланту играть, - так он играет роль ментора в Понт-Авене, так, играя, он описывает свою жизнь близким в многочисленных письмах. Не стоит "ловить" художника на преувеличениях или фактических неточностях. В письмах он всегда следует правде своего художественного вымысла. В глазах жены он желает предстать великим живописцем, который оставит детям наследство и прославленное имя и который не пользуется всеобщим признанием публики лишь из-за случайного стечения обстоятельств. Во время своего пребывания на Таити, в ноябре 1895 года, он описывает Даниэлю де Монфреду свою жизнь как полный наслаждений быт владыки туземного гарема, а в письме Вильяму Молару в августе 1897 года он сетует на свой земной жребий: "Никогда ни одной удачи, никогда ни единой радости". И в картинах второго таитянского периода - то проявляется чувственное

любование красотой жизни, то сквозит ностальгия, разочарование. Мысль о единстве жизни и творчества постоянно присутствует в письмах Гогена. Получив известие о смерти поэта Стефана Малларме он пишет: "Вот еще один, умерший мучеником искусства: жизнь его по меньшей мере так же прекрасна, как его творчество"[376].

На Таити Гоген занимается живописью, режет по дереву, пишет письма и заметки об искусстве и все время "играет" трагическую роль художника, бежавшего от цивилизации и создающего в окружении дикарей гениальные произведения искусства, которые обращены тем не менее к отринувшему его цивилизованному миру. Гоген создал свой миф, который, казалось бы, мог быть воплощен в картинах или стихах, написанных в одной из парижских мансард. Картины Гогена с названиями, написанными на ломаном таитянском языке, загадочны, выразительны, но они лишены тщательной скрупулезной достоверности этнографических зарисовок с натуры - сюжеты их вымышлены, рисунок в них стилизован, а фигуры порой скопированы с фотографий. В этих произведениях сказывается та же пестрая смесь увлечений, которая отличала и вкусы парижской богемы, в них проявляется эклектическая сторона художественной культуры того времени, впитавшей в себя и образы буддийского искусства, и мотивы древнеегипетских рельефов, и элементы европейской классики...

В "Ноа Ноа" Гоген вкладывает в уста своей таитянской жены Техуры древние предания, которые вычитал из книги Ж.-А. Моренхаута "Путешествие на острова Великого океана", вышедшей в свет еще в 1837 году. Волей автора "Ноа Ноа" - юная таитянка, начинающая играть роль сказительницы, - это, конечно, не реальная Техура, а вымышленный образ, как и в картинах.

Выясняя истоки искусства Гогена, можно задаться вопросом: стоило ли жить столько лет и умереть на далеких полинезийских островах, чтобы столь органически, слитно с европейской традицией, воплотить в своей живописи образы экзотической сказки и грезы? Не Гоген - автор таитянских картин, а Гоген-таитянин - уникальная личность своей эпохи. Он хотел устроить свою жизнь согласно идеалам своего искусства. И хотя судьба Гогена уникальна, идеи, питавшие его жизнь и искусство, характерны для конца XIX века - эпохи модерна.

Стремление к эстетизированному индивидуализму - типичная черта декадентства, сложного и противоречивого явления общественной жизни конца прошлого века - fin de siecle. Персонаж знаменитого тогда романа писателя-символиста Ж.-К. Гюисманса "Наоборот", Дез Эссент - сноб, любитель искусства, живущий в причудливом доме и обладающий своеобразными привычками, был во многом списан с известного "эстета" тех времен, Робера де Монтескью, который давал обеды "в жанре Веронезе" и собирал коллекцию летучих мышей. Снобизм в эпоху модерна, выражавшийся в утонченности костюма, оригинальности поведения и обстановки жилища, был средством выделиться из толпы.

Гоген - также сноб, но сноб навыворот, назло буржуазной семье жены, в пику современникам-аристократам. Поведение Гогена, после того как он оставил жену и детей, - это своеобразная форма социального протеста. Он не желает делать живопись доходной профессией, своей нищетой он бросает вызов буржуазному меркантилизму. На Таити, который Гоген называл "райской страной", едва успев обжить свою экзотическую хижину, художник вступает в конфликт с местными властями: ратует за соблюдение законов, за права туземцев - за справедливость. В те же годы в Париже ненавистные Гогену "точечники" - неоимпрессионисты и его бывший наставник, Камиль Писсарро, тоже были увлечены идеями анархизма - критикой существующего буржуазного порядка.

Гоген же бунтовал в одиночку, ссорился и с представителями колониальных властей и с проповедниками католической религии. В одном из доносов Гогена упрекали в том, что он

---

376 Поль Гоген. Письма. Ноа Ноа. Из книги "Прежде и потом", Л., 1972, с. 98.

подстрекает родителей не пускать детей в школу, подстрекает туземцев не платить налоги. Выпады Гогена против светских и церковных властей, его "подстрекательства" во многом определяются избранной им ролью цивилизованного человека, живущего среди дикарей, не способных постоять за себя, защищающего их. Вспыльчивого, озлобленного, то пишущего жалобы, то выпускающего сатирические листки, Гогена никак нельзя назвать последовательным борцом за демократические нрава колониальных народов. Но все же идущие из глубины души стремления Гогена бороться за торжество добра и справедливости в рамках той уродливой социально-политической системы, которая царила в его "райской стране", не может не вызвать сочувствия. Гоген представляется порой последним донкихотом романтизма, пытающимся в своей жизни воплотить идеалы, почерпнутые из лучших образцов живописи и литературы XIX века.

*

Гоген-художник начинает как последователь импрессиониста Камиля Писсарро. Их сближает любовь к непритязательным мотивам пейзажа, к патриархальным образам сельской жизни. Писсарро, однако, всегда оставался в пределах обыденного сюжета, сохранял непосредственное восприятие окружающей жизни, Гоген же очень скоро начинает стремиться к созданию экспрессивных художественных образов. В Бретани художник стал применять прием разделения красочных зон четкими контурными "перегородками", как если бы картина уподобилась гигантски увеличенной средневековой перегородчатой эмали. От французского названия эмалей (cloisonne) пошел термин "клуазонизм", означающий новую живописную систему. Клуазонизм с его культом упрощенных линий рисунка и ярких локальных цветов отрицал и аналитический взгляд на натуру, свойственный импрессионистам, и пространственно-объемную, конструктивную композицию как средство передачи пейзажа, введенную Полем Сезанном, творчество которого Гоген внимательно изучал. Основными чертами клуазонизма была подчеркнутая плоскостность живописи и обобщенность, и не случайно Гоген иногда называл свою манеру "синтетизмом". Средневековое искусство подсказывает художнику не только новый метод, но и новое содержание. Гоген охотно обращается к религиозной тематике, которая привлекает его семантически насыщенными сюжетами.

Как современники (К. Писсарро), так и исследователи (Л. Вентури) усматривают в сюжетах картин Гогена дань моде, стремление нравиться буржуа. Но "мода" была обоснована художественной тенденцией, в большей мере исходившей из реакции на импрессионизм. Импрессионисты с их чувственной осязательностью в восприятии мира обладали ограниченным арсеналом художественных средств, способных выразить новые мысли и чувства людей конца XIX - начала XX века.

Ощущение "конца века", чувство одиночества художника в обществе, неудовлетворенности своей эпохой выливались в мифологические и христианские образы, переосмысленные в нетрадиционном, символико-ассоциативном ключе. Картина "Желтый Христос", написанная Гогеном в 1889 году в Бретани, - одно из типичных произведений этой эпохи. Христианскую иконографию распятия с предстоящими Гоген трактует как сцену молитвы бретонских женщин перед средневековым крестом с фигурой Иисуса - придорожным распятием, одним из тех, которые тогда еще сохранились в Бретани. Он придает автопортретные черты лицу Христа, намекая на то, что он является мучеником в этой жизни. В другой раз Гоген пишет автопортрет с "Желтым Христом", отраженным в зеркале, составляющим часть фона картины. Он изображает себя и в картине "Христос в оливковом саду" (Галерея Нортон, Уэст Палм Бич), а в автопортрете из Национальной галереи в Вашингтоне над головой Гогена изображен нимб. К этой же группе картин относится и "Зеленый Христос, или Бретонское распятие" (Музей изящных искусств, Брюссель).

Содержание всех этих произведений, по существу, не религиозное. Гоген, скорее, лишь примеряет нимб, примеряет крест, то есть "примеряет" к своему искусству христианскую тематику. Как видно из дальнейшего, христианские сюжеты показались ему слишком сухими

и строгими, таитянское обрамление больше подошло его искусству. Гоген стремится создать собственную мифологию, что раскрывается, например, в истории создания картины "Дух умерших бодрствует" (1892). Перрюшо описывает реальный повод для возникновения сюжета. Страшный образ умерших предков, который для юной таитянки не имел конкретного обличья, Гоген трактует в духе европейского символизма. Он, правда, "отмечал в своей записной книжке, что "записал историю создания этой картины, памятуя о тех, кому непременно надо знать как и почему. А вообще это просто обнаженная натура из Полинезии"[377]. Гоген действительно вдохновлялся натурой, он любил передавать свои впечатления ярким цветом, упругим контуром линий. Но, создавая свои полотна, Гоген, хотя и вдохновлялся экзотикой таитянского быта, все же опирался прежде всего на традиции французского символизма. Черты символизма, в большей мере литературного, нежели художественного направления, проявились и в творчестве Одилона Редона, Эжена Карьера, Мориса Дени. Их картины, созданные силой художественного воображения, далеки от натуры - по цвету они у Редона фантастичны, у Дени суховаты, а у Карьера обычно монохромны. Гоген куда более живописен, чем его современники. Цветовой строй его таитянских произведений навеян реальными впечатлениями. Нарисованные порой по законам академических ню, обнаженные фигуры таитянских красавиц тем не менее дышат естественной и пленяющей туземной красотой. Символичность этих картин, например "Жены короля" (1896, ГМИИ им. А. С. Пушкина), которой Гоген дал истолкование в письме Даниэлю де Монфреду в апреле 1896 года: "...обнаженная царица лежит на зеленом ковре, служанка срывает плоды, два старика подле большого дерева рассуждают о древе познания"[378] и т. д., не поддается расшифровке как система значимых фигур и предметов. Гоген, и это ясно из его жизнеописания, не был утонченным интеллектуалом, подобно Дени, его эрудиция "бывшего матроса" (как его с раздражением иногда называли современники) оставляла желать лучшего. Как же удавалось друзьям и почитателям Гогена, таким, как поэт Шарль Морис, находить в его картинах отзвук утонченных бесед, которые велись в декадентских кружках и редакциях символистских журналов? И в этом, как и в своеобразном быте и поведении Гогена, надо видеть не только его индивидуальность, но характерную черту эпохи. Тогда в кругу символистов полагали, что вовсе не обязательно изучать и рационально постигать источники, откуда черпаешь вдохновение, достаточно лишь чувствовать их силу. К примеру, критик и литератор Теодор де Визева, один из главных представителей вагнерианства в Париже, не читал всех теоретических трудов Вагнера, полагая, что в этом нет необходимости, поскольку идеи, в них заложенные, каким-то образом и так распространяются в коллективном сознании[379].

Гоген не проникает разумом, а вживается в те идеи, которые питают его искусство. Его автопортреты фиксируют те перевоплощения, которые с ним происходят под влиянием его художественных увлечений. После евангельских "перевоплощений" Гогена, запечатленных на картинах, созданных в Бретани, в таитянских автопортретах художник предстает на фоне экзотических растений, с усмешкой дикаря на устах.

В картине 1892 года "А, ты ревнуешь?" (ГМИИ им. А. С. Пушкина) звучит одна из первых "спрашивающих" интонаций, которые будут затем повторяться. Это один из самых ярких образов райской идиллии, вечно длящейся неги человеческого существования, сливающегося с жизнью природы. Фигуры двух женщин, пластически весомые, как статуи, выделяются на плоскостном, как гобелен, фоне картины. Диалог, на который Гоген намекает

---

[377] Даниельссон Б. Гоген в Полинезии. М., 1969, с. 104.

[378] Поль Гоген. Письма. Ноа Ноа. Из книги "Прежде и потом", с. 74

[379] Delsemme P. Theodore de Wysewa et le cosmopolitisme litteraire en France a l'epoque du Symbolisme. Bruxelles, 1967, p. 127.

названием картины, слышен как "голос за кадром", ибо обе героини пребывают в безмолвной неподвижности.

"Куда идешь?" ("Женщина, держащая плод") (1893, Эрмитаж) - также картина с "вопрошающим" названием, притом, что прекрасная девушка с сосудом в руках, сделанным из тыквы, изображенная на первом плане, никуда не идет, а спокойно стоит как позирующая модель.

Картина "Яванка Аннах" (1893, Берн, частное собрание) была написана после возвращения Гогена во Францию в 1893 году. Женщина экзотического метисского происхождения привлекает Гогена родством с покинутыми им таитянскими моделями. Он изображает ее нагой, сидящей в кресле, с ее любимой обезьянкой у ног. В этом образе обнаженной дикарки - в позе, принятой в "иконографии" парадного портрета, - Гоген противопоставляет идеал первобытной красоты эстетическим канонам цивилизованного общества. Гоген продолжает традиции эпатажа буржуазии, борьбы с ее вкусами, которую начал Эдуард Мане ("Завтрак на траве") и подхватил Сезанн в "Новой Олимпии".

Пребывание в 1893-1895 годах во Франции не оказало какого-либо существенного влияния на развитие творчества Гогена. Его вторичный отъезд на Таити, где он уже пережил муки одиночества и нищеты, - это не шаг по пути к славе и признанию, а поступок человека, разочаровавшегося и в буржуазном обществе и в современниках.

В 1896 году он пишет автопортрет "У Голгофы" (Музей искусств, Сан-Паулу). Соприкосновение с Европой заставляет его еще раз приложить к себе одежды Христа, и отчетливое предвидение собственной трагической судьбы делает его лицо суровым и значительным. Здесь больше нет той иронической игры, как в евангельских автопортретах бретонского периода, когда в душе Гогена еще жила уверенность в своей победе как художника и как человека. Ныне он готов принять муки на земле, надеясь воскреснуть лишь в памяти будущих поколений. "Белая лошадь" (1896, Париж, Лувр) - одно из самых цельных и вместе с тем загадочных произведений второго таитянского периода. Изображения лошади уже встречались в произведениях Гогена. То это была лошадиная голова, появившаяся в одном из натюрмортов, то всадник на лошади - образ, восходящий к гравюре Дюрера "Рыцарь, смерть и дьявол". Лошадь, по полинезийским верованиям, была связана с представлениями о смерти. По рисунку склонившая голову белая лошадь в картине Гогена напоминает изображение лошади с рельефа работы Фидия на западном фризе Парфенона. Рельеф этот, фотография которого хранилась у Г. Ароза, был, несомненно, известен Гогену. Подобные заимствования, типичные для художника, легко вплетались в ткань его картин, сотканных из арабесок, цветов и веток, больших пятен цвета и мелких деталей первого плана. В картине "Белая лошадь" царит настроение печали - это не жанровая сцена (хотя вдали можно видеть двух таитянских всадников), это, скорее, видение некого бескрылого Пегаса, в котором воплотилась мечта о свободе и поэтическом вдохновении[380].

Большое панно "Откуда мы, кто мы, куда мы идем?" (1897, Бостон, Музей изящных искусств) отражает те проблемы, которые тяготили Гогена. Гоген так описывал картину в письме к Монфреду: "Это полотно размером в 4,5 метра на 1 метр 70 сантиметров. Оба верхних угла - желтый хром, слева надпись, справа моя подпись; подобно фреске, поврежденной на углах и наложенной на золотую стену. Справа внизу - уснувший младенец и три женщины, присевшие на корточки. Две фигуры, облаченные в пурпур, поверяют друг другу свои мысли. Одна фигура, нарочито огромная, вопреки законам перспективы, и сидящая на корточках, поднимает руку, с удивлением глядя на двух персонажей, осмеливающихся думать о своей судьбе... Идол с таинственно и ритмично воздетыми вверх руками как бы указует на потусторонний мир... Наконец, старуха, ожидающая смерти, как будто принимает ее, примиряется с мыслью о ней и этим завершает повествование; у ног ее

---

[380] См.: Kane W. M. Gauguin's "Le Cheval blanc". Sources and Sincretic Meaning. - "Burlington Magazine", 1966, July.

странная белая птица, зажавшая в когтях ящерицу, символизирует бесполезность и тщету слов..."[381]. Многие фигуры этого панно являются мотивами отдельных произведений художника, и все оно как бы обобщает те бесконечные вопросы, которые звучали в прежних его картинах. Представить в картине образ всей человеческой жизни, передать всю проблематику художественного творчества в одном огромном панно - это попытка, в которой Гоген не был одинок в конце прошлого столетия. Ему казалось, что это глубоко личное его произведение, что он "вложил в него перед смертью всю свою энергию, всю страстность", а между тем большая картина-панно Гогена была создана в русле развития европейского модерна. Почти одновременно с полинезийским изгнанником парижский неоимпрессионист Поль Синьяк написал свое панно "Во времена гармонии. Золотой век не в прошлом, а в будущем". Источником художественного вдохновения для Синьяка служила не таитянская экзотика, а описание будущего общества в трудах его друзей-анархистов. Но здесь те же мотивы - мать с ребенком, люди, говорящие, играющие друг с другом, человек, протянувший вверх руки... И Гоген и Синьяк опираются на художественный опыт Пюви де Шаванна, создателя многочисленных аллегорических панно, в которых он стремился возродить гармонический дух великой классики. Хотя Гоген и отмежевывался от Пюви де Шаванна, противопоставляя его продуманным композициям непосредственность, эмоциональность своего творчества, тем не менее сама идея соединять в одном произведении сидящие, лежащие, стоящие фигуры людей, между которыми нет никакой иной связи, кроме чисто аллегорической, была привита французскому искусству второй половины XIX века именно Пюви де Шаванном.

Одним из последних, значительных произведений Гогена была картина "Две таитянки" (1899, Нью-Йорк, музей Метрополитен). Здесь снова повторен излюбленный Гогеном образ двух близко стоящих фигур, когда одна тянется, клонится, "сливается" с другой, как один ствол дерева срастается с другим. Прекрасные таитянки Гогена не индивидуализированы, они все одной идеальной плоти, во всех них художник видит "золото их тел" (как он назвал одну из картин). Любование художника этой цветущей плотью не омрачено горечью размышлений о жизни и смерти. Красноватые рефлексы, падающие на обнаженную грудь таитянки, от блюда, которое она держит в руках, создают ощущение чувственной конкретности, почти как у импрессионистов. В статичности женских фигур, в спокойствии их лиц, в немом жесте, которым как будто предлагается блюдо, можно предугадать величавость протягивающей яблоко бронзовой "Помоны" Аристида Майоля.

Отринутый от общества и умерший в одиночестве, Поль Гоген оказал большое влияние на развитие французского искусства. Перрюшо описывает влияние, которое имел художник на многих из тех, кто работал в Понт-Авене. Группа Наби тоже вдохновлялась его идеями. Скульптор Майоль, который начинал как живописец, входил в группу Наби. Его женские фигуры, хотя и тяготеют к античности, к классике, не могли быть созданы без влияния "таитянок" Гогена.

Гоген был первым крупным художником, превратившим станковую картину в декоративное панно, стершим грань между этими видами живописи. Его деревянные рельефы, керамика, гравюры - все это предопределяло поиски стиля модерн, вышедшего за рамки станкового искусства и пышно расцветшего в области декоративно-прикладных ремесел. Любовь к арабеске, к стилизованному рисунку, к четко ограниченному красочному пятну, которая у парижан питалась японскими гравюрами и идеями, носившимися в воздухе, у Гогена, уехавшего на Таити, нашла живую, реальную почву. Стремление общаться с натурой (пусть он видел в ней лишь то, что хотел), черпать из природы вдохновение связывает Гогена с его старшими друзьями и предшественниками - импрессионистами.

Дотошный шведский исследователь Бенгт Даниельссон изучил все творчество Гогена с точки зрения его достоверности. Он нашел много неточностей, несовпадений, но тем не

---

[381] Цит. по кн.: Поль Гоген. Письма. Ноа Ноа. Из книги "Прежде и потом", с. 92.

менее ему было ясно, что в картинах Гогена отражена жизнь таитян - их быт, их обычаи и ритуалы. Помещенные в исследовании Даниельссона яркие цветные фотографии, изображающие таитян XX века, сохранивших свои национальные особенности и привычки, куда меньше передают экзотический быт Таити, чем картины Гогена, в которых, кажется, растворился аромат незнакомых цветов, говор непонятной речи, шелест листвы.

Творчество Гогена никогда не было бы столь значительным, если бы этот человек не был сам сильной личностью, не был способен в одиночку, как Робинзон, вести хозяйство, строить хижины, дружить с дикарями. Моряк, биржевой маклер, художник, островитянин - Поль Гоген всегда оставался самим собой, человеком своего века. Стоит вспомнить, что через несколько лет после смерти Гогена на Таити таможенник Анри Руссо черпал экзотические мотивы для своих картин из ботанических атласов. По сравнению с художниками следующего поколения, Гоген - это преданный поклонник реальной натуры, истинный сын XIX столетия, сочетающий в своем характере и практицизм и склонность к медитации.

Книга о жизни Поля Гогена зовет еще раз всмотреться в его картины, проникнуться завораживающим и прекрасным волшебством его живописи.

К. Богемская